

**ЖАН ФАВЬЕ**

**Jean Favier**

**ФРАНСУА ВИЙОН**

**Francois Villon**

**МОСКВА «РАДУГА»**

**1991**

*Фавье Ж.*

*Франсуа Вийон*: Пер. с фр. — М.: Радуга, 1991. — 480 с.

Жан Фавье — известный современный французский писатель, историк-медиевист.

Книга о Франсуа Вийоне, французском поэте XV века, соединяет живость и доступность изложения с великолепным владением материалом.

Поэмы Вийона полны автобиографических намеков, в них отразилась жизнь парижских низов, мотивы смерти дерзко сочетаются с прославлением радостей жизни. Именно поэтому на страницах книги звучат стихи поэта и его выдающихся современников.

Подробный, интересный рассказ о повседневной жизни и исторических событиях середины XV века создает объемное представление о французском обществе того времени — от монарха до нищего бродяги.

Книга рекомендуется широкому кругу читателей.

© Перевод на русский язык издательство «Радуга», 1991 © Librairie Arthème Fayard, 1982

## **ОГЛАВЛЕНИЕ**

Пролог

Я знаю все, но только не себя

*Глава I*

Родился в Париже близ Понтуаза

*Глава II*

У нас в монастыре изображение ада

*Глава III*

Не дай в удел нам вечный ад

*Глава IV*

Магистр Гийом де Вийон

*Глава V*

И измениться захотелось мне

*Глава VI*

Будь я примерным школяром

*Глава VII*

Охотно я передаю мою часовню и сутану и паству

*Глава VIII*

Всё, всё у девок и в тавернах

*Глава IX*

Пока в чести — звучит хвала

*Глава X*

Скажу без тени порицанья

*Глава XI*

Вот книги, все, что есть, бери

*Глава XII*

Глупец, живя, приобретает ум

*Глава XIII*

Девицы, слушайте

*Глава XIV*

Прощайте! Уезжаю в Анже

*Глава XV*

Ибо тот, за кем охотятся, был крайне неряшлив

*Глава XVI*

Нет больше счастья, чем жить в свое удовольствие

*Глава XVII*

Смерть, не будь такой беспощадной

*Глава XVIII*

Оставьте ль здесь бедного Вийона?

*Глава XIX*

Здесь покоится завещание

*Глава XX*

Я отвергаю любовь

*Глава XXI*

Будете повешены!

## **Пролог**

### **Я знаю все, но только не себя...**

#### **История и легенда**

Три дня на то, чтобы покинуть Париж. Это единственное, чего 5 января 1463 года удалось добиться мэтру Франсуа де Монкорбье по прозвищу Вийон, приговоренному накануне к казни через повешение за то, что он косвенно оказался причастен к одному скверному делу, во время которого пошли в ход ножи. И вот 8 января, в самом начале того года, о котором нотариус Жан де Руа сообщает нам, что он «не был отмечен ни единым примечательным событием», Вийон навсегда вышел из истории.

И вошел в легенду. Его приговорили к изгнанию на десять лет, так что в 1473 году он мог бы вернуться. Однако к этому времени никто в городе о нем уже не вспоминал. Поэтому, когда в 1489 году книготорговец Пьер Лева опубликовал «Большое и Малое завещания Вийона и его баллады», в Париже не нашлось ни одного человека, способного похвастаться личным знакомством с уже знаменитым поэтом. А ведь если в ту пору он еще не умер, ему было всего каких-нибудь шестьдесят лет.

Поэт сам рассказал о своих физических страданиях, явившихся следствием тяжелой жизни, лишений, а также нескольких тюремных заключений. В Вийоне, торжествующем над своим тюремщиком — «Разве я был не прав?», — нет ничего от находящегося при смерти человека, несмотря на то что накануне он был в таком жалком состоянии. За тридцать два года жизнь потрепала этого проказника весьма основательно. Кстати, имя Вийона сохранил для потомков историк по имени Франсуа Рабле. Переделывая в 1550 году четвертую часть «Пантагрюэля», Рабле рассказал, что автор «Завещания», поселившись «на склоне лет» в расположенном в Пуату местечке Сен-Максан, сочинил «на пуатвенском наречии и в стихах» одну из тех «Страстей», что пишут, дабы повеселить народ по окончании ньорских ярмарок.

Не составляет большого труда представить себе необыкновенного режиссера, каковым был Вийон в роли автора «Страстей», написанных для подмостков небольшого селения. Столь же легко представить себе его и зачинщиком какого-нибудь скандала. А ведь в сцене, где загримировавшиеся под чертей сен-максанские селяне наказывают брата Этьена Пошеяма — ризничего францисканского ордена, монаха, возможно обязанного своим существованием и своим именем сочинительскому дару Франсуа Рабле, — речь идет именно о скандале.

Он не без удовольствия рассказывает печальную историю этого недоброго ризничего, отказавшегося как-то раз одолжить горожанам несколько предметов церковного облачения — епитрахиль и мантию, — необходимых им для того, чтобы вырядить одного старого крестьянина, которому нужно было сыграть в местном театре щекотливую роль Господа Бога. Месть оказалась страшной. Вийон заставил своих артистов изображать чертей, и вся эта нечистая сила устроила провинившемуся ризничему западню. В результате «брыкания, тумакания, двойного лягания и долбания» Пошеяма сбросили с мула, но одна его нога очень неудачно застряла в стремени. А мул пустился во всю прыть. Вот и пришлось волочившемуся по дороге ризничему расстаться с головой и мозгами, с руками и ногами, с кожей и костями. А кишки оставили «длинный кровавый след».

Увидев, что от прибывшего во францисканский монастырь брата Пошеяма осталась лишь правая нога, Вийон вроде бы утешил участников фарса, своих актеров, следующим образом: «Хорошо же вы играете, господа Черти... Вот уж игра так игра!»

Вийон, получивший пристанище в Сен-Максане в качестве руководителя труппы комедиантов-любителей? История эта заслуживает внимания, даже если Рабле и разукрашивает фарс собственной фантазией, даже если он и приписывает тому же самому Вийону еще одно приключение, в котором поэт, став своим человеком при английском дворе, заменяет, заботясь о здоровье короля Эдуарда, клистирную процедуру на созерцание французского герба.

Сен-максанский эпизод отнюдь не диссонирует с доподлинно нам известными фактами жизни поэта. Окажись он в Пуату после изгнания из Парижа в 1463 году, в этом бы не было ничего удивительного. Уже в его «Завещании» есть четыре стиха, написанных на пуатвенском наречии.

Вийон в роли театрального постановщика? На протяжении всего своего поэтического творчества он только тем и занимался, что делал инсценировки из жизни общества, используя в качестве актеров как самого себя, так и других. «Фарсы, игры и моралите» рассматриваются им как способы зарабатывания денег, хотя он и признает суетность всех этих заработков, коль скоро все в конечном счете идет «трактирщикам и шлюхам». А разыгранный не на театральных подмостках фарс, жертвой которого стал Пошеям, мог вполне родиться из какого-нибудь скандала, случившегося в будущем Латинском квартале.

Остается нарисовать в воображении образ Вийона, отошедшего от преступных дел, Вийона, шествующего по стезе добра и пользующегося покровительством сен-максанского аббата. Такого Вийона, чьи строки мы уже не стали бы бережно хранить!

Вполне возможно, что некоторые детали рассказа Рабле соответствуют действительности. Вполне вероятно, что Вийон вдруг и вправду оказался в Пуату и, чтобы заработать на жизнь, принялся развлекать публику. Скажем, в течение какого-то времени...

Чтобы как-нибудь заполнить то безмолвие, причиной которого, вероятно, была смерть, читатель имеет право помечтать. Играя с письмами, с цифрами, можно обнаружить — хотя и не без труда — некие тайные признаки присутствия человека, обычно отнюдь не склонного к тайнописи. При таком подходе автора «Завещания» можно увидеть везде. Если принять, что Вилен означает Вийон, а последние три стиха кончаются на URF и URF превращаются в FRU, то есть в FRV, то современная критика соглашается без намека на юмор приписать Вийону полдюжины безымянных произведений едва ли не самого Клемана Маро. И вот Вийон оказывается автором «Вольного стрелка из Баньоле», являющегося в действительности карикатурой на городское ополчение, сочиненной Карлом VII в тот момент, когда он формировал свою регулярную армию, разгромленную в первых же боях после воцарения Людовика XI. Таким же образом он оказался и автором фарса «Адвокат Патлен», то есть нашей первой комедии, внутренними пружинами которой являются глупость, хитрость и жадность.

При этом, однако, подобное предположение ни на чем не основано. Зачем бы это Вийону, привыкшему быть на виду и вставлять собственное имя в свои стихи, прятаться, когда после изгнания он оказался вдали от столицы? Более основательное обращение Вийона к религии отнюдь не объясняет сокрытия авторства и «Страстей», и сатирического стихотворения.

Так что говорить можно лишь о том единственном Вийоне, имя которого оказалось запечатленным в 1449 году в Государственной ведомости факультета изящных искусств и который исчез в 1463 году после специального постановления Парламента. При жизни он пользовался вниманием читателей, причем его читали уже тогда, когда он еще только-только начинал оттачивать свое перо. Возвращаясь в 1461 году в «Большом завещании» к «завещательным» моментам поэмы «Лэ», которую Пьер Лева впоследствии опубликовал, назвав «Малым завещанием», Вийон писал:

Как помню, в пятьдесят шестом Я написал перед изгнанием Стихи, которые потом, Противно моему желанью, Назвали просто «Завещаньем»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 67. Перевод Ф. Мендельсона.

Осуществленное в 1489 году в типографии Пьера Лева издание лишней раз свидетельствует о том, что стихи поэта были популярны. Использованный для них готический шрифт является убедительным тому подтверждением: если для образованной публики уже стали привычными новые буквы, заимствованные гуманистами через посредство элегантных форм каролингского Возрождения у изящной каллиграфии римского классицизма, то рядовые горожане еще на протяжении целого поколения оставались привязанными к старому угловатому письму, усвоенному в школе. Готический шрифт указывает на определенный тип клиентуры. Значит, Вийона читали не только в среде сорбонских грамотеев.

В Париже конца XV века читать любили. Причем в ту пору «Тускуланские беседы» Цицерона, «Латинские письма» Гаспаррина Бергамского, «Риторика» Гийома Фише едва-едва начинали пробивать себе дорогу среди таких произведений, как сразу же вошедшие в моду «Большие французские хроники», романы о рыцарях Круглого стола, фарс «Адвокат Патлен», «Большое завещание» Франсуа Вийона. Гуманисты из наиболее передовых учебных заведений — и в первую очередь коллежа кардинала Лемуана — использовали подвижный типографский шрифт, позволявший делать корректорскую правку, благодаря которой требовательные читатели получили наконец грамотные тексты высокого качества, без чего невозможны никакие филологические штудии. Однако большие партии книг, потреблявшихся людьми состоятельными, уже и тогда формировались из массовой продукции. И тут уж было не до качества.

На эту несправедливость обратил внимание поэт Клеман Маро, который однажды заявил, что произведения Вийона заслуживают лучшей участи, заслуживают того, чтобы их издавали не на скорую руку. От одного издания к другому, более или менее точно повторявшему предыдущее, текст после тридцати перепечаток утратил и свой облик, и свой смысл.

«Среди славных книг, опубликованных на французском языке, не сыскать другой такой, которая имела бы так много ошибок и искажений, как книга Вийона. Меня просто изумляет, почему парижские печатники так небрежно относятся к текстам лучшего поэта Парижа.

Мы с ним очень не похожи друг на друга, но из приязни к его любезному разумению и из благодарности к науке, обретенной мною во время чтения его творений, я хочу им того же блага, что и моим собственным произведениям, если бы у них оказалась такая же печальная судьба.

И столько я в них обнаружил погрешностей в порядке куплетов и строф, в размерах и в языке, в рифме и в смысле, что я нахожусь в затруднении, следует ли мне больше жалеть подвергнутое такому жестокому поруганию творение или же тех невежественных людей, которые его печатали».

Так рассуждал в прологе к изданию 1533 года Клеман Маро, поэт из Кагора, который отнюдь не считал недостойным своего таланта сделаться первым *научным* редактором-издателем Франсуа Вийона.

А тот, кто называл себя «добрым сумасбродом», постепенно становился легендой. Он выглядел шутком, клоуном; в лучшем случае — забавным сумасбродом, а в худшем — простаком. Элуа д'Амерваль, регент орлеанского собора Святого Креста, являвшийся одновременно автором длинной мессы и латинского мотета в честь Жанны д'Арк — в 1483 году ему была поручена организация праздника 8 мая — и стихотворной «Книги дьявольщины» на французском языке, считал Франсуа Вийона всего лишь шутником.

*Когда-то Франсуа Вийон,  
Что так в науках был силен,  
В речах искусен и горазд  
На шутки, смог в последний раз  
Париж потешить, завещав  
Свое добро, своим вещам  
Хозяев новых подобрал:  
Велел из этого добра  
Он все свои очки отдать  
«Слепцам» — чтоб было тем читать  
Удобней сложенный им вздор<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Перевод В. Зайцева.

Интересно, понял ли сам Амерваль, что, завещая очки слепым, чтобы те могли легче разобрать на кладбище, «где тать, а где святой гниет в гробу», Вийон обращал внимание на заведомую бессмысленность подобного мероприятия. Любитель фарсов торжествует над моралистом. Читатель смеется над очками, предназначенными слепым. Он забывает и о

неразрешимой проблеме различения добра и зла, равно как и о том, что у добрых и злых в конечном счете один удел. Мы явственно слышим смех поэта. И не чувствуем никаких следов усталости. «Сумасброд» оказался шутником. Стало быть, Вийон попался в собственную западню.

И Рабле оставалось лишь воспроизвести два легендарных эпизода из его последующей жизни: те, где речь идет о сен-максанском скандале и о ночном горшке. А двумя годами позднее Брантом соглашался признать за поэтом любви и смерти только славу искусного сочинителя острот.

Представление о нем изменилось, когда появилась комедия характеров. Подобно адвокату Патлену — создателем которого в ту пору его еще никто не считал, — Вийон оказался фигурой символической. Это тип хитреца, шутника, плута и даже мошенника, скрывающегося под маской простака. Персонаж, выведенный в «Патлене», притворяется непонимающим, когда его призывают расплатиться. Что же касается мэтра Франсуа, то он выглядит более изобретательным. Бурдинье, один из современников Рабле, упоминает о «хитрых проделках Вийона».

В конце XV века и позднее, по крайней мере вплоть до тридцатых годов следующего столетия, у клиентуры книгонош большим успехом пользовалась, конкурируя с многочисленными изданиями «Большого завещания» и работая на укрепление легенды Вийона, книга «Сборник рассказов об обедах на даровщинку магистра Франсуа Вийона и его компаньонов». Поэт в ней выглядит предводителем веселой ватаги плутов невысокого полета, склонных за неимением денег поесть за чужой счет, без зазрения совести высмеивающих богатых горожан, и знать, и разного рода зевак, не принося им чрезмерного вреда. Иными словами, у состоятельного люда, садившегося читать, предварительно крепко запевев двери, представление о нем складывалось как о некоем достаточно симпатичном сорванце.

У Вийона из «Обедов на даровщинку» есть свой двор, состоящий из перечисленных в торжественном прологе лиц: клириков без бенефициев и занимающихся темными делами адвокатов, из мошенников и шулеров, юродивых и святош, исповедников и сутенеров, лакеев и служанок... Есть там и честные жены, наставляющие рога своим мужьям, и безупречные негоцианты, обманывающие своих клиентов. Мы встречаемся в этой книге с теми же францисканскими монахами и пилигримами, да и вообще со всем тем людом, который населяет оба «Завещания».

Однако мир произведений Вийона кажется подчиняющимся обычным, прямо-таки официальным условностям, и этим он вводит читателя в заблуждение. Вийоновские шалопаи предстают в роли выступающих в суде адвокатов, в роли занимающихся коммерцией торговцев. А вот шалопаи из «Обедов на даровщинку» — это мошенники, постоянно надувающие простаков.

*А как концы с концами свести*

*Тем, у кого сквозняк в кармане?*

*В карманы ближнего залезть <sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Перевод Ю. Стефанова.

В этом «Искусстве обмана», украшенном элементами фавлю, фарсов, «Романа о Лисе», комедийный Вийон вместе с сотоварищами в бурлескных эпизодах добывают себе бесплатно хлеб и вино, требуху и рыбу. Одна за другой следуют истории о долгах без отдачи, о подмене кувшинов, о не доставленных по назначению ношах, о кражах выставленного товара и о многих иных проделках подобного же рода.

Настоящему Вийону, присутствующему лишь в первой главе, не раз приходилось прибегать к таким средствам, дабы утолить мучившие его голод и жажду. «Обеды на даровщинку», несомненно, являются в фарсовой литературе аналогом того, что в жизни было историей с «Чертовой тумбой», хорошо известной парижанам середины XV века, — историей, из которой, по утверждению автора «Завещания», он сделал роман. Так что легенда приписывает Вийону лишь те поступки, на которые мэтр Франсуа был способен. А сложилась легенда благодаря устной традиции, по своему разумению укрупнявшей и добавлявшей факты.

Многие школяры, современники Вийона, немало подивились бы, узнав, что в один прекрасный день тому припишут их собственные, вполне реальные проделки. Например, более

чем реальную кражу вишен в саду Сорбонны, реальное выцеживание красного вина из бочек в погребе коллежа, реальные фарсы, подстраиваемые носильщикам корзин, и манипуляции над лотками кондитеров. А в том же 1461 году, когда мэтр Франсуа с виноватым видом вернулся в спешно покинутый им четырьмя годами раньше Париж, человек пятнадцать студентов хорошо попались в расположенном неподалеку от ворот Сен-Мишель винограднике доброго мэтра Гийома Вийона, у которого жил Франсуа, где они вволю «поели и пособирали» — как дословно гласит текст, а не пособирали и поели — винограда.

Скучные перечисления краж с прилавков и устраиваемых на перекрестках засад, к чему сводятся «Обеды на даровщинку», в искаженном виде представили потомкам образ поэта «Завещаний». Фарс и анекдот заслонили собой сатиру и медитацию. Впрочем, в том виноват и сам Вийон, создавший подобный образ и писавший:

***Чтоб каждый, крест увидев мой,  
О добром вспомнил сумасброде...<sup>1</sup>***

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 120. Перевод Ф. Мендельсона.

Однако если *сумасбродство* является одной из составных частей его видения мира, То фарс это видение мира собой закрывал.

К счастью, в дальнейшем, в последующие века, побеждает представление о поэте, созданное Клеманом Маро, а не «Обедами на даровщинку». С 1533-го по 1542 год было осуществлено — главным образом в Париже — около пятнадцати изданий, явившихся ответом на запросы публики и «полностью выверенных и исправленных Клеманом Маро». Маро выступил здесь в роли поручителя. Он оказался наиболее проникательным наследником лирических форм, созданных в конце средневековья, и в момент обновления поэтического мировосприятия предложил в библиотеку ренессансного гуманиста рукопись одного письмоводителя старинного факультета искусств, который, сам того не подозревая, исповедовал гуманизм.

У классицистов были все причины для того, чтобы ничего не понять у Вийона, как, впрочем, и у Маро. Вийон не только оказался одним из объектов систематически проявлявшегося презрения к темным векам и схоластике, которая, удручая его, все же сумела оставить на нем свою печать, но также стал из-за своей чувствительности живым воплощением всего, что отвергалось канонами классицизма. Его глубинный дуализм не поддавался никакой декартовской систематизации. У Буало фантазия не проходит.

«И вот пришел Малерб». Вийона перестали и читать, и печатать. С 1542-го по 1723 год — ни одного издания. В 1742 году, у самых истоков французских комментированных публикаций, появилось первое в своем роде научное издание. Причем одним из комментаторов был не кто иной, как Эйзеб де Лорьер, начавший созидать такое гигантское и не законченное по сей день сооружение, как «Сборник указов королей Франции третьей династии».

Но вот мы попадаем в эпоху романтизма. Вийон возвращается в библиотеки и в антологии... Однако Вийон XIX века — это брат Оссиана. Вийон, увиденный сквозь призму творчества Гюго, несущий в себе страдания воображаемого Квазимодо. Он выступает гарантом подлинности средневековых химер Виоле ле Дюка. Сент-Бёв его и не упоминает. Привносит свое и Парнас: черты лица на портрете становятся более тонкими, гротеск исчезает. Теофиль Готье, автор «Эмалей и камней», игнорируя мнение толкователей, принимает все за чистую монету и обнаруживает, что у Вийона «прекрасная, открытая навстречу всем добрым чувствам душа». Шалопай остался где-то в прошлом. «Бедный Вийон» одерживает верх над «добрым сумасбродом».

Интересно, узнал бы мэтр Франсуа себя на этих сменявших друг друга портретах? Можно предположить, что при его любви к парадоксам он был бы даже польщен. Хотя и не обнаружил бы, очевидно, на сцене, где он когда-то расположил мир, поставив впереди Франсуа Вийона, ни мира, ни того, прежнего, Вийона.

Ну а затем, дабы восстановить подлинное лицо Вийона, современная историография помимо его стихов обратилась также и к другому рода источникам. Эти источники — судебные документы, относящиеся к самому Вийону. Параллельно, объединив усилия филологов и

лингвистов, современное литературоведение сумело наконец представить тексты, приближающиеся к тому, что было написано автором «Завещания». Совмещение текстологического анализа с комментариями историков позволило распознать, выявить намерения и намеки, различить в высказываниях их полифоническое звучание. Увеличилась сумма знаний об интеллектуальном, равно как и о социальном окружении. Совершенствование методов исследования позволило выйти за рамки собственно слов, а может быть, вообще за рамки вийоновского творчества...

В результате филологических штудий на свет появился целый десяток Вийонов, причем каждый по меньшей мере с двумя профилями. Кто он, этот Вийон, — собственный биограф или же обвинитель бездушного общества, памфлетист, выступающий против всех форм принуждения, а то и всех форм наслаждения, или человек, сводящий свои личные счеты с обществом, писатель, создавший целостное, построенное на единой идее произведение, или же сочинитель, отдающийся фантазии и летящий на крыльях сновидения? Поэт-повеса или горемыка, наделенный сомнительным воображением? Был ли он настоящим разбойником? Или всего лишь незадачливым проходившим? Кем предстает он в своих стихах — великим ритором или гуманистом? И что за чувство питает его фантастические образы — любовь или ненависть?

Доктринерские споры еще больше усложнили дело, словно Вийон и не высказал в свое время все, что он думает о доктринерских спорах. Некоторые, отдавая предпочтение историческому толкованию, вознамерились все объяснить с помощью реалий жизни автора, стали выискивать прототипы персонажей и подоплеку описанных событий, как будто подобное знание способно что-то изменить в самой магии слова. А на другом полюсе находятся интерпретаторы и критики, безапелляционно заявляющие: для того, чтобы понять поэта, совсем не обязательно знать, кем он был, не обязательно вглядываться в движущийся во времени калейдоскоп тел и душ.

## Поэт и свидетель

Человек един, но существуют непохожие друг на друга мгновения, и существует время, текущее в одном направлении. Творчество едино, но у редкого поэта стихи, написанные ночью, выглядят похожими на стихи, написанные днем. У отощавшего бродяги совсем не такое дыхание, как у заплывшего жиром буржуа. Итало Сичилиано, пытающийся в своем исследовании мировоззрения Вийона обнаружить внутреннее равновесие его столь противоречивого духа, однажды, в 1971 году, так сформулировал свою мысль в скромной сноске в низу страницы:

«В „добром сумасброде“, естественно, нетрудно заметить присутствие „бедного Вийона“, нетрудно заметить рассеянные повсюду следы этого присутствия. В разные эпохи победителем оказывался то один из них, то другой. Но вот пришло время, когда они мирно уживаются друг с другом. И произошло это потому, что речь идет о человеке, об одном и том же человеке, об уникальном существе».

Вийон ведь и сам говорил, что в нем все — видимость и противоречие. А раз так, то не следует ли сделать из этого вывод, что и в ищущем вдохновения поэте, и в бунтаре, нашедшем в поэзии свое средство выражения, все является одновременно и истиной, и ложью. Слова «смеюсь сквозь слезы» — это и признание, и программа.

Однако коль скоро историк здесь тоже бессилен чем-либо нам помочь, то, значит, и сам Вийон не стремился дать нам исчерпывающий ответ. Он умело пользовался инструментарием уклончивости и отговорки, утверждая свое право не отчитываться в своих действиях ни перед современниками, ни перед нами.

Стоит ли в таком случае историку братья за Вийона? Некоторые хотели совсем отнять у нас право вслушиваться в слова поэта: тот, утверждают, занимается нравоучениями, а тот вообще врет. Разве не заявил совершенно безапелляционно Пьер Гиро, воздавая в 1970 году честь исследовательским трудам всяких Пьеров Шампюнов и Огюстов Лоньонов как «примерам пунктуальности и честности», что «все выводы, базирующиеся на ложном постулате, тоже ложны»? Словно и не было почти трехсотлетнего периода критического осмысления реальности, в течение которого историческая наука обращала в точное знание фальсифицированные хартии и

поддельные летописи, предвзятую информацию и тенденциозную переписку! Неужели же поэт должен стать единственным существом, огражденным от попыток понять его мысли через его высказывания? «Автор облек вымысел в одеяния реальности», — добавляет Пьер Гиро, стремясь дискредитировать любое историческое толкование, представляющееся ему «монументом строгой логики, воздвигнутым на песке ошибочного суждения».

Вийон, естественно, писал не для того, чтобы запечатлеть факты, а для того, чтобы запечатлеть определенный, субъективно препарированный для читателей образ своих мыслей. «Завещание» — это не тот документ, из которого можно извлечь достоверные сведения об изображенных в нем либо тенью промелькнувших мужчинах и женщинах. Вийон выбрал их лишь для того, чтобы сделать статистами своей фантазии, так что суровые критики вийоновского историзма отнюдь не заблуждаются. И тем не менее разве можно все относить на счет одной только фантазии? Было бы неправильно сводить всю проблематику к вопросу: является ли «Завещание» автобиографией?

Говорить о себе и о других еще не означает писать автобиографию, и ни «Малое завещание», ни «Большое завещание» не являются «автобиографией мошенника Вийона». Так что пытаться создать жизнеописание мэтра Франсуа де Монкорбье по прозвищу де Лож, по прозвищу де Вийон, по прозвищу Вийон, основываясь на стихах Франсуа Вийона, было бы просто смешно. Ну а вот если попытаться выяснить, исходя из его творений, что же представляет собой мир Вийона?

Конечно, можно ограничиться и простым импрессионистическим удовольствием, получаемым от чтения стихов, и насладиться звучанием Слова, не зная ничего об авторе, так же, как можно отдаваться обаянию баховской «Пассакальи», не зная, кто такой Иоганн Себастьян Бах. Однако разве мы совершаем грех против искусства, когда пытаемся понять: понять творчество, понять человека, понять окружающий его и неизбежно отражаемый в творчестве мир?

Ведь несмотря на то, что суждения поэта не свободны от страсти, он является пронизательным наблюдателем этого стогранного мира. Его творчество питается воображением, но персонажей он одалживает у действительности. Почему бы историку не подойти к Вийону с другой стороны, не как к объекту исторического исследования, а как к свидетелю? Его взгляд на жизнь и смерть, на любовь и плутни, на большой город и большую дорогу, на принцев и прокуроров, на богатых и нищих — это взгляд наблюдателя, который и в своих предвзятых суждениях выступает в роли свидетеля. Как поэт, он взвешивает свои слова и свои паузы. Оттачивает формулировки своего свидетельского показания, поворачивая туда-сюда зеркало, поставленное им перед той эпохой.

*Я знаю, как на мед садятся мухи,  
Я знаю Смерть, что рыщет, все губя,  
Я знаю книги, истины и слухи,  
Я знаю все, но только не себя <sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 134. Перевод И. Эренбурга.

Вийон жил в своем времени, страстно в него всматривался и, думая лишь о себе, страдая от самовлюбленности, доходящей до самопоношения, беспрестанно говорил о других, как правило с неприязнью, смягчаемой иногда дружескими чувствами и всегда — фатализмом. Правда ли, что он никогда не стремился к тому, чтобы быть свидетелем своего времени? Он был таковым, во всяком случае, не в меньшей мере, чем писец, занимавшийся в ту же пору столь ценными нынче для историка счетными книгами в парижской ратуше. Так, значит, он представил лишь разрозненные зарисовки того мира? А разве «Дневники парижского горожанина» не являются настоящей историей Франции, хотя их горизонт и ограничен рамками церковной ограды? Да и к тому же одновременно он дает свидетельские показания об одном человеке: о Франсуа Вийоне. И предлагает нам панораму, где Вийон стоит лицом к остальному миру.

Благодаря своему гению Вийон оказался исключением, но его жизнь не является исключительной. Уникальность случая состоит в том, что этот гений позволяет нам увидеть мир глазами Вийона.

Речь здесь идет не о биографии поэта, и я с удовольствием высказался бы в духе Валери — «Какое мне дело до расиновских страстей? Для меня имеет значение лишь Федра...», — когда бы сам Валери не делал исключения для Вийона: если не знать человека, то невозможно ничего понять в его творчестве. А ведь за творчеством стоит общество, стоит целый мир. Никому и в голову не придет изучать Италию 1820 года, не обращаясь к Стендалю, или же Францию 1830 года, не обращаясь к Бальзаку. Ну а Вийон предлагает свою помощь, чтобы стать нашим проводником по Парижу 1460 года, равно как и по ведущим к нему и от него дорогам.

Критиковать свидетеля — это не значит затыкать себе уши, и было бы крайне неразумно отказываться внимать свидетельским показаниям из-за того, что они отмечены печатью гения. Разве поэта нужно считать одним-единственным свидетелем или лжесвидетелем, которому историк должен был бы заткнуть рот? Разве он не в состоянии поведать нам нечто интересное? И что это была бы за история, если бы из нее исчезли вместе со взглядом Золя на Жервезу, вместе со взглядом Пруста на Германтов также и взгляд Лафонтена на Францию Кольбера, взгляд Вийона на Париж Карла VII?

Историк, каковым я являюсь, порасспрашивал немало людей: властителей и чиновников, негоциантов и перевозчиков, кардиналов и ростовщиков. Они либо сами оставили записи, либо кто-то записал их слова вместо них. И я выслушал их всех: торговавших своими письменами счетоводов, стоявших на страже государственных интересов законоведов, тяготевших к многословию нотариусов, нечистых на руку маклеров. Поскольку я историк, то мне пришлось прочитать тысячи и тысячи страниц, заполненных средневековым почерком, отнюдь не часто напоминающим ту каллиграфию, которая была столь мила сердцу наших романтиков. Горы прозы. Писания юристов, торговцев, финансистов.

Среди выслушанных и, возможно, понятых мною лиц встречались иногда люди талантливые, но гораздо чаще посредственные. Свидетели как свидетели, похожие на многих других. Однако они нужны нам все, даже те, что лгут. А они лгут. Они оставили нам несколько хроник, несколько счетных книг, завещания, материалы судебных процессов. По существу, не так уж много, если вспомнить о тех миллионах оставшихся навсегда немymi из-за того, что они не владели пером и не обладали талантом,

Я долго опрашивал моих свидетелей, читал Вийона. И в один прекрасный день решил, что он мне сказал уже достаточно много. Как о самом себе, так и о других. О том, что было правдой и что было неправдой: о своих собственных правде и неправде. Он ведь все-таки поэт. Но разве мог я дать отвод свидетелю Вийону только из-за того, что он был гений?

## **Глава I**

### **Родился в Париже близ Понтуаза...**

#### **Парижане**

*В Париже, что близ Понтуаза,  
Я, Франсуа, увидел свет <sup>1</sup>.*

Поэт иронизирует с горечью, как человек, который в своем воображении уже видит себя повешенным. Его товарищу, делившему с ним забавы и лихие дела, удалось выкрутиться, потому что он был савояром и за него заступился герцог Савойи. А от кого можно ожидать протекции, если ты имел несчастье родиться всего-навсего парижанином? Остается лишь развлекаться игрой слов: в те времена слова *Франсуа* и *француз* <sup>2</sup> писались и произносились совершенно одинаково.

---

<sup>1</sup> Перевод Ю. Стефанова.

<sup>2</sup> Francois.

Вийону хорошо известно, что внутри пространства, отгороженного от остального мира двойным кольцом парижских стен, и торговец из Вернона, и виноградарь из Баньё французами не считаются и им для того, чтобы распродать на Гревской площади содержимое своих кузовов, необходимо подобрать себе во «французские подмастерья» кого-то из жителей Парижа.

При этом настоящих-то парижских парижан было не так уж и много. Весьма жестоко сказано — маленький городишко «близ Понтуаза». Парижане их не переваривали, этих жителей Понтуаза и других городов, заполнявших улицы и таверны, разыгрывавших из себя парижан и оказывавшихся конкурентами при найме на работу. Впрочем, магистру Франсуа из Монкорбье, что в Бурбонне, считать себя парижанином было бы неприлично. Иногда в надежде заработать несколько денье он обращается к герцогу Бурбону: «Страны гроза и благодать...» Однако это всего лишь обыденная формулировка, где нет ничего конкретного и где главное — это просьба поэта «вознаградить его за труд».

Мэтр Франсуа родился действительно в столице, но он первый в своем роду парижанин. Дядя его — уроженец Анжу. А Гийом де Вийон, который был для него «родимой матери добрее», являлся бургундцем из лангрского диосеза. Всем им не пристало сетовать на вторжение в столицу подданных провинциальных князей, — князей, владевших в Париже домами, благодаря которым их отцы либо деды выглядели своими в столице Карла VI. Получается, если употреблять слово в его узком значении, что магистр Франсуа де Монкорбье был новоиспеченным французом. И практически ничем не выделялся среди бургундцев, бретонцев, пикардийцев и нормандцев, населявших столицу.

От Парижа Карла VI к тому времени осталось, если не считать стен, очень и очень мало. Город подвергся чисткам с неизбежно сопровождающими их изгнаниями, ссылками, казнями. Начало смутным временам и террору положило восстание кабошьенов 1413 года. Затем распря арманьяков и бургиньонов, расправы Бедфорда — в результате всего этого город, который и без того нещадно опустошался эпидемиями, который воспроизводил свое население не столько за счет рождаемости, сколько благодаря иммиграции, совершенно обезлюдел. Ведь демографические показатели вообще во всех городах были удручающими, а тем более в столице, где для многих, начиная от писца и кончая подмастерьем, удобнее было оставаться холостяком, нежели обзаводиться семьей, и где структуры социальной конкуренции носили отчетливо выраженный мальтузианский характер.

В разгар войны город переполнялся беженцами, которых загоняли внутрь более или менее защищенного крепостными стенами пространства опасности жизни в сельской местности, прочесываемой всевозможными солдатами, ландскнехтами из обоих лагерей. Парижанин 1430-х годов — а Вийон родился в 1431 году, в год смерти Жанны д'Арк, — это зачастую виноградарь из Сюрена, земледelec из Бур-ла-Рена, дровосек из Сен-Клу, садовник из Исси. Едва дела начинали поправляться, как он опять возвращался к себе на родину.

В ту пору, когда Франсуа де Монкорбье стал посещать школы факультета искусств, Париж уже начал оправляться от потрясений, образовались вакансии, места. Стало не только больше мест, но и больше места. Каждый второй дом пустовал. Так что жилье обходилось недорого, а торговля рабочими местами осуществлялась на Гревской площади, на вытянувшейся вдоль винного порта площади, выполняющей одновременно и функции биржи труда, и функции ярмарки новостей. Париж залечивал свои раны и старался забыть недавнее прошлое. Когда 12 ноября 1437 года состоялся торжественный въезд в Париж короля Карла VII, никто там уже и не вспоминал ни о власти бургундцев, ни о том, что еще год назад Ричмонт вступил в город без единого выстрела: Карл Победитель заключил с Бургундией мир, а раз так, то зачем задавать бесполезные вопросы? Те, кто возвращались из Буржа, из Тура, из Пуатье, смешивались с теми, кто остался в Париже, кто служил там Бедфорду. Возник существенный, постепенно рассасывающийся излишек знати. В Парламенте сливались вместе Париж и Пуатье, а в счетной палате — Париж и Бурж. Такие же новые конкурентные отношения возникали в среде адвокатов, прокуроров, стряпчих и всего остального судейского сословия, равно как и в среде священников, каноников, школьных учителей. В Сорбонне богословы из Пуатье и из бургундского Парижа манипулировали одними и теми же силлогизмами, а судьи Жанны д'Арк начинали страдать забывчивостью. Не нужно, однако, заблуждаться: предусмотрительные люди заранее приняли меры предосторожности. Так парижский капитул оставил вакантным кресло декана, заседавшего

еще совсем недавно в королевском совете Буржа, причем доход, полагающийся за исполнение этой должности, был деликатно сохранен.

Ведь политический осмос происходил между людьми, принадлежавшими к одному и тому же миру, где хорошие манеры свидетельствовали о том, что долг платежом красен. Поначалу возвращение шло не очень активно, но в период с 1436-го по 1440 год гармоничное слияние закончилось и ряды парижской знати оказались полностью восстановлены. Арно де Марль, ставший членом Парламента в 1413 году, в эпоху антикабошьенской реакции, занял в качестве председателя то же самое кресло, которое, как все помнили, занимал в свое время его отец, адвокат при Карле V и канцлер при Карле VI. Все возвращалось на круги своя.

Ну а рядом с возвращавшимися были еще и выжившие из тех, кто оставался в городе. Не слишком высывая нос, они делали свои дела. Кричали за одного, потом кричали за другого. Больше всего они кричали «Да здравствует мир», что в определенные моменты свидетельствовало о наличии у них политической программы, а в другие моменты — о полном отсутствии какой бы то ни было политической программы...

Это был мир мелких бакалейщиков и торговцев средней руки. Очень многие мужчины и женщины вынуждены были покинуть город, спасаясь от безработицы. Из шестидесяти торговцев вином, имевших раньше лавки на Гревской площади, в обескровленном и заблокированном Париже 1430 года осталось только тридцать четыре. Мелкая буржуазия порта и разбросанных по прилегающим к нему улицам лавочек подверглась суровой селекции. Чем меньше было работы, тем меньше было людей; так что оставшиеся все же работали, но кое-как.

Правда, в 1445—1450 годы они оказались первыми на месте, чтобы воспользоваться плодами возрождения деловой активности. И как тут было не заметить среди этих парижских парижан представителей старинной столичной буржуазии, внуков и правнуков именитых, почти легендарных граждан, живших при Филиппе Августе и при Филиппе Красивом? Среди них, например, семьи Брак и Бюси, которых служба трону еще в эпоху первых королей из династии Валуа привела в ряды нового дворянства: когда в 1441 году Жермен Брак стал членом Парламента, он уже был владельцем лена и смотрелся в городе законченным аристократом. Не исчезли из употребления и многие фамилии крупных буржуа, хорошо известные в XIV веке в мире финансов: Жансьен, Эпернон по-прежнему сохранили в ратуше бразды правления административной машиной, руководящей экономической жизнью. А другие утратили свой быллой вес и пополнили ряды мелкой знати на уровне кварталов, на уровне цехов, превратились в скромных статистов обыденной парижской жизни. Они стали десятниками, стали членами суда. Без их присутствия не обходился ни один из тех еженедельных праздников, где соревновались в стрельбе из лука и арбалета. Они возглавляли торжественные шествия своих гильдий, а во время сходов с сознанием собственного достоинства принимали участие в спорах церковного старосты с кюре.

Эти истые парижане были теперь уже не на самом виду и все же по-прежнему пользовались некоторым влиянием. Совершенно естественно, что именно на их долю выпадала организация сопротивления пришельцам, которое сводилось к преграждению доступа в цеха и гильдии и имело целью наиболее эффективную защиту интересов местной буржуазии. Следствием этого защитного инстинкта старожилов, присваивавших себе Париж, стала еще более строгая регламентация — весьма вредная для экономического развития города, — создававшая еще более непреодолимые барьеры на пути иногородних рабочих и торговцев.

Бдительность проявлялась неукоснительно. Жестокий урок получил в 1464 году после избрания его старшиной Кристоф Пайяр, который, будучи королевским казначеем, считал себя уже вне пределов досягаемости. Ему пришлось сознаться, что он родился в Осере, а затем отойти от дел.

Более счастливая судьба оказалась у менялы Жана Ле Риша, которому в 1452 году удалось в какой-то степени убедить людей, что хотя он родом из Бур-ла-Рена, но от бремени его мать разрешилась в Париже.

Все это изысканное общество, противостоявшее нашествию «чужеземцев» — так называли здесь иногородних, будь они даже из Медона, — совершенно забывало, что Жан Жувенель, тот, благодаря кому Париж постепенно обрел свои муниципальные свободы, свое политическое

достоинство и свой экономический потенциал, прибыл в Париж еще во времена молодости Карла VI из Труа, надеясь заработать в столице состояние, соответствующее его адвокатскому таланту.

## Пришельцы

А кроме того, были еще пришельцы. Вот для них-то Париж как раз и являлся городом «близ Понтуаза». После того как перемирие в Туре дало стране временный, но скорый мир, война пошла на убыль. Ее можно было считать законченной, когда 10 ноября 1449 года Валуа торжественно вступил в Руан. В Нормандии победа была одержана в 1453 году. Тут уже пришло время опять заняться делами, и люди стали заниматься делами. Многие сочли, что наступила пора отправиться в Париж и занять оставшиеся вакантными места. Знати в некоторых государственных организациях после возвращения верных слуг Карла VII оказалось больше чем достаточно, а вот каменщиков в городе, где из-за отсутствия ремонта разрушилось столько домов, портных, бакалейщиков, менял явно не хватало. Так что нужно было торопиться, чтобы занять свободные места до прибытия новых претендентов. А это в свою очередь создавало новые вакансии: лакеев, горничных, подмастерьев. Нанимали в харчевнях и в домах призрения, на рынке в Шампо, в порту около Гревской площади, в Сен-Жерменской школе.

Согласно изданному в 1443 году указу, Карл VII полностью освобождал на три года от налога любого, кто приезжал на жительство в Париж. Ничего удивительного в том, что цены на жилье быстро подскочили. Между 1444-м и 1450 годами они по номинальной стоимости возросли вдвое, а по покупательной способности денег — в пять раз. Выиграли те, кому удалось сохранить свое собственное жилье или же своевременно заключить контракт на аренду.

Таким образом, в столице можно было услышать все наречия, какие только встречались на территории Франции. Однако парижским мальчишкам казалось, что весь этот люд прибыл из Понтуаза. День ходьбы — на таком расстоянии, как правило, находились города и особенно деревни, поставлявшие основную массу рабочих рук, которые требовались на стройках, в мастерских, в портах. Этим новым парижан, пришедших из близлежащих деревень, зачастую привлекал такой фактор, как безопасность, обеспечиваемая крепостной стеной и хорошей охраной. А когда перед глазами у них забрезжил мир, то появились новые соблазны в виде городского заработка и надежного найма на целый год.

А из более отдаленных районов, из расположенных в бассейне Сены городов, связанных на протяжении многих веков обоюдодоплезными связями с Парижем, прибывали мелкие торговцы, искусные, но не имеющие возможности продать свои изделия ремесленники, не лишенные таланта, но не имеющие клиентуры адвокаты. У мелкой буржуазии из Руана, Лувье, Труа, Сана, Осера или Мелёна столица ассоциировалась с надеждой составить себе состояние. Перед всеми теми, кто в связи с окончанием войны стремился найти новое применение своей энергии и своим амбициям, Париж открывал гораздо более широкие горизонты, чем провинция. По крайней мере так считалось. Тогда еще никто не знал, что на протяжении свыше ста лет сердцу Франции будет суждено биться не только на Сене, но и на Луаре.

Осторожный и считавший себя предусмотрительным Жак Кёр достаточно убедительно подтвердил это своим примером, поскольку, арендовав в 1441 году лавочку на Мосту менял, так ее и не занял, а вскоре и вообще расстался с ней, ибо понял, что лучше вкладывать деньги не в Париже. Те, у кого кругозор не ограничивался пределами одной области, начали понимать, что время парижской гегемонии кончилось. Однако это предстояло еще узнать.

Хотя Париж и не был чем-то вроде Эльдorado, он представлял собой огромный потребительский рынок: в 1450-х годах, когда уже стали заживать раны войны, но еще не было характерного для мирного времени процветания, там проживало около ста тысяч жителей. Там же находился и перекресток сухопутных дорог и речных путей, покрывавших добрую треть территории Франции. Даже наиболее привязанные к своей провинции негоцианты не могли устоять перед соблазном внедрить в Париже в качестве компаньона либо партнера — в качестве «комиссионера» — своего сына либо племянника, дабы те учились, служили, информировали.

И вот эти пришельцы достаточно быстро начинали поступать так же, как впоследствии поступил и Вийон, то есть они начинали мнить себя парижанами. Они сами, но отнюдь не настоящие парижане, для которых они были все еще чужаками, парижскими космополитами, увеличившимися в числе особенно после 1450 года и заметными прежде всего благодаря своей ежедневной сменяемости. Все они были заезжими гостями: и торговцы, и перевозчики, — все, начиная с тех удивительных кастильцев из Бургоса, которые в 1458 году привезли две тысячи шестьсот тюков шерсти мериносовых овец испанской Месты, и кончая вездесущим Клеманом де Гланом, который два-три раза в год поставлял продукцию своего карьера: точильные камни, водосточные воронки, надгробные плиты... Они что-то привозили и что-то увозили. Что-то заказывали. Не упускали ни единого случая заглянуть к бакалейщику или галантерейщику, дабы сделать более удачные покупки — иллюзия вечных путешественников, — нежели в лавках своего родного города.

Они везли с собой также и новости, как достоверные, так и ложные. Они являлись излюбленными клиентами хозяев гостиниц и трактирщиков, понимавших, что в смысле оплаты торговцы вразнос народ более надежный, чем школяры, причем они доставляли заработок также и правоведам, и меряльщикам, и устроителям торгов, а при случае их можно было использовать в качестве почтальонов.

Больше всего их приезжало из бассейна Сены и из больших промышленных и торговых городов Севера. Купцы из Руана, из Арраса, Амьена, Лилля, Кана, Байё, Сен-Ло были хорошо известны на Гревской площади, а их земляки «водяные извозчики», или, как бы мы сказали, судовщики, были постоянными гостями понтонов винного порта, зернового порта, угольного порта. Сектор коммерческих связей Парижа включал Кутанс, Дюнкерк, Турне, Льеж, Кёльн, Шалон, Лангр, Бон, Дижон. Короче говоря, он охватывал всю Францию, которая в той или иной мере пользовалась водными путями для того, чтобы получать вино из Осера и Бона, из Сюрена и Шайо, яблоки и груши — из нормандских долин, балки и дрова — из лесов Вилье-Коттере и Крепи-ан-Валуа, соленую сельдь и треску — с рыбных промыслов Дьепа и Руана.

А на юге этот сектор, можно сказать, не простирался дальше Луары. Жителей Орлеана в Париж приезжало достаточно много, чего нельзя сказать о жителях Тура, о беррийцах, анжевенцах, а уж что касается пуатвенцев и овернцев, то тех в столице практически вообще не было видно. Лионцы иногда попадались. Тулузцы и бордосцы выглядели явными иностранцами. Настоящие же иностранцы, «пришельцы из чужих королевств», то есть генуэзцы, флорентийцы, кастильцы, когда они хотели иметь дело с Францией, приезжали в иные города. Например, в Тур или в Лош, где находились король и его двор.

Таким образом, мелкомасштабный космополитизм Парижа 1450-х годов выражался в постоянной смене людей, приносимых Сеной и ее притоками, а также приходивших по дорогам из Фландрии и из Орлеана. Далеко в прошлом остались те времена, когда сиенские и флорентийские банки имели в Париже свои конторы и когда в столицу свозились товары из многих стран во славу завоевавших популярность еще в XII веке ярмарок Шампани. В описываемую же эпоху Париж превратился в контрольный пункт региональной торговли, периферийными узлами которой, то есть рынками накопления и перераспределения, стали маленькие, обозначившие границы судоходства порты Осера, Труа, Монтаржи, Компьеня. В Париж приезжали по делам, как правило, на один день. Однако из тех же самых речных портов каждый месяц отправлялись еще и суда, груженные утварью мелких провинциальных буржуа, крепнущих лавочников и смысленных ремесленников, стремившихся стать новыми буржуа Парижа. Им очень дорого обходилось проживание в столице и присяга на принадлежность к буржуазии, главным пунктом которой в отсутствие парижской хартии было обязательство вносить налоги на общественные нужды. И все же они стремились в Париж и везли туда по реке свою утварь, состоявшую из кое-какой мебели, нескольких предметов домашнего обихода, белья. И вот как раз им-то, равно как и многим другим, казалось, что Париж располагается «близ Понтуаз».

## **Школяры**

Мир школяров, в такой же степени определявший духовный облик парижского левого берега, в какой мир суконщиков и галантерейщиков определял облик правобережья, был столь же нестабилен и неоднороден. Они приходили отовсюду и не знали, куда отправятся потом. Все зависело от случая.

Были ли они тоже новыми парижанами, эти две-три тысячи потенциальных «искусствоведов», эти пятьсот-семьсот будущих теологов, юристов, врачей? Далеко не всегда. Большинство из них проходили, ни к чему не привязываясь и не укореняясь. Избранных для университетской карьеры, имевшей уже двухвековую традицию, оказывалось немного. Скольким из них служение Богу, королю, обвиняемым или больным обеспечивало безбедное существование в столице? Многие добивались в конечном счете одного и того же: положения, денег, заводили даже семью, но, как правило, в своем родном городе или в своей родной провинции. Кто-то оказывался не у дел, на улице, жил надеждой и подавниями, зачастую пытаясь скрыть под фольклорной маской, под кажущимся весельем, самую настоящую нищету, в которой стыдно было признаться.

Несколько тысяч клириков, не определивших своего духовного призвания (большинство, не слишком мучаясь сомнениями, возвращалось к мирской жизни), — для города со стотысячным населением это было не очень много. Однако когда их видели и слышали, то создавалось совсем иное впечатление. В обществе, сформировавшемся из коренных парижан и из пришельцев, живших раньше в бассейне Сены, университет являлся дополнительным стимулятором смешения населения и расширения интеллектуальных горизонтов.

Обладание собственным университетом постепенно стало одним из элементов престижности и сильной власти, являвшимся предметом гордости местных князей. А это привело в середине XV века к утрате парижским университетом его прежнего влияния. Согласно новому идеалу, каждый шел учиться в свой университет. Получалось, что тот властитель, который не имел учебных заведений, как бы отдавал на откуп другим право формировать необходимую ему элиту и вдобавок лишал своих подданных значительного источника доходов, каковым являлось выделение определенной доли церковного бюджета университетам. Иметь свой университет было столь же важно, как иметь свое судопроизводство, свой монетный двор, свое налогообложение. Количество университетов, таким образом, увеличивалось. И студенты оставались у себя дома, шли учиться в близлежащие заведения.

Те из них, которые направлялись учиться в университеты, учрежденные в Доле и Лёвене герцогом Бургундии Филиппом Добрым, лишали парижских преподавателей клиентуры, еще недавно прибывавшей из восточных и северных областей. Жестокий удар нанесли парижскому набору также и возникшие из-за раздела Франции на две части университет в Пуатье, основанный Карлом VII, и университет в Кане, основанный Бедфордом. Давнее соперничество Тулузы и Парижа, равно как и традиционная независимость Монпелье, всегда сдерживали поток южан, желавших учиться на севере, а становление таких децентрализованных организмов, как Тулузский Парламент и счетная палата в Монпелье, стало еще одним фактором сдерживания для тех, кто, получив образование в южных университетах, стремился занять высокие посты в парижской юриспруденции и в администрации. Каждый с тех пор делал свою карьеру у себя дома.

Таким образом, в школах на улице Фуар и Кло-Брюно оставалась и обновлялась все та же нестабильная масса студентов, прибывших с «французского» Севера: из Артуа, из Пикардии, из французской Фландрии, а также из ориентирующейся на Руан и Лизье Нормандии, отказывающейся признавать влияние Кана. Попадались там и выходцы из Тура, Берри, Ле-Мана: радиус притяжения университета все-таки превосходил по своим размерам радиус притяжения Гревской площади. Были там и представители западной Бургундии, представители северной Аквитании. Несколько голландцев, шотландцев, пришельцев с Рейна поддерживали иллюзию, что Сорбонна, как и во времена, когда в ней преподавали итальянец Фома Аквинский и Сигер Брабантский, по-прежнему остается международным научным центром. В основном же школяры, подобно торговцам и ремесленникам, тоже оказывались выходцами из Понтуаза, из Жуаньи, из Шартра, из Суассена. Либо из Парижа, как, например, Франсуа де Монкорбье...

Когда летом 1452 года он получил степень магистра искусств — речь шла о «свободных искусствах», — открывавшую перед ним двери так называемых высших факультетов: богословского, юридического либо медицинского, то оказалось, что хотя титул «магистр» и

производит неплохой эффект, но сам по себе еще не кормит, а также что в своем выпуске он единственный парижанин, правда не потомственный. Географический диапазон «выпуска», получившего диплом вместе с ним, — двенадцать человек, вписанных в регистрационную ведомость под рубрикой «французская нация», где фигурирует, естественно, и он, — охватывал города Тул, Лангр, Тур, Сен-Пол-де-Леон, Орлеан. А другие одновременно с ним были вписаны в графу «Пикардийская нация», «нормандская нация». Фигурировала там также и «немецкая» нация, ранее называемая «английской», причем под такой рубрикой регистрировались бакалавры и лиценциаты из Трира, Кёльна, Утрехта, Абердина, Глазго, Сент-Андруса и даже из финского города Турку.

Так что Париж — это было нечто, находившееся в постоянном движении, и едиными парижские граждане выглядели только в дни собраний в «Доме со стойками», то есть в замыкавшей с восточной стороны Гревскую площадь ратуше, где за стойками обсуждали городские проблемы, решали вопросы найма рабочей силы, а также помещали только что сгруженные бочки, перед тем как отправить их на следующий день на продажу.

По существу, те несколько тысяч «чужеземцев», которые говорили с осерским либо лилльским акцентом, являлись демографическим резервом столицы, где смертность превышала рождаемость и из-за того, что жениться там стоило дороже, чем в иных местах, и из-за того, что городская скученность оказывалась незаменимым помощником эпидемий чумы и холеры, коклюша и оспы. Так, в 1438 году, когда Франсуа де Монкорбье был еще семилетним мальчишкой, от оспы, похоже, умерли пятьдесят тысяч парижан. Во всяком случае, так утверждали современники, в спешке, возможно, несколько завьсившие цифры. Однако нам известно, что в тот год во время эпидемии одна только больница «Божий дом» похоронила 5311 усопших... Что же касается эпидемии 1445 года, то никто не может сказать точных размеров причиненных ею опустошений, но надолго переживший ее ужас говорит сам за себя. Во всяком случае, едва «чума» появлялась в Париже, как смерть начинала вести счет на тысячи.

Следовательно, столица не могла пренебрегать потоком иммигрантов, который с большей или меньшей скоростью восстанавливал равновесие и обеспечивал нормальное функционирование городского организма. «Смертность», то есть эпидемия, означала, что у выживших появлялось больше возможностей найти себе работу, но только ценой переезда. Периодически опустошаемая столица компенсировала свои потери за счет демографической избыточности близлежащих областей. Невзирая на демографические катастрофы и эндемический дефицит, Париж возобновлял людские ресурсы, получая новую кровь из сельской местности и из провинции.

Подобные процессы перемешивания приносили свои плоды. Тридцатидвухлетний Франсуа де Монкорбье по прозвищу Вийон, сын одного из многочисленных пришедших в Париж провинциалов, мог доставить себе удовольствие поиронизировать над печальной судьбой парижанина. Он ведь сам из Парижа, из Парижа, что «близ Понтуаза». Такое о себе мог сказать не каждый.

## **Глава II**

### **У нас в монастыре изображение ада...**

#### **Приход и монастырь**

Это старая женщина, чье имя мы так никогда и не узнаем. Молясь Богоматери и сокрушаясь из-за выходок своего сына, она жила в ожидании смерти. Ей, вероятно, было лет пятьдесят...

*Я женщина как все, не знаю то, что надо,*

*И непонятны мне ни грамота, ни счет.*

*У нас в монастыре изображение ада*

*И свежих райских птиц мой бедный взор влечет.*

*В раю цветут цветы. В аду смола течет.*

*В раю все весело, в аду лишь мука злая<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Избранное. М., 1984. С. 347. Перевод В. Рождественского.

Подобно многим другим людям, мать Франсуа Вийона из своего прихода ушла. Столетие несчастий отнюдь не сделало образ епархиального духовенства более привлекательным. Уже в 1348 году бедный кармелитский монах Жан де Венет отмечал, что во время эпидемии священники охотно уступали заботу о душах и телах «братьям» из нищенствующих орденов. Священники жили довольно вольготно, заседали в капитулах и коллегиях, причем не обнаруживали признаков волнения ни во время вселенских соборов, ни даже во время Великой Схизмы, когда под угрозой находилось само существование церкви. Ни для кого не было тайной, что о своих доходах они заботились гораздо больше, чем о регулярном отправлении служб. Крепко обосновавшись на своих кафедрах, эти проповедники попеременно оправдывали сначала бургундский реформизм, потом войну на стороне Ланкастера, суровый суд клерикалов над Жанной д'Арк и, наконец, всеобщий мир.

Они являлись частью иерархии, той самой, что обсуждала в 1438 году вопрос о принятии Францией нескольких текстов, которые бедная женщина, даже если бы она их и знала, все равно бы не поняла: тех самых «канонов» Базельского собора, получивших название «Прагматической санкции» и ставших конституцией — тут же оспоренной — французской церкви, перешедшей из-под власти папы под власть короля.

Что эта не знающая ни грамоты, ни счета женщина поняла бы в замысловатых историях духовных пастырей, в историях, где в одной Божьей церкви вдруг оказывалось сразу два папы, где епископам случалось, отвергая власть папы, заявлять, что церковь — это они, епископы; в историях, где церкви, подобно народам, шли друг на друга войной; что бы она поняла, оказавшись на заседаниях собора, где о рентах и юрисдикциях говорилось больше, чем об аде и рае?

А в то же время Париж был городом ста колоколен. В распоряжении верующих имелось тридцать пять приходов: семь на левом берегу, в обиходе называемом Университетом, четырнадцать на правом берегу, отождествляемом с Городом как таковым, четырнадцать на единственном в ту пору обитаемом острове Сите. По воскресеньям и по праздничным дням там звучали мессы — мессы, где вместо голосов прихожан все чаще слышались голоса учеников из детских певческих школ и где орган аккомпанировал песнопениям, а то и вовсе их замещал. Там крестили детей и там же отпевали покойников. Там исповедовались и, как то предписывала церковь, причащались на Пасху. Мало того, довольно плотная и раскинутая по всему королевству сеть приходов со временем превратилась во что-то вроде административного деления страны. Так что во время воскресной проповеди кюре обнародовали указы и давали населению советы. А когда устраивались процессии для того, чтобы славить либо умолять Бога, то организовывались они в соответствии с официальными указами и в определенной последовательности от прихода к приходу. Очень часто именно по приходам осуществлялись переписи населения, распределение и сбор налогов, равно как и распределение возлагаемых на горожан общественных повинностей.

Не исключено, что как раз вот эти административные успехи в не меньшей мере, чем духовная прохладца священников, для которых приход являлся не столько средством единения душ, сколько средством получения дохода, и стал причиной падения авторитета приходской церкви и упадка ее культуры. Подобно собору, где организовывались и торжественные королевские молебны, привлекавшие большое количество людей, и капитульные службы, проходившие почти что в интимной обстановке, приходская церковь имела много функций и в глазах простого люда была не только церковью.

Это понимали именитые горожане и вносили свое дополнительное содержание в страдающую дефицитом духовности жизнь церкви. К приходскому древу прививались разного рода братства и часовни, разделяя молящуюся общину на множество мелких общин и маргинальных культов. У каждого своя месса, своя часовня, в зависимости от принадлежности к той или иной семье, той или иной профессии, тому или иному братству. У каждого свои склепы, уже сами по себе превращавшиеся в часовни, свои запрестольные образы, свои витражи во славу

семейства, ремесла и их святого покровителя, а деление на приделы переводило на язык пространства частные особенности набожности: неф пустел и молящиеся сосредоточивались между контрфорсами, в привычных местах третьего сословия или перед алтарем общины, под витражом, прославлявшим святого и подчеркивавшим людскую щедрость.

Существовала целая гамма пожертвований: на свечи, на собор, на ежегодную мессу, на запрестольные образы. Каждый мог иметь собственный праздник, и никто не удивлялся, когда во время мессы или на протяжении всего дня какой-нибудь местный святой одерживал верх над официальным покровителем церкви.

Так же как часослову молящиеся и любители искусства, выражая свое особое мнение, отдавали предпочтение перед требником, так и жертвования позволяли в лоне коллективного и навязанного извне ритуала выражать разнообразие форм благочестия и чувствования. Вийон тоже не отказывал себе в удовольствии совершать такого рода жертвования, тем более что благодаря опыту многолетнего наблюдения и своему воображению он мог делать их, не раскошеляясь.

Богатство религиозных братств властям не нравилось. Во-первых, у них оседала часть золота и серебра, которых в обращении и так не хватало. А главное, правительство Карла VII опасалось любых тенденций, способных вызвать дробление общества. Ведь распыление набожности вело к расчленению одной из иерархических структур, являющихся фундаментом политического господства. Все оказывалось взаимосвязанным, что, кстати, обнаружилось в момент, когда в 1441 году потребовалось финансировать осаду Понтуаза. Один из документов той эпохи гласил следующее:

«Каждый день созывались советы и устраивались заговоры, где одни выражали мнение, что нужно снять осаду, а другие — что нужно взять все деньги, имеющиеся у парижских братств. И полагали лжесоветники, что в Париже в два раза больше братств, чем нужно. И так велика была их злоба, что у значительной части братств все было урезано больше чем вдвое. Там, где раньше было четыре службы: две мессы с хором и две тихие обеды, осталась только одна тихая обедня. Там, где было двадцать или тридцать свечей, оставили только три или четыре, без факелов и без подобающих Богу почестей».

Так что в конечном счете деятельность приходов угасла. Приход стал местом, географической точкой, организацией. И перестал быть общиной.

Верующие охотно несли свою набожность и свою щедрость в многочисленные религиозные заведения, пышным цветом расцветавшие под парижским небом. Черные монахи, белые монахи, братья из нищенствующих орденов, как босые, так и обутые, и монашки, монашки из самых разных орденов, со своими открытыми всем церквами, со своими более или менее специфическими братствами, с праздниками своих святых и, главное, со своими собственными богадельнями. Благочестивые прихожане ежедневно являлись туда на мессу. Обнаруживали там гостеприимный кров и духовные наставления. И обретали привычку возвращаться туда снова и снова. Приходили и погружались в раздумья перед евхаристией, которую именно тогда перестали убирать после мессы и начали оставлять в дарохранительнице, стоящей на алтаре. Ведь причастие — это не только освященный хлеб мессы, это также и материализованное жертвоприношение, физическое приобщение к Богу, это само тело Христа, которому постоянно поклоняются и символ которого носят по большим праздникам на улицах.

## **Аббатства**

Крупные аббатства явились увековеченной, хотя и сильно измененной осуществленными на протяжении многих веков формой бенедиктинского монашества. На правом берегу Сены на север от Большой бойни между улицами Сен-Дени и Кенкампуа над городом возвышалась колокольня монастыря Сен-Маглуар. А на другом берегу бросались в глаза расположенные между воротами Сен-Жермен и воротами Бюси три массивные башни аббатства Сен-Жермен-де-Пре. Существовали также многочисленные, основанные конгрегацией Клуни приорства, причем порой весьма крупные, вроде аббатства Сен-Мартен-де-Шан, расположенного в самом центре большого земельного владения, благодаря которому его приор являлся одним из главных парижских судей и

одновременно главой ордена; у аббатства Сен-Мартен-де-Шан были собственные приорства вроде находившихся рядом с ним Сен-Лье и Сен-Лорана и пристроившегося между Собором Парижской Богоматери и Большим мостом приорства Сен-Дени-де-ла-Шартр.

Таких приорств, соперничавших в глазах верующих с епархиальными приходами, можно было бы назвать по крайней мере штук двадцать. На острове это были Сен-Бартеlemi, подчинявшийся Сен-Маглуару, и Сент-Элуа, подчинявшийся аббатству Сен-Мор-де-Фоссе. На юге находилось аббатство Нотр-Дам-де-Шан, которое у самых врат Парижа демонстрировало присутствие крупного турецкого аббатства Мармутье. А на берегу Сены аббатство Сен-Жюльен являлось парижским филиалом аббатства Лонпон. И аббатства, и приорства были монастырями. Так что в глазах набожной прихожанки или горожанина, шествовавшего вместе со своим братством, приход и монастырь часто сливались в единое целое. Идти в монастырь означало идти в приход, и наоборот. Причем охотнее ходили в те церкви, где не вывешивались королевские указы...

Обычно подобные верующие предпочитали иметь дело с так называемыми белыми монахами. Описываемую эпоху отделяли от великих реформаторов целых пятнадцать поколений, и, следовательно, белый монах уже не ассоциировался в сознании людей с принципами нового монашества, появившегося на рубеже XI и XII веков. Отказ от монастырской роскоши казался уже не столь очевидной необходимостью, а реакция против мирской власти Ключи переместилась из разряда идей в разряд тяжб. Ну а рассчитывать на то, чтобы стремление к умерщвлению плоти в качестве базовой духовной ценности религиозной жизни обрело в Париже многочисленных адептов, конечно же, не приходилось.

Белый ли, черный ли — монах есть монах. В сознании обычного верующего различия между ними не простиралось дальше цвета их одеяний. Он переносился мысленно в Цистерциум, когда молился на правом берегу Сены, в церкви Сент-Антуан-де-Шан, стоявшей в поле, над которым господствовала Бастилия Карла V, или же когда, оказавшись на левом берегу, входил в просторную церковь нависшего над рекой и над островом Богоматери — в ту пору совершенно пустынного и лишь впоследствии слившегося с островом Сен-Луи — бернардинского монастыря, принадлежавшего цистерцианскому ордену.

Ну а если верующий был завсегда аббатства Сен-Виктор, уравновешивавшего на левом берегу вниз по реке духовное влияние, которое вверх по реке исходило от Сен-Жермен-де-Пре, в таком случае он числился среди адептов святого Августина и черного духовенства. Сен-Виктор олицетворял собой престиж обновленного старинного монашества, престиж великих богословов XII века, а также экономическую мощь, обязанную своим происхождением щедрости парижского люда. В глазах студентов Сен-Виктор являлся также соперником его же собственной «дщери», то есть церкви Святой Женевиевы, безраздельно царившей на горе к востоку от большой улицы Сен-Жак. Можно было сделать выбор в пользу одного из соперников и ждать от него защиты и правосудия. От него ждали и необходимого заступничества перед высшей властью, защищавшей духовных лиц и особенно студентов от произвола папы, являвшегося епископом Парижа. Однако в конце войны Сен-Виктор превратился в развалины, подобно многим другим монастырям и домам, находившимся за городской стеной и пользовавшимся своими преимуществами лишь в мирное время. 16 сентября 1449 года на собрании в церкви матюренов ректор от имени университета обратился с призывом ко всему христианскому миру, чтобы тот благосклонно относился к сборщикам средств на нужды Сен-Виктора. Однако надежда на то, что подобный призыв к христианам способен спасти Сен-Виктор, была в значительной степени иллюзорной. Ведь в конце войны везде хватало своих собственных бедняков, у каждой епархии были свои руины, а от Сен-Виктора к тому времени осталось лишь название...

То же самое черное духовенство располагалось и в аббатстве Сен-Поль, в особняке Сен-Поль, который был свидетелем славных дел самых первых Валуа, а также в аббатстве Сент-Катрин-дю-Валь-дез-Эколье и в крошечной церковке Сен-Дени-дю-Па, пристроившейся на острове Сите к самому Собору Парижской Богоматери.

Молиться в аббатстве, быть там похороненным означало то же самое, что молиться и быть похороненным в своем приходе. Государственная казна строго присматривала за границами приходов, и на тот случай, если бы кто-то попытался уклониться от налогов, администрация располагала хорошей памятью и хорошими архивами, а вот церковь следила не так строго, и

равновесие тех или иных групп давления, каковыми являлись различные виды духовенства, не позволяло одержать верх никому из них. Каждый бился за свою клиентуру. И тот, кто был посильнее, одерживал победу, но лишь на минуту.

Иначе обстояло дело, когда культовые отправления выходили за рамки традиционных форм. В расположенном на юг от Сен-Жермен-де-Пре Вовере картезианцы, обосновавшиеся там еще при Людовике Святом, давали людям пристанище, но проповедей не читали. Вверх по реке от Гревской площади бегинки в своем монастыре, тоже основанном Людовиком Святым и получившем впоследствии название «Ave Maria», просто, спокойно и благочестиво жили, изолировавшись от торговой суеты своего квартала. А на севере столицы, около ворот Сен-Дени, находился монастырь Божьих дев, благотворительный приют без религиозных служб.

## Нищие

Наравне с традиционными монашескими орденами, в большей или меньшей степени подвергшимися реформам, существовали также монастыри нищенствующих орденов, выделявшиеся своей оригинальностью, своим интеллектуальным авторитетом и глубоким проникновением в жизнь города. Если черные, а также и белые монахи являлись в городском обществе всего лишь представителями духовности, обретаемой благодаря самоизоляции, из-за чего аббатства походили не на кварталы, а на анклав, то братья из орденов, обобщенно называемых нищенствующими, напротив, находились в самом сердце той экономической и общественной силы, каковой от самого своего рождения являлся богатый и бедный люд.

Они были нищими по самой своей сути, так как, чтобы существовать, протягивали руку за подаванием, отвергая древний принцип клерикальной собственности, превращавшей в феодальные владения церкви земли, которые щедрость верующих предназначала Богу и святым. Жить подаванием означало возвращаться к евангельской бедности. Так считали святой Франциск Ассизский и святой Доминик.

Оригинальность доминиканцев, францисканцев, кармелитов и августинцев заключалась в том, что они в XV веке еще продолжали оставаться вне рамок постоянно крепнущих ленных структур феодального общества. У них, естественно, были дома и церкви, жили они в монастырях и имели богатые библиотеки. Располагали они и собственными школами. И питались тем, что закупал монастырский эконо, а не тем, что оставляли у входа верующие. Дары поступали, а необходимость просить подавание исчезла. Однако при этом монахи нищенствующих орденов по-прежнему не признавали правосудия и не платили подати. По-прежнему странствовали из монастыря в монастырь. Находились в миру, а не в монастырской изоляции.

Церкви у них были без претензий, просторные и светлые. Скромная колокольня над крышей предназначалась для того, чтобы там находился колокол, а не для того, чтобы помочь фасаду господствовать над близлежащими строениями.

И в церкви святого Якова в Париже, и в церкви святого Якова в Тулузе два параллельных нефа, причем это совпадение не случайно: нефы предназначены для верующих, а не для процессий. С улицы, а то и с набережной, как в большом августинском монастыре, в церковь вел широкий вход. Входил любой, кто хотел и когда хотел. И исповедник был всегда готов к услугам.

Ненависть кюре к нищенствующим братьям восходит к весьма давним временам. Она проявлялась уже в эпоху Фомы Аквинского, когда братья несли Слово Божие бесплатно, в то время как для других это была доходная профессия. Уже в XIII веке в первой части «Романа о Розе» богослов Гийом де Лоррис сокрушался по поводу алчности иаковитов и кордельеров, то есть доминиканцев и францисканцев. Во времена Франсуа Вийона священники лишь скрепя сердце подчинялись булле «*Regnans in excelsis*»<sup>1</sup>, посредством которой папа Александр V в 1409 году вновь подтвердил право монахов из нищенствующих орденов исповедовать верующих независимо от их приходской принадлежности и безотносительно к обязательному пасхальному причастию. Дело, однако, в том, что если слово, как всякий Божий дар, было бесплатным, то допускать бесплатного покаяния не следовало, поскольку таковое лишало бы грешника возможности доказать искренность своего раскаяния: чтобы последнее материализовалось, нужно было

запустить руку в кошелек. Кюре не ошибались: путь кружки для пожертвований пролегал через исповедальню. Поэтому-то Вийон взял и придумал такой воображаемый подарок священникам, чтобы у них было орудие борьбы против буллы Николая V, который только что, в 1448 году, подтвердил права нищенствующих монахов.

---

<sup>1</sup> Высокое царствие (*лат.*).

***Святейшую из папских булл,  
В которой папа припугнул  
Кюре-мздоимцев, оставляю  
Тем, кто в нее не заглянул*<sup>1</sup>.**

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 23. Перевод Ф. Мендельсона.

На проповедях у кармелитов с площади Мобер, у иаковитов с улицы Сен-Жак, у кордельеров и августинцев народ теснился еще и потому, что настрой верующих поддерживался желанием подражать великим мира сего. Там ведь ко всему прочему еще и хоронили, причем склонность продемонстрировать свою независимость от епархий и приходов обнаруживали не только университетские магистры. Стремление обособиться, подталкивающее народ к часовням — двадцать шесть часовен только лишь по периметру церкви кордельеров, — не чуждо было также и принцам, баронам, буржуазии, когда это становилось ей доступным. В монастыре кордельеров погребены четыре королевы — супруги Филиппа III Смелого, Филиппа IV Красивого и двух сыновей последнего, — а у августинцев недалеко от архиепископа Жилия Колонны и коннетабля Рауля де Бриенна похоронены торговцы из Люсе Бертелеми Спифам и Огюстен Исбар.

Без вездесущих «братьев» не обходился ни один квартал. Вниз по Сене на левом берегу напротив луврского донжона и дворцовых садов на Сите размещались августинцы, «отшельники святого Августина», которых никто не путал с черными монахами, апеллировавшими к тому же святому. В 1449 году молния разрушила длинный неф их храма. И вот после окончания войны, после того как возобновилось судоходство по реке, вдоль которой неф вытянулся более чем на двести шагов, церковь августинцев вновь открылась для верующих, живших в не слишком плотно заселенной части города, образованной западной оконечностью университета. Освящение храма торжественно отпраздновали в 1453 году.

А совсем рядом с августинцами, прямо вдоль их ограды, располагались кордельеры, то есть францисканцы, подпоясывавшие сутаны из домотканого сукна грубыми веревками. Этот орден стремился подавать пример своей бедностью, что не мешало трем нефам быть вместительно гостеприимными, а хорам с двадцатью одним приделом выглядеть заметно более просторными, чем та часть церкви, которая предназначена для мирян. Горожане и школяры из соседних приходов: из Сент-Андре-дез-Ар, из Сен-Северена, из Сен-Бенуа-ле-Бетурне — толпами ходили на службы и проповеди кордельеров. Монастырь выполнял одновременно и функции коллежа. Сохранившаяся до наших дней в самом центре Латинского квартала трапезная достаточно красноречиво свидетельствует о количестве людей, имевших право на еду.

Среди посещавшего кордельеров народа формировались разные духовные течения. Возникали своеобразные общины, что-то среднее между религиозными братствами и мирскими орденами, способными дать толчок интеллектуальной жизни даже в среде служителей церкви. Причем различия между этими общинами касались не только литургии и благотворительной деятельности, но и вопросов толкования Евангелия.

Ниже Сорбонны, рядом с парижским особняком аббатства Клюни и напротив обители, где жил магистр Гийом де Вийон, располагался выходивший на улицу Сен-Жак монастырь матюренов. Официально здание называлось больницей «монахов, выкупающих пленных», а орден — орденом Святой Троицы. На самом же деле парижане были абсолютно уверены, что все, что касается университета, решается именно там. Там, например, через раз проводилась генеральная ассамблея факультета искусств. А если говорить о церкви матюренов, то она, по существу, выполняла функции обычного зала собраний самого различного уровня, как обыденных, так и торжественных. Именно там каждый триместр выбирался ректор факультета искусств, в

действительности являвшийся главой всей университетской общины. Именно там в ответственные моменты национальной либо университетской истории *alma mater* с помощью тайного голосования формулировала свое коллективное мнение.

Кроме того, на самом верху улицы Сен-Жак по правой ее стороне, почти напротив маленькой церквушки Сент-Этьен-де-Гре, находилась резиденция братьев-проповедников. Тогда их еще очень редко называли «доминиканцами». В Париже улица Сен-Жак — святой Жак, он же святой Жакоб, он же святой Иаков — дала название монастырю и даже всему ордену; их стали звать «иаковитами». Причем не только в столице, но и в провинции.

В представлении непосвященного прохожего иаковитская обитель ассоциировалась прежде всего с вытянувшейся в длину церковью, способной принять в своих двух разделенных двенадцатью колоннами нефами две-три тысячи верующих. Хорошо знаком был парижанам и сам монастырь, прямоугольное просторное сооружение между церковью и старой, воздвигнутой при Филиппе Августе крепостной стеной, на протяжении всего XV века остававшейся единственным оборонительным сооружением левобережья. Ну а что касается школяров, то для них обитель иаковитов являлась еще и целым комплексом рассредоточившихся в сторону ворот Сен-Мишель учебных заведений ордена, в стенах которых еще жила память о святом Фоме Аквинском. Юные доминиканцы проходили там курс интенсивного обучения, превращавший их в философов и богословов, набивших руку в суровой схоластике: программа у них была более насыщенная, чем в Сорбонне, и проходила она за более короткий срок. Однако верность братьев-проповедников первоначально новаторскому учению Фомы Аквинского превратила их в момент формирования неоплатонизма в самых консервативных из всех тогдашних богословов и философов, в людей наиболее неподатливых к восприятию новых веяний.

Для простого люда иаковитская обитель была прежде всего местом, где молились, местом, овеянным былой славой и сохранившим престиж благодаря удобному расположению. Ведь она стояла на одной из самых главных артерий столицы. Всего в двух шагах от ворот Сен-Жак, через которые проезжали все, кто направлялся в Орлеан, а также к Луаре и к центру Франции. Ворота Сен-Жак известны не только тем, что через них 13 апреля 1436 года в Париж во главе своей армии въехал Ричмонт. Они были также одними из тех немногих ворот, которые во время войны парижане держали либо открытыми, либо по крайней мере готовыми в любую минуту раскрыться, тогда как другие ворота были «закрыты и заштукатурены». Влияние иаковитов в значительной мере объяснялось именно тем, что их жильё располагалось всего в двух шагах от ворот, которые из-за их первостепенного значения для жизни столицы парижане не замуровывали. Ну а обосновались монахи там, потому что выгода этого местоположения была очевидна.

Таким образом, резиденция иаковитов являлась прежде всего монастырем, в то время как взобравшаяся на вершину горы обитель Сент-Женевьев являлась преимущественно аббатством. Ведь Сент-Женевьев — это изолированное, лежащее в стороне от больших улиц владение с весьма хорошо защищенной церковью посередине. А иаковитский монастырь — это «Божий дом», открытый всем и вся. Войти туда не составляло никакой проблемы.

Перейдем на другой берег Сены. Хотя парижане и считали, что правобережье принадлежит скорее деловым людям, чем церковникам, религиозные заведения там были представлены тоже в изобилии. Однако благотворительность на правом берегу функционировала несколько иначе. Нищий ремесленник — это нечто совершенно иное, чем нищий клирик. Средний возраст безработного подмастерья или покинутой девушки был иным, чем средний возраст не имеющего доходов школяра. Поэтому здесь было мало коллежей для неимущих бурсаков, но зато много больниц и домов престарелых.

Так, на Гревской площади, рядом с колоннами ратуши, под которыми торговцы вином нередко устраивали склад винных бочек, располагался приют Святого Духа. Чуть дальше, на улице Мортель, протянувшейся от Гревской площади до обители Сен-Поль, богадельня Одриет воскрешала память о милосердии Этьена Одри, раздатчика хлеба при Филиппе Красивом. По обе стороны просторной улицы Сен-Дени располагались приют Троицы и приют Сен-Жак, где останавливались направлявшиеся в Сантьяго-де-Компостела паломники. А в самом конце улицы, у ворот Сен-Дени монастырь Божьих дев служил неким эквивалентом иаковитского монастыря у ворот Сен-Жак — разумеется, с поправкой на интеллектуальный престиж последнего, — то есть был молитвенным домом у входа в город.

Там же, на правом берегу, парижане, страдавшие горячкой, ходили испрашивать Божьей милости в монастырь Сент-Антуан, что стоял на восточной окраине Парижа, а те, у кого было плохо с глазами, направлялись на запад, к воротам Сент-Оноре, где за ними ухаживали в «Доме слепых». Вийон как-то раз обыграл в одном из своих стихотворений тему, связанную с этим заведением.

*Затем, мой дар слепцам Парижа, —  
Мне прочим нечего подать,  
Но парижан я не обижу, —  
Так вот, чтоб легче разобрать  
Могли на кладбище, где тать,  
А где святой гниет в гробу,  
Прошу беднякам передать...  
Мою подзорную трубу<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 113. Перевод Ф. Мендельсона.

Не следует заблуждаться: подзорная труба для слепых — это весьма древняя шутка, и средневековые с готовностью зубоскалили по поводу физических недостатков; но здесь насмешка, по существу, направлена не против них, равно как и не против богаделен и больниц, от которых никто не мог считать себя застрахованным навеки. Парижанин XV века за балагурством поэта видел иной образ, образ трехсот слепых, поселенных некогда Людовиком Святым в приюте «Пятнадцать двадцаток», — трехсот слепых пациентов, которые по неведомо когда сложившемуся обычаю имели право просить милостыню на так называемом кладбище Невинноубиенных младенцев, где хоронили представителей состоятельной буржуазии. И вот эти слепые, даже будучи вооруженными вийоновской «подзорной трубой», не смогли бы различить, кто из покоившихся там людей хороший, а кто плохой.

Ирония, конечно, относилась к могилам состоятельных людей, а вовсе не к благотворительному заведению.

Все богадельни, начиная с самой знаменитой среди них, с расположенного на острове Сите «Божьего дома», пользовались в среде обездоленных несомненным уважением: когда кому-то становилось худо, то там можно было найти и миску похлебки, и заботу. Так что когда речь заходила о приютах, то Вийон высмеивал не сами эти заведения, а нищенствующие ордена, поскольку он, как истинный школяр, был не в состоянии избавиться от ненависти к людям, которые сами едят гусей, а беднякам оставляют в лучшем случае кости, а в худшем — ничего.

*Затем, не знаю, что и дать  
Приютам и домам призренья.  
Здесь зубоскальство не под стать:  
Хватает бедным униженья!  
Святым отцам для разговенья  
Я дал гусей. Остался... пар.  
И это примут с возделеньем —  
Для бедных благо всякий дар!<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 108. Перевод Ф. Мендельсона.

Ирония Вийона становилась еще более язвительной, когда он упоминал в своем завещании монахов из нищенствующих орденов и монахинь-бегинок, всех тех, в абсолютной бесполезности кого он был искренне убежден: пусть же они жиреют от наваристых мясных супов и от сдобных булочек, чтобы затем предаться созерцанию под сенью закрытых балдахинами кроватей, то есть чтобы развлекаться с девицами. Фарсовое наполнение стихов оказывалось тем более существенным, что поэт сам принадлежал к духовенству и предназначал свои стихи в первую очередь школярам.

Все его читатели слышали про трактат Жана Жерсона «Гора созерцания», а некоторые из них, возможно, даже его и читали. Во французском языке есть созвучный глаголу «созерцать» глагол, означающий «производить посадку, засаживать». Однако Вийон, не очень уверенный, что это слово всплывет из подсознания читателей, любящих переставлять слоги в словах, недвусмысленно помещал занимающихся созерцанием скоморохов в постель. Так что понять, что именно Вийон подразумевает под созерцанием, совсем нетрудно...

*Затем, подам святым отцам,  
Что всюду гнут смиренно спины,  
Дань собирая по дворам,  
В Бордо ль, в Париже, — все едино, —  
Им оставляю суп гусиный,  
Чтоб каждый нищий и монах  
Мог после трапезы невинной  
Часок поразмышлять в кустах <sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Там же. С. 85.

Дословный перевод:  
Затем, нищенствующим братьям,  
Святошам и бегинкам  
Из Орлеана и из Парижа,  
Скоморохам обоих полов  
Завещаю жирные иаковитские супы,  
Омывающие слобные булочки;  
А потом пусть они под балдахинном  
Говорят о созерцании.

На правом берегу, где духовенство царило не столь безраздельно, как в университете, все же достаточно было сделать шаг, чтобы оказаться перед порталом какой-нибудь церкви или перед башней какой-нибудь богадельни. В значительном количестве присутствовали там и разного рода дома, приютившие остатки захиревших орденов, запечатлевшие следы мертворожденных заведений, сохранивших лишь название, лишь имя своего святого, лишь алтарь. Например, в Сент-Круа-де-ла-Бретонри размещались так называемые «крестоносные братья», призванные заниматься выкупом пленных. А вот в монастыре «Белые мантии» еще со времен Филиппа Красивого жила одна из разновидностей бенедиктинцев, вопреки своему названию одетых в черное, хотя, возможно, какие-нибудь их далекие, поселившиеся там при первых Валуа предшественники и облачались действительно во что-то белое. Рассредоточившиеся вдоль парижских улиц религиозные заведения представляли собой настолько пеструю картину, что рядовой горожанин, как правило, лучше знал, что он может встретить либо не встретить в том или ином монастыре, чем то, какова каноническая природа этих монастырей и какого они придерживаются устава.

## **Целестинские монахи**

Вернемся, однако, к реке. Пройдем по анфиладе каналов и понтонов, составлявших на пространстве от Гревской площади до королевских садов вокруг замка «Сен-Поль» сложный и престижный комплекс Гревского порта — винный порт, зерновой порт, угольный порт и т. д. — и его многочисленных «дворов», являвшихся складами под открытым небом. Продолжим наш путь, обойдя маленькую крепость, называвшуюся башней Барбо и образовывавшую на самом берегу опору пояса укреплений Карла V. Там же, возвышаясь над первыми четырехугольными башнями этого пояса, вверх устремлялись высокие стены и колокольня Целестинского монастыря.

В ту пору итальянский орден целестинцев отпраздновал уже сотую годовщину пребывания в своей парижской резиденции. Официально дом ордена был посвящен Богородице Благовещения,

но все называли его просто «Целестинцами». Никто при этом и не вспоминал, что таким образом воздавались почести Пьетро Морроне, святому отшельнику из Абруцци, который как-то оказался даже на папском престоле, поцарствовал там под именем Целестина V в течение пяти месяцев, а потом отрекся и обрел в этом отречении и в уединении покой, из которого его было вывела неуместная слава. Данте изобразил его трусом, человеком, «отказавшимся по слабости воли своей», а Клемент V его канонизировал. Впоследствии память об отшельнике, однажды заблудившемся в лабиринтах ватиканской политики, несколько стерлась, но зато остался Целестинский монастырь...

Карл V, последний король династии Валуа, оставивший на столице отпечаток своей личности, щедро одарил этот монастырь, из-за чего тот стал походить на королевский дворец. У самого портала посетителя встречали высокие статуи Карла V и Жанны Бурбонской, наиболее крупные скульптуры, изображающие королей, — они сейчас находятся в Лувре, — до того как в более поздние века научились отливать из бронзы большие конные статуи.

Представители аристократии, принцы и великие бароны, нередко высказывали пожелания быть похороненными в Целестинском монастыре, причем в этом, равно как и во многом другом, на них стремились походить аристократия мантии и аристократия Гревской площади. В Целестинском монастыре покоится, например, под изображающей ее статуей из белого мрамора герцогиня Бедфордская Анна Бургундская. Под одним памятником там погребено сердце Карла VI, еще под одним — сердце Изабеллы Баварской. Герцоги Орлеанские выбрали этот монастырь для того, чтобы построить там часовню, которая должна была стать для них такой же усыпальницей, какой для царствующей династии являлась церковь аббатства Сен-Дени. Там находится могила сраженного при воротах Барбет герцога Людовика, а также могила его жены Валентины Висконти, расположенная рядом с могилой их младшего сына Филиппа. Герцог Карл, стремившийся в описываемую эпоху с помощью поэзии забыть про двадцать пять лет плена, проведенные под английским небом, в 1466 году присоединился к родителям и брату. Однако там можно встретить и кардиналов вроде Жана де Дорманса, епископов вроде бывшего глашатая бургундской партии Жана Канара, а также бывшего советника в парламенте Карла VI Жермена Пайяра. Там же находятся и представители старинной парижской буржуазии, именитые граждане эпохи первых Валуа: семейство Марсель, семейство Кокатрикс, семейство Люилье. Потом к ним присоединились и состоятельные парижане, жившие во времена Вийона: в обители целестинцев нашли вечный приют Бюро, Бюде и многие другие.

О Целестинском монастыре вспоминали сразу, едва возникала потребность с помощью достойного мертвых и живых погребения продемонстрировать размеры состояния того или иного буржуазного рода. Соперничать с ним пыталась лишь одна церковь: Сент-Катрин-дю-Валь-дез-Эколье. Однако для большинства парижан Целестинский монастырь был прежде всего «городским» монастырем, принадлежавшим тому Городу, обитатели которого редко переходили на другую сторону реки и не наносили университетские высоты на карту своих повседневных вероисповеданий.

То есть в том квартале, где никому не приходило в голову сравнивать маленькую настоятельскую церковь святой Катерины и просторный неф Целестинского монастыря, в том мире, который жил и трудился между улицей Сен-Дени и Бастилией, все говорили просто «монастырь». Другого там не было.

***У нас в монастыре изображение ада***

***И свежих райских птиц мой бедный взор влечет <sup>1</sup>.***

Так что это именно в Целестинском монастыре смотрела с беспокойством на ад и с радостью на рай мать Франсуа Вийона. В 1430-х годах их видел также и Гильберт де Мец:

«В Целестинском монастыре на отдельных хорах нарисованы и рай, и ад вместе с другими изображениями. А также перед хорами церкви на одном из алтарей нарисован образ Богоматери, выполненный в высшей степени искусно».

«Отдельные» хоры — это один из приделов, один из тех приделов, где меценат преисполнялся особой набожностью, особой верностью покойникам и гордостью за собственную семью. Старушка укрепляла свою веру перед картиной, заказанной кем-нибудь из сильных мира сего или просто разбогатевшим торговцем. Она смотрела на ад с кипящими в нем грешниками, на

рай с играющими в нем на арфе и на лютне ангелами. Потом поворачивалась к алтарю, возвышающемуся перед тем, что является собственно хорами.

*О дева-мать, владычица земная,  
Царица неба, первая в раю,  
К твоим ногам смиренно припадаю:  
Пусть я грешна, прости рабу твою!  
Прими меня в избранников семью!  
Ведь доброта твоя, о мать святая,  
Так велика, что даже я питаю  
Надежду робкую тебя узреть  
Хоть издали! На это уповаю,  
И с верой сей мне жить и умереть<sup>2</sup>.*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Избранное. М., 1984. С. 347. Перевод В. Рождественского.

<sup>2</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 73. Перевод Ф. Мендельсона.

## Богоматерь

По существу, молится здесь сам Вийон, прикрывшись фигурой старушки, чтобы никто не догадался, что у «сурового мужчины» нежное сердце. Молиться Богоматери, когда у тебя такое прошлое, как у мэтра Франсуа...

Вера, которой наделяет мать ее непутевый сын, нередко доставлявший ей «слезы, горе и досаду», — это вера безыскусная, не лишенная живого чувства. В нескольких словах и в нескольких образах поэт запечатлел целый мир: тут и ад со своими рогатыми чертями, и рай с Богом и сопровождающими его святыми, и Богоматерь, «владычица земная», и она же в роли милосердной посредницы, помогающей добиться прощения всех грехов. Смирренная христианка не витийствует — ее безыскусная вера выражена в нескольких словах.

Эта вера поддерживалась молитвой, молитвой, являвшейся прежде всего присутствием — в церкви, во время службы — и усиливавшейся в момент причастия, в момент приобщения к «святым дарам» во время мессы. Нельзя сказать с абсолютной уверенностью, насколько отчетливо ощущали Вийон и его мать связь между мессой и евхаристией. Святые дары делают праздник более торжественным, освящают его. Хотя, возможно, причастие и не было главным элементом духовной жизни славной женщины. Канонические молитвы — «форма причастия» — читались тихим голосом, а сборник молитв, вручавшийся грамотным верующим, воздвигал еще один невидимый барьер между прихожанами и текстом произносимой молитвы. Ведь никому же не придет в голову читать молитвы мессы в тот самый момент, когда священник отправляет службу у алтаря. Впрочем, от мирянина только того и требовалось — оставаться убежденным в том, в чем его стремились убедить, то есть что месса — это дело священников. Там было место и для чтения латинских текстов, и для молитвы про себя, но главным, самым существенным элементом мессы являлась проповедь с ее приложениями вроде объявлений для живых и поминаний для мертвых.

От Бога старушку отделяла огромная дистанция. И в церкви она появлялась скорее редко, чем часто. К святым обращаться было несколько легче, чем к творцу, и вот — вслед за многими другими, в частности вслед за Жаном де Мёном, автором «Романа о Розе», — Вийон, помогающий родительнице молиться Богоматери, подбирает выражения, заимствованные из словаря феодално-вассальных отношений.

Баллада обращена не к Матери: не к улыбающейся Матери, какой ее изображали в XIII веке, и не к страдающей Матери тяжелых времен, а к госпоже, к властительнице, к хозяйке. Поэт подбирает такие слова, которые воссоздают в сознании читателя картину ленного владения; обращаясь к Богоматери как к «владычице земной», он расширяет границы ее владений до границ всей земли, но лен все же остается леном. «Властительницей неба, властительницей земли» называл ее Жан де Мён. К «царице небес, мира госпоже» обращался Карл Орлеанский. Так что

теология у Вийона осталась та же, что и у его предшественников. Да и как можно воплотить идею верховной власти иначе, чем то делает твой век?

«Я ваш человек» — такую формулу употреблял вассал, когда, воздавая почести своему господину, вкладывал в его руки свои собственные сложенные вместе руки. Вот и Вийон тоже произносил устами старой прихожанки: «Скажи Христу — его рабой всегда покорною была...» Главное — иметь веру. А внутреннее наполнение веры не столь важно, и допускаются даже некоторые неточности, поскольку Вийон, например, может, отдавая дань язычеству, назвать Деву «великой богиней», а рай тем временем у него вдруг оказывается похожим на «адские болота», то есть на топи Стикса и Ахерона с угадывающимся силуэтом перевозчика Харона.

Вера «убогой» и «простой» женщины не лишена цельности, и именно такую веру обретал Вийон, когда думал о матери; а могло быть и так, что о матери он вспоминал, когда обретал веру. Она, эта вера, отличалась от веры, изложенной языком теологических доктрин, причем поэт не усматривал никакого греха в том, чтобы говорить о Деве как о ровне Святой Троицы.

*Итак, да славятся веки  
Отец, и Сын, и Дух святой,  
И Та, в которой человеки  
Залог спасенья видят свой<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Перевод Ю. Стефанова.

Вийон слишком часто видел изображение увенчания Владычицы небес на левом портале Собора Парижской Богоматери, на протяжении уже трех веков являвшегося излюбленной темой художников и скульпторов, а также особенно часто в XV веке ее использовали на фронтисписах для часослова, так что поэт, естественно, всегда хранил этот образ в памяти. Христос возлагает золотую корону на голову своей Матери, но так, что в жесте подчеркивается их равенство. Сын Божий и та, которую тогда уже начали называть Матерью Божией, сидят рядом на одном троне. Равенство подчеркивается еще и тем, что скульптор представил увенчание не в виде торжественной церемонии, а как нечто сугубо интимное, семейное.

Скорее всего, поэту не было известно, что один из художников герцога Бургундского Иоанна Бесстрашного не побоялся изобразить Богоматерь на самом вершине иерархической пирамиды вечных ценностей. Однако он, конечно же, никак не мог забыть те «Чудеса Богоматери», которые столь часто инсценировались в Париже и где Дева в некоторых эпизодах представляла столь женственной, столь по-матерински ласковой, а в других эпизодах, как бы полностью забывая свою роль — весьма скромную, если ориентироваться на ортодоксальную теологию, — вдруг начинала судить и рядить. Дева записанного приблизительно в 1450 году Жаном Мьело текста «Чудес» говорит, обращаясь к Богу: «Я хочу!» Вот почему, вспоминая о «снегах былых времен», Вийон уважительно назвал Марию «самодержавной Девой».

Образ получился несколько противоречивым. Однако вера поэта не была противоречивой. На небесах Богоматерь выглядела владычицей, а на земле матерью. Она была человеческим лицом божественного всемогущества. И в средневековых легендах все ее поступки отмечены печатью доброты. Она врачевала раны, поднимала дух, осушала слезы. А главное, она спасала грешников. Неизменный успех «Чудес», обнаружившийся впервые еще в XII веке, красноречиво это подтверждает: Дева судит лишь для того, чтобы спасти. Отказывается она вмешиваться, не препятствует божьей каре лишь в тех случаях, когда речь идет об измене, клевете, гонении, о преступлениях против справедливости, верности, честного слова. Можно сказать, что ее этика почти совпадала с этикой героических рыцарских поэм.

Двойное обличье Марии — царственная Дева и Дева-мать — в конечном счете делало ее оплотом против врага. Кроме земных человеческих несчастий существует еще вечное несчастье: ад. И вот Дева отстаивала у ада души, увлекаемые туда грехами. И в суде своего сына она всегда побеждала. Ведь она — человеческое лицо надежды.

Некий насмешник, сочинявший стихи для одного парижского религиозного братства, репертуар которого, к счастью, сохранился, не без фамильярности высказал мысль, что Бог не осмеливался прекословить матери.

*А стал бы он ей вдруг перечить,  
Сам получил бы тумачков.*

## **Богословы**

При этом в Париже тогда было достаточно много богословов. Правда, времена изменились. Уже лет сто они не вели своих великих дебатов, начатых в эпоху героических поэм, когда в результате открытия аристотелевской метафизики и появившихся благодаря ей новых теоретических подходов у теологов забрезжила надежда, что им удастся на основе изучения человеческого разума объяснить, как происходит откровение. Попытки Фомы Аквинского и Уильяма Оккама примирить ум и веру оказались забытыми. Стихли споры, связанные с утрированным и искаженным учением Аристотеля, которое пришло на Запад вместе с арабской наукой уже ставшего классиком Ибн Сины по прозвищу Авиценна и жившего позднее Ибн Рушда по прозвищу Аверроэс. Однако, хотя их борьба и утратила актуальность, их наследие все еще по-прежнему продолжало питать мысль схоластов. Вера в откровение отнюдь не запрещала людям искать собственных путей к этому самому откровению. Вера — это одно, а знание веры, существующее независимо от антагонизма тайны и рассудка, — это нечто совершенно иное. Оккам и его ученики достаточно убедительно показали, что если преодолеть в какой-то мере скептицизм, то фундаментальное различие между Богом и человеческим разумом способно дать новый импульс для развития логики. Дальше этого они, в общем-то, не продвинулись: дух научного исследования тогда только-только зарождался.

На рубеже XIV и XV веков канцлер парижского университета Жан Жерсон включил в свою теологию некоторые элементы гуманизма, взятые из античного стоицизма. Жерсон читал классиков. Однако его доктрина вобрала в себя больше красноречия Цицерона, чем мысли Сенеки. Она не отличалась большой оригинальностью, и в ней полновластно царила риторика. Позаимствовать в античной мудрости кое-какие подходящие максимы не так уж трудно. А вот осуществить синтез недостаточно изученной, так и оставшейся тайной за семью печатями мысли оказалось задачей непосильной.

Естественно, что и люди, обладавшие меньшей ученостью, чем Жерсон, оказывались тоже в столь же трудной ситуации, в том числе и магистр искусств Франсуа де Монкорбье, весьма часто вспоминавший о древних и апеллировавший к предусмотрительно им не называемой традиции.

И поэт, и богослов в равной мере ориентировались на учебники. Читать и толковать «Сентенции» Петра Ломбардского — такова была сумма педагогических приемов теологов, коллег Тома де Курселя, одного из судей Жанны д'Арк, высказывавшегося за применение к ней пыток. (Де Курсель умер в 1469 году, достигнув высокой ученой степени в Сорбонне, поста старейшины парижского капитула и к тому времени полностью забыв, какая роль была ему доверена во время руанского процесса.) В том удобном для употребления сборнике, каковым являлись «Сентенции» — честная компиляция, осуществленная приблизительно в 1150 году итальянским мэтром, ставшим позднее парижским епископом, — обзревалась вся теология. Содержавшихся в сборнике комментариев сорбоннским кандидатам на получение степени лиценциата «Святой страницы», то есть теологии, хватало на два года.

Петр Ломбардский, конечно же, был знаком с работами Пьера Абеляра и других оригинальных мыслителей XII века, но он писал за сто лет до Фомы Аквинского. Удобное резюме доктрины, питавшее умы юных мэтров в середине XV века, являлось учебником, отставшим во времени на целых триста лет. А «Теологической суммой» пользовались одни лишь будущие проповедники ордена святого Доминика, учившиеся в школе при доминиканском монастыре. Творчество святого Фомы — отвергнутого в 1270 году, канонизированного в 1329 году — там использовалось в обучении столь же широко, как «Сентенции» в заведении, расположенном несколько ближе к Сене. Однако «Сумма» в ту пору уже не зажигала пытливые умы. Дух синтеза сменился духом резюме.

Изобретательность хранителей доктрины сконцентрировалась на «случаях» и на «вопросах», оперируя которыми — и предвосхищая в этом Декарта — схоластика с

номиналистским объективизмом занималась шлифовкой определенного количества догматических постулатов, причем в толковании трудных мест экзегеты проявляли больше хитрости, нежели ума.

Присутствует ли, например, Сын Божий в евхаристии в тот момент, когда облатка падает в сточную канаву? Правомочна ли литургия, если месса посвящена не апостолу Петру и не апостолу Павлу? Юридическое крючкотворство заполнило теологию. Легко можно понять противодействие богословов Сорбонны расширению изучения юриспруденции в Париже, причем не исключено, что их страх перед нашествием соперников усугублялся еще и опасением, что те извратят науку. Юристы действительно захватили все, так что оставалось лишь утешать себя мыслью, что самые опасные, то есть самые популярные из них, остались все-таки в Орлеане. В результате студентам приходилось проводить два года на берегах Луары, чтобы там «читать» гражданское право законовевдов, а потом, возвратившись в Париж, овладевать степенями в сфере церковного канонического права. А если бы законовевды захватили парижские коллежи, то теологам просто некуда было бы податься.

Впрочем, теологи даже и не представляли себе в полной мере, насколько глубоко юристы уже успели внедриться и в богословскую науку, и во всю систему образования. Два века юридической гегемонии в христианском обществе сформировали религию адвокатов и нотариусов. «А ради чего?» — говорили номиналисты, для которых все было лишь видимостью. И в результате получалось, что природа и содержание религии значили меньше, чем точное определение обязательных ритуалов и формул, с помощью которых обретается уверенность в спасении. Так, «слушать» мессу означало, что нужно оказаться в церкви до того момента, когда приносящий дары священник откроет чашу. А то, какая существует связь между этой церемонией и нерушимым единством уже попавших на небо и еще проживающих на земле верующих, между этой церемонией и искуплением грехов, номиналистам было безразлично.

В ожидании того момента, когда в середине века пришедший из Италии неоплатоновский гуманизм позволит философии богословов подняться на новую ступень, что в свою очередь придаст законченные очертания христианской вере и положит начало новым долговременным расслоениям внутри нее, внимание наставников концентрировалось на предметах иного рода. На протяжении уже целого века главным предметом забот духовенства было не точное определение того, что собой представляет «реальное присутствие» — то есть присутствие Христа в евхаристии — и какова сущность Троицы, а угрожающая ситуация в лоне самой церкви. Последней были нанесены сильные удары, что внесло смуту не в одну искренне верующую душу. Так, во времена Филиппа Красивого безвозвратно потерпела крах идея папской теократии, то есть претензия церкви апостола Петра взять в свои руки бразды правления миром. Папство превратилось в огромную бюрократическую и налоговую машину, что порой возмущало и мирян, и духовных лиц. Кроме того, церковь познала болезненный раздел на две враждующие друг с другом части, во главе каждой из которых стоял свой папа, предававший бессмысленной анафеме соперника, а несколько раз она оказывалась вообще без папы, причем болтовня соборных отцов была не в состоянии заставить забыть о силе вверенных апостолу Петру ключей.

Таким образом, на протяжении целого века наиболее бойкие умы думали лишь об одной проблеме: о реформе церкви. Реформа стала главной целью размышлений — и подоплека у нее была скорее юридическая, нежели метафизическая, — отцов церкви, ломавших себе голову над тем, какую новую структуру придать религиозной жизни. И в глазах неискушенных наблюдателей, и в глазах людей сведущих реформа представляла собой путь к единству, нарушенному в 1378 году, в момент имевшего многочисленные последствия избрания двух пап. Путь к искуплению грехов на небе лежит через единство земного Иерусалима.

Стало быть, августиновская точка зрения на град Божий допускала, чтобы созидание церковных структур предшествовало размышлениям о природе непостижимого. И следовательно, те, кто направлял энергию преподавания и проповедей на строительство земного храма, отнюдь не были погрязшими в обыденности посредственностями. Для спасения душ нужно было в первую очередь вернуть церкви ее монолитность и придать ей новый облик, представляющий все фракции духовенства, участвовавшего в борьбе. И в Констанце, и в Базеле церковь во время соборов раздиралась между новыми течениями, которые позже были названы национализмом и корпоративным духом — в частности, у тех, кто работал в университете, — и пыталась сохранять равновесие между монархическим централизмом и союзом епископов, за которыми стояли

верующие. Собор был замкнутой сферой. Помимо функции хранителя догм, унаследованной им от прежних эпох, и в частности от великих соборов XIII века, он выполнял также функцию политической силы в лоне церкви и на вершине иерархии.

Наиболее полное видение этой церковной структуры, призванной стать инструментом искупления, выразил один парижский теолог. В своем «Трактате о вере и о церкви» магистр Жан Курткюис сформулировал — хотя и не решил — дилемму: является ли брак Христа и церкви плодом веры или же плодом милосердия, то есть любви? Удобные формулы: Христос-вождь, Христос-царь, Христос-супруг — оказались одновременно и вопросами. Теология облагораживалась, становясь более человеческой. Все тонуло, естественно, в пустословии, но усилие было искренним.

Стало быть, в ту пору, когда будущий Франсуа Вийон проходил на факультете искусств предваряющий метафизику курс логики, теология переживала отнюдь не звездный свой час. А та ожесточенная борьба, которую вело духовенство за доходы, имела драматическую столетнюю традицию, так что неизбежно возникал вопрос, в состоянии ли церковь продолжать выполнять свою миссию.

Занятые земными проблемами церкви носители доктрины не очень-то часто поглядывали на небо. К тому же некоторые из них утратили авторитет по причине чрезмерной — хотя и диктуемой зачастую строгой логикой — вовлеченности в мирские дела. Так, умерший в 1411 году Жан Пети надолго запомнился как апологет тираноборства, как человек, оправдывавший убийство Людовика Орлеанского, совершенное людьми его бургундского кузена. А умерший в 1442 году Пьер Кошон запечатлелся в памяти людей как судья Жанны д'Арк, реабилитированной в 1456 году. Однако, несмотря на посредственность некоторых личностей, несмотря на легковесность идеалов, вера была искренняя.

Дистанция между размышлениями наставников и набожностью матери Вийона была велика. Между тем и другим располагалась доктрина проповедника — проповедника, который с высоты своей кафедры либо в тиши исповедальни доносил догму до сознания каждого прихожанина и приводил в гармоничное соответствие христианские обязанности и возможности мирян. Религиозное воспитание и нравственное формирование детей — в первую очередь детей, певших в хоре, — продолжалось во время воскресной проповеди, в которой из-за непонятного латинского языка литургии многие видели главный элемент мессы. Проповедовали все: и священники, и простые монахи, и монахи из нищенствующих орденов. Последние даже считали проповеди непременным условием своего пребывания в лоне церкви и оказывались соперниками священников. А те в свою очередь видели в подобных проповедниках главных виновников сокращения поступления денежных средств в приход.

Ну а само содержание проповедей было исключительно простым: во что надо верить и чего не нужно делать. При объяснении основ веры речь шла главным образом о позитивных явлениях: о Боге, Троице, искуплении, о святых тайнах, о Богородице. Что же касается морали, то здесь преобладал негативный ассортимент: семь смертных грехов, чистилище, ад.

Нужно, чтобы публике проповедь была понятна, и поэтому педагогика использовалась тоже очень простая: притчи, примеры из Евангелия или из жития святых. Примером могло служить все. Любой рассказ обладал тройным смыслом: историческим, аллегорическим и моральным. Иов, сидящий на груде нечистот, был одновременно и патриархом, и смиренной покорностью судьбе, и совокупностью духовных сокровищ бедности.

С подобной педагогикой прекрасно сочетались зрительные образы. Портреты, капители, фрески, витражи — все служило целям повторения упомянутых в проповеди тем. Потому что образ понятен лишь тому, кто уже знает. Для инициации он не подходит. Он лишь подспорье памяти.

Такой выглядела вера в 50-е годы XV столетия, когда постепенно стихли смуты и укрепилась структура государства. Время великих ересей, являвшихся своеобразной формой осмысления религиозной веры, окончательно прошло. Забвению оказались преданными и так называемые «духовники» XIV века, экстремисты, — прежде всего францисканцы, — которые пытались превратить индивидуальную и коллективную евангельскую бедность в краеугольный камень спасения людей с помощью церкви. Ересь англичанина Уиклиффа, брюссельца Рейсброка

и сожженного на костре 6 июля 1415 года национального чешского героя Яна Гуса отныне казалась чем-то очень далеким.

Вера эта прочна; это та вера из «Credo»<sup>1</sup>, о которой толкуют во время проповедей. Непреходящая суть церкви уже не вызывала сомнения. По окончании Базельского собора власть папы несколько уменьшилась, но зато стали более здоровыми ее основы, те самые основы, тот фундамент, на котором чуть позже воздвигли свои пышный трон великие папы эпохи Возрождения. Правда, французская церковь на протяжении всего какого-нибудь полувека по крайней мере раз десять подвергалась перетряске и по крайней мере раз десять нарушалось равновесие в ее взаимоотношениях с двумя конкурирующими силами — папы и короля; однако принятая в 1438 году в Бурже Прагматическая Санкция дала ей вместе с иллюзией политической стабильности также и уверенность в институциональной стабильности. И когда поколение Франсуа Вийона декламировало вслух «Credo», то оно не задавало себе вопросов ни по поводу «Credo», ни по поводу священников.

---

<sup>1</sup> «Верую» (лат.) — католическая молитва.

Впрочем, оно, то поколение, слишком много всего повидало, чтобы всерьез верить во что бы то ни было. Любовь Вийона к истинам наизнанку и к прописным истинам является выражением именно такого скрытого скептицизма.

*Я знаю, кто по-щегольски одет,  
Я знаю, весел кто и кто не в духе,  
Я знаю тьму кромешную и свет,  
Я знаю — у монаха крест на брюхе,  
Я знаю, как трезвонят завирухи,  
Я знаю, врут они, в трубу трубя,  
Я знаю, свахи кто, кто повитухи,  
Я знаю все, но только не себя<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 133. Перевод И. Эренбурга.

Наследница праздника дураков, осужденного в 1444 году факультетом теологии, «Мамаша Глупость» со своим кортежем глупцов ввела в театр традицию передавать с помощью словесных, разрушающих иллюзии пируэтов старинную народную мудрость. Причем дух этих «соты» одинаково разрушительно действовал и на догму, и на мораль. Глупым выглядело все. Дураком был, например, любовник, дураком же был и мудрец.

### **Глава III**

#### **Не дай в удел нам вечный ад...**

#### **Молитва**

Хотя реформаторы и выступали против чудодейственных картинок и дешевых индульгенций, рядовой христианин более внимательно относился к способным обеспечить ему пропуск в рай ритуалам, чем к фундаментальным принципам веры. Догма выходила из его поля зрения, и на первом плане оставалась практическая сторона дела. Многим Бог казался въедливым счетоводом, определяющим шансы верующих на спасение по количеству точно выполненных ритуалов и по тому, насколько велик у человека запас индульгенций. Силе убеждения придавалось не столь большое значение, как точности в деталях и завершенности обязательного цикла: крещение, воскресная месса, ежегодная исповедь на Пасху и причастие. Искать вечного пристанища не на кладбище и не в лоне церкви считалось также недопустимым, и тело,

оказавшееся похороненным где-нибудь в другом месте, — ради удобства либо согласно обязательствам — быстро перевозили в «христианскую землю».

Главное было соблюсти формальные требования, тогда как личный настрой существенной роли не играл. Например, Изабелла Баварская в начале века вместо себя заставляла поститься своих священников. Существовали такие профессиональные пилигримы, которые совершали паломничества в Рим либо в Сантьяго-де-Компостела вместо других лиц и за их счет, а прокурор Жан Сулас, составляя завещание, поручил совершить представлявшиеся ему необходимыми паломничества своим душеприказчикам:

«А также пожелал и приказал посетить Сент-Антуан-де-Вьеннуа. Посетить также Мон-Сен-Мишель. Посетить также Нотр-Дам-де-Булонь-сюр-ла-Мер. А также Нотр-Дам-де-Льес и Сент-Катрин-де-Фьербуа».

Любой состоятельный горожанин заказывал мессы, причем зачастую даже и не помышляя поприсутствовать на них. Предпочтительнее было заказывать не тридцать месс, а сто: в завещании одного судьи записано распоряжение отслужить шестьсот пятьдесят обеден, с уточнением, что заботу о пятистах из них лучше поручить нищенствующим орденам. Точно так же свеча стоимостью в десять ливров ценилась выше, чем свеча стоимостью в один ливр. Переведенная на язык арифметики набожность предполагала суммарное исчисление деяний и заслуг, а следующей ступенью являлось коллекционирование индульгенций.

В молитве было что-то от подвига. Чем больше их было, тем лучше, но и заковыристость самой молитвы тоже ценилась очень высоко. Так, бретонский поэт Жан Мешино, обнаруживая больше технической изощренности, нежели вдохновения при комбинировании выдержек из Евангелия с аллегорическими клише, сочинил «Молитву Богоматери», где каждая строчка начинается одной из букв молитвы «Ave Maria», а сам текст выглядит как какой-то причудливый кроссворд, в котором «Ave Maria» читается в различных направлениях тридцать два раза и предлагает набожным прихожанам, желающим привлечь к себе внимание Богоматери, двести пятьдесят четыре более или менее эквивалентные словесные комбинации.

Арифметика набожности была обязана своим происхождением не только формализму. Она являлась также своеобразной формой адаптации к способностям верующих, как правило, умеющих считать до двадцати либо до ста, но не умеющих читать ни по-латински, ни по-французски. Стало быть, при рождении новой набожности над прежним безразличием священников по отношению к ничему не понимавшим в их жаргоне мирянам восторжествовало намерение предложить каждому верующему соответствующие его возможностям упражнения. Усвоенная «наизусть» набожность отражала стремление к неукоснительной точности. Коль скоро ты не теолог, то лучше уж декламировать, чем импровизировать: меньше риска впасть в ересь.

Одним из наиболее распространенных механизмов выражения набожности стала тогда замена: когда кто-либо не мог выполнить то или иное задание, то ему советовали сделать что-нибудь другое. Например, для тех, кто не мог отправиться в Рим и получить там полное отпущение грехов на могиле апостолов, допускалось в качестве компенсации паломничество к местному святилищу в сочетании с взносом по тарифу на мессу об отпущении грехов. Такого рода мессы служили в Сен-Дени в 1444 году, в Понтуазе — в 1446 году, в Мон-Сен-Мишеле — в 1447 году и в Эвре — в 1449 году. Состоятельные парижане отмечали, что большой приток людей на церковные службы подобного рода в 1444 году существенно повлиял на изменение курса денег, а в 1446 году — на подвоз продуктов питания, что эти службы становились настоящими событиями.

«В третий день сентября трубили и кричали по всему Парижу, чтобы все съестные припасы везли в Понтуаз на торжества, связанные с праздником Рождества, который приходился на следующий четверг, по причине некоторых отпусков и индульгенций, которые наш все милостивейший государь король и милостивейший государь наследный принц и герцог Бургундии получили от святейшего отца папы Евгения для собора Нотр-Дам-де-Понтуаз, весьма пострадавшего от войны и от многократных осад как англичан, так и французов.

Названное отпущение грехов началось в двенадцать часов ночи Рождества и продолжалось до полуночи вышенаименованного праздника, то есть 24 часа. И был оказан полный отпуск, как это делается в Риме, но только в Риме он длится дольше, причем нужно исповедоваться и искренне покаяться».

Так что все получалось благообразно. В Понтуазе давали то же «полное отпущение грехов», что и в Риме, и стоило это не больше, чем простая исповедь. Подобные замены позволяли, например, жителю Льежа откупиться 12 ливрами от паломничества в Сантьяго-де-Компостела или в Рим, которое судья ему присуждал в качестве наказания за богохульство. А если, например, ему предписывалось за какой-либо более мелкий проступок отправиться на могилу святого Мартина в Туре, то это обходилось ему всего в 3 ливра и 10 су.

А многие паломничества, напротив, оказывались всего лишь предложениями, с помощью которых испытывавший страсть к путешествиям христианин оправдывался перед самим собой и перед своими близкими. Например, парижанин мог сходить в Булонь-сюр-Сен, чтобы пообщаться там с девицами легкого поведения, а сколько было таких пилигримов, которые, отправляясь в Мон-Сен-Мишель или в Ле-Пюи, на самом деле уходили не дальше соседнего города.

По сути дела, закон замены и арифметики набожности функционировал и в тех случаях, когда семикратно повторенная, вызубренная наизусть молитва «Ave Maria» или «Regina Coeli»<sup>1</sup> употреблялась вместо длинной вечерни, в которой простой верующий вскоре терялся в лабиринте антифонов, псалмов, гимнов и проповедей. В требнике насчитывалось сто пятьдесят псалмов, что для бедной старушки было многовато. Тогда как неустанно повторять «Ave» — задача для нее вполне посильная.

---

<sup>1</sup> Царица небесная (*лат.*).

Впрочем, подобное повторение нуждалось еще в оправдании: после каждой «Ave» или после десятка, после дюжины «Ave» требовалось в определенном порядке упоминать о веселых, горестных и славных таинствах, о радостях и страданиях Богоматери, о ее милосердии. Подобным способом достигалось кое-какое разнообразие в перечислении формул, и, кроме того, это помогало не сбиваться со счета. Таким же образом молящиеся разгружали память, перебирая янтарные, коралловые, гагатовые, костяные, роговые, золотые или просто самшитовые шарики четок: создавалось ощущение упорядоченной молитвы. Интересно, что во французском языке четки, называвшиеся раньше на протяжении многих веков «patenotre», по названию молитвы «Отче наш», стали затем называться «chapelet», что позволяет понять изменение самой программы религиозного культа. Ведь «chapelet» — это венок из цветов, похожий на те венки, которые люди сплетали либо для статуй Девы Марии, либо — в праздничные летние дни — для самих себя. Цветочный символизм обнаруживается и в слове «gosaïge», как называется цикличное повторение молитвы во славу Богоматери.

Мания исчисления распространилась не только на молитву, но и на катехизис. Подобно тому как во время молитвы считали количество произнесенных «Ave Maria», обдумывая либо называя пятнадцать таинств искупления, во время медитации верующие распределяли свои мысли по семи периодам, памятуя о семи благодатях Богоматери. А по праздникам на разукрашенных цветами перекрестках в семи живых картинах инсценировались семь скорбей. Арифметика помогала лучше понять евангельскую историю.

В конечном счете весь этот формализм покоился на доверии к церкви, сохранившемся несмотря на перипетии политических склоков во время одновременного правления двух пап и несмотря на сомнения, мучившие церковников во время соборов. Спасение заключалось в четком следовании предписаниям. Если ты считаешь себя христианином, то повинуйся. А взаимоотношения с Богом церковь возьмет на себя.

Нужно, однако, признать, что два десятка кризисов, через которые прошла церковь, изрядно подорвали ее престиж. Так что стоило немного потревожить веру рядового христианина, как сразу обнаруживалось, что доверие к церкви объясняется всего лишь инстинктом приспособления к реальным условиям. Единственной глубокой верой была вера в Бога. Вийон, не слишком задерживаясь на этой проблеме, назвал вещи своими именами: ради Бога можно принять даже церковь.

Мы так любим Бога, что ходим в церковь.

## Ад и рай

Что касается проблемы спасения, то главное было не попасть в ад. В обрисовке же рая практически нет никаких позитивных элементов — поэт был весьма далек от изошренности теологов, устанавливавших градацию и хронологию между спасением и вечным проклятием. Винцент из Бове, чей трактат «Зерцало человеческого спасения» был переведен на французский язык Жаном Мьело — текст появился в Париже в 1450-е годы, — различал четыре уровня загробного существования: ад осужденных на вечные муки, ад некрещеных детей, чистилище, рай для святых. Образ этот получил распространение. Тогда же, в 50-е годы, органист Арнуль Гребан из Собора Парижской Богоматери перевел его на язык музыки в своей «Мистерии страсти». Магистр Гребан был бакалавром теологии, связанным достаточно тесными узами с университетским кварталом. На представлениях толпился весь парижский свет. Отдельные мелодии из мистерии можно было услышать даже на улице. Так что Вийону она, скорее всего, была хорошо знакома.

И все же описание ада у Вийона — одно из самых безыскусных, причем навеяно оно преимущественно скульптурными фронтонами с изображением пляски смерти на кладбище Невинноубиенных младенцев. Есть небо, и есть противостоящий ему ад. Отличие видения Вийона от традиционного видения состоит только в том, что благодаря искуплению в его аду не осталось ни одного праведника. Соответственно рай оказался населенным лишь теми душами, которые спас от пламени Христос. А чистилище перестало быть местом, где содержатся полуправедники перед испытанием, и стало просто «преддверьем», где души праведников ждут искупления.

*Во имя Бога, вечного отца,  
И сына, рожденного Девой,  
Который вместе со Святым духом  
Является Богом, совечным отцу;  
Он спас тех, кого погубил Адам,  
И населяет небеса погубленными...  
Достоин хорошей доли тот, кто крепко верит,  
Что покойные стали маленькими богами <sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Перевод дословный.

В этом отрывке есть и игра слов, и реминисценции из «Credo» — в частности, поставленные на одну ступень Бог-отец, Бог-сын и Святой дух, — но самым интересным здесь является представление Вийона о спасении. Он показал, что у него есть собственная теология, хотя поверить в нее, принять догму, согласно которой благодаря вере покойники превращаются в «маленьких богов», весьма и весьма нелегко. Формула выглядела бы и совсем нелепо, если бы Вийон не употребил ее намеренно, дабы шокировать своего читателя. Однако при этом в голосе поэта звучит твердое убеждение: кто крепко верит, тот достоин награды. Иными словами, поверив в невероятное, можно попасть на небеса. Ну а небеса начинаются там, где кончается ад. Здесь, впрочем, Вийон тоже тонко рассчитывает эффект своих слов: ирония по отношению к пророкам и патриархам, не слишком заслуженно попавшим в рай, таит нотку скептицизма в описании, но юмор заключительного образа необходим еще и для того, чтобы смягчить страшную картину вечности, открывающейся перед взором поэта.

*Да, всем придется умереть  
И адские познать мученья:  
Телам — истлеть, душе — гореть,  
Всем, без различья положенья!  
Конечно, будут исключенья:  
Ну, скажем, патриарх, пророк...  
Огонь геенны, без сомненья,*

## ***От задниц праведных далек!*<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 69. Перевод Ф. Мендельсона.

Чистилище, каким его представлял себе Вийон, мы видим лишь мельком, лишь в некоторых эпизодах, где упоминаются дары уже умершим людям. Завещая что-нибудь явно фиктивное различным людям из разряда власть имущих — регентам факультета, судьям королевских либо церковных судов, — которые хоть в какой-то мере оказались добры к нему, поэт скрупулезно отмечал, что они в настоящий момент сушат свои кости и тела. И высказывал пожелание, чтобы они получили прощение. Прощение, которое, значит, они еще не получили. На этом аллюзия заканчивалась.

Не исключено, что поэт осмеливался обличать и самого Бога. Во всяком случае, его смирение свидетельствовало не столько о глубине веры, сколько о признании собственного бессилия. Судьба склоняется перед всесилием Бога, и вот ее-то, несправедливую судьбу, человек все же может покритиковать. Она обрушивалась на великих. Она сыграла не одну злую шутку с могущественными правителями. Она столь же дурно обращалась с сильными мира сего, как и с несчастным Вийоном, но разве могла она поступать иначе? Если бы дело было только в ней... Ведь такова же была Божья воля... Последние строки, где Судьба обращается к поэту, граничат со святотатством.

***Вот Александр, на что уж был велик,  
Звезда ему высокая сияла,  
Но принял яд и умер в тот же миг;  
Царь Альфазар был свергнут с пьедестала,  
С вершины славы, — так я поступала!  
Авессалом надеялся спроста,  
Что убежит, — да только прыть не та —  
Я беглеца за волосы схватила;  
И Олоферна я же усыпила,  
И был Юдифью обезглавлен он...  
Так что же ты клянешь меня, мой милый?  
Тебе ли на Судьбу роптать, Вийон!*<sup>1</sup>**

Таким образом, перечислив знаменитые примеры языческой и библейской истории, снабдив перечень несправедливых кар, низводящих сильных мира сего до уровня несчастного поэта, троекратно повторенным советом, который в равной мере является и уроком стоицизма, и уроком христианского смирения, Судьба внезапно с яростью напоминает, что она всего лишь должница библейского Бога: без него она поступала бы еще более жестоко. То есть автор как бы обращает внимание на причастность Бога к творимому ею злу.

***Знай, Франсуа, когда б имела силу,  
Я б и тебя на части искрошила.  
Когда б не Бог и не его закон,  
Я б в этом мире только зло творила!  
Так не ропщи же на Судьбу, Вийон!*<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Там же. С. 149.

Поэт достаточно хорошо запутал свои следы и мог не опасаться, что какой-нибудь дотошный богослов возьмет и отправит его за ересь на костер. Однако все поняли, что Судьба в данном случае — это Бог Вийона, не решавшегося утратить последнюю надежду.

Он отнюдь не был убежден в справедливости Всевышнего. И хорошо выразил свои мысли, вспомнив про святую когорту, которая отправилась в ад за Христом: этих князей неба трудно себе представить в адском пламени. Конечно же, им удалось избежать наказания. Привилегии

существовали испокон веков. А когда речь заходит о вечности, то тут самая важная привилегия — это чтобы не припекало ягодицы.

В тех же случаях, когда Вийон пытался выразить свое позитивное видение религии, оно оказывалось весьма наивным. Балладу, посвященную памяти пьянчужки Жана Котара, можно толковать двояко: и как обвинение в адрес несимпатичного прокурора, и как эмоциональное оплакивание умершего собутыльника. Однако в ней содержится также определенное представление о рае и о святых таинствах. Как бы ни смеялся Вийон, он одновременно просил великих пьяниц — оскандалившегося Ноя, кровосмесителя Лота и распорядителя пира в Кане, — несмотря на все свои гнусности оказавшихся в конечном счете в раю, помочь новому собрату.

*Отец наш Ной, ты дал нам вина,  
Ты, Лот, умел неплохо пить,  
Но спьяну — хмель всему причина! —  
И с дочерьми мог согрешить;  
Ты, вздумавший вина просить  
У Иисуса в Кане старой, —  
Я вас троих хочу молить  
За душу доброго Котара <sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 89. Перевод Ф. Мендельсона.

Котар, «пристроенный» в раю: если бы не сочиненная Вийоном молитва Богоматери, то можно было бы подумать, что он был неверующим. Создавалось впечатление, что поэт вообще не принимал ничего всерьез и смеялся даже над своим собственным спасением. На самом деле это впечатление было обманчиво, поскольку своим спасением он все-таки дорожил, причем указывающие на это нотки прослеживаются от «Большого завещания» до «Баллады повешенных». Однако Вийон верил в Бога, но не верил в себя. И в тот самый момент, когда играл в прятки со смертью, открыто говорил о том, что рассчитывает на Богоматерь и на святых ангелов.

*Я завещаю первым делом  
Заботу о душе своей  
Тебе, Мария. В мире целом  
Лишь ты от дьявольских когтей  
Ее спасешь. Я не грешней  
Других, а потому взываю:  
О Дева, смилуйся над ней  
И приобщи к святому раю! <sup>1</sup>*

И, уже видя себя в мыслях повешенным, он продолжал с тем же пылом говорить о своей надежде:

*Простите нас, ведь мы должны предстать  
Пред сыном Пресвятой Марии. С нами  
Будь милосерден, Господи, и в пламя  
Не ввергни нас на бесконечный срок.  
Зачем умерших поминать хулами,  
Молитесь, чтоб грехи простил нам Бог <sup>2</sup>.*

Вийон стремится не оправдаться, а апеллирует к Божьей любви. Он рассчитывает лишь на милосердие Христа, о чем и говорит в самом начале «Большого завещания», совершенно недвусмысленно взывая к «надежды даром наделенному» Богу.

*Я, видно, грешен, всех грешней,  
И смерть не шлет господь за мною,  
Пока грехи души моей*

*Я в муках жизни не омою.  
Но коль раскаюсь я душою  
И так приду на Божий суд,  
Оправдан буду я судьбою  
За все, что выстрадано тут*<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Там же. С. 70.

<sup>2</sup> Ф. Вийон. Избранное. М., 1984. С. 370. Перевод Ю. Кожевникова.

<sup>3</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 37. Перевод Ф. Мендельсона.

В качестве единственного своего достоинства он называл отсутствие злобы. Из Евангелия он запомнил предупреждение: «Не судите, да не судимы будете!»

*Ведь не монах я, не судья,  
Чтоб у других считать грехи!  
У самого дела плохи*<sup>1</sup>.

Впрочем, сам он не слишком верил тому, что говорил, и весьма прилично отделил в своих стихах тех, кто был повинен в его несчастьях. Однако «Баллада повешенных» возвращает нас к его основному устремлению — Вийон не смел и надеяться лицезреть Бога в раю, и вся его религиозность сводилась к тому, чтобы избежать ада.

*Христос, господь всего под небесами,  
Не дай в удел нам вечный ад с чертями,  
Чтоб каждый искупить грехи там мог*<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 44. Перевод Ф. Мендельсона.

<sup>2</sup> Ф. Вийон. Избранное. М., 1984. С. 370. Перевод Ю. Кожевникова.

## **Завещание**

Важнейшее место в такого рода религии принадлежало завещанию. Приготовленные заранее либо свежесочиненные «последние» распоряжения являлись завершающим жизнь деянием, способным уберечь от ада. Церковь, заинтересованная в щедрых подаяниях верующих и прекрасно понимавшая, что отрывать от наследников легче, чем от себя, испокон веков поощряла набожность решающего момента, каковым было исполненное благих намерений завещание: в доходах епархий и монастырей весьма значительную роль играли завещанные им «дары» сильных мира сего, а церковная казна постоянно пополнялась «случайными» доходами — оставленными по завещанию деньгами, благочестивыми пожертвованиями, платой за пышные похороны и поминки.

Написанное в 1418 году завещание Робера Може, председателя Парламента (Суда), дает достаточно полное представление о географии парижской набожности: сто двадцать пять месс в провинциальных церквях, в тех местах, где у него самого или у его близких были какие-либо доходы, пятьсот месс в Париже, в монастырях нищенствующих орденов — доминиканцев, кордельеров, августинцев, кармелитов, — и двадцать месс в часовне коллежа в Дормансе. К этому добавлялись еще панихиды в богадельнях «Божий дом», «Божьи девы», «Святого духа» на Гревской площади, «Детский приют» у ворот Сен-Виктор, в монастыре у бегинок, в Сент-Авуа, в часовне Одри.

И вот нотариусы, которым по бедности их словарного запаса трудно было четко определить суть происходящих процессов, старались тем не менее как можно точнее передать юридическую сторону дела. «Мы отдали, вручили, пожаловали, даем, вручаем, жалуем...» — формулировали работавшие в канцелярии принца нотариусы мысль своего работодателя. «Желаем и приказываем...» — писал король своим чиновникам. «Дарю, уступаю, передаю...» — писал состоятельный горожанин. А суть сводилась к тому, что если заказать службы в пятнадцати церквях вместо одной, то легче умиловить Бога.

Откликнуться на сбор пожертвований, бросить звонкую монету в церковную кружку, подать милостыню нищему, заказать мессу в церкви или в часовне, учредить годовую панихиду в монастыре, завещать что-то богадельне — все сводилось к одному. Можно было также положить какие-нибудь продукты или монеты в корзины, которые на веревке спускали вниз заключенные из тюрем в Шатле и в Фор л'Эвек. По той же причине вступали люди и в разного рода братства, остающиеся в живых члены которых сопровождали умерших в последний путь, а по праздникам молились за спасение их душ.

Следует напомнить еще раз: когда даешь что-то при жизни, то таким образом отнимаешь это у себя. А когда завещаешь, делаешь благотворительный вклад после своей смерти, то от этого страдают всего лишь наследники. Стало быть, завещание для каждого и в любой социальной среде являлось превосходной возможностью обеспечить себе спасение, не поступаясь удовольствиями мира сего при жизни. Таким способом люди исправляли неправомерные поступки, совершенные на протяжении их земного существования, и после смерти возвращали полученный некогда излишек. Возмещали то, что недополучили ранее их усердные и преданные служители: например, без колебаний выплачивали мессами зарплату виноградаря, который, несомненно, предпочел бы получить экую. Именно вот так Робер Може, первый председатель Парламента, не стеснясь, возвращал свой долг исчезнувшему поставщику:

«Я хочу, чтобы за упокой души Гийо, моего виноградаря, было отслужено двадцать месс, так как я многим обязан ему и его наследникам...

Я также хочу, чтобы 55 парижских су были розданы в качестве милостыни во спасение души того, у кого я купил на Гревской площади полтыщи вязанок дров и кому я остался должен 55 парижских су, так как не видел больше ни его самого, ни его наследников».

Вот так во имя моральных обязательств и согласно бытовавшим представлениям о последних распределялись между упомянутыми в завещании лицами излишки состояния и невыплаченные долги.

Постепенно, однако, от века к веку верующие набирались опыта и осторожности. Они следили за тем, как поступят с их деньгами. Времена, когда даруемые суммы расходовались получателями по их усмотрению, ушли в прошлое. Люди перестали отказывать по завещанию просто десять франков приходу либо участок земли монастырю. Теперь они поручали, например, ежегодно служить заупокойную мессу. В условие включались либо мессы, либо свечи. Для церкви разница была невелика — она получала деньги и делала с ними, что хотела. А для верующего, старавшегося не слишком задерживаться в чистилище, разница была существенная, поскольку молитвы за упокой его души были обеспечены. Он оплачивал все заранее. И знал, что получит в обмен на свою щедрость: рай.

Впрочем, щедрость щедрости рознь. В Лионе, например, духовные лица тогда отдавали на благочестивые мероприятия в среднем половину своего состояния, а миряне — всего четверть. Духовные лица на заупокойные службы отводили 28%, а миряне — только 11%. Не приходится объяснять, что старого священника от старого буржуа отделяет довольно значительное расстояние, а уж если говорить про юного школяра с еще не вполне определившимся призванием, то у него взгляд на завещаемое имущество — даже если отбросить шуточки в сторону, — естественно, и отличен от взгляда их обоих, и переменчив.

Если читать только самого Вийона, то можно допустить ошибку и свести все к простой иронии, возникающей от сочетания внешне серьезных намерений и комичных даров. Однако, послушав, как рядовое духовное лицо или рядовой мирянин диктуют свои последние наказы, мы бы убедились, что мэтр Франсуа не выдумал ни ситуацию, ни жанр. Правда, между завещаемым имуществом и тем человеком, которому оно завещалось, он установил весьма деликатные взаимоотношения. Независимо от того, были ли эти взаимоотношения трогательными или неприязненными, они придали эпизодам с вымышленными пожертвованиями и вообще всей пародии на процедуру составления завещания определенную глубину, благодаря чему каламбурное начало произведения отступило куда-то далеко на второй план.

Перед нами два парижских завещания. Они были составлены тогда, когда был еще молод магистр Гийом де Вийон, тот, кого поэт называл своим «более чем отцом». Одно из них было составлено 1 августа 1419 года в присутствии представителя прево королевским нотариусом и

секретарем Николя де л'Эспуасом, выполнявшим также функции регистратора. А второе «оставила» 26 октября 1420 года в присутствии нотариуса жена президента Робера Може, которую, изменяя ее фамилию по родам, согласно парижскому обычаю того времени, называли «Симонеттой Ла Можер».

Вийон в «Малом завещании» среди прочего «оставляет» одному наследнику свои подштанники и книгу «Искусство памяти», другому — перчатки, жирного гуся и два процесса, причем надо сказать, что подобное перечисление отнюдь не было чем-то из ряда вон выходящим. Так, Николя де л'Эспуас столь же серьезно перечисляет иные, но отнюдь не менее разнородные вещи.

«Он оставляет Тевенену, сыну Гошье (своему племяннику), которому он на свои средства помог получить ремесло вязальщика и суконщика, десять франков и сто туренских су, которые он одолжил ему, чтобы тот смог заплатить выкуп арманьякам, а также самый лучший свой короткий плащ со всем имеющимся на нем мехом, равно как и капюшон и свой «Роман об Александре», дабы поразвлечься и выучиться читать».

Симонетта Ла Можер не менее склонна осчастливливать людей остатками своего гардероба. Правда, иногда она ставит некоторые условия:

«Дарю и оставляю моей племяннице Пьеретте Ла Бабу, дочери моей сестры Маргериты Ла Бабу, свой длинный открытый жакет и свою простую юбку, а также один из подбитых беличьим мехом плащей — на усмотрение душеприказчиков. Для блага ее и чтобы скорее была ее свадьба, оставляю ей двести франков.

А моей горничной Жаннетон, долго у нас служившей, для блага ее и чтобы скорее была ее свадьба, оставляю десять франков, кровать, среднее покрывало, две пары простыней посконного полотна, два головных платка, одну подушку, а также оставляю шесть локтей сукна ценою в один экю за локоть для свадебного наряда.

А если случится так, что названная Жаннетон будет вести себя неправильно или же выйдет замуж не по воле своих друзей и родных, то я свое распоряжение отменяю. И пусть душеприказчики не отдадут добро вышеназванной душе до тех пор, пока не будет известно имя ее мужа».

Таким же образом поступал и Вийон, образуя из вещей самые невообразимые сочетания, правда отличаясь при этом от других завещателей тем, что дарил он все как-то некстати, да и самих вещей у него не было. Например, одному школяру-однокашнику он завещал кое-что из одежды и книгу, а также еще и деньги, которые можно получить после их продажи. На первый взгляд в этом подарке Роберу Валле нет ничего необычного. Однако когда начинаешь изучать проблему более подробно, то обнаруживаешь, что «бедный школяр» принадлежал к весьма зажиточной семье. Он был родственником одного крупного чиновника из Шатле, занимавшего важный пост в финансовом ведомстве. Впоследствии он и сам стал знатным горожанином, владельцем приличного состояния, прокурором. Вийону, его однокашнику, он представлялся человеком богатым, эгоистичным и самодовольным. И поэт охотно прибегает к сатире.

Он выражает готовность продать свои доспехи, дабы предоставить бедняге возможность сделать карьеру. Вийон изображает из себя великодушного рыцаря. Добавляет к своему благородному подарку еще и книгу, вроде бы призванную способствовать успехам в науке; однако речь идет об одном из самых беспомощных трактатов, об «Искусстве памяти», «благодаря которому можно иметь память, способную удержать все, что было услышано; красноречие, способное воспроизвести все, что удержала память, а также ум, способный усвоить любые науки...». Это именно та книга, которую называли, когда хотели заставить школяров посмеяться. Песенники характеризовали «Искусство памяти» как настольную книгу обманутых мужей. Одним словом, то была настоящая библия счастливых дураков.

А вот и еще один дар: подштанники. Осчастливить подобным подарком своих близких мог любой завещатель. Но чтобы подарить их духовному лицу, причем для его любовницы... К тому же, оказывается, подштанники были оставлены в залог в таверне «Трюмильер». Кому, однако, придет в голову закладывать подобный предмет туалета?

А про доспехи нечего и говорить: у такого бедного школяра, как Вийон, их, конечно же, никогда не было. Следует также обратить внимание и на то, что вырученные от продажи доспехов деньги должны были послужить на приобретение одной из прилепившихся к церковным контрфорсам будки на улице Сен-Жак, где трудились писцы. Переписка текстов за почасовую либо постраничную плату была в те времена для грамотного человека одним из распространенных способов зарабатывания денег, но только не похоже, чтобы такого рода занятие прельщало Робера Валле и чтобы отпрыск состоятельной семьи согласился так вот по двадцать раз переписывать часослов или какой-нибудь дешевенький альманах. Дело, однако, не только в самом Робере Валле. Поэт оценил его по достоинству, назвал глупцом, а кроме того, одарил будкой, «Искусством памяти» и подштанниками. Однако одновременно Вийон посмеялся и над многими другими своими современниками, над тем, с какой серьезной миной люди могут завещать сломанную кровать, какими щедрыми становятся скупые на смертном одре и как беспредельна жадность трактирщика, способного взять в залог штаны закоснелого пьяницы.

*Затем дарю Валэ Роберу,  
Писцу Парижского суда,  
Глупцу, ретивому не в меру,  
Мои штаны, невесть когда  
Заложённые, — не беда!  
Пусть выкупит из «Трюмильер»  
И перешьёт их, коль нужда,  
Своей Жаннетте де Мильер!  
Сего почтеннейшего мужа  
Хочу я сделать поумней,  
А потому дарю ему же  
Труд Идиотуса, ей-ей,  
Полезный и для наших дней:  
«Искусство памяти», бывало,  
И не таких замшелых пней  
От благоглупостей спасало!  
Глупцы, мы знаем, небогаты,  
Поэтому прошу продать  
Мой шлем и рыцарские латы,  
А выручку ему отдать.  
Чтоб на ноги Роберу встать  
И... — не завидуйте, однако! —  
Отныне кляузы писать  
На паперти святого Жака<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 23—24. Перевод Ф. Мендельсона.

Завещанное обеспечивало спасение. Оно также предохраняло от людского забвения — у завещаний было нечто от престижа геральдических документов. Могила могилой, но ей противостояли ежегодные мессы и поминки. К тому же состоятельные люди могли воспользоваться услугами художников, что в еще большей степени способствовало увековечиванию личной либо семейной памяти. Достаточно почитать завещания кое-кого из именитых граждан:

«...А также для того, чтобы была нарисована хорошая картина в приделе Сен-Мишель или Сен-Жак в кармелитской церкви либо в другом таком же благопристойном месте вышеназванной церкви или во внутренней галерее напротив стены, — картина, изображающая завещателя, его покойную жену и их детей с надписью на медной таблице в память о том, что завещателем был сделан вклад на служение трех месс в неделю, — 12 франков».

Двенадцать франков для того, чтобы потомкам благодаря выгравированной на медной таблице надписи стало известно, что ты сделал вклад на три мессы и что на портрете изображен именно ты...

Такой выраженной в завещании воле соответствовала картина, заказанная во времена Франсуа Вийона Гийомом Жувенелем, превратившимся в Ювенала дез Урсинс, дабы фамилия больше походила на латинскую и дабы можно было выдавать себя за родственника великого римского семейства Орсини. Гийом изъявил желание украсить расположенный в Соборе Парижской Богоматери погребальный придел своих родителей. И вот именно благодаря этому распоряжению мы имеем возможность еще в наши дни лицезреть эту коленопреклоненную в иерархическом порядке социальную ячейку, каковой была сия знаменитая судейская по своему происхождению семья. Когда у купеческого старшины два сына оказываются архиепископами, а один — канцлером Франции, то набожность сливается с желанием лишней раз подчеркнуть славу своего рода.

У рассуждений Вийона была сходная подоплека, хотя память о себе он надеялся сохранить совсем иным способом. Его эпитафия, к которой мы еще вернемся, явилась итогом длинной-длинной жалобы, составленной в «Большом завещании» из портретов «бедного Вийона». Здесь речь идет отнюдь не о прославлении себя либо своей семьи, чему обычно способствует каменная либо медная таблица. Вийон претендует лишь на несколько написанных от руки и легко стирающихся под воздействием времени строчек. Поэт зло высмеивает все способы, с помощью которых люди пытаются увековечить свою именитость.

*Пусть над могилою моею,  
Уже разверстой предо мной,  
Напишут надпись пожирнее  
Тем, что найдется под рукой,  
Хотя бы копотью простой  
Иль чем-нибудь в таком же роде,  
Чтоб каждый, крест увидев мой,  
О добром вспомнил сумасбрODE...<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 120. Перевод Ф. Мендельсона.

## **Глава IV**

### **Магистр Гийом де Вийон...**

#### **Капеллан**

Была ли молившаяся в монастыре бедная женщина вдовой? Вполне вероятно, хотя полной уверенности в этом у нас нет. Вийон говорил о своем отце только в прошедшем времени, но говорил о нем в 1461 году, когда поэту было уже тридцать лет.

*Я бедняком был от рожденья  
И вскормлен бедною семьей,  
Отец не приобрел имения,  
И дед Орас ходил босой...  
Укрыт могильною землею  
Прах грешный моего отца, —  
Душа — в обители творца! —  
И мать моя на смертном ложе,  
Бедняжка, ждет уже конца,*

---

<sup>1</sup> Там же. С. 44 и 45.

В тот момент, когда юного Франсуа де Монкорбье вверили заботам Гийома де Вийона, она была на четверть века моложе, но, очевидно, принадлежала к разряду тех одиноких женщин, с которыми жизнь обходилась тем более жестоко, что они не имели ни денег, ни ремесла. Бывали же ведь и удачливые вдовы, получавшие в наследство дом, или мастерскую, или лавчонку. Нередко подмастерьям удавалось именно таким образом составить состояние, то есть женясь на вдове и получая одновременно все необходимое для успешного ведения дела. Находились, правда, такие вдовы, что тиранили своих молодых супругов, обращались с мужем нелюбезно, как иногда обращаются с зятем или с собственным сыном. А ничего не имеющая вдова ничего и не получала. И в таких условиях маленький ребенок оказывался весьма тяжелой обузой.

Не исключено, что священника церкви Сен-Бенуа-ле-Бетурне магистра Гийома де Вийона не связывали с его новым протеже никакие родственные узы. Возможно, он взял его просто как ученика, подобно тому как брали себе учеников, например, кровельщики или портные. Мэтр Гийом не выучил Франсуа никакому ремеслу, но зато предоставил ему возможность выйти в один прекрасный день с помощью университета на тот путь, на котором состояние можно заработать с помощью знаний. Взамен он получил ребенка, разжигавшего в его очаге огонь и выполнявшего различные поручения. Таким образом, Франсуа де Монкорбье был прежде всего слугой, а также еще певчим в хоре, равно как и секретарем, и выполнял он всю эту работу в обмен на кров и пищу, в обмен на обучение катехизису и латинскому языку, в обмен на обучение основам арифметики и элементарной грамматики.

Место это было хорошим, особенно если принять во внимание, что Франсуа, сын бедной женщины, естественно, не имел никакой возможности посещать уроки какого-нибудь из нескольких десятков парижских школьных учителей либо уроки одной из «благочестивых женщин», которым доверяли образование своих детей обеспеченные семьи. Место могло оказаться для юного Франсуа счастливым либо несчастливym, но заполучить такое место уже было своего рода удачей.

К счастью, священник Гийом де Вийон оказался прекраснейшим человеком. Попав к нему в самом раннем детстве, в возрасте шести или семи лет, Франсуа и в зрелом возрасте сохранил о нем память как о приемном отце. Магистр Гийом стал одним из весьма редких персонажей «Завещания», которому поэт предназначил дар, являющийся, естественно, чистейшей выдумкой, но выдумкой, выражающей любовь и привязанность.

***Затем тебе, Гийом Вийон,  
Кем взоеен, вскормлен, обогрет,  
Кто пестовал меня с пелен,  
Спасал не раз от многих бед,  
Кто был отцом мне с юных лет,  
Родимой матери добрее... <sup>1</sup>***

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 71. Перевод Ф. Мендельсона.

О Гийоме кое-какие сведения сохранились. Он был церковнослужителем лангрской епархии, священником парижской церкви Сен-Бенуа-ле-Бетурне и одновременно преподавателем канонического права — или, как тогда говорили, «регентом в декрете» — в школах на улице Жан-де-Бове, считавшихся центрами парижского законоведения. Подобно многим другим школярам, Гийом де Вийон взбирался одновременно по ступеням двух взаимодополняющих и ведущих порой к богатству карьер: университетской и духовной.

В 1421 году, то есть за десять лет до рождения в Париже близ Понтуаза Франсуа Вийона, тот, кому он впоследствии оказался обязанным своей фамилией, уже получил степень магистра искусств и бакалавра права. Потом он продолжал учебу еще года четыре или пять, но лицензиатом так и не стал.

Первый свой бенефиций Гийом получил в 1423 году. Весьма скромный бенефиций, но то было лишь начало — получавший его предшественник Гийома принадлежал к известной семье Марль, к тому времени уже обосновавшейся и в Парламенте, и в ратуше и активно демонстрировавшей свою власть и свои связи. Полученный Гийомом де Вийоном доход причитался ему как капеллану приходской церкви Богоматери, находившейся в Жантйи, на расстоянии одного лье к югу от Парижа. Весь бенефиций сводился к мешку зерна, который нужно было ежегодно забирать у мельника маленькой водяной мельницы, стоявшей на реке Бавьер неподалеку от Жантйи.

Впрочем, даже и за этот скромный паек нужно было еще побороться. Дело в том, что наряду с тысячами других бенефициев, переполнявших реестры парижского Парламента, капелланская должность магистра Гийома тоже оказалась предметом спора. 19 июля 1425 года состоялось слушание дела в самой высокой судебной инстанции королевства, где Гийом де Вийон доказывал, что он получил должность после смерти Гийома де Марля от лица, занимающегося распределением духовных мест, то есть от парижского епископа. Однако письменных доказательств у него, естественно, никаких не оказалось. Гийому де Вийону в тяжбе противостоял некий Гийом Море, утверждавший, что его назначил капелланом сам король в тот момент, когда епархия после смерти епископа Жерара де Монтегю находилась в ведении трона.

Отметим по пути одну характерную деталь, в которой отразилась более чем трехвековая мода: и у обоих противников, и у их предшественника имя было Гийом. В те времена каждого пятого парижанина звали Гийомом — каждого третьего звали Жаном, — так что младшим членам семьи, детям, приходилось давать это имя, изменяя его форму: Гийомен, Гийемен, Гийемо, Гийо...

Поскольку убедительных документов у участников тяжбы не оказалось, процесс затянулся. Шли годы. Спор велся по поводу дат: когда умер предшественник, когда умер епископ, когда назначение на должность получил один из истцов, когда — второй. В 1429 году в ожидании завершения дела Парламент принял временное решение, предоставлявшее Гийому де Вийону право пользоваться его бенефицием, а окончательное решение так, похоже, и не было принято вообще.

Тем временем мэтр Гийом нашел себе более существенный доход, а главное — более соответствующий положению юриста, претендующего на преподавание наук: он стал капелланом капелланства Иоанна Евангелиста в маленькой парижской коллегиальной церкви Сен-Бенуа-ле-Бетурне.

Сен-Бенуа — это была готическая церковь с четырьмя нефами, обращенная лицом к улице Сен-Жак, стоявшая по правую руку, если идти от Сены к монастырю. К ней странным образом примыкала лавка мясника, хотя странным это соседство казалось лишь на первый взгляд — плата мясника каноникам за сдачу помещения составляла значительную долю их дохода.

Слово «Бетурне» этимологически означает «неудачно повернутая», что соответствовало действительности, потому что хоры были развернуты на запад и это, естественно, вызвало недоумение. Однако потом выход из положения был найден, и в описываемые нами времена литургия, вероятно, на протяжении уже более века устраивалась таким образом, чтобы алтарь находился у входной двери. А ниша для хоров располагалась теперь в глубине церкви. Поэтому многие парижане оказывались введенными в заблуждение и даже называли иногда церковь «Бьентурне», то есть «удачно повернутая». Но при этом вход в церковь оказывался сбоку.

Впрочем, и само название церкви таит в себе погрешности против здравого смысла, которые делали неправомерным даже сам праздник годовщины переноса останков святого Бенедикта, имевший место 11 июля. Старая романская церковь была посвящена просто Богу. Благословенному Богу. И вот это-то слово «благословенный», то есть «бенуа», и стало причиной ошибки. Этимология забылась, и все стали чествовать святого Бенедикта, аббата с горы Кассен.

Перед церковью находился просторный двор. Двор обрамляли со всех сторон дома, обращенные фасадом либо к церкви, либо к улице. В некоторых из них жили каноники и капелланы. Другие же сдавались внаем, дабы поднять сумму дохода с церковного имущества, отнюдь не исчерпывающегося выплачиваемой мясником арендой.

Весь этот ансамбль строений находился в самом центре университетского квартала. Выйдя из церкви через главную, обращенную к улице Матюрен дверь, можно было увидеть прямо перед

собой неф Матюренов, где имели место собрания факультета искусств. По правую руку находилась улица Сен-Жак, по которой студенты спускались к расположенным на улице Фуарр школам, где учились самые юные школяры, «искусники», осваивавшие те «свободные искусства», которые на протяжении целого тысячелетия считались фундаментом знания и красноречия. А перейдя через улицу Сен-Жак, прохожий оказывался в трех шагах от законоведческих школ, расположенных в тупике Брюно.

Налево от входа в церковь Святого Бенедикта шла улица Сорбонны, по одну сторону которой стоял дом, имевший название «Образ святого Мартина», а по другую — два пирамидальных дома, выходявших также на улицу Пла д'Этэн (Оловянной Тарелки). Несколько шагов вдоль стены церкви Святого Бенедикта — и вот перед нами уже теологический факультет.

Если читатель желает, то можно пойти влево по улице Матюрен. Оставив справа два особняка, прижимавшиеся к развалинам римских бань, мы обнаруживаем другую крупную артерию университетского берега, каковой была улица Арп. Достаточно ее пересечь — и вот мы уже в кордельерском монастыре.

Причем на углу улицы Арп и улицы Матюрен можно было увидеть парижскую резиденцию аббатства Ключи. Весьма массивное здание. Однако строение в описываемую нами эпоху уже обветшало. Впоследствии, в конце века, аббат д'Амбуаз произвел его реконструкцию в соответствии с новыми архитектурными канонами. А во времена Вийона монахи проживали в другом месте, в принадлежавшем им особняке у ворот Сен-Жермен-де-Пре либо в коллеже рядом с иаковитским монастырем. Соседний с банями Юлиана дом был практически заброшен. Что же касается дворца, где располагались сами бани и где некогда проживал буржский архиепископ Гийом Буратье, то он с некоторого времени принадлежал судейскому чиновнику по имени Пьер Кулон.

Быть каноником либо капелланом означало прежде всего то, что занимающий эту должность мог рассчитывать на жилье и на определенный доход в обмен на обязанности в жизни религиозной общины. Жизнь каноника, естественно, в корне отличалась от суровой монастырской жизни. Каноник служил обедню, участвовал в собраниях капитула. Каждый вечер он пел вечерню и повечерие. А в остальном делал, что хотел. По профессии же капеллан Гийом де Вийон был преподавателем права.

В церкви Святого Бенедикта было достаточно много мест. Один священник и шесть каноников, назначавшихся капитулом Собора Парижской Богоматери, по отношению к которому церковь Святого Бенедикта считалась «дочерью» или же «членом», двенадцать капелланов, выбиравшихся канониками самой церкви, несколько детей-хористов, выполнявших одновременно функции прислуги, ризничих и учеников, — таков был скромный контингент не слишком обеспеченного капитула. Помимо того, было еще и имущество в виде домов, так что причастные к получению доходов духовные лица договаривались между собой, делили их таким образом, чтобы в некоторых из них жить, а другие сдавать внаем. Гийом де Вийон заполучил себе один из домов, несомненно весьма скромный, о котором известно, что он стоял против церковного кладбища, прижавшись к очень красивому дому «Гез», возвышавшемуся на улице Сен-Жак. Потом, в 1433 году, ему удалось снять за восемь парижских ливров в месяц дом «Красные двери», прекрасный особняк, расположенный с другой стороны двора, на улице Сорбонны. Ближе к концу своей карьеры он получил сверх того один нуждавшийся в ремонте домишко и еще один домик около улицы Сен-Жак. Можно предположить, что до самой своей смерти в 1468 году он проживал в доме «Красные двери».

Магистр Гийом не был даже каноником, и о его образовании речь никогда не заходила. Простой посредственный церковнослужитель, не из именитых, но и не из самых обездоленных, — таков был этот человек, с которым судьба, а то и какое-нибудь дальнее родство свели Франсуа де Монкорбье приблизительно в 1435 году и который стал для него «родимой матери добрее».

## **Образ жизни**

Представить себе их совместную жизнь весьма трудно, поэтому рискнем и используем для того, чтобы лучше понять, что собой представлял капеллан церкви Святого Бенедикта, кое-какие дошедшие до наших дней сведения о других получателях церковных доходов, правда более обеспеченных, чем мэтр Гийом.

Рискнем зайти к двум парижанам, образ жизни которых нам известен благодаря оставшимся после их смерти инвентарным описям, сделанным нотариусами. Один из них — не кто иной, как секретарь Парламента Николя де Байе, богатый каноник Собора Парижской Богоматери, умерший в своем прицерковном доме 9 мая 1419 года, когда Гийом де Вийон был еще школяром. Другой же был простым буржуа, не из самых именитых, — Жан Жоливе, проживавший на улице Сен-Жак, справа, если идти по ней вверх, в доме, где была вывеска «Образ святого Николая». Там он и умер в 1431 году, в том самом году, когда родился будущий Франсуа Вийон и когда магистр Гийом де Вийон устроился в церкви Святого Бенедикта.

Большой, богато обставленный мебелью зал, «маленький кабинет», хорошо оснащенная кухня, купальня — вот первый этаж дома Николя де Байе. Вдоль сада тянулась галерея. Во двор выходили две кладовые и один погреб. Имелась конюшня с двумя комнатами над нею для слуг. На втором этаже — высокая зала, «большой кабинет» и три прекрасные, выходящие окнами в сад спальни с видом на Сену. Одна спальня была белая, другая — красная, а третья называлась «спальней с голубями»: цвет краски и драпировка давали название комнатам так же, как вывески — домам. Третий, чердачный, этаж занимала «высокая мощеная комната». Дом каноника Собора Парижской Богоматери имел также часовню, расположение которой в документе не уточнено.

У Гийома де Вийона, конечно же, не было, как у Николя де Байе, двадцати скамеек, одна из которых — «шестнадцать футов длиной, с картинками и ступенькой». Не было у него и двадцати столов, из которых один — восемнадцать футов длиной, «сделанный из трех дубовых частей с пятью железными перемычками». Не было у него, как у секретаря Парламента, и тринадцати кресел с высокими резными спинками, шести кожаных кресел, одиннадцати буфетов, шестнадцати сундуков, четырех налоев... Однако если не принимать в расчет подобного изобилия мебели, то стиль жизни у капеллана церкви Святого Бенедикта был, вероятно, таким же, как у каноника Собора Парижской Богоматери. Дом «Красные двери» — это прежде всего большая гостиная на первом этаже и, возможно, еще одна гостиная на втором этаже, а также хорошая спальня для хозяина и еще одна — для приезжих родственников и друзей. Можно себе представить, не слишком рискуя ошибиться, и еще одну комнату, где-нибудь на третьем этаже либо за кухней, отдельную, не проходную комнату без камина, в которой размещался юный Франсуа де Монкорбье.

Гостиная — это прежде всего длинный стол, сделанный из одной, двух или трех дубовых либо ореховых тесин, а то и из исландского «борта», какого-нибудь смолистого дерева, являвшегося предметом роскоши в буржуазных домах того времени. Это также несколько дополнительных столов, стоявших обычно вдоль стен и приставляемых к главному в зависимости от количества гостей. Рассаживались приглашенные на двух-трех скамейках — причем у одной из них могла быть спинка — с обитыми шелком или шерстью сиденьями, в то время как сам хозяин восседал на кресле с потемневшими от времени подлокотниками и с высокой, иногда резной спинкой. Перед камином стоял металлический экран. Для посуды и всего остального вполне хватало буфета с двумя, тремя или четырьмя дверцами и нескольких сундуков. Ассортимент находившейся в зале мебели завершал открытый поставец, подчеркивавший желание хозяина продемонстрировать свою серебряную или оловянную посуду.

Столовое белье встречалось редко: несколько «рушников» в кухне, несколько посконных или льняных скатертей для праздничного стола. Верхом роскоши считались изделия из узорчатой или, как ее называли, «дамасской» льняной ткани.

В спальне роскошь была не столь редка. Ложе состояло из деревянной рамы кровати, которая покрывалась драпировкой, из тюфяка на тесьмах и из набора простыней, покрывал и одеял. О богатстве судили по разнообразию шерстяных одеял. «Покрывало из индийской тафты с подкладкой из зеленого полотна с красной вышитой розой посередине» — подобную роскошь мог себе позволить Николя де Байе, но никак не Гийом де Вийон, у которого не было также и сменных матрасов — шерстяной на зиму и хлопчатобумажный на лето, — что свидетельствовало о наивысшем комфорте. Однако постель была немыслима без многочисленных перьевых либо

пуховых подушек — спать приходилось почти сидя — и полотняных либо саржевых занавесок, немислима без «балдахина и заголовка». На время сна занавески задергивали, что наравне с ночным колпаком создавало чувство защищенности и уюта, необходимое не только мирянам, но даже и самым мудрым церковнослужителям, поскольку внутри дома, как и в других местах, не стихала коллективная жизнь и человек никогда не оставался в полном одиночестве. Хорошо было почувствовать себя у себя дома хотя бы в постели.

Интерьер буржуа Жана Жоливе был приблизительно таким же. В центре первого этажа находилась столовая со столами, скамьями, сундуками. К столовой примыкала кухня с ларем, где хранились и продукты, и посуда. За столовой находился кабинет, где тоже стояли скамейки, сундуки и лари, а также «деревянная конторка с дверцей». С этой же стороны была еще небольшая кладовая с открывающейся в сад дверью, и в этой кладовой находилась главным образом ненужная в данный момент мебель.

На первом этаже у Жана Жоливе была спальня, окна которой выходили на улицу Сен-Жак. Она выглядела достаточно хорошо меблированной: «ложе из дерева с тесьмой и окаймлением», стол, несколько скамеек, несколько ларей. А роскошь была представлена «креслом резным со спинкой и с просветами вверху» и «буфетом с двумя панно и одной дверцей».

Имелся в спальне и платяной шкаф. Рядом находилась маленькая спальня с двумя кроватями для родственников и друзей, выходившая окнами в сад, а чуть подальше — еще одна, последняя на этом этаже, с окнами во двор. Над этим этажом возвышался чердак, а еще выше — самый высокий на этой улице щипец крыши. Запасы белья хранились в «моечной», располагавшейся в задней части помещения.

И Байе, и Жоливе имели в доме модное в то время белье, посуду и меха — все то, что выглядело роскошью, доступной лишь зажиточным горожанам. Например, у каноника было восемнадцать льняных и шесть посконных простыней, одиннадцать покрывал, включая то уже упомянутое покрывало из индийской тафты, и двенадцать подушек, в том числе шесть пуховых и шесть перьевых. А для своих кроватей он располагал девятью шерстяными одеялами, четыре из которых были синие, два белые, одно зеленое, одно желтое, одно красное, и кроме того, было одно одеяло из зеленой саржи, старое, но все еще годное к употреблению.

Наиболее роскошным приобретением среднего «хозяина», каковым являлся Николя де Байе, были ковры для зимы: три ворсистых ковра, на одном из которых были изображены белые звезды, а другой, красный, был весь усеян желтыми звездами. Две стены его дома украшали гобелены, на одном из которых была изображена «история Беатрисы, дочери царя Тира», а на другом, поношенном, — страсти Христовы и Вознесение.

Как всегда в средневековых инвентаризациях, перечисление предметов одежды вводит в заблуждение. Одежда тех времен начинает казаться вечной. Коль скоро ее хранили, то при инвентаризации непременно всегда все учитывали. Если старые одеяния никому не завещали, это означало, что их уже продали, и в конечном счете после чьей-нибудь смерти они всегда обнаруживались в каком-нибудь списке. Похоже, что имевший множество мантий, епанчей, плащей и капюшонов Николя де Байе давно уже не прикасался ко многим из предметов своей одежды, еще захламлявших его платяные шкафы. Что не мешало ему менять свой наряд в зависимости от сезона и дня. Так, для верховой езды он надевал просторный «суконник», а на ночь нечто вроде шлафрока. При этом учитывалось все:

«...Фиолетовая епанча с беличьим мехом — 40 су.

Фиолетовая епанча, подбитая старым коричневым мехом с длинным ворсом, — 4 ливра 16 су.

Короткая темно-зеленая епанча с черными перьями — 40 су.

Темно-фиолетовая епанча без подкладки — 20 су.

Темно-зеленая епанча, подбитая старым беличьим мехом, — 6 ливров.

Темно-фиолетовая епанча, подбитая беличьим мехом, и капюшон с малым чепчиком, отороченным таким же мехом, — 8 ливров.

Фиолетовый чепрак, подбитый беличьим мехом, — 4 ливра 16 су.

Большая мантия брюссельского красного сукна с разрезами по бокам, подбитая беличьим мехом, и капюшон с подкладкой из такого же меха — 12 ливров.

Фиолетовая мантия без подкладки — 24 су.

Бурый суконник — 16 су.

Жакет из белого полотна — 4 су.

Зеленый кафтанчик — 12 су.

Два капюшона на подкладке, один зеленый, а другой темно-фиолетовый, — 8 су.

Темно-зеленый капюшон, отороченный беличьим мехом, — 8 су.

Белый халат, отороченный беличьим мехом, — 7 су.

Красная шапочка, изъеденная червями, — 6 су.

Большая пуховая шляпа, отделанная сине-зеленой тафтой и индийским шелком, — 8 су.

Большая шляпа из черного трипа — 4 су.

Красная шелковая подкладка без рукавов для епанчи — 10 су.

Четыре куска индийского шелка, в нескольких местах протертого и продырявленного, — 6 су».

В этом перечне оказались роскошные одежды и то, что носили повседневно. Славный каноник не выбросил ничего, и любое старье стоит у него по-прежнему несколько су. Причем самая экстраординарная вещь этого гардероба, мантия брюссельского сукна, подбитая беличьим мехом, стоит всего в сорок раз больше, чем четыре купона протертого, дырявого шелка.

Не отстает от бывшего секретаря Парламента и буржуа Жан Жоливе, чей гардероб вкупе с гардеробом его жены стоит гардероба Николя де Байе. Впрочем, существуют некоторые сомнения относительно содержимого комнаты Жоливе:

«...А также другая зеленая епанча, отороченная и внизу, и сверху старым беличьим мехом, не оцененная по той причине, что, как говорят, она принадлежит Пьеру Кайе, проживающему на улице Сен-Жак, у которого покойник взял ее в залог за шестьдесят четыре парижских су, которые тот был ему должен и которые покойный Жоливе в своем завещании отдал и простил вышеназванному Пьеру Кайе».

Домашняя утварь тоже дает нам определенное представление о доме того времени. Она покоилась в ларях и на полках поставцов, заполняла столы и загромождала шкафы и кухни. Люди, производившие инвентаризации, скрупулезно описали кухни, в том числе и кухни буржуазных семейств, проживавших на улице Сен-Жак. В дубовом сундуке длиной в шесть футов могли находиться скамеечка, пара стиральных тазов, плетеная ивовая корзина с ручкой, холщовый мешок, бочонок для селедки, кувшин для вина, котел с двумя кольцами для переноски горячей воды, два чана с ручками, маленький бронзовый котел, супница, четыре закругленных совка, четыре тазика для мытья рук за столом, две медные жаровни, два таза цирюльника, четыре двойных медных подсвечника, железная лопата и каминные шипцы, причем все эти инструменты и кухонная посуда так и лежали вместе в полнейшем беспорядке.

Столовая посуда находилась в чулане: два медных подсвечника, бронзовая лопаточка, несколько оловянных горшков — на кварту, на полтора штофа, на четыре пинты, на два штофа, на полсетье, — три оловянные солонки на ножках, десять мелких тарелок, семнадцать суповых мисок, оловянная соусница, кружка на пинту и кружка на полштофа из медного сплава, а также горчица, тоже из медного сплава.

У каноника набор выглядит побогаче. В изобилии была у него бронзовая утварь: ступка, ведра, лопатки, тазы, бритвенные приборы, грелки для блюд, котлы, котелки, соусница, двенадцать латунных ложек, бронзовая лопаточка, закрытый фонарь и восемнадцать подсвечников. У Николя де Байе был даже «свинцовый ушат для охлаждения вина». Многочисленна и разнообразна железная утварь: вертел, лопатки, треножники, жаровня и не менее восемнадцати пар сошников с ручками из бараньего рога. На столе царил олово: пять больших

тарелок, девять средних, девять маленьких, восемьдесят пять мисок, горшочки, кружки разных размеров, солонки. Байе был обладателем маленьких настенных часов, застекленного фонаря, «таза для мытья». Предметом гордости хозяина, несомненно, являлась пара ножей с канавками, с черными роговыми ручками, окольцованными покрытым глазурью серебром, с черными, украшенными серебром ножнами.

Часовня и библиотека, естественно, еще больше увеличивали дистанцию между буржуа с улицы Сен-Жак и таким именитым парижским гражданином, каковым являлся проживавший на острове Сите бывший секретарь Парламента. У Николя де Байе было приблизительно две сотни книг — читал ли он их? — к которым мы еще вернемся. Он обладал неплохим гардеробом церковной одежды — мантии, ризы, епитрахили, орари, — которая нужна была ему не только для того, чтобы ходить в часовню, но, по-видимому, также и для того, чтобы отправлять службу в соборе. Среди его церковных одеяний были шерстяные фиолетовые ризы, необходимые для периодов покаяния — особенно для Рождественского и Великого постов, — и ризы из черной шерсти, которыми пользовались в дни траура. Зеленые одеяния нужны были в течение долгого сезона упования, тянувшегося от Троицына дня почти до самого Рождества. А белые шелковые одежды с золотой нитью носили по торжественным праздникам.

Риза из шелковой золотистой камки и из полосатой тафты, стихарь из льняной ткани с венгерским шитьем — этот пасхальный либо рождественский наряд превращал часовню в своего рода сокровищницу. Кстати, именно там, в часовне, Байе рядом с необходимыми для службы медной кадилницей и серебряной позолоченной чашей хранил несколько ценных вещей, которые ему, очевидно, достались по наследству и которые он в свою очередь тоже завещал своим наследникам: эмалированную серебряную раку, переносной алебастровый алтарь в обрамлении из позолоченного дерева, мраморную либо белокаменную статуэтку...

Мы бы ошиблись, если бы предположили, что Вийоны — настоящий и названный так впоследствии — ходили в шелках и в белых одеждах из тонкого сукна. Образ жизни капеллана церкви Сен-Бенуа-ле-Бетурне был, скорее всего, гораздо более похож на образ жизни скромного буржуа, чем на тот, который был свойствен канонику Собора Парижской Богоматери, принадлежавшему к королевской судейской знати. Имел ли Гийом де Вийон в своей библиотеке хотя бы двадцать книг? Были ли у него хотя бы две мантии? Стоял ли у него дома шкаф для риз?

Хотя инвентаризацию в данном случае произвести невозможно, мир, открывшийся глазам юного Франсуа де Монкорбье, едва тот переступил порог раннего детства, разглядеть не так уж трудно: учеба и стихарь магистра Гийома де Вийона, колокольный звон, звавший на службу и на молитву Пресвятой Богоматери, гомон входивших в матюренский монастырь школяров, торопливый шаг тех, кто шел к Сорбонне, и тех, кто спускался к улице Фуарр...

Поверх монастырских стен перед ним открывалась панорама Парижа и вид на улицу Сен-Жак, занявшую отрезок древней, но навсегда оставшейся в памяти парижан римской дороги и оказавшуюся главной улицей левого, университетского берега Сены. Именно на этой улице, между домом «Божья любовь», стоявшим на углу улицы Сен-Северен, и домом «Серебряная корзина», примыкавшим к иаковитскому монастырю, он начал потом знакомиться с нравами столичных жителей.

Поначалу он читал Библию для общего развития, «Донат» для усвоения грамматических правил и «Доктринал» для уточнения унаследованных от родителей религиозных понятий. То было приобщение к азам. Позже у него появилось убеждение, что приобретенного им в этой области уже достаточно и что от избыточных знаний нет никакой пользы. «Донат», решил он, достаточно скучен, и следовало бы, чтобы уже за одно изучение содержащихся в нем молитв верующий получал вечное спасение. Дабы посмеяться над тремя ростовщиками, Франсуа Вийон сделал из этой философии забавную песенку, где перемещались латинские слова с двойным смыслом. Слово «честь», взятое из католической молитвы во славу Девы Марии, одновременно оказывается названием не столь давно учрежденной английским королем Генрихом VI и еще встречавшейся в обиходе монеты. Поэт выражает горечь человека, получившего кое-какое образование, но все же оставшегося обездоленным.

*Так пусть поможет им в ученье*

*Мэтр Пьер Ришье. Но надо знать:*

*«Донат» для них — одно мученье!  
Как дательный надеж понять  
Тому, кто не привык давать?  
У них и так ума палата,  
Коль научились повторять:  
«Тебе и честь и слава, злато!»<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 91. Перевод Ф. Мендельсона.

Три жадных ростовщика ничему не научились, если не считать песни во славу золота. А от учебы богаче не становишься.

## **Глава V**

### **И измениться захотелось мне...**

#### **Товар**

Война закончилась. Французы забыли недавно мучивший их страх: страх смерти, страх разорения, страх перед завтрашним днем. У людей стала проявляться деловая активность. Они начали строить, организовывать, рисковать, творить.

Что мог предпринять в такое время юный парижанин, желающий разбогатеть? Заняться работой? В момент подведения личных итогов поэт, поменяв местами элементы причинно-следственной пары, выразил следующую мысль: работать можно лишь тогда, когда у тебя не пустой желудок. В этом мире все является иллюзией и противоречием, но вот что касается голода, то он вполне реален.

*Работать может лишь несытый,  
Придет на помощь только враг,  
Надежен сторож неспящий,  
Кто сено не жует — чудаки<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Перевод В. Никитина.

Это вопрос «Зачем?», сформулированный бедняком. А ведь можно подумать, что для школяра, проживавшего почти в самой церкви Святого Бенедикта, путь к успеху был обеспечен. Путь к обильно сервированному столу, к отороченной беличьим мехом шапочке, к просторному собственному дому. В возрождавшемся от лихолетья Париже полет фантазии честолюбцев не сковывался ничем.

Некоторые из них, естественно, выбирали «товар». Однако пора в этом отношении была для столицы не из легких. Руан обретал экономическую независимость, стимулировавшуюся как близостью моря, так и растянувшимися на целый век конфликтами, во время которых Нижняя Сена зачастую оказывалась в одном лагере, а Париж — в другом. Тур воспользовался тем, что принцы перебравшись в долину Луары, и завладел некоторыми еще недавно считавшимися традиционно парижскими рынками. Лион превратился в исключительно важный международный торговый центр, где перекрещивались дороги, ведущие к альпийским перевалам, с прионским путем, ведущим к Средиземному морю. Что же касается государства Филиппа Доброго, то оно имело теперь два полюса — бургундский и нидерландский — и на карте его торгово-финансовых связей Париж занимал более чем скромное место. Дижон и Брюссель были связаны между собой прямой дорогой.

Во времена Вийона уже почти никто и не вспоминал, что когда-то папские сборщики, занимавшиеся гасконскими провинциями, отправляли деньги в Авиньон из Парижа, что когда-то герцог Беррийский считался одним из главных клиентов парижских ювелиров, а герцог Анжуйский заказывал arrasские гобелены в Париже. А главное, ушли в прошлое те времена, когда все сколько-нибудь значительные представители французской знати должны были из опасения, что их забудут, проводить несколько месяцев в году в Париже, ушли в прошлое те времена, когда Бургундия и Фландрия, Бретань и Арманьяк, не говоря уже о Наварре Карла Злого, управлялись с берегов Сены.

Парижские финансы так и не оправались после отъезда ломбардцев. Так во Франции называли и генуэзцев, и флорентийцев, и сиенцев. Начиная с эпохи Филиппа Красивого они были главными импортерами иностранных капиталов и крупными поставщиками предметов роскоши. В основном именно они иногда в качестве менял, иногда в качестве торговцев предоставляли и долгосрочные кредиты на организацию предпринимательской деятельности, и краткосрочные потребительские кредиты. И именно они сделали из Парижа центр финансовых операций, в которых участвовали многочисленные компании, и одновременно превратили его в центр экономической информации.

Столица Карла V и даже еще столица Карла VI была городом, куда прибывали деловые люди и гонцы, где циркулировали идеи, где перекрещивались интересы.

В конце XIII века самым большим состоянием в Париже было состояние финансиста Гандуфля д'Арселль, с которого брался налог 142 ливра 10 су, в то время как налог среднего парижанина составлял десять-двадцать су. Следом за ним шел королевский банкир Муше, или Мушато Гвиди деи Францези. В 1296 году из ста пятидесяти восьми налогоплательщиков, плативших налог, превышавший десять ливров, было сорок три иностранных, в большинстве своем тосканских, компаний или торговцев.

В конце XIV века и в начале следующего века из-за раскола и из-за ссоры с Флоренцией многие из них уехали. Внесли свой вклад и приступы ксенофобии. По существу, эти приступы явились вспышками ярости, направленной против богачей, кредиторов, ростовщиков. Так что Париж опустел. После сильных бунтов 1418 года ломбардцев в Париже не осталось, за исключением немногих ассимилировавшихся, почувствовавших себя французами и зачастую уже больше не занимавшихся финансово-торговыми операциями.

Генуэзец Жан Сак остался в одиночестве, но в 1436 году, когда ушли англичане, его позиции тоже оказались полностью подорванными, потому что, будучи финансистом Бэдфорда, он олицетворял ненавистную налоговую администрацию.

В Париже 1450-х годов кое-какие иностранцы время от времени, естественно, появлялись. Однако обычно ненадолго. А те, кто хотел там обосноваться, старались держаться поближе к королю, то есть там, где принимались важные для деловых людей политические и экономические решения — война либо мир, учреждение той или иной ярмарки, — оперативное знание которых стимулировало инициативу. Два торговца из Бургоса, выгрузившие 30 августа 1458 года в порту у Гревской площади две тысячи шестьсот тюков кастильской шерсти, явились исключением. Они привлекли на некоторое время к себе внимание, но вторично не появились.

А вскоре после того итальянец Кьярини, делая учебник экономической географии для деловых людей, поместил Париж... во Фландрии.

Правда, причины этой ошибки понять, в общем-то, нетрудно: парижский рынок был всего лишь пунктом встречи всех товаров определенного региона, притягательная сила которого объяснялась наличием в нем системы судоходства на Сене и ее притоках. А в структуре более важных торговых маршрутов, берущих начало в Брюгге, в Антверпене и предназначенных для пряностей, для квасцов, равно как и для финансовых бумаг, Париж был всего лишь одним из континентальных перевалочных пунктов.

На все усиливавшуюся изоляцию Парижа французы реагировали так же, как иностранцы. Они устремлялись в иные края, поскольку, хотя на парижский рынок и попадали кое-какие товары — вино, соль, зерно, сукно, оружие, — сам этот рынок был настолько маломощен, что не обеспечивал потребности даже северной части королевства. Жак Кёр, финансист Карла VII, в Париж почти не заглядывал. Демонстрируя результаты своей коммерческой деятельности, он

обзавелся собственными особняками в Бурже, Туре, Сен-Пурсене, Лионе и Монпелье, но при этом не считал необходимым иметь дом в столице.

Предоставим слово цифрам. В Париже 1420 года менялы по размеру своих состояний находились еще на первом месте, впереди торговцев, за которыми шли владельцы книжных лавок, суконщики, ювелиры и бакалейщики. Тогда же, в 1420 году, из четырех старшин, заседавших в ратуше, все четверо были менялами. Тридцать лет спустя все изменилось. Должность городского старейшины в 1450 году занимал королевский чиновник, а из четырех старшин один был менялой, один — суконщиком, один — бакалейщиком и один — нотариусом. А еще через десять лет королевские чиновники полностью овладели ратушей. Одновременно в иерархии состояний на первое место вышли профессии, кормящиеся от богатства буржуазии, а не от предпринимательства и не от аристократической роскоши. Менялы, суконщики и ювелиры уступили место скорнякам, трикотажникам и особенно галантерейщикам. Советники, адвокаты и нотариусы были людьми, потреблявшими не слишком много рубинов и довольно редко переводившими суммы в Барселону или Геную. Они покупали шелковые ленты, вышитые кошельки, отделанные серебром пояса. Безделушек покупалось больше, чем ценных шкатулок. Торговцы куклами захватили весь Мост менял. И деньги люди занимали чаще для того, чтобы купить подбитый мехом плащ, а не партию индиго.

Богатели те, кто занимался изготовлением предметов полуроскоши, те, кто связывал надежду на прибыль с интеллектуальным и административным функционированием столицы. Общественный писец находил работу и у просвещенных любителей книг, и у истцов в суде, и у налогоплательщиков, и просто у королевских подданных, причем вереницы все прибывавших из провинции жалобщиков, искателей службы и школяров не иссякали. За двадцать лет количество писцов, обосновавшихся на мосту Собора Парижской Богоматери, увеличилось с одного до шести, количество художников-миниатюристов — с одного до шести, переплетчиков — с одного до трех.

Парижские капиталы, равно как и многие капиталы, привлекавшиеся из провинции, находили применение в иных сферах. В частности, в гонке за королевскими заказами, в неистовстве, с которым именитые горожане вернувшейся к жизни столицы принялись строить и украшать свои дома. А в экономических делах участвовали другие: руанские судовладельцы, турецкие банкиры, лионские и марсельские негодянты.

Крушение парижского банковского дела, естественно, сопровождалось застоєм финансового и коммерческого предпринимательства. Для того чтобы занять денег, ходили к нотариусу, а на заемное письмо в Париже продолжали смотреть как на простое извещение об уплате, в то время как в других городах — даже французских — оно уже приравнялось к векселю или к выплате наличными и выполняло соответствующие функции в кредитных операциях.

Даже весьма скромные по своему размаху инициативы задохнулись в корсете из постановлений и процедурных регламентации. Хотя Жан Римас, крупный амьенский оптовый торговец вином, и был частым посетителем Гревского порта, едва он позволил себе в апреле 1458 года отправить в Сен-Дени партию вина — восемьдесят четырехсотпятидесяти бочек, погруженных накануне в повозки, согласно самому что ни на есть официальному разрешению, выписанному на Селестенский порт, — как против него выступил весь аппарат парижской ратуши. В разрешении указывалось, что, достигнув Парижа сухопутным и речным путем, это осерское и бонское вино должно было поступить только в Амьен, а не куда-либо еще. То, что Сен-Дени находился на пути в Амьен, дела не меняло. Несмотря на то что клиенты объявились неожиданно, причем когда вино еще не покинуло пределы парижского графства, нарушение пунктов полученного разрешения было налицо. Римасу пришлось вести переговоры, доказывать, что у него были вполне честные намерения, в чем, кстати, никто не сомневался, и в конечном счете он вынужден был пойти на компромисс. Торговец меньшего масштаба в такой истории попросту лишился бы своего вина. Однако «Дом со стойками» вовсе не хотел окончательно поссориться с Римасом, так что требование прокурора конфисковать весь товар удовлетворено не было. Тридцать пять бочек отправили в Пикардию сухопутным путем, потому что не могло быть и речи о том, чтобы возвращать прибывшие из Амьена повозки пустыми. Остальное, то есть сто сорок девять бочек вина и шесть мюидов уксуса, перевели на французскую компанию и позволили Римасу отправить туда, куда он пожелает. Это означало, что некий парижский буржуа одолжил для всей операции

свое имя и получил таким способом, нисколько себя не утруждая, половину всей прибыли, а Римас не смог отступить от сделки в Сен-Дени. К тому же из ста сорока девяти бочек восемьдесят были уже отправлены в Сен-Дени. Их вернули в Селестенский порт, перегрузили и вновь отправили на корабле из Парижа... в Сен-Дени.

Вино, отданное Римасом во французскую компанию, стоило более двух тысяч экю, и парижский буржуа Николя Герар, вынужденно взятый амьенским торговцем в качестве французского компаньона, получил с половины этой суммы доход лишь благодаря тому, что в подходящий момент оказался на Гревской площади.

Римас только плечами пожал — и снова за работу. Ничего больше и не оставалось, коль скоро он хотел и впредь пользоваться дорогой, специально предназначенной для большегрузных товаров, то есть Сенной. Несмотря ни на что, для бургундского вина, употреблявшегося пикардийцами, самой удобной дорогой все же оставалась Сена с перегрузкой в Париже или в Компьене. Римасу было известно, что, попытайся он при транспортировке вина из Бургундии в Сен-Дени обойтись без «приписного порта» как обязательного этапа, преследования со стороны парижан стали бы неминуемыми. Не исключено, что он нашел покупателей в Ленди, но порт Сен-Дени не был «приписным».

## Деловые пути

Данная история помогает нам понять многое. В Париже в не отличавшихся широтой взглядов деловых кругах для предпринимательской смелости просто не было места. Функционирование корпораций сводилось к самому тупому протекционизму, обеспечивавшему столичной буржуазии монопольное рыночное право, исключительные права в производстве товаров, приоритет при занятии тех или иных рабочих мест. Шансов найти работу на Гревской площади или же у ворот Бодуае у коренных парижан было больше. В экономике царил эгалитаризм. Конкуренция сдерживалась с помощью посредников и контролеров, доходы складывались в общую копилку и затем делились, места на рынке распределялись по жребию, на пути деловой активности ставились препоны.

Маклеры поровну распределяли между собой работу, а потом дошли до того, что стали просто распределять доходы от маклерства. Глашатаи, в чьи обязанности входило объявлять на перекрестках цены на вино и имена умерших за день людей, в конце концов, чтобы всем была работа, стали ограничиваться именем одного покойника на каждого.

В том же 1458 году, отстаивая свое право сосчитать сотню жердей, ввезенных одним парижским виноградарем, подрались два «присяжных считальщика и меряльщика дров». Жан Ле Марешаль принялся уверять, что подошла его очередь; к тому же ему уже приходилось считать жерди. А Гийом Ле Каррелье, не обращая никакого внимания на его слова, принялся считать жерди, как будто все права были на его стороне, причем стал считать громким голосом и пересчитал их три раза подряд.

Все это происходило в порту при свидетелях, из которых трое были коллегами спорящих. Ле Каррелье «обнаружил свой дурной характер». Иными словами, оказалось, что правда была на стороне его соперника. А кроме того, он дерзко выражался, обзывал коллегу, уже получившего две серебряные монеты и не собиравшегося отдавать их «ворам».

Было решено, что Ле Каррелье «человек вздорный и весьма вредный». Его спровоцировали на ссору, потому что он проживал не на Гревской площади. И вот в один прекрасный день ему пришлось говорить «спасибо» своему конкуренту, «испрашивать прощения» прямо в ратуше. Для того чтобы сцена прощения прошла как полагается, ему даже пришлось «отступить» от выкрикнутых им оскорблений. Однако сумму штрафа в двадцать су тут же низвели до пяти су, потому что Ле Каррелье был беден. На таком мелком паразитизме, от которого кормились некоторые парижане в ущерб разрушаемой всеми сообща торговле, много заработать было невозможно.

Впрочем, иногда торговцам удавалось восторжествовать над деятельностью некоторых совсем уж ненужных посредников. Например, торговцы дровами пользовались и даже злоупотребляли своей привилегией самим разгружать ежедневно определенное количество дров. «Присяжного считальщика и меряльщика дров» следовало нанимать для большого количества дров, а не для двух-трех поленьев. Однако в феврале 1459 года считальщики пожаловались, что торговцы толкуют это правило малого числа в свою пользу: берут «некоторое большое число компаньонов и каждый из них несет пять-шесть поленьев на шею и на крюках», и в результате судно оказывается разгруженным прежде, чем стоявший с дровяной мерой в руке дежурный считальщик успевает что-либо измерить. Другими словами, торговцы прилагали все усилия, чтобы обмануть присяжных, обязательных и дорогостоящих посредников.

Поэтому взаимопомощь при разгрузке оказалась под запретом. На сей счет у торговцев был неотразимый аргумент: мошенничество причиняет ущерб общественному благу. Коль скоро количество принесенного таким способом на рынок товара невозможно измерить, то невозможно контролировать и цены.

Постепенно в этой коллективной борьбе против конкуренции стали обнаруживаться признаки мальтузианства. Экономическое общество замыкалось в себе. Горе опоздавшему. Ушли в прошлое времена, когда в мир лавок и мастерских можно было проникнуть благодаря лишь таланту и настойчивости. В деловых кругах боялись риска, ненавидели новичков и инициативных людей и проводили политику: Париж — парижанам, а лавки — лавочникам.

Перед честолюбивыми людьми воздвигались барьеры, причем тем более строгие, чем ниже находился уровень коммерческой либо ремесленной деятельности. Ведь никакое коллективное давление, никакая регламентация не в состоянии помешать самому лучшему ювелиру набрать большое количество заказов от прелатов и принцев, а модному художнику — заказов на портреты и запрестольные образа. И каким бы примитивным ни было предпринимательство, деловые круги еще не совсем забыли времена, когда — всего полвека назад — гегуэзцы и луккийцы диктовали свои законы. Правда, у тех были офранцузенные имена. Дино Рапонди, доверенное лицо герцога Бургундского, превратился тогда в Дина Рапонда, а у семейства Бурламакки фамилия стала звучать Бурлама. Однако ассимиляция оказалась все же неполной, что подтвердил их поспешный отъезд в момент кризиса. На парижском рынке простой расчетной операции было недостаточно ни для того, чтобы получить заказанные где-нибудь на Востоке товары, ни для того, чтобы перевести деньги куда-нибудь во Флоренцию или в Брюгге. Талант и связи небезуспешно играли тогда против равенства. Они продолжали играть свою роль и в описываемый нами период.

Однако законы, действовавшие в сфере торговли, изменились. В мире, где на вершине оказались трикотажники, можно было довольно легко перекрыть пути излишне предприимчивым кандидатам. От их отсутствия не страдали ни рынок, ни клиентура.

Везде, начиная от рукоделен под открытым небом и кончая торговыми рядами, буржуазия дружно сковывала действия «коробейников» и препятствовала возвышению людей, получавших зарплату, — в обоих случаях проявлялась одна и та же закономерность. Нужно было держать оборону на флангах и опережать удары снизу. Уставы ремесленников ограничивали количество учеников и тем самым укрепляли власть мастера над своими собственными учениками. Таким способом снижалось напряжение, которое от развязывания инициативы непременно бы усилилось. Приобретение статуса мастера все больше затруднялось, а связанные с этим траты делали подобную возможность для человека, не являвшегося сыном мастера, все более иллюзорной.

Впрочем, случалось, что небольшими предприятиями вполне успешно управляли женщины, либо незамужние, либо — еще чаще — вдовы. Однако в конечном счете в законодательстве появилась одна коснувшаяся их оговорка. Оговорка, связанная с опасением, что дочь или вдова способны неосмотрительно передать ремесло супругу, прибывшему из иных мест. В 1454 году Парламент великолепно проиллюстрировал этот подход к данной проблеме, внося в текст королевского законодательства соответствующий запрет. Согласно вновь внесенному пункту, вдове разрешалось заниматься ремеслом покойного мужа, но лишь при соблюдении двух условий: чтобы вдова не выходила повторно замуж или чтобы она выходила замуж за человека, имеющего ту же самую профессию.

Стоит ли здесь напоминать о тех насмешливых серенадах, которые приходилось выслушивать жениху и невесте на пути к брачному ложу во время повторных браков. Повторные браки путали многие карты, перемешивали поколения и социальные слои. Поэтому отношение к ним было настороженное.

Нужно сказать, что зачастую молодые люди, бравшие в жены вдов, даже и не скрывали, что делают это ради выгоды. Женясь на хозяйке, подмастерья либо слуги, уже набившие руку в ремесле, когда помогали в работе своему хозяину, получали одновременно и мастерскую, и орудия труда.

Злонамеренность мастеров простиралась еще дальше. При прохождении экзаменов фальсифицировались их результаты. Изготовленный предмет должен был подтверждать не только искусность того, кто его делал, но и должен был дорого стоить. Если столяр по скупости использовал не ценные породы дерева, то его мастерство ему не засчитывалось. Горе тому кандидату, у которого не хватало какого-либо инструмента — ждать, что кто-то ему его одолжит, не приходилось. Тот, у кого ничего не было, ничего и не делал. И мастера назидательно изрекали: хороший рабочий должен иметь хорошие инструменты.

Прохождение квалификационного испытания означало также банкет. Поначалу банкет был просто веселым завершением испытания. Однако затем он превратился в один из элементов самого экзамена. Бедняга, желавший стать мастером, обязан был щедро угощать людей, которые, наедаясь вволю, не отказывая себе ни в чем, еще и глумились над кандидатом, чей кошелек оказывался не на высоте их запросов.

С сыном мастера обращались, естественно, лучше, чем с сыном подмастерья, причем не только потому, что мастер имел возможность заплатить. Ведь не заставляя же сына коллеги устраивать банкет на сто персон. И злонамеренно затупить о камень бритву брадобрея, сказать, что он не умеет ее затачивать, и под этим предлогом отстранить от экзамена могли лишь тогда, когда экзаменующийся не приходился сыном мастеру-цирюльнику.

Пареньку, которого воспитывал Гийом де Вийон, обучая его основам знаний об окружающем мире и основам грамоты, стезя лавочника либо ремесленника не была заказана. Однако он прекрасно понимал, что на этой стезе его могло ждать лишь прозябание. У Вийона, несколько запоздавшего со своим рождением парижанина, честолюбивые помыслы не могли ассоциироваться ни с торговлей, ни с ремеслами, поскольку ни там, ни там его никто не ждал.

## **Подарки богатым**

Франсуа принадлежал к иному миру, к тому, где торговцев знали только по лоткам. Среди фигур парижан, воссозданных им, доброжелательно ли, сатирически ли, — торговцев в обоих «Завещаниях» мало. Богатый суконщик Жак Кардон является одним из редких представителей этого сословия, удостоившихся внимания поэта: старший брат и опекун Жака Жан Кардон был каноником церкви Сен-Бенуа-ле-Бетурне...

Следовательно, Вийон знал этого богатого, уважаемого, занимавшего в обществе заметное положение человека, который был старше его на восемь лет. Жак Кардон, родившийся в семье зажиточного буржуа, владельца зданий на обоих берегах Сены и женской бани на улице Юшет, несколькими годами раньше, очевидно, проказничал вместе со школяром на улицах, вместе с ним барабанил ночью в двери девиц легкого поведения. Вийон об этом вспоминал в «Большом завещании» — если, конечно, за его словами не скрывается какое-нибудь иносказание, — оставив в стороне иронию, присутствовавшую в «Малом завещании». В варианте 1456 года богатый суконщик выглядел обжорой, возможно также и скрягой: лохмотья в подарок суконщику, бадью явно плохого вина для страдающего от жажды пьяницы, должно быть, способного купить нечто лучшее, и в довершение ко всему этому еще два процесса, дабы испортить пищеварение процветающего негоцианта!

*Мои наряды без остатка  
Кардону Жаку отдаю,*

*А чтобы ел и пил он сладко, —  
Вина отменного бадью,  
На завтрак — жирную свинью,  
На ужин — карасей из леса,  
А чтоб не разжирел, даю  
Два разорительных процесса <sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 24. Перевод Ф. Мендельсона.

Хотя Вийон и подсмеивался над бывшим товарищем, в смехе его тогда не было ничего злого. Среди всех своих наследников он одного лишь Кардона называл другом.

В 1461 году тон изменился. Больше никаких подарков. Вийон предлагает своему другу песенку в память о тех песенках, которые они когда-то пели под окнами девушек.

*Не мог Кардону, как на грех,  
Найти достойного предмета!  
Но, одарить желая всех,  
Ему оставляю два куплета.  
Будь эта песенка пропета,  
Как некогда Марьон певала  
О том, как любит Гийометта, —  
Она б на всех углах звучала <sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Там же. С. 115.

Однако сама песенка весьма двусмысленна. В ней поется о том, что поэт оказался «на воле после тюрьмы», где он «лишь чудом не подох». Ключ ко всему здесь находится во второй строчке: что означает в глазах Вийона невозможность найти для Кардона «достойного предмета»? Здесь чувствуется какой-то горький осадок, возникший при воспоминании о бывшем сообщнике, который превратился в благопристойного буржуа. Вероятно, в словах Вийона таится также упрек в том, что Кардон забывает бывших друзей, особенно если они возвращаются из-за решетки. Поддерживая знакомства с некоторыми бывшими друзьями, рискуешь себя скомпрометировать...

Место игривых намеков заняла меланхолия. В свое время оба приятеля прошли огонь и воду. Но вот один из них занял в обществе положение, гарантированное ему отцовским наследством и семейной традицией, а другому едва удалось выйти из застенков епископа Орлеанского. Да, позавидуй вдруг богиня удачи Вийону, она бы явно ошиблась адресом.

Разве можно сказать, какие чувства им владели: зависть, обида? Известно лишь то, что когда-то Кардон был компаньоном Вийона по не слишком добродетельным деяниям. Но за пять лет ирония превратилась в горечь. Раньше Вийон был способен смеяться, а по прошествии времени запал иссяк и осталась лишь констатация факта, что когда-то их дороги перекрещивались. Причем в словах поэта нет никакой злости: хотя иллюзий и не осталось, но приятные воспоминания оказались все же сильнее разочарования.

Вийон видел деловой мир лишь издалека. Жану де Блярю, одному из крупнейших ювелиров Моста менял, он оставил брильянт, которого у безработного, с детства обездоленного магистра искусств, естественно, никогда не было, и добавил к этому подарку и еще менее реальную таверну. Сыну бывшего старшины Жермену де Марлю, одному из богатейших столичных менял, он оставил свою «меняльную контору», то есть помещение на Большом мосту, которое ему не принадлежало. Поэт иронизировал над тем, как производились финансовые операции: клиента обязательно обманывали.

*Затем, хочу, чтоб юный Мерль  
Теперь моим менялой стал,  
Но чтобы жульничать не смел,*

*А был честнее всех менял  
И тем, кто хочет, предлагал  
По два барашка за овцу  
И по сто франков за реал, —  
Влюбленным скупость не к лицу!*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 90. Перевод Ф. Мендельсона.

Шутки такого рода не свидетельствуют о глубоком знании предмета. У Вийона не было никакого повода для личной ссоры с парижскими богачами. Он знал о них лишь то, что знал любой парижанин, заходивший на Мост менял. В лучшем случае он просто играл словами, а также, называя различные монеты и цифры, обыгрывал тему недобросовестности менял. Столь же призрачными были и его взаимоотношения с богатейшим Мишелем Кюльду, которому он тоже решил подарить денег. Кюльду принадлежал к одному из самых старинных парижских семейств. Веком раньше его предок вступил на оставленный Этьеном Марселем пост городского старейшины. А сам он неоднократно выполнял функции старшины. Он также обладал титулом королевского раздатчика хлеба, титулом ничего не значащим, но вождельным. Он располагал огромным состоянием. Так что сумма, оставленная ему Вийоном, выглядела ничтожно малой. Смехотворно малой.

Иначе обстоит дело с Шарлем Таранном, менялой с Большого моста, которому поэт завещал столько же, сколько и Кюльду. Таранну сумма малой не показалась бы, и весь юмор сводится здесь к тому, что деньги свалились на него неожиданно, как манна небесная.

Пытаясь высмеивать именитых буржуа, обосновавшихся в ратуше и на Мосту менял, Вийон не находит ничего лучшего, как заставить их поприветствовать шлюху. Совершенно неважно какую.

*Затем, даю Мишо Кюль д'У  
И досточтимому Таранну  
На разговорие по сотне су  
(Пусть примут их как с неба манну),  
А также сапоги из красного сафьяну.  
Взамен я жду от них любезность:  
Чтоб поклонились, встретив Жанну  
Или другую непотребность!*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Перевод В. Никитина.

Крупные торговцы, специализировавшиеся на сукне и мехах, на соли и зерне, откупщики королевских податей и муниципальных налогов, наследные владельцы Большой бойни — все эти тузы парижской коммерции, нещадно эксплуатировавшие наемных рабочих, находились от поэта на очень большом расстоянии. А вот ростовщики, напротив, были совсем рядом. Вийон знал ростовщиков, выдававших — либо отказывавшихся выдать — один навсегда уходящий от них экю за книгу, стоившую три экю, или за кольцо, стоившее десять экю. Их лавочка была местом несчастья, где бедняк за каких-нибудь шесть денье оставлял потрепанное одеяло или старенький плащ.

Вот им-то от Вийона достается как следует. Он нарисовал карикатуру на троих из них: на зловещего Жана Марсо, на изворотливого Жирара Госсуэна и на сомнительного бакалейщика Николя — или Колена — Лорана, вроде бы имевшего неплохую репутацию, коль скоро он являлся старшиной, но на которого, однако, по всей видимости, у поэта была какая-то личная обида.

В 1461 году бедняки Парижа желали разорения Жану Марсо. Да и обеспеченные парижане тоже потирали руки, когда за него взялось правосудие. Одни упрекали его за слишком высокие проценты, другим не нравилось то, что у него в доме открыто жили его содержанки. Все потешались над его отороченными кунницей мантиями и над его шапочкой, украшенной «амурной

тесьюмой». Сначала его посадили ненадолго в тюрьму, откуда ему удалось выйти под залог в десять тысяч ливров: король как бы получил с него выкуп... прежде, чем отправить в Бастилию под другим предлогом.

Именно над этими тремя старцами, над тремя ростовщиками, составившими свои состояния в разгар английской оккупации, издевался Вийон, называя их «тремя бедными маленькими сиротками». Вот с ними-то у поэта действительно были личные счеты. В «Большом завещании» им посвящено целых восемь строф, то есть шестьдесят четыре строки!

Высмеивал он их еще в «Малом завещании». Причем назвал их по имени, без чего мы не смогли бы понять «Большое завещание». Там он оставлял им скудные пожертвования, вполне соответствующие скупости ростовщиков.

*Ну что ж, скупиться я не стану!  
Всем — Госсуэну-бедняку,  
Марсо и добряку Лорану —  
Я подарю по тумачу  
И на харчи — по медяку:  
Состарюсь я, пройдут года,  
Мне будет сладко, старику,  
Об этом вспомнить иногда <sup>1</sup>.*

В конце ирония становилась еще более злой. Ведь трем «маленьким сироткам» тогда было уже под семьдесят. А Вийону — двадцать пять. И вот он пишет:

*Пусть славно поедят они,  
Я буду стар уже тогда <sup>2</sup>.*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 27. Перевод Ф. Мендельсона.

<sup>2</sup> Перевод В. Никитина.

Нетрудно понять, чем должны были бы питаться «детки» во времена состарившегося Вийона. Во французском языке уже тогда существовала поговорка «есть одуванчики со стороны корня», то есть лежать в могиле, и мораль стихов была понятна любому парижанину.

Пять лет спустя в «Большом завещании» поэт вернулся к теме «Малого завещания». И сходство формулировок таково, что понять, о ком идет речь, не составляет труда. Однако за истекшие годы Вийон познал нищету, и это ожесточило его еще больше. Поэт сразу сообщает, что за время его отсутствия «сиротки» на пять лет постарели, и он как бы удивляется этому. Они стали богаче, отчего тема их бедности звучит еще ироничнее. Поэт признает за ними лишь одно качество: ум. У них, по его словам, не бараньи мозги. Однако как же они своими умственными способностями распоряжаются?

*Затем, узнал я стороною,  
Что трое маленьких сирот, —  
Обросших сивой бороною  
И обирающих народ, —  
Растут, — мошна у них растет! —  
В Сорбонну ходят, — за долгами! —  
Теперь любой их назовет  
Прилежными учениками <sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 90. Перевод Ф. Мендельсона.

Жертвы вийоновского сарказма занимались не только ростовщицеством, но и спекуляциями. Например, Госсуэн во времена английской оккупации владел соляным складом в

Руане. И Вийон старается так подбирать однокоренные слова, чтобы у читателя возникла ассоциация с солью.

А потом следует перечисление даров. Хорошие уроки грамматики в состоянии восполнить пробелы по части отсутствующей у трех ростовщиков культуры. Имитируя святого Мартина, Вийон разрывает свой плащ и завещает половину его «на сласти деткам», причем здесь мы наблюдаем игру слов: обозначающее десертное блюдо слово «флян» употреблялось также и как название куска металла, использовавшегося для чеканки монет. Следовательно, тем, кто делает деньги, нужны «фляны». Как, впрочем, и фальшивомонетчикам.

В основном же поэт призывает давать им уроки хорошего тона. И при этом уточняет, что именно он имеет в виду: их нужно бить.

*Но пусть их лупят каждый день,  
Чтоб тверже помнили уроки...<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 91. Перевод Ф. Мендельсона.

## **Погоня за дворянскими титулами**

Поэт свел счеты с ростовщиками, чересчур уж легко лишившими его старого плаща, который он им завещал, разделив пополам: выплатить тридцатипроцентный или сорокапроцентный заем было практически невозможно. Свел счеты и принялся забавляться. Забавы его состояли в подтрунивании над тем, что в глазах лишенного знатных предков школяра было самым смешным у разбогатевших на торговле и на службе королю буржуа, — над их погоней за титулами. К тому времени французы уже на протяжении целого века злословили по поводу глупости аристократов, издевались над их неумением воевать, над их стремлением захватить побольше должностей и подачек, а тем временем структура высшего слоя общества менялась и могущество аристократии трансформировалось в привилегии и почести. Тузы парижского делового мира один за другим приобретали дворянские грамоты. Именитые торговцы и именитые судейские чины приобретали лены, благодаря которым устанавливалась иллюзорная, но тем не менее очевидная связь между двумя разновидностями аристократии.

Вийон не удостаивает своего смеха тех, кто, владея особняком в столице и загородным замком, добавлял к фамилиям отцов названия приобретенных ими земель. В Париже 1460-х годов не смеялись над братьями Бюро: ни над Жаном, ставшим владельцем поместья Монгла и главным королевским фельдцейхмейстером, ни над Гаспаром, ставшим владельцем поместья Вильмомбль, комендантом Лувра и королевским управляющим по делам реформ. Когда их видели со шпагой на боку, то забывали, что совсем недавно один из них был юристом, а другой — счетоводом. Не смеялись и тогда, когда хранитель архивов короля Дрё Бюде, сын королевского нотариуса, возведенного в дворянство Карлом VI, занял самый почетный пост в парижской судейской иерархии.

Однако другие все еще находились в пути, и когда они спотыкались, то не грех было и посмеяться. Аристократии вольно было улыбнуться перед тем, как признать их своими. Буржуазия им завидовала и скрипела зубами. Ну а простой народ, включая школяров, смеялся от всего сердца.

Соответственно, не отказывал себе в этом удовольствии и Вийон; например, он дважды задел двух соседей по улице Ломбардцев: толстого суконщика Пьера Мербёфа и сборщика податей Николя Лувье, сына суконщика, которому налоговая реформа 1438 года позволила занять третье место среди богатейших буржуазных семейств. Они были соседями, коллегами, даже союзниками, но Вийон нашел для них еще один общий знаменатель: на шуточный лад настраивали их фамилии. Мербёф — это «бык», а также «мэр быков». А Лувье — это почти что Бувье, то есть «погонщик быков». Тут, естественно, напрашивались названия некоторых других птиц и животных. В результате получалось нечто среднее между птичьим двором и охотничьим садком. Причем в воображаемой охоте участвуют бестолковые, но в то же время весьма претенциозные охотники. А охота хотя чем-то и напоминает соколиную, но ее участникам приходится ловить каплунов у некоей Машеку, торговки дичью, чья лавочка — закусочная «Золотой лев» —

располагалась в двух шагах от Шатле. В результате обнаруживается, что претенденты на дворянские титулы хотя и не волопасы, не пастухи, но все же и не аристократы.

*Затем, Лувьеру Николаю  
И Меребёфу не быков  
И не баранов оставляю —  
Ведь оба не из пастухов, —  
К лицу им соколиный лов!  
Без промаха, на всем скаку  
Пуускай хватают каплунов  
В харчевне тетки Машеку<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Там же. С. 81.

В данном случае Вийон просто развлекался. Личные чувства поэта тут никак не проявлялись. В «Малом завещании» он тем же лицам оставлял яичную скорлупу, наполненную золотыми монетами. Ну а что касается самих буржуа, одолеваемых стремлением получить титул, то они на слова поэта не обращали внимания. Три года спустя после того, как было написано «Большое завещание», Лувье получил дворянство.

Когда буржуа начинали бряцать оружием, школяр реагировал на это заразительным смехом. Осмеял он, например, меховщика Жана Ру, у которого, когда он стал капитаном отряда городских лучников, от гордости несколько вскружилась голова. Вийон изобразил его грубым обжорой, считающим, что волчье мясо является вполне приличной пищей. Вдобавок он предложил варить волчатину в плохом вине.

*А капитану Жану Ру,  
Для доблестных его стрелков,  
Пуускай дадут, когда умру,  
Не окорок от мясников,  
А шесть ободранных волков,  
Зажаренных в дрянном вине;  
Такой обед — для знатоков.  
Он им понравится вполне!<sup>1</sup>*

Поэт, правда, признает, что «волк не так уж сладок, пожалуй, погрубей цыплят» и что такая пища скорее подошла бы для осажденного гарнизона. А затем, намекая на профессию Ру, дает еще один совет:

*Доволен будет весь отряд,  
А кто замерзнет чересчур,  
Когда повалит снег иль град, —  
Пусть шубу выкроит из шкур<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 84. Перевод Ф. Мендельсона.

Это все юмор человека из толпы. Человека, которому неприятна спесь выскочек и который рад посмеяться над их позерством. Однако, после того как стихал звон оружия, напяленного меховщиком по случаю праздника, стихали и шутки. Вийону тот мир, пытавшийся, но еще не имевший возможности жить по аристократическим канонам, был совершенно чужд. Путь к должностям и титулам, оплаченный заработанным в лавке состоянием, неимущему школяру, которого его старая мать вверила заботам доброго капеллана, был заказан. На все это он смотрел издалека. Все, что он об этом знал, он узнал благодаря улице.

Точно так же лишь понаслышке знал он и еще об одном человеке, приковавшем общее внимание своей деловой хваткой, своими успехами, своей влиятельностью. Вийон знал, кто такой

Жак Кёр. Но в 1461 году, когда создавалось «Большое завещание», Кёр был уже не более чем воспоминанием, а его буржуазная эпопея могла показаться классическим примером неудачной карьеры. В Париже поняли еще во время войны, насколько это рискованная вещь — давать займы принцам, насколько рискованно что-либо им поставлять, поняли, насколько опасно вкладывать деньги в строительство дорог, и эти наблюдения легли в основу непритязательного философствования по поводу падения этого богача. Жак Кёр умер на Хиосе в том самом году, когда Вийон сочинил «Малое завещание». А пять лет спустя поэт просто подвел итоги своим размышлениям о несопоставимости судеб и о сопоставлениях, излечивающих от зависти.

*Я ницетою удручен,  
А сердце шепчет мне с укором:  
«К чему бессмысленный твой стон,  
За что клеймишь себя позором?  
Что нам тягаться с Жаком Кёром!  
Не лучше ль в хижине простой  
Жить бедняком, чем быть сеньором  
И гнить под мраморной плитой?»<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Там же. С. 45.

## **Глава VI**

### **Будь я примерным школяром...**

#### **Гражданское поприще**

С миром торговли Вийон сталкивался нечасто, а вот мир юриспруденции он знал хорошо: и как школяр, и как остепененный выпускник, и как подсудимый. Для того, кто входил в жизнь по проторенному пути факультета искусств, юриспруденция являлась самой доступной сферой применения сил и талантов. Суды и конторы ломались от «магистров», обладавших разными способностями и занимавших различные должности — от писцов до председателей судов, — так что, глядя на них, бывший школяр мог без труда вычислить возможные варианты своей дальнейшей судьбы.

К тому времени в столице уже на протяжении по крайней мере двух столетий развивалась общественная деятельность, остававшаяся жизнеспособной и в отсутствие короля, потому что и самодержец, и правительство уже не являлись абсолютным условием ее существования. Правление Ланкастера оказалось не слишком парижским. А правление буржского короля было таковым еще в меньшей степени. Потом пришло время луарских королей. Заседание Королевского совета в отсутствие Карла VII было, конечно, немыслимо, а вот судопроизводство и счетоводство прекрасно обходились и без него. Для того чтобы управлять королевством, распределять собранные налоги, отправлять разбойников на виселицы, разрешать споры между торговцами, существовали специалисты. Двор мог находиться где-то далеко за пределами Парижа, и тем не менее столица у Франции была одна, а в центре ее возвышался Дворец юстиции, где толпились законоведы и истцы, сборщики и откупщики налогов, финансисты и налогоплательщики. То, что двор находился на берегах Луары, доставляло неудобства ювелирам и бакалейщикам, но никак не прокурорам.

Франсуа де Монкорбье знал многих таких магистров искусства, товарищей по учебе и по спорам, которых благосклонная судьба направила на стезю приобретения должности.

Однако карьера судейского чиновника — теоретически Вийону доступная — была так же заказана ему, как и карьера торговца. Мир должностей все больше и больше замыкался в себе, особенно в послевоенные годы, когда прежние вассалы Генриха VI и верные сторонники Карла

VII слились в единое целое и сразу же образовали солидный контингент чиновников, надолго затормозивший привлечение новых кадров.

Вийону исполнилось четыре года, когда герцог Филипп Добрый выдвинул в 1435 году в качестве одного из главных условий своего примирения с Карлом VII и заключения Аррасского договора сохранение за чиновниками англобургундского лагеря всех их прав. Ему исполнилось двенадцать лет, когда в Париж решили наконец вернуться последние советники Парламента, находившегося в Пуатье. Ставший впоследствии епископом Парижа советник Гийом Шарретье занял свою должность во Дворце юстиции только в 1442 году. Жан Молуэ, член Парламента Карла VI с 1393 года, убежденный сторонник наследного принца, ставшего затем королем Карлом VII, последовал за ним в Пуатье и вернулся оттуда только весной 1442 года.

Некоторые наблюдали за бурей со стороны. Например, магистра Жана де Лонгэя назначил в 1431 году гражданским судьей в Шатле регент Бедфорд, но Карл VII сохранял за ним эту должность на протяжении всего периода своего правления: Лонгэй был крупным юристом, судьей, а не человеком партии. В том же самом Шатле, наипервейшей инстанции королевского правосудия «по парижскому превоствству и виконтствству», остались аналогичным образом на своих местах королевский прокурор Жан Шуар и два королевских адвоката: Гийом де ла Э и Жан Лонгжо. Никто не удивлялся даже тому, что королевский прокурор в Контрольной палате Этьен де Новьан, назначенный бургундцами в 1418 году сразу по приходе их к власти, передал в 1439 году своему сыну то, что еще не было должностью, но уже по милости Карла VII обеспечивало и положение, и доход. На всей территории королевства восстанавливалась единая юрисдикция. Одно время правосудие трещало по швам, и поэтому Карл VII, произведя реорганизацию армии и укрепив финансы, стал осуществлять реформы также и в этой области. Предписания относительно местожительства, зимнее и летнее время, ускоренное судопроизводство — все проблемы подверглись тщательному изучению, причем штаты увеличились, а праздная болтовня в конечном счете сократилась. Суть реформы сводилась к тому, чтобы сделать королевское правосудие по-настоящему работающим.

«Сразу же, как только вышеназванные председатели и советники войдут в назначенные часы в свои палаты, они обязаны приступить к трудам и делам вышеназванного Парламента, не отвлекаясь ни на какие другие занятия. Мы возбраняем и запрещаем, чтобы, раз войдя в Парламент, они вставали и ходили разговаривать с другими о чем бы то ни было иначе как по распоряжению, исходящему от Парламента.

Одновременно мы воспрещаем им выходить из Парламента и празднично гулять за пределами Дворца с кем бы то ни было».

Более справедливое правосудие, более многочисленные и правильнее используемые судьи — такой в общих чертах была программа указа, подписанного 14 апреля 1454 года и намечавшего создание новой редакции правил сбора налогов, разделившего на две части следственную палату и восстановившего после тридцатишестилетнего перерыва кассационный суд.

Все это означало, что появились новые должности. Однако новым членам судебных палат, осуществлявшим программу 1454 года, было в ту пору по 30—40 лет и им предстояло оставаться на своих местах еще лет двадцать. Создание новой редакции правил налогообложения обеспечивало работой правоведов на протяжении целого полувека, но для этой работы требовались опытные юристы, способные привести в соответствие с жизнью право, главный порок которого состоял даже не в том, что там преобладало устное теоретизирование, а в том, что из-за теоретизирования право было противоречивым.

«Часто случается, что в одном и том же краю налоги собираются по разным обыкновениям, и случается, что эти правила меняются в зависимости от аппетитов сборщиков, что приносит нашим подданным большой ущерб и неудобства».

Волна наймов на работу, возникшая благодаря миру и возобновлению деловой активности, не дала почти ничего поколению, которое пришло слишком поздно, тем его представителям, которые не смогли внедриться в «среду» государственных служб и в свои двадцать лет вынуждены были констатировать, что все места заняты теми, кому тридцать. В ту пору, когда возникла практика «уступки в пользу...», свидетельствующая о передаче по наследству должностей, о феномене, отразившем сложную систему взаимосвязей между выходом в отставку и

солидарностью новых династий, мест для недавних школяров оставалось совсем немного. У поколения мэтра Франсуа, поколения, достигавшего в 1460-х годах возраста, когда получают степень лиценциата, укрепилось мнение, что для людей без связей будущего не существует.

Клиентура, причем не только парижская, испытывала потребность во все возраставшем количестве и адвокатов, чтобы те вели тяжбы, и прокуроров, чтобы те составляли досье, и судебных исполнителей, чтобы те зачитывали содержание досье, и секретарей, чтобы те вели протоколы и занимались перепиской. Однако в число этих необходимых клиентуре людей попасть было нелегко. Занявшая свои места «среда» своего счастья из рук не выпускала.

В столице воссоединенной Франции самыми крупными состояниями, намного превышавшими состояния торговцев, владели чиновники счетной палаты, казначеи и... парламентские, то есть судейские, адвокаты. Парламентские чиновники находились в равных условиях с менялами. Нотариусы и адвокаты из Шатле шли следом за ними, причем даже впереди суконщиков и бакалейщиков. Уже в 1438 году из трехсот пятидесяти богатейших налогоплательщиков более ста принадлежали к миру финансов и права.

Эта новая иерархия сразу же стала очевидным фактом. Жан де Руа в своей хронике писал, что в 1467-м, когда всех парижан от шестнадцати до шестидесяти лет пригласили явиться на смотр со своими знаменами, на равнине за воротами Сент-Антуан он увидел «штандарты и флажки Парламента, счетной палаты, казначейства, налогового управления, монетного двора, судебного ведомства, ратуши, под которыми стояло столько же, а то и больше людей, чем под цеховыми знаменами».

Следовательно, укрепление государственных служб явилось важным шансом для многих молодых парижан, и Франсуа де Монкорбье чуть было им не воспользовался. В конце концов ведь нужно было не так уж много везения, чтобы протеже магистра Гийома де Вийона оказался на пути к доходам или должностям; другими словами — это был путь в мир «хорошо натопленных комнат», в мир того человека, который был для него «более, чем отец».

## **Коллежи и педагогии**

Франсуа исполнилось двенадцать или тринадцать лет, когда в 1443 или 1444 году он поступил на факультет искусств. Война в ту пору была уже на исходе. Будущий Франсуа Вийон к этому времени умел и читать, и писать, а также знал основы латинской грамматики. Поступление на факультет не сопровождалось никакими новыми формальностями, кроме выбора учителя, причем подразумевалось, что учитель может отказаться от неподготовленного ученика, хотя на практике никто и никогда от клиента не отказывался. Престиж учителя измерялся количеством его учеников, а влияние среди коллег — количеством одержанных его клиентурой успехов. Поступить в заведение, которое мы можем назвать средней школой, труда не составляло; главная трудность заключалась в том, что, учась, нужно было еще и питаться.

Привилегированные студенты учились в созданных двумя веками ранее коллежах, где неимущим, дабы облегчить их учебу, давали стипендии, жилье, а зачастую и пищу. Само же понятие «коллеж» включало в себя сочетание десяти-двенадцати стипендий с каким-нибудь домом, с каким-нибудь особняком, принадлежавшим основателю коллежа и впоследствии перешедшим к студентам по завещанию или в связи с расширением владений мецената. Создавая свои коллежи, Робер де Сорбон в 1256 году, кардинал Жан Лемуан в 1302 году, королева Жанна Наваррская в 1304 году, канцлер Дормана в 1370 году руководствовались единственным желанием — дать возможность учиться нескольким неимущим школярам. Условий они выдвигали мало, разве что настаивали на том, чтобы в первую очередь принимали их земляков. Так, например, шесть стипендий коллежа «Ave Maria», основанного во времена Филиппа VI Валуа президентом одной из палат Парламента, блестящим юристом Жаном Юбаном, должны были давать в первую очередь школярам, родившимся в Юбане.

«Для преподавания в вышеназванном коллеже будут назначены капеллан и учитель родом из деревни Юбан, что в неверской епархии, или же из соседних деревень, расположенных в пределах пяти лье от Юбана, но так, чтобы тот и другой не были бы родом из одной и той же

деревни. Если же ни капеллана, ни учителя в этих деревнях найти не удастся, то следует их выбрать в епархиях Невера, Осера, Санса, Парижа или в провинции Санс».

С годами система претерпела изменения. Поступление в коллеж превратилось в привилегию, поскольку студент таким образом сразу попадал в благоприятную среду, а иногда к тому же получал хорошее образование. Выучившись, магистр хранил верность своему коллежу. Выпускники старались в нем остаться. Продолжая там жить, они самым естественным образом завладевали должностями, дававшими не меньший доход, чем должности церковников. Получить место каноника в Соборе Парижской Богоматери было весьма непросто, о чем Гийом де Вийон знал не понаслышке, но и иметь место преподавателя или же директора в хорошем коллеже было тоже гораздо прибыльнее, чем капелланствовать во второразрядном капитуле вроде Сен-Бенуа-ле-Бетурне. Так что мэтр Гийом охотно променял бы свою должность на работу в коллеже, предоставлявшуюся по уставу бывшим ученикам. Однако везде преобладал наем внутри самого заведения. Например, когда речь шла об административных функциях в коллеже. Как, впрочем, и тогда, когда освобождалось место преподавателя.

В жизни юных школяров было немало положительных моментов. Занятия, как правило, велись в домашних условиях, учебные группы были небольшие, под рукой имелись библиотеки. Не говоря уже о столовой... Благодаря всем этим преимуществам коллежи наравне с большими монастырями превратились в самые элитарные учебные заведения. Сорбонна в конечном счете даже стала целым факультетом теологии. Ну а в области «искусств», осваиваемой большим количеством студентов, в 1450-е годы функционировало пятьдесят, а то и шестьдесят коллежей, рассредоточенных территориально и отличавшихся друг от друга по типу получаемого там образования. Однако для тех, кто имел возможность учиться в Аркуре или в Наварре, не было никакой необходимости ехать мерзнуть на улицу Фуарр, вслушиваясь в объяснения какого-нибудь магистра, занимавшего самую низшую ступень иерархии. Именно этих преподающих магистров, или, как их называли, «регентов», имел в виду осуществлявший в 1452 году реформу университета кардинал Гийом д'Эстувиль, когда говорил о часто забываемой обязанности педагогов ежедневно посещать школы факультета на улице Фуарр.

В сознании парижан факультет «искусств» ассоциировался именно с улицей Фуарр, улицей, которой два закрываемых по вечерам на замок шлагбаума придавали вид изолированного двора. Во владении четырех «наций» этого факультета находилось приблизительно десять школ, где, если не считать проходивших в церквах квартала (прежде всего в матюренской церкви) торжественных собраний, протекала вся университетская жизнь.

Прохожий, поднимавшийся по улице вверх от Сены, видел сначала справа «маленькие школы французской нации», а потом «новые», или большие, школы той же самой нации. Дальше находились большие школы нормандской нации, маленькие школы Пикардийской нации, а также школы бывшей английской нации, которую после ухода англичан называли преимущественно немецкой нацией, практически являвшейся нацией всех иностранцев, где бы они ни проживали, начиная от прирейнской области и кончая Шотландией.

Слева в том же направлении находились школы «Красной лошади», то есть новые школы Пикардийской нации, затем большие школы немецкой нации, школы «Шартрского колодца» и, наконец, принадлежавшие нормандцам школы «Маленький экю» и «Золотой орел».

По существу, улица Фуарр состояла из десяти домов, из десяти особняков со старинными, зачастую полученными от прежних вывесок названиями, из десяти особняков, чьи соответствующим образом дипломированные хозяева сдавали нижние этажи в аренду для ведения там занятий, а верхние этажи отводились ими для сдачи внаем на целый год своевременно прибывшим студентам.

Следует сделать одно уточнение: «большими» и «маленькими» школы назывались не согласно их репутации, а по количеству коньков на крыше. Главной отличительной чертой этих школ были неудобные залы, где учитель бубнил, как бы ни к кому не обращаясь, а слушатели располагались как придется прямо на полу. Табуретки приносить запрещалось. К скамейкам наблюдалось более терпимое отношение. Зато приветствовалась «фуарр», то есть охалка соломы; вот ее-то реформатор 1452 года пытался, правда, безуспешно, превратить в обязательный атрибут занятий.

Выбирая себе учителя, студент выбирал одновременно и содержателя мебелированных комнат, которому платили также и за еду, и за репетиторство. Иными словами, в преимущественном положении оказывались регенты, владевшие на улице Фуарр свободными, подходящими для сдачи внаем на год помещениями. Составленный таким образом комплекс преподавания и жилья назывался «педагогией».

Париж 1450-х годов насчитывал приблизительно полсотни подобных педагогии, почти столько же, сколько коллежей. Однако комфорта здесь было поменьше, хотя и оплачивался он из кармана студента в отличие от коллежа, где, наоборот, деньги платили студенту. Злоупотребления здесь наблюдались такие, что кардинал д'Эстувиль даже как-то раз возмутился и приказал, чтобы находящимся на пансионе школярам давали за их деньги здоровую и разнообразную пищу. Можно совершенно не сомневаться в том, что к доходу от преподавания хозяева педагогии присовокупляли кое-какие суммы, сэкономленные на пансионе. Дело это считалось выгодным, и хозяева при случае не ленились обойти таверны и трактиры, дабы нанять там учеников. Причем, несмотря на конкуренцию, эти странные «педагоги» договаривались между собой, чтобы не сбивать цены.

Заботами славного капеллана будущий Франсуа Вийон от близкого знакомства с педагогами оказался избавлен. В противном, случае эта разновидность торговцев супом и уроками непременно получила бы в «Завещании» свою долю. Не принадлежал он и к числу привилегированных учеников, попадающих в коллеж; для этого потребовались бы иные рекомендации помимо тех, что могли дать «бедная» женщина и добрый второразрядный капеллан.

Однако не относился он и к категории не имеющих постоянного жилья студентов, которые ночевали на постоялом дворе по десять человек в комнате, а остальное время проводили под открытым небом или прячась под навесом. Его место, место маленького клирика маленького капитула святого Бенедикта, находилось посередине между двумя крайностями. Он имел гарантированное жилье и пищу, но обязан был ежедневно рано-рано отправляться на улицу Фуарр и слушать там учителей, толковавших творения святого Исидора Севильского и Сенеки. Составленное им тогда представление о привилегиях нашло впоследствии отражение в стихах, где поэт рассказал о тех самых что ни на есть реальных, не переутомлявшихся в юности стипендиатах коллежей, чьи пренебрежительные взгляды он не раз ощущал на себе всего несколько лет назад.

Почему он выбрал в качестве объекта своей сатиры коллеж Восемнадцати клириков? Знал ли он, что это старейший коллеж? Знал ли он, что коллеж находился в тот момент в стесненных обстоятельствах? А может быть, он завещал двум старым каноникам из Собора Парижской Богоматери стипендии этого коллежа, чтобы просто посмеяться, поскольку коллеж принадлежал капитулу того же собора, а скромные подопечные с улицы Сен-Жак самым наисердечнейшим образом ненавидели своих покровителей, этих купающихся в роскоши каноников. В момент написания «Большого завещания» Вийон пытался найти себе какое-нибудь приличное занятие и поэтому был вдвойне заинтересован сделать комплимент тем, кто его приютил, упомянув о других, о тех, чья жизнь протекала в праздности...

*Я им стипендию найду  
Всем возраженьям вопреки,  
Пусть по три месяца в году  
Они не дрыхнут как сурки.  
Попомнят эти старики,  
Как сладко спится молодому:  
Ночные бденья нележки  
Тем, кого старость клонит в дрёму<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Перевод Ю. Стефанова.

Стало быть, Франсуа де Монкорбье оказался в списках учеников факультета «искусств», а точнее, одной из школ французской нации. Так распорядилась сама судьба. «В Париже, что близ Понтуаза, я, Франсуа, увидел свет...» Он родился не пикардийцем, не нормандцем и не немцем, а французом. А дальше все пошло своим чередом.

Программа была простая: логика и еще раз логика. Искусства мыслить, в тех различных формах, какие оно приняло в античные времена, вполне хватало на восемь-десять лет учебы на факультете «искусств». От традиционной классификации семи «свободных искусств» как фундамента знания, начиная с понимания и кончая выражением, в университетской практике почти ничего не осталось. Тривиум — грамматика, риторика и диалектика — складывался из практических упражнений, сводившихся прежде всего к диспутам, где аргументация терялась одновременно и в формализме, и в гвалте. Квадривиум — арифметика, геометрия, астрономия, музыка — состоял из комментированного чтения нескольких «авторитетов» вроде Аристотеля и Боэция. Ну а синтез был личным делом учащихся. И удавался он лишь немногим.

Схема схоластического урока известна достаточно хорошо. Преподаватель находился на своей кафедре регента, облаченный в черную мантию с подбитым беличьим мехом капюшоном. Он прочитывал параграф. А потом излагал свое толкование этого параграфа, то есть обращал внимание на логические переходы в тексте и на компоненты аргументации. Брал фразу за фразой, анализировал содержащиеся в них идеи, по-своему формулировал их и, развивая, пояснял. Однако подобное медленное чтение не становилось поводом ни для обобщающего взгляда на все произведение, ни для осмысления одних его положений с помощью других. Каждый элемент речи рассматривался как изолированное целое.

Иногда учитель отдавал предпочтение «проблемам». Он извлекал из текста какое-нибудь высказывание, сопоставлял его с противоположным утверждением либо указывал на содержащееся в нем самое противоречие и предлагал исчерпывающую гамму аргументации и контраргументации. Тут во всеоружии формальной логики в игру вступал силлогизм. И все рассуждения превращались в единую цепь силлогизмов.

Студенты любили «проблемы», несмотря на незатейливость используемого приема. Проблемы были не так скучны, как изложение урока. В глазах юных, еще не утративших любознательности учащихся у проблемы было и еще одно преимущество — при ее обсуждении приходилось обращаться к иным авторам, а не только к тем, чьи тексты оказывались объектом толкования. Горизонт, таким образом, немного расширился. Учителя брали не талантом, а начитанностью. Первым делом они выстраивали целый полк противоречивших друг другу цитат, приводили высказывания из Аристотеля, из Порфирия, из Екклезиаста и с их помощью доказывали буквально все что угодно. При этом индивидуальность учителя совершенно растворялась в вереницах зачастую коротких цитат, ценимых не столько за их смысл, сколько за искусственность формулировок. И все превращалось в аллюзию, везде торжествовала смысловая неопределенность.

Правда, имелся во всем этом и один положительный момент: ум обретал гибкость. Вообще же механизм рассуждения оказывался важнее объекта рассмотрения, формализм подавлял мысль. При таких играх можно было ожидать, что логика приведет к триумфу человеческого разума. Однако когда предпринимаешь критический анализ творчества Вийона, то сразу обнаруживаешь, что логика эта сводилась к готовым формулам, тонувшим в разного рода галиматье из побочных, согласительных, оценочных, предположительных, фиктивных, формообразующих выводов.

Поэт знает, что говорит, и строго сохраняет аристотелевскую схему работы ума. И тем не менее он искажает умозаключения, жонглируя ассонансами, и в итоге приходит к абсурду: избыток умствования ведет к безумию!

Эрудиция Вийона носила чисто формальный характер, и он знал об этом. А посему остерегался что-либо изобретать. Посвященным в эту науку людям нетрудно было разглядеть в его стихах, например, «согласительность», то есть способность формулировать суждение относительно существования людей и предметов, допуская при этом возможность ошибки, или, например, «предположительность», предусматривающую следствия, которые вытекают либо могут быть выведены из первичных суждений, нетрудно было разглядеть все эти и многие другие

приемы тогдашней логики, загромождавшие память поэта и заставлявшие его классифицировать естественные функции ума.

Подобная гимнастика ума в тех случаях, когда она не слишком походила на карикатурные ее изображения, встречающиеся у Вийона и у Рабле, как-никак давала школяру возможность постичь хотя бы одну вещь: анализ. Декарт прояснил задачи этой логики, сформулировав их несколько иначе. Тем не менее заветы «Рассуждения о методе» родились все же в русле схоластической традиции:

«Разделить каждую из рассматриваемых проблем на такое количество отдельных частиц, какое только возможно и какое требуется для их решения».

В этой схоластике, низведенной до уровня буквалистских комментариев и словесной механики, воцарилась рутинная. Регент записывал свой урок и читал его, не отступая от написанного ни на букву, причем случалось, что он читал текст не сам, а поручал одному из более или менее успешно усваивавших его лекцию учеников. Тщетно реформаторы университета предпринимали попытки заставить учителя говорить, не «читая по перу». На практике ничто не мешало логикам с улицы Фуарр из года в год повторять самих себя. Занимаясь этим упражнением, они скучали сами и наводили тоску на других.

И учителя, и ученики предпочитали так называемые «экстраординарные» уроки, устраиваемые с разрешения факультета, — поскольку на них излагались мысли, касающиеся не фигурирующих в официальной программе произведений, — некоторыми магистрами или даже простыми бакалаврами. Благодаря этому удавалось хоть изредка вырваться из нескончаемой логики ординарных уроков. Объектом экстраординарного урока мог стать любой учебный предмет: мораль, физика, геометрия, астрономия, естествознание и даже иностранные языки. Для кандидатов на получение степени бакалавра такие уроки были скорее развлечением, а для бакалавров, стремившихся получить степень лиценциата, они были обязательны.

Участие университета в интеллектуальной жизни своего времени осуществлялось в первую очередь с помощью таких вот экстраординарных уроков. Начальные элементы риторики прокладывали путь классической литературе, причем дело доходило даже до изучения поэтического искусства. Один грек по имени Григорий преподавал греческий язык, а все четыре нации факультета «искусств» вскладчину оплачивали учителя иврита.

Выход за рамки программы имел еще одно преимущество. Коль скоро студент делал выбор, у преподавателя оставалось меньше студентов. Параллельно с массой ординарных уроков образовывались маленькие группы учеников, ориентированных на какого-то конкретного учителя либо на какую-то интеллектуальную специализацию. Например, выбирали того или иного магистра, потому что он рассказывал о таком-то авторе. Или же потому, что он имел репутацию умного человека. Неудивительно, что регенты, работавшие в коллежах, извлекали существенную выгоду из экстраординарных уроков.

К счастью, монотонность преподавания удавалось преодолеть также с помощью «диспута». Существовал ординарный диспут, который имел место раз в неделю и являлся главным событием в расписании учащегося. А вот что касается экстраординарного диспута, проводившегося когда-то на Рождество и на Великий пост, то в эпоху Вийона о нем остались лишь смутные воспоминания. На еженедельный диспут приходило много народу: там можно было выступать по любому поводу и говорить о чем угодно. Магистр председательствовал и в отличие от его предшественников сам в диспуте не участвовал: для практических занятий, единственно известных средневековому преподаванию, вполне хватало двух спорящих бакалавров. По-настоящему просветиться на диспуте нечего было и рассчитывать, но веселья было хоть отбавляй.

Побеждал вовсе не самый знающий, а самый хитрый. Целью упражнения являлось не столько углубление знаний, сколько состязание в ораторском искусстве, причем такое состязание, где главное — не убедительный аргумент, а умение не лезть за словом в карман. «К делу!» — кричали присутствующие тому, кто прибегал к уверткам, пытаясь выиграть время. Меткий ответ встречался бурными криками. Нередко ради удачного трюка пренебрегали даже элементарной честностью. Важно было лишь оставаться в рамках формальных схем аристотелевской логики. А раз так, то явный абсурд предпочитался алогичности.

Именно на диспуте обнаруживалось еще сохранившееся единство факультета «искусств». А в остальном каждый существовал сам по себе и у себя. Коллежи обеспечивали проведение ординарных, а главное, экстраординарных уроков, благодаря которым вырисовывался профиль учебных заведений. Однако самое большое количество учащихся распределялось по репетиторским педагогиям, распространившимся в достаточном количестве, а университетский корпус не предпринимал никаких шагов, чтобы затормозить такое распыление учебного процесса. Педагог зарабатывал себе на жизнь. А регент, в чьи обязанности входило «читать» на улице Фуарр, считал более удобным обеспечивать себе кров и содержание, становясь на год штатным регентом какой-нибудь педагогии.

## **Степени бакалавра, лиценциата, магистра**

Все власти, начиная от парижского прево до ректора факультета «искусств», являвшегося одновременно ректором университета, предпочитали иметь дело со студентами расселенными, со студентами, распределенными по небольшим группам. Постепенно сложилось положение, при котором аномалией стали казаться «приходящие» студенты, так что в 1459 году французская нация попыталась даже организационно оформить группу таких студентов, поселить ее хотя бы по соседству с одной из педагогии, дабы они в ней учились.

Подобная мера лишала всякого смысла преподавание на улице Фуарр. Там остались получать убогое образование лишь очень бедные студенты — студенты, не имевшие возможности стать на пансион. Подобно тем, кто жил у себя в семье или у опекунов, подобно тем, кто — как Франсуа де Монкорбье при церкви Сен-Бенуа-ле-Бетурне — нашел иные способы существования, «приходящие» студенты были обречены получать уроки не слишком высокого качества, и они приносили учителям весьма скромный доход.

Ну а из-за этого улица Фуарр походила больше на средоточие притонов, чем на факультет из десяти школ. Ночью и по выходным дням студенты располагались в классных комнатах, устраивали там попойки, приводили туда девиц. Школа напоминала одновременно и бордель, и общественную уборную. Благоразумные, щадящие свое обоняние люди старались держаться от этой улицы подальше.

Оставалось лишь зафиксировать исчезновение университетского единства, что и было сделано в 1463 году, когда факультет «искусств» принял решение, чтобы студенту, не прошедшему через коллеж, через педагогию, студенту, не жившему в Париже в лоне своей семьи, степень не присуждалась — парижские нотабли думали при этом о своих собственных детях, а также о бесплатной службе в домах у именитых университетских магистров. Ведь положение Франсуа у магистра Гийома де Вийона за двадцать лет до принятия этого решения было положением слуги, работавшего за харчи и крышу над головой.

В таких условиях для того, чтобы получать степени, нужно было действительно зарекомендовать себя весьма усердным учеником. «Соискателю», то есть кандидату на получение степени бакалавра, надлежало быть не моложе четырнадцати лет, иметь на факультете официальный стаж не менее двух лет, иметь определенный стаж посещения диспутов и принять участие в одном из них. «Соискательство» юного Франсуа де Монкорбье, включавшее несколько экзаменов, состоялось в марте 1449 года.

Экзамены не представляли большой трудности, потому что на протяжении зимы магистры уже отсеивали без лишней помпы кандидатов с чрезмерно легким багажом знаний. Как-никак учитель, встречавший своих будущих, заходивших пятерками учеников, не хотел оказаться в смешном положении человека, допустившего к официальным публичным испытаниям слишком пустоголовых абитуриентов. Так что на Великий пост в соревновании за звание бакалавра участвовали лишь достаточно образованные школяры в количестве от двухсот до трехсот человек, причем половина из них принадлежала к французской нации.

При таком соблюдении регламента кандидаты должны были ежедневно в течение всего Великого поста выступать публично по программе, «аргументируя по поводу какой-либо проблемы» в присутствии нескольких регентов, то есть назначенных от каждой нации

экзаменаторов. Сейчас бы мы назвали эту процедуру защитой диссертации. Точнее, облегченным вариантом защиты, потому что по времени все экзамены должны были укладываться максимум в тридцать утренних заседаний, так что каждый абитуриент трудился всего один раз, да и то не больше одного-двух часов. Экзаменатор задавал не лишенный подвоха вопрос по поводу какой-нибудь прослушанной учеником книги. В обсуждение включались и другие присутствующие, а ученик, в меру своих способностей и знаний, отвечал. Обсуждение заканчивалось голосованием.

Франсуа де Монкорбье сдал экзамены без труда и в восемнадцать лет стал бакалавром. Это означало, что он прочитал «Грецизм» и «Доктринал», сносно разобрался в латинском синтаксисе и фигурах латинской риторики, уверенно играл силлогизмами и к месту цитировал авторитетных авторов. В совокупности же он работал мало. Об этом свидетельствуют написанные двенадцатью годами позже стихи «Большого завещания».

*Будь я прилежным школяром,  
Будь юность не такой шальнойю,  
Имел бы я перину, дом  
И спал с законною женою...  
О, Господи, зачем весною  
От книг бежал я в кабаки?!  
Пишу я легкою рукою,  
А сердце рвется на куски...<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 41. Перевод Ф. Мендельсона.

После этого отнюдь не скороспелого экзамена на степень бакалавра прошло три года. И вот в конце учебного 1451—1452 года, в промежутке между 4 мая и 26 августа 1452 года, Вийон сдал еще один экзамен, на этот раз на степень лиценциата. Ему в ту пору, как и предписывалось правилами, уже исполнился двадцать один год. За три года он наверстал упущенное им в более раннем возрасте. Отнюдь не исключено, что его действительно начинали посещать мысли о доме и о мягкой постели...

Лиценциатский экзамен — вещь серьезная. Степень присуждалась от имени всего факультета, а не только от имени одной нации, как в случае со степенью бакалавра. Здесь предполагалось гораздо большее количество изученных, то есть прослушанных, книг, причем существенно возрастала и их трудность; логика, математика, астрономия, этика, метафизика были представлены основными произведениями античного наследия. Необходимо было знать Порфирия, Аристотеля, Цицерона, Боэция. Не нужно, однако, заблуждаться: читать и перечитывать их труды от кандидатов никто не требовал, достаточно было слышать, как некоторые из них читал вслух учитель. Истекшее со времени экзамена на степень бакалавра время — хотя бы один год — выглядело в глазах жюри довольно существенным признаком компетентности.

Возглавлял это состоявшее из регентов всех наций жюри лично канцлер епархии. Епископ имел возможность продемонстрировать здесь действие единственной прерогативы, оставшейся у него после обретения корпорацией учителей автономии — то есть после образования университета, — прерогативы, состоявшей в выдаче диплома *licencia docendi*, дававшего право преподавать. Экзамен имел место в большом зале епископского дворца. В таком месте никто не ошибается.

Учителем будущего Франсуа Вийона был выпускник Наваррского коллежа по имени Жан де Конфлан. Он имел степени магистра искусств и лиценциата теологии и являлся регентом на факультете искусств, причем в ту пору он уже в четвертый раз избирался главным попечителем, то есть главой французской нации. Преимущество здесь состояло в том, что он сам представлял своего ученика. В конце сессии, которая длилась один месяц и в которой могли принять участие не больше шестнадцати кандидатов, он официально зарегистрировал Франсуа между бургундцем и неверцем, которые были учениками его коллег Перона и Бегена.

За сдачу экзаменов, естественно, приходилось платить определенную сумму, но поскольку Монкорбье был беден, то факультет великодушно позволил ему заплатить самую малую из существовавших пошлин — всего два су. В то же самое время от некоего, похоже весьма состоятельного, бретонского клирика Лорана Аля потребовали целых сорок су.

Затем разворачивалась церемония посвящения. Особую роль в ней играл сторож при французской нации. Франсуа, конечно же, не стал пренебрегать формальностью, подчеркивавшей в глазах всего университетского Парижа важность функции сторожа: тот владел ключами от всех школ своей нации, расположенных на улице Фуарр. Портить отношения с ним не стоило. Сторож препровождал нового обладателя степени как раз на улицу Фуарр. А собравшиеся там магистры восторженно уверяли вновь прибывшего, что они принимают его в свой круг. Университетская корпорация по-прежнему оставалась полновластным хозяином положения.

После этого Франсуа де Монкорбье мог «начинать». Тут он приносил присягу в присутствии ректора. Произнося слова клятвы и обещая соблюдать устав, независимый клирик, каковым являлся школяр, вступал в иерархию. Без присяги степень магистра не присуждалась. Если кандидат, сдавший экзамен, не «начинал» таким вот образом, то его лицензиатство ничего не стоило. То есть в этом случае его как бы «не принимали».

Каждый день принималась новая порция лиценциатов, включавшая по четыре человека от каждой нации. Вместе с ними приходили их учителя, являвшиеся свидетелями и гарантами их успехов. Ведь благодаря таким торжествам укреплялся и их собственный престиж. Жан де Конфлан произнес короткую речь в честь своего ученика Франсуа де Монкорбье, а потом торжественно вручил ему головной убор, означавший, что Франсуа стал «магистром». Магистром ему суждено было остаться навсегда.

Перед молодым магистром искусств открылось в тот момент несколько путей. Выбор богословия позволил бы достичь высоких почестей на левом берегу Сены. Благодаря медицине можно было снискать уважение всего города. Юриспруденция обещала надежную карьеру, сулила наиболее способным высокие посты, богатство, а то и дворянство. Однако все это достигалось ценой еще нескольких лет учебы, а Вийон был нетерпелив. Богословие потребовало бы еще двенадцати-четырнадцати лет, юриспруденция — от шести до восьми, а Вийону, молодому человеку, которому исполнился двадцать один год, который только что получил степень магистра и не загадывал вперед дальше, чем на десять лет, это казалось чересчур долгим сроком. Здесь было над чем поразмыслить.

Многие тут же пытались воспользоваться только что полученным преимуществом: степень магистра давала возможность заработать кое-какие деньги на средних этажах той или иной общественной службы, в церкви, в науке. Не иссякала потребность в священниках, владеющих латынью и способных сносно прочесть проповедь на французском языке. Школы нуждались в учителях, знающих основы педагогики и грамматики. Имела свои преимущества и работа переписчиков, поскольку в те времена никто еще не знал, что в Страсбурге в изгнании живет один Майнцский гравёр и изобретает типографский шрифт, которому было суждено на протяжении жизни одного поколения в корне изменить древний способ распространения человеческой мысли. В 40-е годы XV столетия читатель располагал лишь книгами, переписанными от руки, и ему не составляло труда отличить хорошую копию от плохой, искажающей текст и утомляющей глаза.

Хороший переписчик достойно зарабатывал себе на жизнь. Вийон об этом знал и, по-видимому, какое-то время занимался этим ремеслом. Свидетельством тому может служить одно упоминание о мифической копии «Романа о Чертовой тумбе», якобы написанного самим Вийоном, переписанного его старым другом Табари и завещанного магистру Гийому де Вийону.

Какова бы ни была роль самого Вийона в том шумном, но, похоже, бессмысленном деле с «Чертовой тумбой» и какова бы ни была его роль в историографии упомянутой им проказы, тот факт, что он говорит о ней в «Большом завещании», позволяет предположить, что год спустя после получения им степени магистра Франсуа де Монкорбье охотнее участвовал в жизни будущего Латинского квартала, нежели в интеллектуальной деятельности «высших» факультетов. Наступал период рождения Франсуа Вийона.

## **Глава VII**

### **Охотно я передаю мою часовню и сутану и пастеу...**

#### **Университетские притязания**

Когда-то в былые времена университет претендовал на то, чтобы руководить христианским миром. Магистры — как регенты, так и школяры — изобретали реформы для всей церкви и для всего французского королевства. Они выносили на голосование, следует ли повиноваться папе римскому или же следует обходиться без него. Они посылали своего депутата на Собор и не раз навязывали епископам точку зрения докторов-богословов. Будучи реформаторами в силу своих интеллектуальных занятий, люди университета в большинстве своем оказались на стороне бургундцев по причине своего конформизма и в результате стали союзниками англичан. Поскольку в процессе Жанны д'Арк они проявили себя с самой худшей стороны, то по возвращении Карла VII их участие в политической жизни резко сократилось, а возникновение конкурирующих центров в Лувене, Кане, Пуатье окончательно разрушило претензии парижского университета на гегемонию.

Кое-кто предпочел отойти от светской суеты, чтобы обратить свои взоры к вновь возрождавшемуся после смуты гуманизму. Однако большинство с трудом находило приложение своей энергии и ждало лишь случая, чтобы выйти на авансцену парижской жизни.

В 1440 году случился первый серьезный инцидент, где столкнулись друг с другом университетские преподаватели и люди из Шатле. Три королевских сержанта арестовали двух магистров-августинцев прямо в их резиденции, то есть там, где они пользовались территориальной неприкосновенностью. Сержантам пришлось явиться с повинной — в одних рубашках, с факелами в руках — и просить прощения у *alma mater*. Этот случай повсеместно обсуждался. Дабы увековечить свою победу, университет заказал одному скульптору изготовить статую.

Четыре года спустя магистры устроили забастовку. Случилась она из-за того, что на университет обрушился королевский фиск. Надо сказать, что аппетиты фиска непрестанно росли, и Карл VII как раз в тот момент пытался избавиться от сложившейся еще во времена Филиппа Красивого традиции получать согласие налогоплательщиков на сбор налогов. Время от времени налогом облагалось духовенство, советники Парламента, буржуазия Парижа, буржуазия Лиона... А на этот раз люди короля попытались обложить налогом преподавательский состав университета.

Ректор поссорился с «избранником», то есть с чиновником, возглавлявшим королевское налоговое ведомство и сохранившим от предложенной Генеральными штатами — за сто лет до описываемых событий — выборности лишь титул, гласивший: «избранник по налоговым делам». Избранник вспылал. Ректор счел себя оскорбленным. И началась забастовка, продлившаяся с 4 сентября 1444 года по 14 марта 1445 года. На этом потеряли зеваки: не было служб ни на Рождество, ни на Великий пост. Что касается безденежных школяров, к которым фиск не имел никаких претензий, их эта история, скорее всего, лишь позабавила.

Еще один скандал разразился, когда королевский прево позволил себе бросить в тюрьму нескольких школяров. За них вступились и епископ, и ректор, не столько потому, что хотели защитить их самих, сколько для того, чтобы отстоять свои собственные прерогативы. И снова возникла угроза забастовки.

Карлу VII на протяжении тридцати лет слишком часто приходилось видеть парижских магистров в лагере противников, и поэтому он их недолюбливал. А угроза забастовки, похоже, переполнила чашу его терпения. 26 марта 1446 года он окончательно изъял правосудие из компетенции ректора. С тех пор судебные дела преподавателей университета и школяров перешли в ведение Парламента, то есть в ведение королевских судей. Тем, кто грозился забастовкой, потом пришлось об этом пожалеть.

Шесть лет спустя в Париж прибыл кардинал д'Эстувиль, наделенный полномочиями папского легата. Он должен был изыскать вместе с французским королем пути к длительному

миру между Англией и Францией. Ему предстояло также дать понять королю, что папа приветствовал бы отмену Прагматической санкции, превращавшей французскую церковь в одного из членов монархии. Так что он настраивался на весьма прохладный прием. В этой ситуации университет сыграл роль своего рода компенсации. Поскольку среди полномочий легата было и право осуществлять реформы в университете, то королю намекнули, что папа использует свой авторитет, дабы помочь ему в борьбе против его строптивых оппонентов. А заодно д'Эстувиль принял участие в реабилитации Жанны д'Арк.

Король преуспел во всем. Он проявил себя несговорчивым в том, что касается Прагматической санкции, остался хозяином церкви во Франции и по-прежнему продолжал изгонять из страны англичан. А реформа университета начала осуществляться с 1 июня 1452 года. Тогда же удалось добиться реабилитации Жанны д'Арк. Реабилитация была воспринята как осуждение тех, кто в прошлом ориентировался на бургундцев. Одновременно тем из них, кто пытался диктовать свои законы на левом берегу Сены, пришлось окончательно отказаться от своих претензий.

Случившееся моментально отложилось в сознании ректора и декана трех высших факультетов. Более или менее единодушно приняли новый порядок вещей и преподаватели. Школяры же в массе своей так сразу измениться не могли. Заглушить вмиг одним указом гвалт, наполнявший изо дня в день будущий Латинский квартал, было невозможно. Хотя школяры и носили теперь на занятиях длинные мантии, как это предписывали обновленные правила, ничто не мешало им задаваться иногда по вечерам традиционным вопросом: как убить время?

## **Чертова тумба**

И вот в одно прекрасное утро Париж проснулся и узнал, что исчезла «Чертова тумба». Каменная «Чертова тумба», очевидно имевшая характерную форму, без всякой пользы стояла на улице Мартруа Сен-Жани, на полдороге от Гревской площади к площади Сен-Жерве, то есть сразу за ратушей, в одном из самых посещаемых мест города.

К несчастью, «Чертова тумба» находилась точно перед особняком, где проживали две уважаемые персоны, известные своим богатством и своей добротностью: «мадемуазель» Катрин де Брюйер, вдова одного из королевских казначеев, и ее дочь Изабель, вдова распорядителя монетного двора. Изабель предпринимала меры, чтобы выйти замуж; в конечном счете она нашла удачную партию в лице самого богатого парижского менялы. Ее мамаша, напротив, держала себя в строгости. И вела тяжбы. Не пренебрегала ни одним процессом: из-за недвижимости, из-за рент, из-за казавшихся ей оскорбительными слов. А оскорблением ей казалось любое возражение. Она занималась благотворительной деятельностью, сопровождая ее уроками морали.

Мадемуазель де Брюйер обнаружила в себе призвание: вызволять из греха заблудших девиц. Вийон в «Большом завещании» посмеялся над этой ее страстью и нарисовал на нее карикатуру, вложив в ее уста забавную литанию, названную Клеманом Маро «Балладой о парижанках». «Язык Парижа всех острей» — в этой фразе заключено признание красноречия достойных столичных жительниц, неутомимых в работе и не слишком привередливых в развлечениях; их меткими репликами и криками шумел городской рынок. Вийону было прекрасно известно, что спорить с белошвейками и прядильщицами, которых можно было встретить на базаре прижавшимися к самой стене кладбища Невинноубиенных младенцев, абсолютно бесполезно. И поэтому именно туда направил он старую добродетельную женщину.

Кстати, и на кладбище тоже обитали отнюдь не одни только покойники. Девицы охотно назначали именно там свои любовные свидания. Вийон, несомненно, помнил об этом, когда подсмеивался, впрочем без особой злости, над девицами, на которых у него, возможно, был зуб, и проповедницами, раздражавшими его своей показной добротностью.

*Затем, девицу де Брюйер,  
Ханжу старинного закала,*

*Оставлю сплетницам в пример,  
Чтобы она их обучала,  
Но не в церквах, не где попало,  
А на базарах, у лотков:  
Их языки острее жала,  
У них довольно смачных слов.  
Идет молва на всех углах  
О языках венецианок,  
Искусных и болтливых свах,  
О говорливости миланок,  
О красноречии пизанок  
И бойких Рима дочерей...  
Но что вся слава итальянок!  
Язык Парижа всех острей <sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 101 и 102. Перевод Ф. Мендельсона.

Так вот, «Чертова тумба» служила своеобразным украшением подъезда особняка, где проживала мадемуазель де Брюйер и ее дочь. За неимением лучшего. Время от времени шутники отпускали по поводу «Чертовой тумбы» остроты. Нередко ею пользовались как табуретом разного рода болтуны, а клошарам она служила обеденным столом. Катрин де Брюйер, владевшая в Париже двумя десятками домов, стала считать этот камень своей собственностью. В глазах всего города ее особняк был «домом „Чертовой тумбы“». Когда она увидела свой дом лишившимся того, что превратилось в конце концов в нечто вроде его вывески, то не замедлила рассердиться.

Тумбу вскоре нашли. Она оказалась на другой стороне реки, на улице Мон Сент-Илер, на маленькой улочке, располагавшейся рядом с «большой улицей» Сен-Жак, практически напротив церкви Сен-Бенуа-ле-Бетурне. Надо полагать, что из района Гревской площади «Чертова тумба» переместилась почти на самый холм Святой Женевиевы отнюдь не самостоятельно. Университет потешался.

Мадемуазель де Брюйер написала жалобу. Юстиция завела дело. Лейтенант по уголовным делам Жан Безон отправил крепких сержантов, и они перенесли «Чертову тумбу» во двор Дворца правосудия, к самому входу в Парламент. После чего стали смеяться не только школяры.

Однако еще более заразительный смех охватил парижан, когда перед дверями мадемуазель де Брюйер появилась новая тумба. Ей тоже вскоре дали название: «Весс». Так простолюдины называли беззвучное газопускание.

На этом, может быть, все бы и закончилось, если бы правосудие не проявило чрезмерного рвения. Во всяком случае, когда королевские службы изъявили желание заключить в тюрьму виновных в транспортировке «Чертовой тумбы», реакция университета оказалась весьма болезненной. Шутники уже видели себя у позорного столба. Угроза породила несколько трактирных заговоров, подхлестнула воображение уличных ораторов.

И вот однажды ночью свершилось непоправимое: обе тумбы вдруг оказались на улице Мон Сент-Илер. Школяры, используя в качестве рычагов строительные стропила, открыли решетку Дворца правосудия. Потом пригрозили убить попытавшегося было дать сигнал тревоги привратника. И наконец завладели стоявшей во дворе «Чертовой тумбой». А затем направились на правый берег Сены за «Вес-сом», новым приобретением мадемуазель Катрин де Брюйер. Все парижане корчились от смеха, — все, за исключением королевских законников, решивших, что правосудию нанесено оскорбление.

Воодушевившиеся школяры попытались также присвоить вывеску «Свинья за рукодельем». Однако приставленная лестница оказалась слишком короткой. Исполнитель замысла сломал себе позвоночник. Об этой смерти постарались не распространяться.

А вот на холме Святой Женеви́евы, напротив, наступили веселые дни. Оба камня зафиксировали железными скобами, которые в свою очередь прикрепили с помощью гипса к стене. Перед трофеями плясали всем кварталом. Приходили и из других кварталов полюбоваться на «Чертову тумбу» и на ее отпрыска «Весса». Устраивались настоящие экскурсии. Из рук в руки переходили кувшины красного вина. Немало девиц лишилось по этому случаю невинности.

Возник обычай по воскресеньям и праздникам украшать «Чертову тумбу» цветами. Большим спросом стали пользоваться венки из цветов, которыми парижане украшали себя в дни веселья. Именитые граждане, обладавшие достаточным присутствием духа, чтобы отважиться пойти на улицу Мон Сент-Илер, должны были торжественно клясться, что они с уважением относятся к привилегиям «Весса». Комедия порой начинала походить на фронду.

Прево Робер д'Эстутвиль рискнул произвести пробу сил. 6 декабря 1452 года он явился со своими сержантами и осадил холм Святой Женеви́евы.

Школяры заняли оборону в принадлежавшем мэтру Анри Брескье доме, на фасаде которого красовалось изображение святого Стефана, а Прево расположил свой командный пункт в двух шагах от них, в доме адвоката Водетара. Сержанты под командованием самого лейтенанта Жана Безона высвободили «Чертову тумбу» и «Весса». А затем погрузили камни раздора в повозку и увезли. После чего Эстутвиль отдал приказ о наступлении.

Дверь дома, на котором красовалась вывеска с изображением святого Стефана, взломали. Школяров сначала отлупили, а потом арестовали. Законоведы из Шатле с радостью воспользовались долгожданной оказией, дабы обрушиться на университетские привилегии и вольности: они обыскали дома, обнаружили несколько только что похищенных шутниками вывесок, равно как и крюки находившейся на улице Сент-Женеви́ев мясной лавки, неожиданно пропавшие накануне. Нашли и оружие: несколько кортиков и небольшую кулеврину. Эта находка побудила Робера д'Эстутвиля вскрыть нарыв: он моментально организовал обыски в нескольких домах, посещаемых наиболее активными студентами, в частности в доме «Образ святого Николая» и в особняке Кокреля.

Люди прево не слишком церемонились. В доме «Образ святого Николая» они арестовали «вооруженную» женщину: на ее беду, она резала в тот момент овощи для супа. А одного раскричавшегося мальчишку увели как бунтовщика.

Воспользовавшись случаем, сержанты грабили посещаемые ими дома. Тащили все: простыни с постелей, подбитые мехом плащи, оловянную посуду. Брескье на этом лишился своих книг по грамматике.

Любители пользовались случаем, чтобы бесплатно попить в подвале вина. К этому времени как раз уже прибыло вино нового урожая.

Сержанты навели на университетский квартал ужас, но магистры быстро пришли в себя. Было организовано расследование. 9 мая на генеральной ассамблее доложили, что парижский прево пограл привилегии университета. В подтверждение этого обвинения перечислили арестованных студентов: оказалось человек сорок. Депутаты составили делегацию уполномоченных представителей и направили ее к Прево, в его дом на улице Жуи, что тянулась вверх от Гревской площади. Робер д'Эстутвиль был не дурак. Он выслушал всю длинную речь магистра богословия Жана Ю, речь, завершившуюся словами о том, что арест невинных представляет собой злоупотребление властью. Потом, видя, что иначе ему никак не выкрутиться, приказал выпустить арестованных студентов.

Страсти накалились. Школяры, сопровождавшие делегацию и ждавшие результатов на «большой улице» Сент-Антуан, устроили своим освобожденным товарищам настоящее чествование. И тут совсем некстати появилась направляющаяся к дому прево группа сержантов. Их встретили улюлюканьем. Сержанты притворились, что продолжают свой путь, но, едва миновав толпу студентов, развернулись и напали на них сзади. Студенты, желавшие продемонстрировать свои мирные намерения, пришли без оружия. И оказались в весьма тяжелом положении. Пришлось спасаться бегством.

Сочувствующие горожане открыли свои двери и спрятали несколько студентов. Зато многие другие, с раздражением вспоминая о беспорядках, встретили беглецов ударами лопат и дубинок.

В результате столкновений один человек погиб — юный юрист, отличавшийся прекрасной успеваемостью и не замеченный ни в каких порочащих его связях. Очевидно, он полагал, что примерное поведение спасет его от ударов... Многие были ранены; их перебинтовали оказавшиеся в том квартале цирюльники, и они потихоньку вернулись домой.

Один человек угрожал даже самому ректору и собирался силой отвести его к прево. «Иду», — сказал ректор и каким-то образом выкрутился из положения.

Поскольку имело место убийство, университет начал забастовку и подал жалобу. Робер д'Эстувиль сказался больным. Однако ректор добился, чтобы провели расследование. Лейтенанта по уголовным делам Жана Безона уволили. Человеку, грозившему ректору, отрубили кисть руки. Короче, людям из Шатле пришлось целый год просить прощения у магистров и школяров.

Не приходится сомневаться, что Франсуа Вийон участвовал во всех этих важных событиях, связанных с университетом. В противном случае он был бы единственным человеком, оказавшимся в стороне от шума, смеха и потасовок. К тому же «Чертова тумба» приземлилась как раз около церкви Сен-Бенуа-ле-Бетурне. Позднее, упоминая в «Большом завещании» славного магистра Гийома де Вийона, он оставил ему в дар «Роман о „Чертовой тумбе"», о котором нам ничего не известно и которого, возможно, он никогда не писал.

## Назначение на должность

Ценность этого дара, естественно, весьма невелика. А вот что касается столь же иронично отказанных им по завещанию надежд на духовный сан, то они наводят на мысль, что поэт отнюдь не сразу отверг карьеру священнослужителя и что помимо изложения в стихотворной форме рассказа о затянувшемся фарсе он искал и иные пути к известности. Вийон потратил несколько лет на то, чтобы выглядеть в глазах окружающих не просто бывшим школяром. При этом в момент получения им в 1452 году степени магистра он еще мог питать кое-какие надежды.

Однако же гораздо легче фигурировать в списках людей, имеющих на что-то право, чем получить реальный доход с церковного имущества, обзавестись должностью каноника или капеллана, особенно когда речь идет о клирике, не являвшемся священником. К тому времени вопрос о распределении духовных мест и бенефициев волновал уже добрый десяток поколений клириков. До крупных соборов XV века между собой вступали в противоречие древние права «ординарных» раздавателей духовных мест — епископов и вельмож — и права, мало-помалу узурпированные ненасытным папским престолом. А к XV веку сформировалась еще одна крупная «группа давления», представленная университетским корпусом, постоянно разрастающимся и оттого вынужденным искать все новые и новые доходы. В конце концов в дело вмешался король, как для того, чтобы ограничить роль папы внутри королевства, так и для того, чтобы завладеть превосходным средством оплаты приверженности и услуг. Должности епископа и архидьякона раздавались председателям, советникам, разного рода клиентам. Многие служители короля вроде бы довольствовались скромным содержанием и какими-нибудь пособиями «на одежду», выплачиваемыми ежегодно, тогда как в действительности они милостью короля получали весьма приличные доходы, скажем доходы каноника или кюре.

Вийон еще не успел остановиться в своем выборе ни на чем, когда в мае 1438 года собравшейся в Бурже ассамблее французского духовенства пришлось по поручению короля вернуться к решениям Базельского собора, где весьма отчетливо прозвучал голос представителей университетов. Результатом их обсуждения стал обнародованный 7 июля текст, принявший суверенную форму королевского указа и получивший название Прагматической санкции. Король попросту утвердил, слегка их подправив, «каноны» собора. Если иметь в виду практическую сторону дела, то он сделал их реально осуществимыми. А что касается принципов, то здесь он утверждал свое право на законодательство во французской церкви. И тем самым отвергал право папы и собора руководить духовенством напрямую.

Впоследствии, четырнадцать лет спустя, папа предпринял ответные действия. Однако что из этого вышло, мы видели на примере неудачной миссии кардинала д'Эстутвиля.

Организаторы Базельского собора решили, что епископы будут избираться церковными капитулами, а на низшие должности назначение будет производиться теми, кто это делал и прежде, то есть, по ситуации, епископом либо аббатом, королем либо местным феодалом. В пользу лиц, имеющих ту или иную университетскую степень, выделялась одна треть церковных должностей, а также все должности приходских священников в пределах обнесенных стенами городов. Ассамблея в Бурже пошла еще дальше: она выделила две трети должностей университетам, которые предлагали своих кандидатов распорядителям духовных мест.

Стало быть, Вийон одно время жил великой иллюзией. Доходы церкви — магистрам! Наконец-то для изголодавшихся школяров наступала пора реванша. Университеты уже начали было составлять список будущих владельцев духовных должностей, — список, длина которого сразу же выявила, что спрос значительно превышает количество вакантных мест. Многие из выпускников, «назначенных», то есть обладавших письмом о назначении в адрес того или иного распорядителя духовных мест, обнаружили, что их будущий начальник не имеет в данный момент абсолютно ничего такого, что он мог бы предложить простым магистрам искусств. Их головной убор достался им не за великие таланты, но и проку от него тоже никакого не было. Назначения, как и университетские степени, были всего лишь некоей фикцией. Фикцией, несмотря на то что письма-назначения запечатывались большой печатью университета и торжественно вручались в Матюренском монастыре. Вийон довольно скоро убедился в иллюзорности своих надежд и легко с ними расстался, завещав все двум старым судьям-каноникам, имевшим хорошие доходы, известным своим богатством, своим влиянием и своей наглостью.

*Затем ученый титул мой,  
Что мне присвоила Сорбонна,  
Оставлю с легкою душой  
Двум школярам необученным, —  
Пусть помнят доброту Вийона!  
Поддержит их подарок сей:  
Бедняги бродят по притонам  
Голее дождевых червей.  
Зовут их мэтр Котэн Гийом  
И мэтр Тибо Витри. Отныне  
Пусть благоденствуют вдвоем,  
Молитвы шепчут по-латыни...<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 28. Перевод Ф. Мендельсона.

Подарок Вийона выглядит столь же карикатурно, как и юридическое толкование его волеизъявления, это детализированное разъяснение сущности завещания. Те, кого он якобы хотел спасти от злосчастий, являлись богатыми канониками из Собора Парижской Богоматери, то есть были закоренелыми врагами его покровителей из церкви Святого Бенедикта. Ссоры друзей Франсуа неизменно становились его собственными ссорами.

Что же касается его собственного доходного места, то он упомянул о нем в «Большом завещании», когда перечислял благочестивые заведения, обеспечивавшие безбедное существование удачливым каноникам и капелланам. Как мы обнаруживаем при чтении текста, его часовня отнюдь не предназначалась для пышных ежегодных месс с четырьмя певчими, с двадцатью четырьмя свечами и с полной корзиной освященного хлеба.

*А часовому Капеллану  
Охотно я передаю  
Мою часовню и сутану  
И паству тощую мою;*

*Но если б мог, не утаю,  
Я исповедовал бы сам —  
Чтоб каждая была в раю —  
Служанок и прелестных дам <sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Там же. С. 118.

В той часовне справлялись лишь так называемые «сухие мессы» — мессы, где присутствие священника было не обязательно. Там читались тексты, но не было ни священнодействия, ни причастия. А раз так, то славному и, похоже, отнюдь не стремившемуся обременить себя церковными службами Капеллану, имя которого словно специально было изобретено для каламбура, так никогда и не представилась возможность отведать сладкого церковного вина.

В галерее тех, кого с горькой усмешкой вспоминает мэтр Франсуа, фигурирует и такой персонаж, как распорядитель духовных мест. Обычно это был либо крупный вельможа, либо вельможный епископ, от которого зависело, чтобы назначение на роль превратилось в оплаченное звонкой монетой исполнение реально полученной роли. Вийон оказался обреченным на бессрочное ожидание, и не случайно в своих стихах он вспоминает об оставшихся без ответа прошениях. Иметь головной убор магистра — это одно, но, чтобы извлечь из него какую-то пользу, нужно было не раз и не два обратиться с письменной просьбой к распорядителю духовных мест. И вот, притворяясь, что он просит за более богатого, чем он сам, человека, Вийон вспоминает про многие безответные письма.

*А я пока что напишу  
Письмо коллеге-казначей,  
Взять на хлеба их попрошу:  
Ведь нету школяров беднее! <sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 93. Перевод Ф. Мендельсона.

## **Примеры для подражания, честолюбивые порывы, разочарования**

Вспоминая в 1461 году всю свою жизнь, свои честолюбивые порывы и разочарования, Вийон отчетливо видел перед собой их образы, существовавшие в реальном мире. Рискую ввести читателя в заблуждение, он перечислял великих мира сего, который мог бы быть и его миром тоже, перечислял так, словно это были его приятели. Он ввел в заблуждение критиков, которые на протяжении нескольких веков изображали Вийона в виде некоего двуликого персонажа, днем посещающего аристократические особняки, а ночью явшающегося с ворами. Впрочем, имена богачей и выскочек фигурируют в его стихах отнюдь не ради словесной игры. Они являются негативом автопортрета.

Развертывая фабулу «Завещания», Вийон назначил для этого завещания душеприказчиков, точь-в-точь как это сделал бы какой-нибудь буржуа, способный оставить после себя имущество и надеявшийся привлечь публику на свои похороны. Любой буржуа понимал, что самыми надежными душеприказчиками являются самые именитые из близких знакомых. Накануне описываемых событий первый президент Робер Може назначил помимо своей жены ни много ни мало пять парламентских советников вкупе с кармелитским монахом, дабы тот проследил за выполнением пунктов, относящихся к благочестию. Нотариус и секретарь Николя де л'Эспуас выбрал четырех магистров, двое из которых были адвокатами. Прокурор Жан Сулас взял в душеприказчики семь магистров, и все они являлись либо адвокатами, либо прокурорами. Богатейший итальянский купец Дино Рапонди, поставщик авиньонских пап и герцога Бургундии, составляя в Париже завещание, по которому без всякого стеснения отказывал по шестнадцать су королю и епископу, по тридцать два су своему священнику и капелланам, по восемь ливров беднякам и нескольким выбранным им церквям, назначил душеприказчиками своих трех братьев, одного знакомого клирика и одного знакомого адвоката, а также десятерых итальянских торговцев, десятерых самых богатых во всем Париже «ломбардцев».

Сомневаться, следовательно, не приходится: душеприказчиков каждый выбирал себе по своему образу и подобию. Ну а что касается Вийона, то, называя своих душеприказчиков, он просто фантазировал. Те, кого он назначил, не были ни его хорошими знакомыми, ни людьми, оказавшимися на его пути в злосчастную пору и вызвавшими его неприязнь, трансформировавшуюся в иронические дары. Речь идет об именитых людях, какими их себе представлял Вийон. Шесть фиктивных душеприказчиков фиктивного завещания олицетворяли успех, в котором жизнь отказала магистру Франсуа де Монкорбье. Их судьба — это не что иное, как судьба, к которой бедный школяр Вийон более или менее сознательно стремился и которая ему не удалась.

*Не полагаясь на удачу,  
Чтоб локти после не кусать,  
Я исполнителей назначу,  
Которым можно доверять.  
Не им на Господа роптать —  
Они богаты, нет сомненья!  
Хочу заранее назвать  
Тех, кто оплатит погребенье<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Там же. С. 122.

Строго говоря, можно было назначить всего троих душеприказчиков, и поэт их назначил: лейтенанта по уголовным делам Мартена Бельфе, председателя кассационного суда Коломбеля и некоего Жувенеля... Назначил троих, то есть необходимый минимум. Однако предусмотрительный Вийон — кто бы мог догадаться о таких его качествах? — назначил также и троих заместителей.

*Вот первый — мэтр Бельфе Мартин,  
Судья известный, мастер плети;  
Сир Коломбель — еще один;  
А кто еще? Кто будет третий?  
Пусть на себя заботы эти  
Возьмет и Жувенель Мишель, —  
Они втроем за все в ответе!  
Я свято верил в них досель<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 122. Перевод Ф. Мендельсона.

Лейтенант по уголовным делам при парижском прево — это председатель одного из двух судов — гражданского или уголовного, — составлявших вместе судебное ведомство Шатле. По существу, он являлся главным королевским судьей по Парижу. Мартен Бельфе получил образование в университетах Парижа и Орлеана, имел степень лиценциата по гражданскому и каноническому праву, или, как говорили, степень лиценциата «in utroque», то есть «по обоим». В конце концов, продвигаясь по служебной лестнице законовещения, судья Мартен Бельфе оказался в Парламенте и разбогател настолько, что купил поместье в Ферьере в графстве Бри. Столь же богат был и председатель кассационного суда в Парламенте Гийом Коломбель. Что же касается Мишеля Жувенеля, то это был пятнадцатый сын Жана Жувенеля, того самого Жувенеля, который восстанавливал права города Парижа во времена Карла VI.

Для всех жителей столицы фамилия Жувенель звучала как фамилия человека, возвратившего Парижу честь и благосостояние, серьезно скомпрометированные в 1382 году в так называемом «деле Майотенов». В 1461 году, когда Вийон составлял свое «Завещание», Жан Жувенель уже успел войти в почти мифологическую галерею парижских знаменитостей. Умер он в апреле 1431 года в должности председателя Парламента, восстановленного в Пуатье Карлом VII. В глазах политиков он выглядел эталоном верности. Буржуазия смотрела на него как на пример доблестной непреклонности на службе гражданского мира. Для юристов он навсегда остался

великим адвокатом, приехавшим в столицу из Труа и сделавшим там блестящую карьеру, адвокатом, ставшим главным юрисконсультom Карла VI и добившимся восстановления Парламента. В сознании всех парижан Жан Жувенель остался первым купеческим старейшиной после кризисной эпохи, человеком, который, будучи креатурой королевского правительства, сумел стать человеком Города и примирить власть и автономию.

Вийону не довелось быть знакомым с самым великим из Жувенелей. Возможно, правда, он видел когда-нибудь его вдову Мишель де Витри, скончавшуюся в Париже 12 июня 1456 года, в пору, когда мэтр Франсуа уже прожил большую часть своей парижской жизни.

Так или иначе, но в 1461 году, когда Мишель Жувенель неожиданно-негаданно стал душеприказчиком некоего нищего шалопая, его семья была одной из самых знаменитых во Франции. Всего одно поколение сменило того юного преуспевшего юриста, а результаты были впечатляющие.

Жан Жувенель, адвокат, получивший титул барона, имел шестнадцать детей, из любви ко всему латинскому превратившихся в Ювеналов и благодаря дерзкому приобретению воображаемого поместья Юрсен породнившихся с римской аристократической семьей Орсини. Второй из этих отпрысков, Жан Жувенель дез Юрсен, в 1461 году занимал должность архиепископа Реймса; он написал историю правления Карла VI. Он же позволил себе сделать выговор Карлу VII в Генеральных штатах. А в 1461 году короновал Людовика XI. Не менее известен был и второй из детей Жана Жувенеля, кавалер Гийом Жувенель. С 1425 года он являлся советником в Парламенте Пуатье, а впоследствии стал канцлером Франции. Похоронили его в Соборе Парижской Богородицы. Что же касается его брата Жака, шестнадцатого отпрыска бывшего купеческого старейшины, то он, побывав архиепископом в Реймсе еще до Жана, затем стал патриархом Антиохским, патриархом хотя и без епархии, но одним из первых лиц в католической церкви. Во времена авиньонских пап он имел бы все шансы стать папой.

Тогда почему же вдруг Мишель? Почему Вийон лишил себя удовольствия обременить обязанностями душеприказчика канцлера или, например, архиепископа? Потому, что у него была одна-единственная цель: назвать любое знаменитое имя? Родившийся в восемь часов вечера во вторник 15 января 1401 года — его отец скрупулезно регистрировал все даты рождений и крещений, — Мишель Жувенель был на три десятка лет старше, чем Франсуа де Монкорбье. Совершенно исключено, чтобы их пути могли пересечься во времена учебы. А с 1456 года Жувенель занимал пост судьи в Труа. Весьма маловероятно, чтобы Вийон знал этого королевского чиновника, брата двух архиепископов, иначе, чем других своих душеприказчиков, то есть очень и очень издалека.

Однако, назначая именитых людей, дабы они проследили за исполнением его завещания, поэт шутил лишь наполовину. Он включился в свою собственную игру. Ему пришла на ум фамилия: Жувенель. У каждого студента в подсознании рождаются порой самые безумные по своей честолюбивости планы. Но вот что касается имени, которое назвал псевдозавещатель, то оно принадлежало человеку, которым мог бы стать и сам Вийон. Архиепископ, патриарх, канцлер — это все судьбы исключительные. Тогда как судейский королевский чиновник — это вполне реальная профессия, вполне доступная карьера.

Вийон выдал здесь свое разочарование. Все три его душеприказчика — магистры. Бывшие школяры, юристы, королевские чиновники, они отнюдь не фигурировали среди знаменитостей, но в то же время им не грозила и полная безвестность. Их положение защищало от ударов судьбы, как от тех, что получают, так и от тех, что наносят. Оно защищало их также и от рискованных искушений, порождаемых от нищеты и от неуверенности. Бельфе, Коломбель и Жувенель — это как раз те люди, которые служили примером маленькому секретарю магистра Гийома де Вийона.

Однако рано или поздно с мечтами приходится расставаться. Франсуа не тот человек, на котором подобные именитые граждане, компетентные правоведы и почтенные собственники должны были бы остановить свой внимательный взгляд. Поэтому он спускается на землю, хотя творческое воображение и продолжает работать. Но вдохновение длится не вечно. Нужно как-то закончить повествование. И тогда Вийон назначает заместителей. О них речь уже шла. Это честные и порядочные люди, которые приложат все силы, чтобы выполнить условия завещания и организовать похороны; это некий мелкий дворянчик, богатый не столько доходами, сколько

спесью, это содержатель публичного дома — короче, хорошо известные Вийону люди. Похоже, ему не в чем их упрекнуть. Он их попросту презирает.

*Но коль откажут в просьбе сей  
Корысти мелочной в угоду,  
Я попрошу моих друзей,  
Из тех, что познатнее родом,  
Взять на себя мои расходы.  
Филипп Брюнель подаст пример,  
За ним, из нашего прихода,  
Мэтр благородный Жак Рагьер,  
А третьим будет Жам Жако.  
У всех троих достатка много,  
И раскошелятся легко,  
Страшась всевидящего Бога.  
Ведь лучше не сыскать предлога,  
Чтоб место обрести в раю!<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 123. Перевод Ф. Мендельсона.

Филипп Брюнель де Гриньи был известен в Шатле главным образом своими ссорами и процессами. В «Завещании» от 1456 года Вийон оставил ему два развалившихся замка недалеко от Парижа, в том числе замок Бисетр, который при герцоге Жане де Берри, за полвека до описываемых событий, был хорошо известен. Вийон не обходит вниманием и его противника. Все намеки, содержащиеся в стихах, более чем прозрачны, как в случае с де Гриньи, так и в том, что касается даров Жаку Рагье, которому поэт завещал на Сене вверх от Сен-Жермен-л'Осеруа водопой для лошадей.

*Затем получит де Гриньи  
Бисетра замок укрепленный,  
Шесть псов — не то, что Монтиньи! —  
И башню славную Нижона,  
Чтоб в ней укрыться от Мутона,  
Грозящего ему судом,  
Ну а Мутона в честь закона  
Пускай попотчуют кнутом!  
А водопой Попэн я дам  
Рагьеру Жаку. Пусть напьется  
Сей пьяница хотя бы там  
И о закуске не печется —  
В харчевне «Шишка» все найдется:  
Крольчишка, груши, стол, кровать,  
И для гостей очаг зажжется, —  
Там можно славно пировать!<sup>1</sup>*

Третьим душеприказчиком-заместителем выбран Жам, хозяин бань, которые располагались в доме с вывеской «Образ святого Мартена», в том пользовавшемся определенной славой доме на улице Гарнье Сен-Ладр — превратившейся потом в улицу Гренье Сен-Лазар, — где справлялись весьма своеобразные свадьбы! Жаму по наследству достался также и еще один дом в том же квартале, богатый дом с вывеской «Свинья», выходящей на улицу Бобур. Он перешел к нему от отца Жана Жама, «распорядителя сооружений и хранителя фонтанов города», то есть главного архитектора Парижа.

Стало быть, Вийон в момент, когда у него закралось сомнение относительно действительно именитых горожан парижского общества, своим третьим душеприказчиком назначил богача, стяжателя и сводника. Хотя, упоминая о нем впервые, поэт и называет его порядочным человеком, но иллюзий на его счет у него нет и завещает он ему... право на разврат. Трех первых душеприказчиков от их трех заместителей отделяет крушение человеческой жизни.

*А скареднику Жаку Жаму,  
Кто даже спать привык с мошной,  
В невесты дам любую даму!  
Но все равно ему женой  
Она не станет; так на кой  
Же черт он копит деньги с детства?  
Умрет, как жил, свинья свиньей,  
И к свиньям перейдет наследство <sup>2</sup>.*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 25. Перевод Ф. Мендельсона.

<sup>2</sup> Там же. С. 117.

Франсуа де Монкорбье видел одно время перед собой путь удовлетворения честолюбивых замыслов и надежд. Вместе с некоторыми другими он прошел небольшой отрезок этого пути. Он мог бы быть Мишелем Жувенелем или Мартеном Бельфе. Однако для него этот путь оборвался по окончании факультета «искусств». Степень лиценциата «in utroque», должности правоведа или же городского чиновника, епанча с подбитым беличьим мехом капюшоном преподававших в университете магистров, небольшие денежные поступления и обеспечивавшийся на гражданской службе средний достаток — все это он видел со стороны, но все это было не для него. Со стороны он мог отождествлять те или иные имена с различными своими представлениями о карьере. Он мог бы оказаться в компании «магистров», поднявшихся в чинах. Однако он оказался в компании оборванцев.

В том возрасте, когда приходит первая любовь, судьбы тех и других перекрещиваются. Они вместе проказничали, вместе ухаживали за девушками. Вместе блистали, хорошо говорили, хорошо пели. Прошло время. И в момент «Большого завещания» остались лишь мертвые и живые, богатые и бедные, а также монахи... Каждый оказался при своей «судьбе». И этим все сказано.

*Где щеголи минувших дней,  
С кем пировал я в кабаках,  
Кто пел и пил и был смелей  
Других в сужденьях и делах?  
Они мертвы! Холодный прах  
Забит людьми и взят могилой.  
Спят крепко мертвецы в гробах,  
О Господи, живых помилуй!  
Из тех, кто жив, одни в чинах —  
Мошна тугая, чести много, —  
Другие — в продранных штанах  
Объедков просят у порога,  
А третьи прославляют Бога,  
Под рясами жирок тая,  
И во Христе живут не строго, —  
Судьба у каждого своя <sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Там же. С. 42—43.

## **Глава VIII**

### **Всё, всё у девок и в тавернах...**

#### **Воскресенья и праздники**

Школяром Франсуа де Монкорбье был неважнецким. За три года к степени магистра свободных искусств, увенчавшей его среднее образование, он не присовокупил больше ни одной университетской степени. Он был клириком, не имевшим работы и не отличавшимся повышенным честолюбием. Нрав он имел мирный, и, пожалуй, единственным его пороком была легкая склонность к озорству. В письмах о помиловании с него снимается обвинение в совершенном в 1456 году преступлении против Филиппа Сермуаза, в них создан такой портрет Вийона, где тщетно было бы пытаться разглядеть черты того шалопая, что известен нам по следующему периоду его жизни. Когда в четверг 5 июня 1455 года, в праздник Тела Господня, на Париж опустились вечерние сумерки, «мэтр» Франсуа де Лож, он же де Вийон, «двадцати шести лет от роду или около того», был человеком, который «вел себя достойно и честно и никогда не был уличен, взят под стражу и осужден ни за какое иное злое деяние, хулу или оскорбление». Де Лож — это всего лишь прозвище, но нам ведь достаточно хорошо известно, как в середине XV века у людей появлялись те или иные фамилии. Несколько позднее Вийон признался, что ко времени совершения преступления ему исполнилось не двадцать шесть, а двадцать четыре года.

Стало быть, в тот мирный вечер бывший студент спокойно прогуливался, не питая никаких дурных мыслей. Праздник Тела Господня был тогда одним из бесчисленных выходных дней, когда не работали ни суды, ни факультеты, когда закрывались на замок все мастерские и все лавочки. В ту пору различались воскресенья, праздники «подвижного цикла», высчитывавшиеся по отношению к Пасхе, и праздники «постоянного цикла», закрепленные за определенными датами, согласно собственному для каждой епархии ритуалу.

Праздник означал, что в этот день можно отдыхать и свободно распоряжаться своим временем, провести его в кругу семьи или в кругу друзей, в церкви или в таверне. Однако одновременно праздники ассоциировались и с утратами, поскольку работа в эти дни не продвигалась. Поденному работнику это было хорошо известно, как, впрочем, и всем ремесленникам, получавшим плату за готовое изделие; праздники стоили дорого, и многие предпочли бы, чтобы число их уменьшилось. Что же касается школяров, то они почти ничего не теряли, прекрасно обходились без положенных комментированных чтений, а если и сожалели о пропущенных уроках, то компенсировали их слушанием проповеди.

Каждое время года имело свои праздники, причем нередко традиция сообщала им оригинальные, более глубокие, чем нюансы литургии, черты. В этом отношении апогеем являлись костры на празднике святого Иоанна вместе с сопровождавшим их кортежем верований, в том числе и свойственной всем слоям общества веры в то, что некоторые травы, если их сорвать накануне и носить на себе в день святого Иоанна, помогают вылечить многие болезни. Ну а праздник Тела Господня с его посыпанием пути лепестками цветов и временными алтарями, дававшими буржуазии во имя святых таинств возможность продемонстрировать свои ковры, был чем-то вроде ритуального и фольклорного действия одновременно и был прежде всего процессией, подобно тому как праздник Рождества является прежде всего полуночной мессой. В уставе коллежа Юбана уточнялось:

«Во время праздника Тела Господня дети должны нести перед изображением Господа нашего Иисуса Христа свечи из свежего воска в четверть фунта каждая».

Мы нисколько не погрешим против истины, если скажем, что праздников в году было не меньше, чем воскресений. В январе парижане отмечали Крещение, которое тогда называли Богоявлением и которое превращалось в грандиозный карнавал. Маскарадные шуты там заставляли забыть надолго о волхвах. На Крещение, 6 января, завершалась украшавшая середину зимы целая вереница праздников, начинавшихся Рождеством и продолжавшихся днем Избиения младенцев и Обрезания. В тот день «выводили волхвов», носили свинцовые короны, ели

пирожные, танцевали. Причем этот праздник отнюдь не мешал парижанам отмечать и праздник святой Женевиевы 3 января, чествовать святых Фреминия и Гилярия 13 января, а затем святого Маврикия — 15 января, святого Винцента — 22 января и святого Павла — 25 января.

Февраль открывался праздником Сретения Господня. В этот день, 2 февраля, святили свечи, организовывали игры. Перед публикой выступали менестрели. Потом делался перерыв до дня святого Дионисия, который праздновался 24 февраля.

Потом наступал Великий пост. Не полагалось работать в первую среду поста, в так называемую среду поклонения Праху, да и накануне, во вторник, тоже никто не перетруждался, потому что вторник был последним днем Масленицы. А на следующее воскресенье жгли соломенные факелы, так называемые «брандоны». За исключением дня покаяния, каковым являлась среда поклонения Праху, в марте был еще всего лишь один нерабочий день: Благовещение Богоматери, приходившееся на 25 число. Правда, тут же все компенсировала Страстная неделя с ее чередой литургий и праздников: Великий четверг, Страстная пятница, Страстная суббота и так до следующего четверга, когда начиналась Пасха. По существу, Пасха, или Светлая неделя, длилась почти целых две недели, до самого Фомина воскресенья, и в течение этих двух недель благочестие непрерывно чередовалось с весельем. «Короткая проповедь и длинный стол» — такое определение пасхальных торжеств давал в XIII веке сам Робер де Сорбон. Пасхальные лепешки были непременным атрибутом праздника. Их воспел в стихах Эташ Дешан. Однако лепешками дело не кончалось: специально по этому случаю на улице Косонри готовили телячий паштет.

В следующем месяце приходившиеся на 1 мая праздник святых Иакова и Филиппа, на 6 мая праздник святого Иоанна Евангелиста и на 13 мая праздник святого Георгия как бы готовили людей к Вознесению. Вознесение, отмечавшееся через сорок дней после Пасхи, подводило черту под собственно пасхальными торжествами. В мае прекращали инсценировки «Страстей». Устраивали праздник девушек на выданье, сажали «майское деревце», причем зачастую как раз 1 мая, и пользовались этим предлогом для того, чтобы организовать увеселительные прогулки на лоне природы. Карл Орлеанский запечатлел этот обычай в стихах:

*Душа наскучила томиться,  
То скорбью исходя, то гневом.  
Пора встряхнуться, пробудиться  
И, чтя обычай, милый девам,  
Отправиться за майским дровом  
В прозрачную лесную сень,  
Где птицы радостным напевом  
Встречают первый майский день <sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Перевод Ю. Стефанова.

Через десять дней после Вознесения шла Пятидесятница с ее тремя выходными днями. Затем в воскресенье отмечали Троицын день. А на следующей неделе в четверг наступала очередь праздника Тела Господня.

11 июня по календарю значился день святого Варнавы, и так вот незаметно приближалось празднество, связанное с открытием ежегодной ярмарки Ланди. Ланди — это была не просто ярмарка, собиравшая по крайней мере на три недели на равнине Святого Дионисия торговцев, прибывших из многих областей королевства. Ланди — это был также всепарижский праздник. Открытие ярмарки заставляло на время закрывать лавочки в самом городе. Ну а те, кому было нечего продавать и кто не мог ничего купить, все равно отправлялись на ярмарки, хотя бы просто для того, чтобы поглазеть, как продают и покупают другие. Вряд ли стоит уточнять, что на ярмарке и много ели, и много пили.

12 июня там открывалась специальная ярмарка пергамента, куда ректор и школяры направлялись торжественным строем с возглавлявшими процессию жезлоносцами. Важно восседавший на муле ректор был облачен в мантию. Его кортеж походил одновременно и на

крестный ход, и на фарандолу. Выставленные кожи внимательно рассматривались. Ректор в первую очередь отбирал пергаменты для дипломов, вручаемых студентам следующего выпуска. Потом школяры напивались, а их учителя исчезали. И начинался всеобщий беспорядок.

Приходившиеся на 24 и 29 июня праздник Иоанна Крестителя и праздник святых Петра и Павла завершали список выходных дней первого летнего месяца, вероятно являвшегося для парижан самым праздным из всех месяцев года. Рабочие дни в июне были длинные, но зато редкие.

Все менялось, как только заканчивались торжества «подвижного цикла». Щедростью на праздники следующий месяц не отличался: только праздник святой Магдалины 22 июля и праздник святого Германа — 31 июля. Последний летний месяц выглядел в этом отношении побогаче: день святого Петра отмечался 1 августа, день святого Стефана — 3 августа, день святого Лаврентия — 10 августа, за ним 15 августа следовало Успение Пресвятой Богородицы, а потом 24 августа — день святого Варфоломея, 25 августа — день святого Людовика и, наконец, 29 августа — день усекновения главы Иоанна Крестителя. В сентябре тоже что ни неделя, то праздник: 1 сентября — день святого Льва и святого Жилия, 8 сентября — Рождество Богородицы, 14 сентября — праздник Святого Креста, 21 сентября — день святого Матфея, а 29 сентября — день святого Михаила. Такой же ритм поддерживался и в октябре, где следовали друг за другом день святого Ремигия — 1 октября, день святого Дионисия — 9 октября, день святого Луки — 18 октября и день святых Симона и Иуды — 28 октября.

За праздником Всех Святых и днем Поминовения Усопших 1 и 2 ноября следовал день святого Марсилия, отмечаемый 3 ноября. Скульптурное изображение выпрямившегося во весь рост святого епископа, находящееся в простенке правого портала Собора Парижской Богородицы, и его лицо были хорошо знакомы школярам. Его день широко отмечался, хотя и не столь пышно, как день святого Мартина. Праздник последнего, приходившийся на 11 ноября, был для виноградарей и виноделов — а их в Париже и вокруг него насчитывалось немало — столь же важным событием, как и день 15 августа для хлеборобов, то есть завершением работ и началом получения заработка. Вместе с приходившимися на 25 и на 30 августа праздниками святой Катерины и святого Андрея последний осенний месяц тоже удваивал количество выходных.

Ну а там уже не за горами было и Рождество. Говорить о нем начинали за четыре воскресенья, сразу как только наступал Рождественский пост. Однако предвкушение и подготовка к Рождеству не мешали отметить между делом праздник святого Николая 6 декабря, праздник Богородицы 8 декабря и праздник святого Фомы 21 декабря.

Подобно всем большим праздникам, Рождество начиналось загодя, еще накануне. Тщетно пытались епископы напомнить, что «всеобщее бдение» нужно было для того, чтобы подготовить души к таинству, и что следует неукоснительно соблюдать пост. К празднику народ готовился, празднуя. На улицах устраивались игры, повсюду слышались песни. Потом шли на ночную мессу, а зачастую также и на несколько дневных месс. Со временем рождественский ужин превратился в главное событие всего ночного торжества. В центре внимания находился жирный гусь, но при этом участники трапезы не пренебрегали ни кровяной колбасой, ни мясом зарезанной накануне свиньи. Толпы народа устремлялись на улицу Косонри.

В ожидании праздников Обрезания и Крещения на следующий день после Рождества отмечали день святого Стефана.

Так вот и получалось, что к пятидесяти двум воскресеньям прибавлялось еще приблизительно пятьдесят праздников, многие из которых народ принимался отмечать вечером предшествующего дня. По существу, все эти праздники, вплоть до самого незначительного, начинались накануне, когда монахи и каноники запевали «первую вечерню», а лавочники закрывали свои лавки раньше, чем обычно. Кроме того, из-за молитв деловая активность прекращалась задолго до наступления вечера в так называемые постные дни, а молились по этому случаю три дня кряду в каждое время года. Не следует забывать также и про три дня перед Вознесением, когда устраивались публичные молитвы по поводу сбора урожая.

Когда какой-нибудь праздник накладывался на другой, то один из них по ритуалу и по взаимной договоренности людей переносился на следующий день. Так, святого, чей праздник

попадал на воскресенье, чествовали в понедельник. А праздник Иоанна Крестителя в 1451 году отмечали 25 июня по той лишь причине, что праздник Тела Господня попал тогда на 24 июня.

Кроме того, в тех случаях, когда календарь это позволял, делали «перемычку». Выражения такого тогда еще не существовало, но явление, суть которого сводилась к тому, что в расположенный между двумя праздниками день тоже не работали, уже существовало. Когда в 1449 году парижане узнали об окончании раздора между папой и Базельским собором, то объявленный день отдыха превратился в трехдневный праздник.

«В пятницу состоялось в Париже шествие в церковь святого Виктора, и приняли в нем участие десять тысяч человек. И никто ничего не делал в Париже до воскресенья».

Однако это еще не все; существовали и другие, более частные праздники. Работу прекращали, дабы чествовать приходского святого, покровителя ремесла, покровителя религиозного братства. В университете французская нация устраивала праздник святого Гийома, Пикардийская нация — праздник святого Николая. Английская нация в течение долгого времени чествовала святого Эдмунда, а когда она по политическим соображениям преобразовалась в немецкую нацию, то стала тоже чествовать святого Николая. Нормандская нация довольствовалась чествованием Богородицы, чем выделялась среди других наций, но веселилась она при этом отнюдь не меньше остальных. Весь юридический факультет воспринимал как свой собственный и праздник святой Кэтрин, и оба праздника святого Николая. А факультет «искусств», включая его немецкую нацию, в конце концов единодушно, в полном составе решил праздновать годовщину со дня рождения Робера де Сорбона.

Подобно всем остальным духовным заведениям, коллежи праздновали годовщину их создания либо годовщину смерти основателя, а иногда и то и другое. К этому списку добавлялись святые, почитаемые основателем, святые, чьими мощами располагал коллеж, святые, которых коллеж когда-нибудь в прошлом уже чествовал. Каждый коллеж, как, впрочем, и каждая богадельня, насчитывал по крайней мере дюжину праздников, не значившихся ни в церковном требнике, ни в составленном ратушей календаре, но при всем при этом достаточно основательных, чтобы от них сотрясался весь квартал.

Рождения и похороны являлись поводами для семейных торжеств. Независимо от того, было ли торжество радостным или грустным, народ ел и пил, пил за реальное здоровье живых и за неправдоподобное, но не подвергавшееся сомнению здоровье усопших. Крещения, бракосочетания, отпевания, семидневные, тридцатидневные, годовые заупокойные службы — все было связано и с церковью и с таверной в один и тот же день. Никому не пришло бы в голову осудить сочетание этих двух вещей. Скорее наоборот, неодобрительно отнеслись бы к тому, кто не отметил бы свой траур достойной трапезой.

Каждый человек так или иначе принимал участие в торжественных церемониях своего ближнего. Семейная и общинная жизнь взаимно друг друга дополняли и создавали поводы для веселья, которые многие люди, вспоминая о своей работе, проклинали, но о которых всерьез никто не задумывался. Дальние родственники теряли целый день ради бракосочетания. Весь город устраивал праздник по случаю рождения ребенка у короля, по случаю назначения нового епископа, по случаю сообщения о какой-нибудь победе короля или о заключении какого-нибудь мира. А когда переговоры о мире приходилось возобновлять раз десять подряд и заключать друг за другом штук пятнадцать перемирий, то каждое из них служило основанием для торжественной церковной службы и для того, чтобы на целый день остановить работу. Естественно, когда умирал кто-либо из членов религиозного братства, на похороны собиралось все братство, а когда умирала жена адвоката или бывшего прокурора, то в последний путь ее провожал весь Парламент. Получение кем-то докторской степени было равнозначно выходному дню для всего факультета — и даже для Парламента, — причем школяры, не приглашенные виновником торжества на банкет, без труда находили себе кувшин вина и собеседников в тавернах. Тщетно пытались реформаторы — в 1423 году, в 1436 году и, наконец, в 1464 году — излечить университет от этой дорогостоящей и отнимающей время мании банкетов. Банкеты нравились всем: и тем, кто в них участвовал, и остальным.

Если принять во внимание, что они не пропускали ни одного торжества и добавляли к ним еще многие другие праздники, не фигурировавшие ни в каких требниках, но наполнявшие таверны

народом — например, праздник дураков, праздник осла, праздник боба, праздник простофиль, — то получается, что учителя и школяры работали самое большее сто пятьдесят дней в году. Вот что ископало те вставания ни свет ни заря, которые приходилось терпеть в будние дни.

Остальные парижане праздновали один или два раза в неделю, причем некоторые праздники длились по нескольку дней. Те, кому не приходилось рассчитывать на каникулы, работали максимум сто восемьдесят полных рабочих дней и от шестидесяти до ста неполных рабочих дней. А были ведь перерывы в работе еще и по другим причинам: дождь, мороз, паводки служили естественными оправданиями. Некоторые радовались, некоторые разорялись, большинство устраивалось как могло. Такова жизнь...

Реже случались перерывы в работе по политическим причинам, но зато такие перерывы были более продолжительными. Если не считать университетских забастовок, которые не влияли на деловую активность остальной части города, то поводом для такого рода праздности служили торжественные приезды королевских особ, благодарственные молебны по случаю победы, разного рода бунтарские выступления, осада города, всегда являвшаяся драмой, либо ассамблея горожан, всегда походившая на красивый спектакль. Все эти праздники Парижа имели свое лицо. Некоторые из них выглядели просто как нерабочие дни. Другие смотрелись как настоящие праздники, где участвовало много народа, праздники, сопровождавшиеся церковными службами и развлечениями.

## Праздник

Праздник — это прежде всего благодарственный молебен с шествием, а иногда и с мессой. Те Deum laudamus...<sup>1</sup>, Benedictus qui venit in nomine Domini...<sup>2</sup> Песнопения следовали за песнопениями, причем как под сводами церквей, так и на улице. Шествовали под хоругвями приходов, цехов, братств, под извлеченными из ризниц крестами. Иногда, пользуясь какими-либо чрезвычайными обстоятельствами, по улицам носили и мощи. Духовенство охотно выносило наружу раки с мощами святого Марсилия и святой Женеьевы, а народ охотно на них глядел. А вот хранившиеся в самом центре Дворца правосудия в церкви Сент-Шапель драгоценные реликвии Страстей Господних вроде тернового венца, святого древка и гвоздя с креста выносились наружу довольно редко, и уже одно только их появление сразу же сообщало церемонии официальный характер и статус. Их демонстрация проводилась в исключительных случаях: в 1400 году по случаю взятия Понтуаза и в 1449 году по случаю взятия Пон-де-л'Арша, в результате которого была снята осада с Парижа.

---

<sup>1</sup> Тебя, Боже, славим... (лат.)

<sup>2</sup> Благословен посланник Божий... (лат.)

Звонили колокола. Рожки и трубы горожан вносили свою лепту в общий гвалт, соревнуясь в громкости с официальными трубачами шествия, оплаченными королем, епископом либо купеческим старейшиной. В церкви звучал орган. На улицах люди кричали: «Слава!» Некоторые кричали что-то другое...

Шествия сходились вместе, пути их пересекались. Прихожане церкви Сент-Эташ отправлялись в Собор Парижской Богоматери как раз в тот момент, когда прихожане церкви Сен-Жак-де-ла-Бушри подходили к церкви Сен-Виктор. Людские потоки соединялись и разделялись. Люди шли в обители августинцев, кармелитов, святой Женеьевы.

Ориентиром в этом деле служил праздник Тела Господня. Когда 23 июля 1461 года — Вийон в ту пору находился в тюрьме в Мёне — устраивали народные моления за душу умершего накануне короля Карла VII, то моделью для них послужил последний праздник Тела Господня.

«И состоялись весьма торжественные шествия с участием всех людей церкви, как из нищенствующих орденов, так и из других орденов, пришедших за телом государя в церковь Сен-Жан-ан-Грев, откуда его перенесли в церковь Бийет, затем в церковь Сент-Катрин-дю-Валь-дез-

Эколье, в сопровождении семи прелатов в полном облачении, которые принесли его в ту же самую церковь Сен-Жан.

И были украшены улицы, по которым проносили то Сокровище, и горели в большом количестве факелы и свечи, как если бы это был праздник Тела Господня.

Несколько шествий состоялось во дворе Парламента и в других дворах Дворца правосудия, и прошли они в самом наилучшем порядке, как и должно быть во время молитвы за нашего короля Карла VII, да спасет душу его Господь...»

О каком бы празднике ни шла речь, проповедники истово занимались своим делом. Они читали проповеди перед началом шествия и по окончании шествия. Их голоса раздавались в церквах, в коллежах, на перекрестках. Город буквально гудел от библейских изречений. Так что парижанин, испокон веков отличавшийся любовью к красивым речам, наслаждался от всей души.

Не упускал своего и буржуа: если, участвуя в шествии, он шел, одетый в иззелена-синий или алый суконный кафтан, после священников в их отливающих золотом мантиях и после монахов в их коричневых или черных сутанах, то в украшении своего собственного либо снимаемого дома он брал реванш. Он украшал его фасад всем, чем только мог: коврами, шерстяными покрывалами, вышитыми одеялами. Улицы выглядели очень нарядно, причем каждый раз по-разному.

В этом празднике было что-то от театра. Ремесленники и лавочники как бы сооружали сцену, обставляли ее декорациями, заботились об аксессуарах. Они же в назначенный день становились и актерами, и публикой, восторженно внимавшей той живой, инсценированной на площади проповеди, где разыгрывались сцены из Евангелия и где излюбленным жанром был жанр моралите.

Они же украшали источники, в которых парижане брали воду. С помощью кое-каких приспособлений — из легких деревянных конструкций и тканей можно творить чудеса, — а иногда также подводя воду с угла улицы в центр площади или к паперти церкви, они делали импровизированные фонтаны участникам праздника. Приятно было смотреть на струящуюся из них прозрачную воду. Ну а уж когда щедрые городские власти вместо воды предлагали вино, праздник становился еще более приятным.

Незаметно проходило время. Таверны наполнялись людьми. Летом трактирщики и буржуа накрывали столы прямо на улице. Народ ел, пил и распевал песни. Молодежь танцевала под звуки виол, лютней, флейт и барабанов. Вместо барабанов нередко использовали и извлеченные из кухонь медные тазы.

Разговор шел обо всем и ни о чем. В том 1455 году не произошло ничего сверхъестественного. Темы для разговоров поставляла повседневная парижская жизнь. К тому времени Столетняя война закончилась — для парижской области пятнадцать лет назад, а для Гюйены два года назад, — но никто не мог с полной определенностью сказать, закончилась ли она насовсем. Однако складывалось впечатление, что в долгой череде военных действий и перемирий, свидетелями которых оказались шесть поколений французов, наступил наконец перелом, что англичане ушли из Франции так, как они еще никогда не уходили, а Валуа выглядел столь бесспорным победителем, что именно так его и прозвали.

Прагеррию, тот бунт князей, в результате которого в 1440 году вновь зашатался трон, простой люд уже к тому времени почти позабыл, сохранив, однако, прочное убеждение, что ничего хорошего от сильных мира сего ждать не приходится. Свежа была память о том, как королевская армия заняла земли графа Арманьяка, совершенно необоснованно питавшего иллюзии относительно своей независимости, но парижане к этому эпизоду истории отнеслись, в общем-то, достаточно равнодушно.

Вовсю шли разговоры о реабилитации Орлеанской Девы, некогда выпровоженной из Парижа через ворота Сент-Оноре и впоследствии сожженной англичанами. О том, что суд в Руане состоял из французов и что магистры Парижского университета играли в нем важную роль, в разговорах старались не вспоминать. Судьи Жанны д'Арк совершенно утратили память, а вместе с ними и многие другие тоже все забыли.

В тот час, когда в 1455 году на Париж, отмечавший день Тела Господня, опустилась вечерняя прохлада, над выставленными на улицу скамейками не витало ни угрызений совести по поводу былой драмы, ни опасений, что в скором будущем разразится гражданская война, опасений, ассоциировавшихся у политиков с местным бунтом принца Луи, будущего короля Людовика XI. В разговорах вокруг опорожнявшихся кувшинчиков речь в основном шла о ценах на капусту и на лук, о погоде, способствующей либо мешающей жатве, и о том, что вкус вина уже не тот, что был несколько месяцев назад.

Поскольку говорили за столом не меньше, чем пили, а между делом заходили еще посмотреть, как идут дела у соседа, то новости распространялись быстро. Причем слухи преобладали над достоверной информацией. Потом, по мере того как гасли костры и девушки утрачивали свою невинность, утомленные горожане шли спать, вспоминая, что им было кем-то сказано о стоимости праздника. Независимо от того, брал ли на себя расходы город или же король, парижане-то знали, кому придется расплачиваться. Только неимущие школяры и не имеющие даже собственного инструмента подмастерья веселились бесплатно, и никакие заботы не омрачали их сознания. В регистрах фиска первые вообще не значились, а напротив фамилий вторых указывалось «Nihil», то есть «ничего». Хотя в такой поздний час многие ни о чем не думали — они были просто пьяны.

## Таверны и подмостки

Понятие «таверна» парижане толковали довольно широко. Таверны располагались чуть ли не рядом с каждым домом, особенно когда в сезон молодого вина парижские буржуа получали от старейшины торговцев разрешение продавать избыток их собственной продукции. Дело в том, что у парижан были виноградники и нередко объем беспошлинно ввозимого ими в город вина превосходил количество, необходимое им для семейного потребления. Похоже, некоторые злоупотребляли этой привилегией и сознательно ввозили в Париж вина больше, чем нужно, заранее предназначая его для продажи. Когда какому-нибудь школяру родители присылали в два раза больше вина, чем он мог выпить вместе с друзьями, то вино это превращалось в денежное вспомоществование, получаемое благодаря либеральной торговой системе. Это видно на примере юного Филипа Ле Руайе, против которого в 1452 году фиск возбудил дело из-за продажи им десятка гектолитров вина, а также на примере одного студента из коллежа Лизье, которому в 1458 году пришлось признаться, что из двенадцати бочек, то есть из сорока восьми гектолитров, ежегодно привозимых им после каникул в Париж, половина предназначалась для продажи.

Что же касается братьев Этьена и Ги де Шамле, то они привезли четыре бочки вина из Оверни и в начале 1461 года продали их за 36 экю, но им не удалось воспользоваться своей привилегией школяров и продать Николя Кену еще две такие же бочки, принадлежавшие, как выяснилось, их братьям Жану и Жильберу, имевшим официальные патенты торговцев вином. Общее вино? Общие дела? Королевский прокурор воспринял ситуацию иначе. Однако разбирательство затянулось, и потом оказалось, что не стоит связываться со всем университетом из-за каких-то 36 экю. Не удалось конфисковать и две спорные бочки. Их к тому времени уже давным-давно выпили. В результате в июле два виноторговца заплатили только сто су штрафа. Школяры торжествовали.

В конце концов таким использованием университетских привилегий заинтересовался папа. 16 мая 1462 года он запретил всем клирикам участвовать в торговле вином. Однако, насколько эффективным оказался этот запрет, сказать трудно.

Называть вещи своими именами никто не хотел. В Париже «устраивать таверну» не означало заниматься торговлей. Даже располагавшиеся на площади Мобер кармелиты и те, как только поступало молодое вино из их владений, тоже устраивали таверны. «Устраивать таверну» — это означало быть парижанином и иметь виноградники. Иметь таверну, то есть содержать питейное заведение, означало совсем другое.

Такие владельцы таверны платили налог и на протяжении всего года поили парижан как на месте, так и продавая вино на вынос. Их скамейки и их подмостки, то есть служившие столами

настилы из досок, являлись инструментами социальных взаимосвязей для всех тех, кто не имел возможности принимать гостей дома. Таверна была местом, где люди беседовали, исповедовались, веселились. Там устраивали заговоры против правительства и против прево. Там перекраивали мир.

Гийбер де Мец, описавший Париж начала XV века, насчитал их четыре тысячи. Думается, однако, что их было все-таки не больше четырехсот. По данным сборщиков податей с вина, в 1457 году существовало двести постоянных таверн и около сотни временных. Они были более или менее равномерно рассредоточены по всему городу при заметном увеличении их количества на главных артериях города, таких, как улицы Сен-Жак и Ла Арп на левобережье, Сен-Дени и Сен-Мартен — на правобережье, а также в причудливом сплетении маленьких улочек вокруг центрального рынка и Гревской площади, у Монмартрских ворот и у ворот Сент-Оноре, а также на подступах к аббатству Сен-Поль.

Некоторые таверны были знамениты. Во времена Вийона все без исключения знали таверну «Сосновая шишка» на пересекавшей остров Сите улице Жюиври, равно как и таверну «Большой Годе» на Гревской площади. Ну а другие таверны обрели запоздалую славу благодаря ироническим отсылкам в «Завещании» и рекламе, которую им потом создали толкователи Вийона. Даже если поэт использовал их лишь ради игры слов, таверны наполняли собой и его жизнь и творчество. Они служили обрамлением и добрых моментов его жизни, и нежеланных встреч. Иногда, как засвидетельствовано в упоминании о «Сосновой шишке», он пил там в кредит, а иногда опорожнял свой тощий кошелек.

Впрочем, нет ничего удивительного в том, что, изображая тогдашнее общество, наш школяр осуществлял свои инсценировки в средневековом театре с соответствующими и привычными ему декорациями. Симптоматично, что и в театре того времени таверне тоже принадлежало важное место. Таверна поставляла театру декорации. Она была коллективным персонажем. Она вдохновляла народный театр, например комические пьески вроде «Фарса мэтра Трюбера и Антроньяра», где Эсташ Дешан предвосхитил темы «Патлена», или вроде карикатурного «Панегирика святой Селедке, святому Окороку и святой Колбасе». Столь же явно таверны присутствовали и в религиозном театре — в десятках «Мистерий» и «Страстей», которые, начиная с появившейся в XII веке «Истории Адама» и кончая «Мистерией Ветхого завета» и «Страстями» Арну Гребана, авторы вводили в сценическую игру как традиционные элементы, так и живую современную действительность. Комедия нравов рождалась из наблюдений за развертывавшимися в тавернах сценах, а словесная эквилибристика — из подслушанных в тавернах разговоров. Историям святых отнюдь не была противопоказана живость — на паперть приходила та же публика, что и в таверны. Кстати, игрались мистерии и страсти чаще всего в сокращенном виде перед небольшим количеством зрителей, на подмостках, сооруженных всего на один вечер в той же самой таверне или если был праздник, то где-нибудь неподалеку от нее, на перекрестке, и очень редко — перед толпами собравшихся внутри монастырских стен или на паперти горожан, три дня подряд аплодировавших перипетиям развития крупных композиций.

Само собой разумеется, что Вийон населил свое большое и малое «Завещания» теми же самыми людьми, которые посещали таверны и из которых состояла также и публика тогдашних театров. То был мир, где исступленно обсуждали проблему непорочности той или иной девушки и где святой Иосиф грубо говорил Богоматери: «Не будете же вы утверждать, что это от меня!» Согласно теологии того мира, ад представлял собой котел, и все верили, что в аду жарят, варят или же в лучшем случае вешают грешников.

В том обществе таверн и подмостков без стеснения смеялись над неуклюжими жестами слепого, а горе никому не мешало напиваться за здоровье пьяницы, только что променявшего свой табурет на место в братской могиле. Что и делал не скрывавший своих чувств Вийон, воздавая посмертные почести своему другу Котару. Существовала взаимная верность пьяниц.

*Такому б только жить да жить, —*

*Увы, он умер от удара.*

*Прошу вас строго не судить*

*Пьянчугу доброго Котара <sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 89. Перевод Ф. Мендельсона.

Интересно, что Франсуа, порой переносивший действие в бордель, использовал в качестве декорации таверну гораздо реже. За исключением разве что тех случаев, когда нужно было «выкрикнуть спасибо» всем, в том числе и служанкам, показывавшим ради более приличных чаевых свои груди, поэт не стремился появляться в своей естественной обстановке, причем именно потому, что это и была его естественная обстановка. Зачем описывать то, что и так хорошо известно? Вийон сохранял от таверн лишь воспоминания, что он там выпивал, а дабы ничего не забыть, коллекционировал в стихах удобно вписывающиеся в каламбуры вывески.

Так, например, когда он завещал «Шлем», то не логично ли предположить, что поэт стремился не столько напомнить про существование и так всем хорошо известной таверны у ворот Бодуайе, за Гревской площадью, если идти в направлении Сен-Жерве, сколько высмеять претензии на благородное происхождение кавалера Жана де Арле — титул у Арле был более чем сомнительный и он был бы рад заполучить шлем в свой герб. Точно так же «Сосновая шишка» в «Малом завещании» понадобилась поэту для создания неприличного образа, когда он завещал магистру де Рагье «дырку» от таверны.

Однако есть в «Большом завещании» один владелец таверны, некий Тюржи, чье появление в произведении имеет определенный смысл. В мире питейных дел Тюржи был, можно сказать, отпрыском настоящей династии. Арнуль Тюржи был одновременно и виноторговцем, и трактирщиком, владевшим около ворот Бодуайе таверной под вывеской «Рака». В последние годы войны он работал квартальным надзирателем в квартале Сент-Антуан. Его сын Арнуле стал прокурором в Шатле. Другому его сыну, Жану, пришлось последовать за отступавшим двором Ланкастера, и он стал арфистом при английском короле Генрихе VI. Еще один Тюржи, Никез, был секретарем Бэдфорда. Ну а Робен — он сохранил ремесло предков и смотрелся за стойкой «Сосновой шишки» как один из наиболее солидных буржуа Парижа.

И вот он вместе с поваром Моро и кондитером Жаном де Провеном удостоился чести попасть в наследники Вийона. Следует уточнить — в наследники долгов Вийона; поэт здесь намекает на те аспидные дощечки, на которые записывались долги клиентов. Он не раз ел и пил в кредит у Тюржи, Моро и Провена. Так что Тюржи и вывеска его таверны — это не просто предлог для каламбура, а и свидетельство того, что в «Сосновой шишке» Вийон был частым гостем.

*А чтобы каждый непременно  
Мог получить наследство сам,  
Когда я стану горстью тлена, —  
Пускай идет к моим друзьям!  
Тюржи, Провен известны вам?  
Затем Моро, мой друг большой?  
Все через них я передам,  
Вплоть до кровати подо мной <sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Там же. С. 68.

Суть проблемы здесь сводится к тому, что все трое получили свою часть наследства еще раньше — Вийон проел и пропил у них все, что у него было.

Есть тут еще один подтекст. То вино, которое поэт завещал сборщику налогов Дени Эслену, будущему городскому старейшине, тоже должен был оплатить хозяин «Сосновой шишки». И Вийон пользуется случаем, чтобы вставить еще одну колкость: не принадлежит ли Тюржи к числу тех трактирщиков, которые доливают в вино воды? Немало бочек наполнялось ночью таким образом, как ради того, чтобы компенсировать часть затрат на закупку вина, так и для того, чтобы обмануть фиск — сборщика налогов и откупщиков податей — относительно количества распроданного товара. Клиента, правда, обмануть было трудно. Как только посетителю казалось, что ему дали чересчур легкое вино, он сразу же начинал обвинять хозяина в мошенничестве. Пожалуй, не существовало ни одного трактирщика, который бы никогда не

продельвал подобной операции. Завещатель Вийон иронизировал вдвойне, когда притворился, что видит в таких манипуляциях заботу о здоровье пьяниц.

*Затем, тебе, Эслен Дени,  
Парижа славный старожил,  
Дарю ведро вина «ольни» —  
Его нацедишь у Тюржи.  
От возжеления дрожи,  
Пей, но не пропивай ума!  
Водою память освежи:  
От кабака близка тюрьма <sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 79. Перевод Ф. Мендельсона.

Жаловаться, впрочем, было не на что: завсегдаги пили в кредит. И если им подавали плохое вино, то платили они за него меньше. Мало того, подобная практика превращала трактирщика в некую разновидность заимодавца под заклад, причем получалось, что в отличие от ростовщика он давал займы без процентов. Возможно, он даже и не слишком обращал внимание на стоимость оставленной в залог вещи. А вот должник прекрасно знал, каким он опять подвергнется искушениям, когда придет выкупать залог. Вместо того чтобы заплатить Тюржи и его коллегам, посетитель превращал принесенные деньги в новые возлияния. В конечном счете у клиентов складывалось впечатление, что они расплачиваются натурой: занимая в таверне под старое тряпье, человек как бы расплачивался этим старым тряпьем за выпитое вино.

Вийон не ошибался, когда сравнивал глотку пьяницы с адским огнем. Этим несчастным пьяницам, по его представлениям, приходится в вечном адском пламени так же тяжело, как тому неправедному богачу, что умолял Лазаря — или, как у него написано, «Ладра» — освежить ему лицо прикосновением своих рук. И поэт призывал, не очень, правда, веря в силу своего призыва, воздерживаться от удовольствия, за которое приходится так дорого платить. В конце Вийон уточнял, что шутки тут совершенно неуместны. Сам же он продолжал, как и прежде, расплачиваться натурой.

*Но вспомните слова Христа,  
Как был огнем богач палим,  
А Лазарь, чья душа чиста,  
На небесах сидел над ним;  
Как в пекле не имел покоя  
Богач, моля, чтоб Лазарь тот  
Сошел к нему смочить водою  
Запекшийся от жажды рот...  
Пьянчужки, знайте: кто пропьет  
При жизни все свои пожитки,  
В аду и рюмки не хлебнет —  
Там слишком дороги напитки <sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Там же. С. 69—70.

Неплатежеспособному и бездомному школяру после всего этого не оставалось ничего иного, как расплачиваться с Тюржи звоном несуществующих монет и отказывать ему по завещанию право на занятие должности старшины, право абсолютно мифическое, потому что для избрания в старшины нужно было иметь статус буржуа, коим Вийон не располагал, а Тюржи располагал. Поэт сообщал, что он говорит по-пуатвенски, сообщал это для того, чтобы Тюржи не питал особых иллюзий относительно его платежеспособности. «Говорить по-пуатвенски»

означало не иметь постоянного жилья. Он не хотел признаваться, где он ночует. Для сына Парижа область Пуату была страной, расположенной за тридевять земель...

*Кабатчику Тюржи Робену  
В уплату долга передам  
Права на должность эшевена,  
Но пусть меня отыщет сам!  
Рифмую с горем пополам  
Каким-то слогом деревенским, —  
Должно быть, вспомнил я двух дам  
С их говорком пуатевенским<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М, 1981. С. 81. Перевод Ф. Мендельсона.

## **Вино и глинтвейн**

У Тюржи и его коллег пили и хорошее вино, и плохое. Все зависело от хозяина, от клиентуры да и от времени года тоже. Дело в том, что хранилось вино недолго, и то, что пили после ярмарки Ланди в ожидании нового урожая, сильно уступало по качеству тому, что пили зимой, когда вино еще сохраняло всю свою крепость. Первые сорта вин, поступающих на столы и подмостки парижских таверн, доставлялись туда в сентябре и особенно в октябре из окрестных мест; назывались они «винами Франции», причем в XV веке до их вырождения в XVII и XVIII веках считались весьма приличными винами. Попадались в этих поступлениях среди прочего и вина из Конфлана, Витри, Флери-ле-Клармар, из Фонтене-су-Банье, переименованного впоследствии в Фонтене-о-Роз, из Монтрёй-су-Буа. Это были отвратительнейшие вина. Очевидно, именно их имел в виду Вийон, когда говорил в «Большом завещании» о вине, предназначенном для варки волчьих голов — то есть чего-то еще менее съедобного, чем «мясо для свинопасов», — великодушно завещанных капитану парижских лучников... В плохие годы в этих местах делали очень легкие, с малым содержанием спирта, очень кислые вина, которые, чтобы уменьшить их кислотность, пропускали через мел. Вийон оставил десять мюидов такого вина буржуа Жаку Кардону, дабы его оскорбить. А когда год выпадал солнечный, то в тех местах делали либо достаточно крепкое белое вино, либо темно-красное вино «морийон», продававшееся в бронированных глотках и оставлявшее неоднозначные воспоминания на языках знатоков.

Из винограда, собранного на склонах холмов, расположенных на юго-западе от Парижа, вино получалось лучшего качества. Большое количество вина поставлялось в парижские таверны из Клармара, Медана, Ванва, Исси. Оно стоило от пяти до шести экю за мюид, тогда как вино с соседних равнин стоило от двух до четырех экю.

Все это доставляло клиентам не одно лишь радостное опьянение. Однако при такой цене — и к тому же в кредит — завсегдатай мог пить круглый год. Общую картину дополняли еще некоторые таланты трактирщиков, которые, когда вино было слишком уж скверным, так или иначе его перерабатывали. Они смешивали разные сорта вин, добавляли в вино воды, крепили вино, добавляли в него сахар либо мед. Так, в частности, поступил в начале 1460 года суконщик Анри Жюбер, весьма известная и в своем квартале, и в ратуше личность, человек, чей особняк стоял как раз на Гревской площади, в двух шагах от «Дома со стойками». Жюбер договорился с Реньо де Бланки, суконщиком из Амьена, о том, чтобы привезти в Париж четыре мюида вина неизвестно из каких мест. Небольшая сделка между двумя суконщиками, выходящая за рамки обычных коммерческих связей? Маловероятно. Четыре мюида наверняка предназначались для личного потребления: два мюида для Амьена и два — для Парижа. Система цехов, ставившая провинциалов в невыгодное положение при использовании ими речных путей, потворствовала такого рода операциям в тех случаях, когда принадлежавший к цеху парижанин за плату либо даром позволял пользоваться своими привилегиями «чужаку», чаще всего являвшемуся его компаньоном или коллегой. Два вышеупомянутых суконщика понимали друг друга как никто. Однако в этом конкретном случае вино не поступило в распоряжение «французской компании». Все вино было доставлено парижанину Жюберу. Вот какая тут произошла загвоздка: вино

оказалось одним из наихудших. И тогда два друга решили его продать. Чем пить плохое вино, лучше уж было вернуть себе затраченные на него деньги. А поскольку у жидкости был «слабый цвет», то Жюбер поручил своему другу Бланжи сделать ее более представительной: речь шла только о том, чтобы вино «подкрасить и приготовить». Предполагалось, что тогда операция по продаже пройдет более успешно.

Покупателем оказался трактирщик Жан де Мезьер, человек, либо сам обладавший задатками опытного дегустатора, либо имевший неплохих дегустаторов среди своих клиентов. Едва начав бочку, он тут же явился к городскому и королевскому прокурору Жаку Ребуру. Старейшина торговцев назначил экспертов. И те вынесли категорический приговор.

«Известные врачи и другие опытные и сведущие люди нашли, что упомянутые добавки, находящиеся в вине, к употреблению противопоказаны и для человеческого тела вредны».

1 марта 1460 года городской старейшина объявил наконец свое решение. Бочки публично разбили на Гревской площади. Гнусное вино потекло по мостовой и впиталось в землю. Дощечки от бочек сложили и сожгли. Зеваки получили от зрелища удовольствие.

Однако Жюбер был буржуа, причем ни разу не судимый; его многие знали, и он ходил и рассказывал кому только мог, что его обманул Бланжи, объяснивший ему, что он не раз подкрашивал вино и что в этом нет ничего опасного. К тому же не следует забывать, что Бланжи жил не в Париже; оставалось лишь пожелать ему не появляться там и впредь. Жюберу же пришлось заплатить десять ливров штрафа — стоимость вина — и компенсировать судебные издержки.

Приблизительно тогда же муниципальные власти обошлись менее сурово еще с двумя жителями Осера: с торговцем Жаном Гарнье и с «извозчиком по воде» — мы бы назвали его перевозчиком — Жаном Сало, чьи шесть мюидов красного вина оказались «подкрашенными некими примесями, не являющимися вином». По этому случаю пригласили опытных виноторговцев, призвали комиссионеров. Пока торговец ломал себе пальцы, эти эксперты рассматривали предложенное им пойло, пробовали его на вкус, качали головами. Ни один человек не сумел сказать ни что за добавки оказались в том вине, ни то, «какие затруднения могли бы произтекать при употреблении названного вина по причине названной примеси».

Вылить вино? Об этом никто и не заикался. Бочки поставили к позорному столбу. В самом центре Гревской площади, причем в тот день, когда там складировалось вино, сержант выжег на днищах всех бочек цветок лилии «в знак свершения правосудия». Глашатай из гражданской службы громко объявил на всю площадь, что вино «с примесями».

С того самого момента торговец был свободен. Вслед за тем вино его погрузили на судно, пришвартованное тут же, в порту, рядом с Гревской площадью. Заплатив десять ливров штрафа, он смог без каких-либо затруднений продать вино, но за пределами парижского превотства и виконтства... От местного судьи он принес свидетельство, в котором сообщалось о полученном покупателем уведомлении, что вино подкрашено.

Неужели Жан Котар стал бы пить подобное вино? Вийон, конечно же, на этот счет никаких иллюзий не питал. В конце «Большого завещания» Вийон закончил свои размышления о человеческих судьбах и о смерти своеобразным пируэтом — щелчком по носу исконному врагу, каковым всегда был отравитель из таверны. Какую смерть выбрать, когда ты уже написал завещание? От грубого красного вина.

***Не удивляйся, принц: Вийон,  
Задумав мир покинуть бранный,  
Пришел в кабак и выпил «морийон»,  
Чтоб смерть не ведала сомнений<sup>1</sup>.***

---

<sup>1</sup> Перевод В. Никитина.

К счастью, жаждущим подавали и кое-что более приятное. В том потоке вин, струившихся в Гревском порту с конца сентября по конец декабря, выделялось несколько наиболее известных: вино из Аржантёя, вероятно, также вино из Шайо и, естественно, вино из Сюрена. Оно стоило от

пяти до семи экю за мюид, то есть столько же, сколько и превосходное вино из Осера — называемое сейчас «шабли», — притом что цены на осерское вино возростали из-за более дорогостоящей, чем, скажем, из Шайо, транспортировки. Ведь не случайно же полвека спустя гуманист Гийом Бюде написал, что «парижские вина» не имеют себе равных. Уже в XIII веке в одном фаблио сообщалось, что вино Аржантёя не стыдно подавать самому королю Франции. Как же изменилась со временем его репутация, коль скоро в XIX веке Александр Дюма, опираясь на свой личный опыт, отозвался о том же самом аржантёйском вине как о «мучительном испытании для искушенного нёба».

Именитые граждане без труда завладевали самыми лучшими виноградниками парижской области, причем тенденция эта усилилась, когда появилась мода пить вино собственного производства. Так что большая часть вина, поступавшего из Сюрена и Шайо, потреблялась в буржуазных домах. А та малая доля, которую виноградари привозили на рынок, становилась, когда удавалось отстоять ее в суровой конкурентной борьбе от посягательств покупателей из Кана и Сен-Ло, украшением погребов зажиточных парижан, не имевших собственных виноградников. Поэтому в тавернах пили вино не лучшего качества, и пьющие чувствовали это. Так, однажды в таверне «Четыре сына Эмона», принадлежавшей обосновавшемуся в Париже выходцу из Пикардии Тома де Вьену, клиентам вдруг не понравилось поданное им вино. Посетители в тот день попались требовательные.

«Спросили они у него, нет ли вина из Бона, поскольку французское вино показалось им и недостаточно вкусным, и недостаточно крепким, чтобы их согреть».

Кабатчику и его жене это пришлось не по вкусу. Судьям они потом рассказали, что в таверне бонского вина не оказалось и что они посоветовали клиентам поискать его в другом месте. Посетители выдвинули иную версию:

«Нам ответили, что бонского вина у них нет, но при этом, желая посмеяться над нами, сказали, что зато есть вино глупейское и рогатайское».

Любители крепкого вина рассердились, что их таким образом вроде бы обозвали простофилями и рогоносцами. Жену кабатчика, чуть не убив ее при этом, грубо бросили в погреб. Засверкали ножи. Один из недовольных увидел на своей руке кровь. В конечном счете всем пришлось объясняться в Парламенте.

Когда дешевое красное вино было крепким, от него болела голова. Об этом писал еще Эташ Дешан, а Вийон повторил. Приходилось искать что-нибудь получше, и тут выручало «вино с реки».

Так люди из ратуши называли все вино, доставлявшееся в Париж в период интенсивной речной навигации: вино из Бургундии, из Оверни, из долины Луары. По мере того как в ноябре уменьшалось поступление французских вин, оседавших у парижан и нормандцев — вынужденных довольствоваться им в тех случаях, когда средства не позволяли им покупать «бордо», предназначенное главным образом для англичан и голландцев, — на пристанях Гревского порта увеличивалось количество бочек, выгружаемых «с реки». Бон, Турню, Осер, Орлеан, Жьен, Сен-Пурсен — таковы великие названия, фигурировавшие в том потоке, который, начав течь перед сильными холодами, приостанавливался в январе, когда Сену, Луару и Йону сковывал лед, возобновляясь снова в феврале — марте и прекращаясь окончательно лишь в июне, когда из-за понижения уровня воды в реках замирало судоходство.

Естественно, самым лучшим, причем значительно лучшим, считалось бонское вино. В некоторые годы столь же высокие цены платили и за осерское вино. Бургундские вина, откуда бы они ни приходили: из Бона или из Нуи, со склонов Осера или Шабли, считались основным ориентиром парижских дегустаторов. И дабы насладиться ими, приходилось платить из расчета десять — двадцать экю за мюид. Правда, в эту цену входили и расходы на транспортировку по воде и по суше, выплата разного рода сборов и пошлин, различные урны и убытки, как предвиденные, так и непредвиденные. Такие вина пили в домах баронов и адвокатов. А хозяин «Сосновой шишки», если они у него были, приберегал их для клиентов, плативших наличными.

Ну а за неимением лучшего народ потреблял смеси, изменявшие вкус первоначального продукта и надежно одурманивавшие. Привилегированное место среди этого типа напитков занимал глинтвейн — он отличался приятным вкусом, тонизировал и считался возбуждающим

средством. Чем больше его пили, тем больше хотелось пить. Правда, рецепт приготовления этого напитка делал его предметом роскоши, единственное преимущество которого заключалось в том, что ингредиенты в нем сохранялись лучше, чем, скажем, в бонском вине.

«Чтобы приготовить порошок глинтвейна, возьмите четверть фунта очень мелко помолотой корицы, восьмую часть фунта мелко помолотого коричневого цвета, унцию белого мелко помолотого мешхедского имбиря, унцию райского семени, шесть мускатных орехов и шесть головок гвоздики. Перетолките все вместе.

Когда пожелаете сделать глинтвейн, возьмите чуть больше пол-унции этого порошка и полфунта сахара. Смешайте с парижской квартой вина».

Напиток подавался по возможности горячим. Вийон представил его как одно из неизменных условий эротического блаженства.

*Толстяк монах, обедом разморенный,  
Разлегся на ковре перед огнем,  
А рядом с ним блудница, дочь Сидона,  
Бела, нежна, уселась нагишом;  
Горячим улаживают вином,  
Целуются, — и что им кущи рая!  
Монах хохочет, рясу задирая...  
На них сквозь щель я поглядел украдкой  
И отошел, от зависти сгорая:  
Живется сладко лишь среди достатка <sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 100. Перевод Ф. Мендельсона.

Доброжелательность поэта к пьяницам вовсе не следует отождествлять с попытками самооправдаться. Она рождалась у него из чувства подспудной солидарности с людьми, которым в чем-то не повезло. Свидетельство тому — его удивительная надгробная речь, написанная в форме баллады за упокой души одного пьяницы, вероятно сослужившего Вийону добрую службу. Вспоминая в 1461 году о скончавшемся совсем недавно — 9 января 1461 года — человеке, который был его прокурором в совершенно нам неизвестном процессе — в чем обвиняла его «Дениза»? — и которого хорошо знали не только в его собственном судебном ведомстве, но и в тавернах, Вийон, по существу, воспел великих пьяниц.

Он с запозданием вспомнил, что не успел отдать своему прокурору «приблизительно» полушку. Слишком серьезное название баллады «надгробная речь» смягчалось указанием на юмористически малую сумму долга. Однако Котар был не просто сочувствовавшим несчастью друга человеком, согласившимся вести тяжбу практически бесплатно. Он выглядит чем-то вроде символа. Он олицетворяет счастье и несчастье пьющего человека, искреннюю дружбу спотыкающегося и получающего шишки пьяницы, истинную щедрость более состоятельного человека, одаривающего других прекрасными, дорогостоящими и недоступными им вещами. Вийон играет и словами, и ситуациями. По его утверждению, Котар был мужественный человек, не знавший в питье никакой усталости... Уж на этой-то службе он не признавал никаких шуток, и суждения его были трезвы, как никогда.

В конце концов Котар пришел к вратам рая, осененный великими примерами прошлого. Пришел, подобно Ною, первому пьянице, попавшему на скрижали истории. Подобно Лоту, которого напоили его дочери, дабы от него забеременеть. Подобно Архетриклину, тому «распорядителю пира» в Кане, которого средневековое предание по ошибке отождествило с женихом, заботившимся о благе своих гостей.

Когда Вийон завещал свои подштанники, он явно шутил. А когда оставлял в дар баллады, то делал это совершенно серьезно, с благородной сдержанностью чувств. Накануне он подарил матери великолепную «Балладу-молитву Богородице». А посвященная памяти его прокурора «Баллада за упокой души магистра Жана Котара» суммирует мораль пьянства.

*От имени суда святого  
Мэтр Жан Котар оштрафовал  
Меня за два соленых слова:  
Денизу к черту я послал.  
За малый грех и штраф был мал, —  
Котар щадил мои гроши!  
Ему балладу отписал  
За упокой его души.  
Отец наш Ной, ты дал нам вина,  
Ты, Лот, умел неплохо пить,  
Но спьяну — хмель всему причина! —  
И с дочерьми мог согрешить;  
Ты, вздумавший вина просить  
У Иисуса в Кане старой, —  
Я вас троих хочу молить  
За душу доброго Котара.  
Он был достойным вашим сыном,  
Любого мог он перепить,  
Пил из ведра, пил из кувшина,  
О кружках что и говорить!  
Такому б только жить да жить, —  
Увы, он умер от удара.  
Прошу вас строго не судить  
Пьянчугу доброго Котара.  
Бывало, пьяный как скотина,  
Уже не мог он различить,  
Где хлев соседский, где перина,  
Всех бил, крушил, — откуда прыть!  
Не знаю, с кем его сравнить?  
Из вас любому он под пару,  
И вам бы надо в рай пустить  
Пьянчугу доброго Котара.  
Принц, он всегда просил налить,  
Орал: «Сгораю от пожара!»  
Но кто мог жажду утолить  
Пьянчуги доброго Котара?!<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 88—90. Перевод Ф. Мендельсона.

Таверна полностью завладевала человеком. Там пили, ели соленую рыбу, чтобы почувствовать жажду, но одновременно там и беседовали. Разрушали репутации, готовили недобрые дела. Там пели. Играли, причем играли больше, нежели было разрешено установленным порядком. Школяры, подмастерья, бродяги рисковали потерять в игре и кошелек, и кредит. Все мошенничали, и все об этом знали. Одному сержанту, о котором было известно, что он плурует при игре в кости, Вийон завещал, дабы он украсил свой герб, три большие поддельные игральные кости и красивую колоду карт.

Когда Вийон произносил слово «игра», он имел в виду плутовство. И вся жизнь казалась ему плутовством, и все, свершающееся в мире, представлялось либо уловками, либо

вынужденными поступками припертого к стене человека. Составив настоящий моральный кодекс шалопаев и назвав опасные поступки, способные в конце партии — партии, где ставкой являются не три полушки играющего по малой игрока, а жизнь, — привести на виселицу, перечислив в яростном речевом потоке несправедные и рискованные поступки, поэт в конце делал вывод, что так или иначе добыча все равно превращается в прах. «Несправедно добытое впрок не идет». Вийон воспользовался этой максимой, чтобы выразить собственные идеи. Очевидно, не проходило дня, чтобы литания про несправедно добытое не звучала в ушах завсегдатая таверны.

*В какую б дудку ты ни дул,  
Будь ты монах или игрок,  
Что банк сорвал и улизнул,  
Иль молодец с больших дорог,  
Писец, взимающий налог,  
Иль лжесвидетель лицемерный, —  
Где все, что накопить ты смог?  
Все, все у девок и в тавернах!<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Там же. С. 112.

За словесной сарабандой, позволившей Вийону выстроить цепочку ярких, но, в общем-то, лишенных глубины образов, за беспорядочным нагнетанием ассонансов и аллитераций скрывается не только поэтическая игра, но и целая цивилизация таверны.

*Пой, игрищ раздувай разгул,  
В литавры бей, труби в рожок,  
Чтоб развеселых фарсов гул  
Встряхнул уснувший городок  
И каждый деньги приволок!  
С колодой карт крапленых, верных  
Всех оберни! Но где же прок?  
Все, все у девок и в тавернах!<sup>1</sup>*

Вийону прекрасно было известно непреложное правило: выигранные деньги иссякали, в ход снова шла аспидная долговая доска кабатчика, и в конечном счете пьяница оставлял в залог последние пожитки.

*Все, от плаща и до сапог,  
Пока не стало дело скверно,  
Скорее сам неси в залог!  
Все, все у девок и в тавернах!<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 112. Перевод Ф. Мендельсона.

<sup>2</sup> Там же. С. 113.

«Пропавшие ребята», как их называл Клеман Маро, — это и те, кто продает фальшивые индульгенции, и те, кто добавляет свинца в игральные кости либо их подпиливает, и те, кто, рискуя быть заживо сожженным, делает фальшивые деньги, это и карманные воры, и грабители. Вийон хорошо знал весь этот мир. И в своих стихах он показал, как от случая к случаю эти невинные шалости ведут к профессиональному разбою.

«Пропавшие ребята» забавлялись либо забавляли других. Для игры годилось все: и кости для брелана, и карты, и кегли. Точно так же все годилось для того, чтобы производить шум: и цимбалы, и лютня. Зачем лишать себя удовольствия? Так уж человек устроен. Такой вот морали придерживался Вийон. Надо стараться извлекать свою выгоду, причем если нужно, то опережая других: оставить все у девок и в тавернах — не самое страшное зло. Рудиментарный цинизм

бедного школяра был соткан скорее из скептицизма, чем из утех. В мире уловок таверна не самое страшное.

## **Глава IX**

### **Пока в чести — звучит хвала...**

#### **Священник Сермуаз**

Накануне состоялось празднование дня Тела Господня. В том годовом цикле праздников, которые порой имели истоки в античном язычестве, и других — таковых было большинство, — отмечавшихся уже около тысячи лет, праздник Тела Господня выглядел новичком. Идея отмечать каждый год в один и тот же день *Corpus Domini*, то есть праздник Тела Господа, другими словами Евхаристию, никак не вписывалась в литургическую систему, при которой Евхаристия является прежде всего мессой. Культ Святых Даров, будучи оторванным от своей первоначальной функции жертвоприношения во время мессы, выглядел всего лишь как продолжение литургической Евхаристии. Однако это продолжение говорило сердцу верующего гораздо больше, чем труднодоступный язык требника.

Публичная демонстрация Святых Даров и шествие в их честь оказались более понятными даже для самых непосвященных и наименее чувствительных людей, чем древнее, хотя и не устаревавшее богослужение, например в честь святого Бенедикта или Григория Великого. Первый час, Третий час, Шестой час, Девятый час, Вечерня, повечерие — во всем этом разбирались только лишь монахи да каноники. Необходимо было владение подлинной библейской культурой, без которой чередование псалмов и гимнов превращалось в набор пустых слов. Что же касается устремлявшихся в церковь тысяч верующих, которые хотели молиться, но с трудом следили за мыслью царя Давида, то они отдавали предпочтение таким немногочисленным, но хорошо знакомым мелодиям, как *Benedictus* или *Pange lingua*, и охотнее распевали в унисон изложенные простым языком и легкие по своей теологии гимны.

А кроме того, раз уж речь шла о том, чтобы восславить Господа, то не следовало ли устраивать ему столь же пышный праздник, как те, что устраивались королю, вступающему в свой славный град? Кортеж, торжественное шествие — принцип тот же самый: показать и показаться. «Небеса», то есть балдахины из золототканого сукна или из голубого бархата, использовались как для короля, так и для Бога. Были такие балдахины, которые несли впереди, и такие, которые несли сзади. Для этого существовал специальный протокол, не оставлявший без внимания ни одной детали. Золотых дел мастера распределяли между собой работу и создавали драгоценности, благодаря которым праздник превращался в настоящую выставку ювелирного искусства; каждый старался угодить Богу как мог.

Праздник Тела Господня быстро завоевал популярность. Понадобилось меньше века, чтобы его вписали в требник и он занял там одно из самых почетных мест. Клирики сочинили для него антифоны. Миряне написали песни.

Процессия с носимыми по городу Святыми Дарами, отождествлявшимися с Телом Господа, сильно потеснила в сознании верующих все остальные шествия, где носили раку с мощами или статую святого. Хотя человек средневековья и ощущал необходимость в посредниках, Бог все же стоял на первом месте, впереди святых. Сто лет спустя после первых шагов этого нового праздника он стал важным элементом народной набожности.

Немало тому способствовало и время года, на которое приходился праздник, — в первый четверг недели Всех Святых, во второй четверг после Пятидесятницы дни уже были длинные, а сильная жара еще не наступала. В Париже, где самым распространенным деревом было вишневое дерево, наступал сезон вишен. Расцветали розы; буржуа мог себе позволить покупать каждый день по букету роз, так что дети без труда набирали целые корзины лепестков, чтобы устилать розовым ковром путь Святых Даров.

К вечеру накапливалась усталость, но зато стояла хорошая погода. Улицы выглядели приветливыми. Поскольку праздник зародился относительно недавно, то в описываемую эпоху он еще не обзавелся собственным развитым фольклором, характерным для многих других вписанных в трюнк важных дат. И вот в предвечерний час праздник являл собою гармонично завершавшееся целое: после молитв наступал черед забав, а те в свою очередь уступали место отдыху.

Итак, вечером 5 июня 1455 года, отужинав, магистр Франсуа де Монкорбье присел на плоский камень, лежавший на обочине проезжей части улицы, как раз под циферблатом часов церкви Сен-Бенуа-ле-Бетурне. Жарким вечером сидеть на пороге, где больше свежего воздуха, всегда приятнее, чем в помещении, да и созерцание улицы Сен-Жак — занятие отнюдь не лишнее интереса. Накинув на плечи легкий плащ и погрузив ноги в оставшиеся на земле после процессии лепестки роз, Франсуа приготовился спокойно провести остаток вечера. Если бы он искал приключений, то, надо полагать, не выбрал бы для этого порог дома его «более чем отца», добрейшего капеллана Гийома де Вийона.

Вместе с Франсуа там находились еще два человека: священник по имени Жиль и девушка по имени Изабелла. Мы не знаем ни кто она такая, ни что она там делала. Очевидно, она была порядочной девушкой, потому что в противном случае официальные документы не преминули бы отметить, что она отличалась дурной репутацией.

Наступила ночь. Башенные часы показывали приблизительно девять часов. И тут появились двое «знакомых»: священник Филипп Сермуаз — или Сермуа, или Шермуа, или Шармуа... — и магистр Жан Ле Марди — или Ле Мерди... — бывший студент факультета «искусств», только что, в июне 1455 года, закончивший свою учебу. Ле Марди выглядел спокойным, тогда как Сермуаз на что-то злился. Едва заметив Франсуа де Монкорбье, он закричал:

— Клянусь Господом Богом! Мэтр Франсуа, я вас нашел! Сейчас вам не поздоровится!

Вийон встал, возможно, менее удивленный, чем он это впоследствии изобразил, но во всяком случае далекий от того, чтобы проявлять признаки беспокойства.

— Милостивый государь, на что вы сердитесь? Разве я перед вами чем-нибудь провинился? Чего вы от меня хотите? Я не сделал вам ничего плохого...

Ввиду натиска Сермуаза Вийон посторонился. Позднее он сказал, что хотел просто освободить место, дабы усадить своего собеседника. Сермуаз истолковал все иначе, возможно став жертвой ошибки. Во всяком случае, он толкнул Вийона и насильно усадил его на место. Ситуация накалялась: Сермуаз явно искал ссоры. Тем временем свидетели исчезли: и те двое, что были с мэтром Франсуа, и тот, что пришел с Филиппом Сермуазом.

Дальнейшие события нам известны лишь в изложении Вийона, которое невозможно проверить и которое он представил людям короля, занимавшимся делом о его помиловании. Сермуаз вытащил из-под сутаны кинжал и ударил, похоже, никак этого не ожидавшего Вийона в лицо. Удар, а то и не один, пришелся в верхнюю губу; полилась кровь. От раны на губе поэта сохранился шрам, который помог ему получить королевское прощение.

Несмотря на то что сержанты только тем и занимались, что отбирали у горожан кинжалы, в Париже 1455 года никто на улице не появлялся без оружия, даже если нужно было выйти не дальше, чем на порог своего дома. У Вийона тоже был кинжал; он его выхватил и нанес удар прямо перед собой.

В этот ли момент Сермуаз получил свою рану «в пах или рядом»? Этого никто не знает. Увлекаемый своей яростью и по-прежнему держа в руке кинжал, священник делал все новые и новые угрожающие жесты. Вийон побежал. Его противник устремился за ним во двор церкви Святого Бенедикта. Во всяком случае, так сказал Вийон. Подвергаясь опасности быть схваченным, он нагнулся и подобрал камень.

В первом варианте рассказа, выслушанном его друзьями, дабы они могли сформулировать прошение о помиловании, — рассказ этот передан не от первого лица — поэт признался, что бросил камень, чтобы отвязаться от нагонявшего его Сермуаза. Впоследствии, стремясь улучшить

свою позицию, он припомнил, что возвращение Жана Ле Марди усилило его опасения: он оказался безоружным один против двоих.

Вернувшийся Ле Марди увидел, что Вийон в правой руке держит камень, а в левой кинжал. Похоже, что на полученный Сермуазом удар никто не обратил внимания. Сермуаз был слишком возбужден, чтобы его почувствовать. А Вийон даже не знал, задел он своего противника или нет. Зато по лицу поэта кровь текла не останавливаясь, и у него не было ни малейшего сомнения в том, что Сермуаз способен его убить.

Ле Марди в такой переделке оказался не впервые. Он бросился на Вийона, стараясь его разоружить, и в конце концов выхватил у него кинжал. Однако Вийон отпрыгнул назад и сильным движением метнул свой камень. Священник Сермуаз упал на мостовую.

Тогда, нимало не заботясь о том, что происходит сзади него, мэтр Франсуа бросился к ближайшему цирюльнику по имени Фуке, чтобы тот его «починил».

Обычно цирюльники не только брили, но и пускали кровь, бинтовали. Несмотря на враждебность хирургов, стремившихся помешать корпорации брадобреев создавать нечто вроде псевдохирургии, защищенной официальными дипломами и практическими экзаменами, брадобреи не сдавали своих позиций, потому что их услуги стоили дешево. Когда речь шла не о лечении у врача, которому его статус клирика запрещал прикасаться к больному и оперировать его, пациент предпочитал, чтобы ему пускали кровь не за десять су, а за одно. Что же касается медицины, то больные не очень-то верили врачам, которые сначала изучали их мочу, а потом прописывали что-то на латыни. Они верили своему цирюльнику, ловко управлявшемуся со своим ланцетом и не хуже врача разбиравшемуся в снимающих боль припарках. Когда дело касалось не слишком сложных случаев, помощь брадобрея оказывалась несколько не менее эффективной, чем помощь хирурга.

В квартале, где располагались коллежи, где драки случались часто и где пострадавшие редко имели толстые кошельки, к помощи цирюльника прибегали часто. Однако цирюльник Фуке, подобно всем его коллегам, хорошо знал исходившее из Шатле предписание: прежде чем делать перевязку, нужно осведомиться об именах. Как зовут раненого? Вийон, отнюдь не являвшийся в этом деле ангелом, не будучи безгрешным, каким он потом пытался выглядеть в глазах людей короля, придумал элементарную уловку, естественную во времена, когда ни у кого не было никаких удостоверений личности и когда вопрос об имени решался с помощью свидетелей. Он заявил, что его зовут Мишель Мутон. Зато имя своего противника он назвал правильно: на следующий день Филиппа Сермуаза арестовали бы и можно было бы посмеяться. А поскольку Мишель Мутон реально существовал, причем как раз в тот момент сидел в тюрьме, то повод для смеха оказался бы еще более основательным.

Тем временем Сермуаз лежал в церковном дворе, вытянувшись во весь рост и сжимая в руке кинжал. Прохожие его подняли и отнесли в один из ближайших домов. Туда тоже позвали цирюльника, который наложил повязку.

К утру состояние священника сильно ухудшилось. Рана в животе и травма головы оказались столь серьезными, что, когда его решили перенести в больницу, он уже дышал на ладан. Там, в больнице, он и скончался в субботу, то есть менее чем через два дня, «по случаю названных ударов и из-за отсутствия хорошего ухода и из-за прочего».

## **Бур-ла-Рен**

С того момента магистру Франсуа де Монкорбье, чья совесть была отнюдь не столь чиста, как он пытался изобразить, следовало вести себя очень осторожно. Сермуазу наверняка было в чем его упрекнуть. Спор из-за женщины? Карточный долг? Кража? Что-то там было неладно, а ведь оставались еще друзья Сермуаза. Поскольку добиться оправдания, утверждая, что речь шла о законной самообороне, было бы нелегко, особенно если учесть, что, назвав чужое имя, он тем самым навлек на себя еще большие подозрения, Вийон решил прибегнуть к единственному казавшемуся ему надежным средству избежать наказания — покинуть Париж.

Ушел он, скорее всего, недалеко. А семь месяцев спустя вернулся. Один из проживавших в Бур-ла-Рене цирюльников, которому профессия досталась по наследству, заслужил расположение Вийона, приютив у себя беглеца. Поэт вспоминал потом, как хорошо ему жилось у этого Перро Жирара.

*Затем, цирюльнику Жирару,  
Который в Бур-ла-Рен живет,  
Оставлю таз, а лучшие — пару,  
Чтоб он удвоил свой доход.  
Шесть лет назад — блаженный год! —  
Жирнейшим пороссячьим мясом  
При нем кормился без хлопот  
Я с аббатисой из Пурраса <sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 85. Перевод Ф. Мендельсона.

У Перро Жирара Вийон, по его словам, не скучал. Однако, даже если он никогда не встречал Югетту дю Амель, раблезианского типа аббатису «Пурраса», как тогда фамиллярно называли женский монастырь Пор-Руаяль, сам факт, что он как бы привлекал ее в свидетели его времяпровождения в Бур-ла-Рене, говорит о том, что оно вряд ли было чрезмерно добродетельным.

Аббатисой Югетта дю Амель, женщина не слишком праведного поведения — позднее стало известно, что в момент ее избрания аббатисой она уже не была девственницей, — сделалась всего за несколько месяцев до описываемых здесь событий, причем монахинь под ее началом после только что закончившейся Столетней войны, в результате которой поля оказались опустошенными, а деревни и монастыри разграбленными, было совсем мало. Первое время в монастыре кроме нее жила только одна послушница. Потом Югетта дю Амель завербовала еще четырех или пятерых монахинь, благодаря чему в Пор-Руаяле началась кое-какая деятельность.

Скоро стало известно, что прокурор аббатства, парижский стряпчий по имени Бод Ле Мэтр, ездил в Пор-Руаяль не только затем, чтобы навещать там свою племянницу, но и затем, чтобы приятно проводить время. Короче говоря, он спал с аббатисой. В свою очередь аббатиса навещала его в Париже, когда на равнинах снова стало беспокойно и когда монахини, подобно многим другим людям, стремились укрыться за крепостными стенами.

И он одалживал ей свою постель, а она ему — свою.

Однажды Бод Ле Мэтр приехал в Пор-Руаяль вместе со своим кузенком, магистром искусств, молодым человеком приблизительно того же возраста, что и Франсуа де Монкорбье. Там устроили купания. Аббатиса приказала приготовить вторую ванну и хотела заставить одну юную монахиню по имени Алипсон искупаться голый вместе со студентом. Алипсон отказалась. Тогда ее бросили в корыто одетой, не дав времени даже снять обувь. И той пришлось раздеться. Нетрудно догадаться, как завершился ее день.

Деньги идут к деньгам, а слава к славе. Едва в округе устраивалась какая-нибудь непристойная вечеринка, как находились люди, утверждавшие, что видели там аббатису Пурраса, то при маскараде, а то и без него. Она действительно частенько бывала на подобных мероприятиях, как, впрочем, и на всех кутежах. Заканчивались ее ночи в постели с мужчинами. Как-то раз она неплохо провела время в компании солдат, но потом те сочинили про нее песенку. Аббатиса отыгралась на том, кто считался автором куплетов: его сурово поколотили, и он умер от ран.

Скандалная история длилась лет пятнадцать. Закончилась она тогда, когда Югетта скрылась вместе с одним из своих любовников, с казной и архивом аббатства...

Представ перед Парламентом, она нашла себе оправдание: в Пор-Руаяле было всего две комнаты. Аббатисе и монахиням не оставалось ничего другого, как делить помещение с прокурором...

Чтобы поминать имя аббатисы, вовсе не обязательно было состоять у нее в любовниках. В квартале бернардинцев, где проживал Бод Ле Мэтр, ее имя служило синонимом разврата. В конце концов ведь это именно два бернардинца впервые поведали миру об удивительных посетительницах магистра Бода и о связанных с их посещениями обстоятельствах. И все же упоминание про аббатису Пурраса бросает кое-какой свет на веселое и, очевидно, не дорого стоившее времяпровождение убийцы священника Сермуаза. Вийон, который в начале 1456 года благодаря королевскому помилованию возвратился в Париж, уже не был прежним добродушным магистром искусств, наслаждавшимся вечерней прохладой на исходе праздника Тела Господня. Он приобрел привычки, отличные от привычек магистра Гийома де Вийона. Раньше он был плохим студентом, но все же студентом. А тут стал сорвиголовой.

Дабы не оказаться арестованным на следующий день после праздника Тела Господня, он скрылся. Однако избежать немедленного заключения в тюрьму — это было даже не полдела: предстояло еще подумать о том, как вернуться, о том, как жить дальше. Время отнюдь не отводило угрозу наказания, и мэтр Франсуа, возвращаясь, рисковал получить либо виселицу, либо увечья.

## Помилования

К счастью, правители давным-давно поняли, что общественный порядок ничего не выигрывает от увеличения количества бродяг, оторванных от нормальной жизни страхом перед наказанием и вынужденных поддерживать свое существование теми или иными способами, из которых самым доступным было воровство. В тех случаях, когда виновный не являлся рецидивистом, когда преступление выглядело случайным, помилование давало возможность вернуться к привычной и нормальной жизни.

Итак, после того праздника Тела Господня прошло шесть месяцев. Возможно, Вийон действительно жил в Бур-ла-Рене. Весьма маловероятно, чтобы он покидал парижские окрестности, и то путешествие в Мулен, о котором столь много говорилось, пожалуй, следует считать всего лишь смелой гипотезой. В «Послании», направленном им в 1461 году герцогу Бурбонскому, дабы испросить у него какой-нибудь «заем», поэт упоминал про его первое даяние в размере шести экю. Можно увидеть в этом намек на какое-то состоявшееся раньше посещение провинции Бурбонне. Однако с таким же успехом можно предположить, что щедрость была проявлена в Париже, куда принцы вроде Бурбона приезжали по несколько раз в год.

Ведь истекшие шесть месяцев ушли на то, чтобы добиться помилования, и Вийон не должен бы был слишком удаляться от тех, кто старался помочь ему, от тех «друзей», о которых он рассказал позднее, когда ему угрожала опасность быть повешенным за гораздо менее серьезную провинность.

Когда видишь, что в январе 1456 года поэт вернулся в Париж, избежав какого бы то ни было наказания, когда читаешь те тексты, в которых ему возвращались «доброе имя и слава», то возникает искушение предположить, что он пользовался покровительством какого-то высокопоставленного лица, приближенного ко двору и вхожего в канцелярию. Естественно, никто не мог бы сказать, во что обошлось заступничество, обелившее убийцу Филиппа Сермуаза, но одно можно сказать с определенностью: в текстах помилования невозможно обнаружить ни следов денег, ни следов чьего-либо влияния. Королевское правосудие свершалось, кого-то милуя, кого-то наказывая, причем король распоряжался и судьбами маленьких людей, и иными судьбами.

Наряду с правосудием, которым должны были по поручению короля заниматься суды, существовало еще и личное правосудие монарха, осуществляемое самодержцем прямо у себя во дворце. Право прощать было наиболее осязаемым его проявлением: король в этом случае отменял исполнение приговора. Помилование же было еще более радикальной формой прощения: при помиловании с обвиняемого вообще снималось всякое подозрение, причем это могло произойти как во время проведения процедуры расследования, так и до ее начала. Помилование ликвидировало не только наказание, но и состав преступления.

Если внимательно взглянуть на этот феномен, то помилование выглядело всего лишь как некий необходимый противовес уголовному кодексу, где в принципе игнорировались и

смягчающие обстоятельства, и заключение в тюрьму на определенный срок. Судьи ничего не могли поделать: за смерть следовало воздать смертью же. Мирское правосудие не признавало тюремного заключения на срок; таковым могла пользоваться лишь Инквизиция, дабы помочь раскаявшимся грешникам с помощью страданий заработать себе спасение на том свете. Для тех, кого признавали виновными, существовало лишь одно наказание: отсечение головы, когда речь шла о лицах благородного происхождения, и виселица во всех остальных случаях либо, в качестве исключительной меры наказания, костер или котел с кипящей водой. Следовательно, прощение несколько нарушало автоматизм действия судебной машины, причем нередко оно отвечало пожеланиям самих судей. Ну а помилование еще до процесса позволяло виновнику, который счел необходимым скрыться, возвратиться к нормальной жизни, что в конечном счете оказывалось выгодно и обществу. По просьбе «родных и друзей во плоти» король предавал событие забвению. Помилование не являлось исключением, оно представляло собой попытку гуманизировать правосудие, оперировавшее необратимыми мерами наказания.

Достаточно бросить взгляд на протоколы королевской канцелярии — «Протоколы казначейства хартий», — чтобы исчезло всякое сомнение. Помилование там фигурирует на каждой странице. Оно было доступно всем в том случае, когда находился какой-нибудь свидетель, подтверждающий добронравие обвиняемого. И канцелярия даровала всем удостоивавшимся этой милости необыкновенную, стоившую дороже любых денег безопасность, проистекавшую из самого факта регистрации. Бедняге было бы нелегко сохранить скрепленные печатями охранные грамоты, дабы иметь возможность показывать их любому желающему его побеспокоить сержанту. Знать, что официальный след королевского милосердия находится в ведомостях самого короля, — это был самый надежный способ обретения истинного спокойствия как для человека, лишённого собственного архива, так и для владельца набитых грамотами сундуков. Дело в том, что в одних и тех же крупноформатных ведомостях, на одних и тех же листах из тонкого пергамента вписывались сведения и о помиловании какого-нибудь горемыки, и о возведении во дворянство какого-нибудь юриста или финансиста.

Люди короля даже не жалели места в отличие, например, от нотариусов, ради экономии сплошь и рядом злоупотреблявших сокращениями. «Бойтесь нотариусовских *и тому подобное*», — гласила народная мудрость, осведомленная, насколько трудно было непосвященным понимать все те бесконечные документы, где все формулы сводились к двум-трем словам с сопровождающим их «и тому подобное». Что касается людей из канцелярии, то они, как правило, проявляли щедрость: помилованный преступник мог быть уверен, что свидетельство о прощении смогут прочитать все.

Пролистаем несколько страниц. В ведомости 187 казначейства хартий помилование «магистра Франсуа де Лож по прозвищу де Вийон» находится под номером 149. А под номером 150 фигурирует помилование одного крестьянина и его детей: Андре Морена и его сыновей Этьена и Жана, славных скотоводов из Шароле, виновных в том, что они избили до смерти своего соседа Югенена де ла Ме. Разве не говорила вся деревня, что Югенен немного промышляет колдовством? Тому имелись даже доказательства: когда животные вдруг оказывались при смерти — причем в стаде Югенена они никогда не умирали, — то стоило колдуна немного поколотить, как больные животные тут же выздоравливали. Иногда его жертвами становились мужчины и женщины. Подтверждение тому Морен получил во время болезни своей собственной жены: несколько хороших угроз в адрес соседа Югенена, и больной стало лучше. А в один прекрасный день колдуна ненароком убили.

И вот королевское помилование крестьянину с его сыновьями позволило им, вместо того чтобы пополнить слонявшиеся по дорогам ватаги бродяг, вернуться в свою деревню. Ну а канцелярия выделила целую страницу этим несчастным людям: колдуну и заколдованному, запутавшимся в едином несчастье. Первый погиб 21 октября 1455 года. А документ, возвративший другому право на нормальную социальную жизнь, датирован ноябрем. Стало быть, королевская милость осуществлялась быстрее, чем правосудие королевских судей.

А вот еще одна страница: Николя Дастюг, виновный в умерщвлении дерзкого на язык пекаря, несколько раз назвавшего его жену «бесстыдницей» за то, что она пеняла ему за подгоревший хлеб. Муж пришел разбираться. Пекарь не убоился и его и даже бросил ему в лицо

вязанку хвороста. Удар кинжалом «через желудок в грудь» — и вот вам еще одна драма. И тут тоже помилование.

В следующем документе речь идет о возвращении к нормальной жизни Гийома Фрике, сына Мателена Фрике, мясника деревни Сен-Севан, расположенной в кастелянском округе Люзиньян. В этом случае драма явилась результатом свойственной молодости горячности. Пошли несколько человек в одно ноябрьское воскресенье пострелять из лука. Прицепили две шляпы к ветке, и получилась мишень. Один из стрелков стал очень неудобно, и ему посоветовали отойти подальше. Тот только плечами пожал: идите, мол, стрелять на другой край луга. А те заупрямились: не перевешивать же шляпы! Не дожидаясь, пока строптивец отойдет, начали стрелять. В результате одна стрела ранила его, и от этой раны он через месяц скончался. И опять помилование, а не то пришлось бы сына мясника повесить.

Откроем еще одну ведомость канцелярии, значащуюся под номером 183. И обнаружим там все те же примеры случайных убийств, непредумышленных преступлений. Снова помилования тем королевским подданным, которые убили защищаясь либо впервые попались на краже. Но не закоренелым преступникам. Франсуа Вийон фигурирует в этой ведомости повторно, по поводу вторичного помилования, относящегося к тому же самому преступлению. За ним следует Вийме Пезен, несчастный подмастерье столяра, специализировавшегося на изготовлении дверей и окон. В одной несуразной перепалке, где каждый обзывал друг друга сводником, Вийме оказался зажатым в лавке, в то время как его противник стоял в двери и кричал:

— Сын потаскухи! Клянусь Богом! Ты от меня не уйдешь!

Они подрались, сначала мотыгами, потом ножами, схватив их тут же, на соседнем прилавке. Противник угрожал «ножом с большой деревянной ручкой и широким лезвием, какими убивают свиней», и Вийме почувствовал, что жизнь его находится в опасности. Он наклонился, чтобы уйти от удара, и сам ударил в пах. Королевское помилование вернуло Вийме Пезена к его столярным делам.

В следующем документе речь идет о возвращении к нормальной жизни «бедного молодого человека приблизительно тридцати шести лет от роду» — такая формула вырвалась у нотариуса, — который в Брюгге в одной таверне, расположенной около Кармелитского моста, убил во время драки человека. Причиной драки явилась временная благосклонность одной «молодой женщины, которая была влюблена». Иными словами, один из драчунов пожелал отнять у другого проститутку. По мере того как листаешь страницы, перед глазами выстраивается целая вереница причин, порождавших такого рода непредумышленные преступления: спор из-за женщины либо земли, накапливавшаяся из поколения в поколение ненависть, беспричинные, вдруг разгоревшиеся душным летним вечером ссоры. В такого рода делах чаще оказывались замешаны клиенты таверны, нежели посетители княжеских дворцов, и разрешались они в большинстве случаев с помощью ножа, а не шпаги. Получение помилования означало, что удалось найти посредника, засвидетельствовавшего, что ранее обвиняемый отличался безупречной моралью, но при этом хватало заступничества юре, и не было никакой необходимости иметь высокого покровителя, чтобы добиться этого снисхождения, отнюдь не считавшегося льготой в обход закона. Ускользнув от виселицы, Вийон ушел от наказания не один, а в компании таких же, как он, бедолаг, тоже не надеявшихся на подобный благополучный исход дела. Его компаньонами по несчастью и по милости были подмастерья, школяры, виноградари. Среди них не числились ни поэт Карл Орлеанский, ни художник Рене Анжуйский. Не встречались среди них — возможно, пока еще не встречались — и называвшиеся тогда «кокийярами» нищие.

Не будем, однако, слишком доверчивыми. Когда читаешь эти документы, то обнаруживаешь, что все убийцы были мирными людьми, добрыми отцами и добрыми сыновьями. Убивали они, защищаясь, но никто и никогда не рассказал нам о том, из-за чего жертва завязала драку. Вийона оскорбили, а он даже не знал почему. На Вийме Пезена напал Пьер Катер в тот момент, когда он, закончив работу, проходил в самом конце моста Нотр-Дам мимо лавки торговца скобяными изделиями и кроватями.

— Бесстыдник! Предатель! Распутник! Клянусь Богом! Тебе осталось жить не больше двух дней! Распутник!

Вийме остановился, совершенно ошеломленный. Подобно всем тем, кто получил помилование, он не произнес ни единого ругательства. Он был тружеником, а отнюдь не распутником, то есть не сутенером. А ведь он мог бы с успехом ответить такими же оскорблениями, тем более что Пьере Катер последние двенадцать лет нигде не работал. А на что же он жил, если не «на то, что зарабатывали женщины»?

Еще более серьезно то, что Вийме Пезена обозвали «сыном потаскухи». Между тем его мать была еще жива, находилась в Турне и весь квартал знал ее как «порядочную, добродетельную женщину». Как не помиловать ремесленника, вступившегося за честь своей матери, хотя та и проживала в Турне, хотя в Париже никто и не думал сомневаться в ее добродетели?

Ну а что касается двух помилований, вписанных в две различные ведомости двумя разными нотариусами, то здесь поводов для удивления у нас еще больше. В одном документе фигурирует «магистр Франсуа де Лож, или иначе де Вийон»; это единственный текст, где мы встречаем имя «де Лож», и одновременно единственный случай, когда Вийон позаимствовал у капеллана Гийома вместе с именем и частицу «де». В другом документе значится «Франсуа де Монтербье, магистр искусств».

Не следует удивляться такому написанию фамилии. В XV веке буквы «т» и «к» были похожими, и, значит, нотариус, заполнявший ведомости, просто плохо прочитал переписанный им документ. Что же касается смешения «ер» и «ор», то оно объясняется тогдашним парижским произношением, произношением «друзей во плоти», приходивших просить за поэта. Еще даже и в XX веке на некоторых улицах столицы вместо Пьеро произносят Пьяро. Кстати, в интересующих нас документах один нотариус записал Жан Ле Мерди, а другой — Жан Ле Марди. Не нужно этому удивляться, поскольку даже и сам Вийон рифмовал имя «Робер» со словом «пупар», означавшим «младенец». Труднее объяснить, почему один нотариус написал фамилию Шермуа, а другой — Сермуаз. В этом случае следует предположить, что рассказ о событиях шел по двум различным каналам.

Коль скоро существует два документа, то это означает, что о помиловании Вийона хлопотали две группы друзей, каждая со своей стороны. Преднамеренно или нет в одном случае у поэта оказалось имя Франсуа де Лож по прозвищу де Вийон, а в другом — Франсуа де Монкорбье? Не исключено, что те и другие играли двумя разными фигурами на двух разных досках.

При наличии некоторых расхождений оба варианта рассказа в основном совпадают. Общий источник вполне очевиден; таковой источник — только сам Вийон, так как цепочку событий, развернувшуюся после ухода Изабеллы и Жана Ле Марди, знал лишь он один. Однако две процедуры шли параллельно, и канцелярия из-за этого допустила ошибку. Необходимо также обратить внимание на тот факт, что мотивировки помилования, касающегося Франсуа де Монкорбье, основываются на более позднем рассказе, чем мотивировки, фигурирующие в документе о Франсуа де Ложе по прозвищу де Вийон. В первом рассказе еще ничего не говорилось про добровольное изгнание, а во втором уже ничего не говорилось про сохранившийся на губе след от раны. Возможно, именно здесь находится ключ к разгадке параллельной процедуры. Друзья Вийона сначала добились прощения, не раскрывая его настоящего имени. В этом контексте позаимствованный у капеллана псевдоним должен был сослужить свою добрую службу, дабы впоследствии поэт беспрепятственно пользовался полученным таким способом помилованием. Но вот правосудие наконец высказало свое мнение. Отныне уже не нужно было притворяться, но при этом помилование, полученное до вынесения приговора, причем под фиктивным именем, могло оказаться не слишком надежной защитой для Вийона, который, вернувшись, рисковал быть схваченным под своим настоящим именем.

## **Возвращение поэта**

Можно было бы и не заострять внимание на этой двойной записи, если бы тут не напрашивался один вывод: у Вийона были друзья и королевское помилование пришло не само собой. Одновременно было предпринято несколько попыток, причем осуществлялись они в

разном ритме. Молодой безденежный магистр искусств имел немало друзей, и его добровольное изгнание не оставило безразличными людей из университетской сферы. Сказать, что поэт уже тогда стал знаменитым, было бы преувеличением. Хотя в Париже им дорожили. Причем некоторые уже понимали, кто такой Франсуа Вийон.

Вернувшись к нормальной жизни, он мог бы воспользоваться этим обстоятельством, дабы возобновить учебу, ориентированную после окончания им факультета «искусств», если судить по кругу его чтения, на теологию. Как бы не так. Он погрузился в блаженное ничегонеделание, приобрел за шесть месяцев бродяжничества дурные привычки, завел себе друзей среди тех, кто, как и он, были не в ладах с правопорядком. Вместо того чтобы работать, развлекался да жаловался.

В ту пору он еще не был сутенером, коим стал несколько лет спустя. Он пока еще ограничивался знакомством с небольшим кругом беспутных личностей, являвшихся честными ремесленниками днем и превращавшихся в мошенников ночью. Взять, например, судовщика Жана Ле Лу или, как его еще звали, Ле Ле, официально числившегося «извозчиком по воде» и арендатором рыбного промысла в ямах. Каждый год он занимался опорожнением оставшихся в городе ям с водой. А затем продавал на рынке шук, карпов, линей и угрей, которых таскали из ям полными вершами. В том же кругу знакомых Вийона можно было встретить и бочара Казена Шоле, будущего сержанта с жезлом при Шатле. Похоже, у них двоих числилась на совести жизнь на скорую руку задушенной на городской стене утки, принесенной затем домой в складках рясы, которую они вроде бы позаимствовали у одного монаха.

*Затем пускай Шолет и Лу  
Поймают утку на двоих  
И живо спрячут под полу,  
Чтоб стража не поймала их.  
Еще охапку дров сухих  
Оставлю им, а также сала  
И пару башмаков худых,  
Коль этого им будет мало <sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 27. Перевод Ф. Мендельсона.

Поэт, если его не предавали, оставался верен в дружбе, и когда в 1461 году он писал «Большое завещание», то снова вспомнил о двух воришках. Шоле тем временем стал священником. У него в приходе царил порядок. Однако как он был шутником, так шутником и остался: однажды, несколькими годами позднее, он славно повеселился, распространив в Париже ложный слух, будто бы в город вошли бургундцы Карла Смелого...

А что касается Жана Ле Лу, то он пользовался своей должностью при муниципалитете, чтобы грабить набережные Гревского порта. При этом он прославился своей грубостью. Как-то раз оскорбил некую аббатису, но то была не аббатиса Пурраса. И оказался в тюрьме. А в 1461 году Вийон опять вспомнил про ту проделку, которая поразила его воображение во времена, когда круг его знакомств насчитывал еще не слишком много мошенников: он вновь позаботился о подарке для двух расхитителей парижской живности.

*Затем, пусть Жану Лу дадут, —  
Он парень с виду неплохой,  
Хотя на самом деле плут  
И, как Шолет, хвостун лихой, —  
Собачку из породы той,  
Что кур умеет воровать,  
И плащ мой длинный — под полой  
Ворованное укрывать <sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 83. Перевод Ф. Мендельсона.

В том 1456 году Франсуа де Монкорбье исчез раз и навсегда. Ставя подпись под стихотворением либо представляя какой-нибудь фарс на сцене, он никогда не вспоминал еще сохранившуюся в списках французской нации фамилию Монкорбье, равно как и Де Лож и Мутон, те фамилии, которыегодились лишь раз. И для себя, и для остальных он окончательно превратился в Франсуа Вийона.

Гийом де Вийон — напомним, что частица «де» указывает не на принадлежность к дворянству, а на то место, откуда человек родом, — тоже все предал забвению. Франсуа опять поселился в доме при церкви Святого Бенедикта, откуда ему был слышен звон колокола Сорбонны в час, когда оповещали, что пора гасить свет. Наступила осень 1456 года. Закрылись оконные ставни. И вот заскучавший школяр взял в руки тетрадь.

*В год века пятьдесят шестой  
Я, Франсуа Вийон, школяр,  
Бег мыслей придержав уздой  
И в сердце укротив пожар,  
Хочу свой стихотворный дар  
Отдать на суд людской, — об этом  
Писал Вегеций, мудр и стар, —  
Воспользуюсь его советом!  
В год названный, под Рождество,  
Глухою зимнею порой,  
Когда в Париже все мертво,  
Лишь ветра свист да волчий вой,  
Когда все засветло домой  
Ушли — в тепло, к огню спеша,  
Решил покончить я с тюрьмой,  
Где мучилась моя душа <sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Там же. С. 19.

Он развлекался. Вегеций и его «Книга рыцарства» не имели никакого отношения к его медитациям и являлись лишь данью традиции, согласно которой ни один уважающий себя клирик не начинал выполнять задание, не упомянув в первую очередь кого-нибудь из древних. Для любого рассуждения требовался фундамент, а таковым мог быть лишь «авторитет». Вийон, притворившийся послушным учеником и приготовившийся отказать по «Завещанию» отсутствовавшее у него имущество, просто-напросто пародировал своих учителей. Он подражал также стилю нотариусов и насыщенных софизмами «преамбул» буржуазных завещаний. Вийон приступал к написанию пародии на общество, причем, создавая эту пародию, он говорил только о Вийоне.

## **Глава X**

### **Скажу без тени порицанья...**

#### **Муж в ловушке**

Любить. Вроде бы Карл Орлеанский все сказал человеку XV века о любви, но кузен короля жил в том обществе, где мечта о даме сердца не имела ничего общего с политическим актом,

каковым являлся брак, и где культура все еще отводила куртуазности, как форме рыцарской чести, первое место в ряду добродетелей. А юный магистр искусств, радовавшийся мимолетному поцелую, вряд ли признал бы судьбу своей любви в надеждах и мечтаниях герцога Орлеанского.

Правда, он был клириком, клирики считались женоненавистниками. Иногда клириком становились из-за женоненавистничества, но гораздо чаще клирик становился женоненавистником из-за того, что был обречен на безбрачие. Правило действовало в обоих направлениях. Так или иначе, но образ женщины в глазах клириков отнюдь не выглядел лучезарным, а ведь при этом клирики были людьми пишущими. Вполне естественно, что литература смотрела на женщину суровым взором и весьма плохо выражала глубинные чувства счастливых мужей и сияющих радостью любовников.

Величайших героев истории погубила именно женщина. Вийон повествует об этом без прикрас: по ее вине царь Давид согрешил, а Ирод совершил гнусный поступок.

*Давид, желаньем подогретый,  
Сверканьем ляжек ослеплен,  
Забыл скрижали и заветы...  
Под звуки сладостных куплетов  
Был Иродом Иоанн казнен  
Из-за язычницы отпеты...<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 63. Перевод Ф. Мендельсона.

Поэт не боялся, что он, подобно пророку, лишится головы из-за пируэтов какой-нибудь Саломеи. Не мудрствуя лукаво, он напевал песню клириков, довольных тем, что на каждый случай в Священном Писании находится неопровержимый пример женского вероломства.

В этих обстоятельствах женитьба выглядела обманом, а тот, кто попадался на эту удочку, — безумцем. Развивая символизм «Пятнадцати радостей супружества» не столько с горечью, сколько с циничной иронией, как если бы он в ином тоне излагал традиционные «пятнадцать радостей Богоматери», один анонимный клирик начала XV века высказал свою мысль без обиняков: бракосочетание является ловушкой, в которую попадает свобода мужчин.

«Тот юноша не имеет доброго разума, который располагает возможностью предаваться радостям и наслаждениям мира и который, будучи юным, по собственной воле, без крайней нужды находит путь в тесную, скорбную и наполненную плачами тюрьму и замыкает себя в ней».

Согласно автору «Пятнадцати радостей», получалось, что человек женится не иначе как став жертвой иллюзий, а также из желания поступать как другие.

«Тот, кто женился, попал в вершу, поскольку, когда он находился снаружи, ему казалось, что внутри ее рыбы развлекаются. Он много потрудился, дабы вкусить тех же забав и тех же утех».

В среде клириков с удовольствием, сгущая краски, пересказывали и без того наводящие уныние истории про буржуа-рогоносца и про зубоскала-соседа, — истории, мораль которых сводилась к тому, что брак усиливает заложенные в женщине пороки, так как создает благоприятные возможности для развития естественных для прекрасного пола власти и лукавства, за что расплачиваться приходится мужу. Само собой разумелось, что жена имеет склонность во все вмешиваться. Управлять домом, тиранить служанок, навязывать всем свои вкусы и причуды. Ну а муж быстро смиряется со своим новым состоянием, подчиняется, не ожидая даже приказов.

«Когда кто-нибудь обращается к нему по делу, он отвечает:

«Я поговорю об этом с женой» или «с госпожой нашего дома». Пожелает она — дело состоится. А не пожелает — ничего не получится. Потому что простак уже настолько укрощен, что становится смиренным, как бык, которого впрягли в плуг. Таким безнадежно покорным, что дальше и некуда».

Может быть, хоть в профессиональной деятельности удастся найти спасение от властолюбия супруги? Иллюзия быстро рассеивается, и в один прекрасный день муж обнаруживает, что он уже даже не хозяин своих дел. Если жизнь клирика ограждена от женщины надежным барьером, то у торговцев и ремесленников все обстоит иначе. Ну а уж в том, что касается семьи, то там власть женщины просто безраздельна. Не более чем счастливым исключением является муж, с которым посоветуются относительно замужества его дочерей. Не говоря уже о том, что после того, как дочь уже выдана замуж, жена постарается настроить против своего мужа и дочь, и зятя. Впрочем, разве он не получил то, чего добивался?

«И оплакивает простак свои грехи в верше, куда он попал и откуда никогда не выйдет, а останется страждущий и стенающий. И не осмелится он заказать даже мессу во спасение своей души, потому что жену свою любит больше своего спасения. Не делает даже завещания, не вложив душу свою в руки своей жены».

Что же касается блаженного буржуа, то как ни доволен он был своей судьбой, а и то в составленном в ту же пору учебнике примерной супруги, каковым явилась книга «Парижский домовод», нетрудно обнаружить явное беспокойство мужчин перед лицом все возраставшей женской властности. Хотя в принципе супруга «домовода» — слово это означает просто-напросто «хозяин дома» — выглядит там исполненной уважительности, повиновения, внимания, осведомленности в домашних делах и, будучи увиденной глазами своего супруга, предстает перед нами скорее в роли первой из служанок. Буржуа не слишком затруднял себя уклончивыми формулировками.

«Вот вы говорите, что хотели бы служить мне еще лучше, чем делаете это сейчас, если бы были научены этому, и желаете, чтобы я вас научил. Милая моя подруга, знайте, что мне достаточно того, чтобы вы служили мне так же, как наши добрые соседки служат своим мужьям».

Однако лукавицы все же набираются опыта. Служанка превращается в хозяйку. И добряк буржуа оказывается вынужденным подтвердить, что страхи клирика возникли не на пустом месте: старость женатого человека — постоянное подчинение.

«Есть женщины, что поначалу весьма преданы своим мужьям. Потом они видят, как мужья в них влюблены и любезны в обращении, что, кажется, можно радеть меньше, а они и не подумают рассердиться. И дают себе послабление. Мало-помалу начинают меньше их уважать, становятся менее внимательными и послушными, а самое главное, начинают пробовать свою власть, во все вмешиваться и командовать, сначала в маленьком деле, потом в более крупном, и так с каждым днем все больше и больше».

Так они на ощупь двигаются все вперед и все вверх и воображают, что их мужья, которые ничего не говорят из любезности или из хитрости, ничего не видят, а те на самом деле просто терпят».

Буржуа предпочитал поступиться своими правами, чтобы в доме был мир. Холостяк Вийон, которому не нужно было управлять ни домом, ни имуществом, оказался не в состоянии понять эту сторону дела и отождествил женскую авторитарность с наглостью Прекрасной Оружейницы и ей подобных, которые благодаря своей сияющей красоте способны держать в своей власти мужчин, пока не приходит старость, отнимающая у них их главное оружие.

*Ведь я любого гордеца  
Когда-то сразу покоряла,  
Купца, монаха и писца,  
И все, не сетуя нимало,  
Из церкви или из кружала  
За мной бежали по пятам...<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 54. Перевод Ф. Мендельсона.

Обращаясь к чувственной стороне взаимоотношений женщины и мужчины, сатирическая литература особо выделяла фигуру священника. По крайней мере с XIII века одной из главных пружин развития действия в фавлю стал сговор замужней женщины и священника, сговор, в

результате которого муж обычно оказывался одураченным. Из фаблю в фаблю путешествовали обманутые мужья и женщины, спасающиеся от их побоев в церкви. Властная женщина, которую так боялся даже защищенный обетом безбрачия клирик, способна была нанести мужу еще больший вред: например, принудить его к набожности, сделать завсегдатаем церкви, отправить в паломничество к святым местам. Клирик избытком религиозности, как правило, не страдал, а вот жена, стремившаяся безраздельно властвовать у себя в доме, имела в набожности прямой интерес. Кто способен был прийти на помощь бедняге, которому грозило паломничество в Пюи или в Рокамадур? Соседям не оставалось ничего иного, как оставить его наедине со своей совестью, то есть наедине с супругой. Если, конечно, та не отправлялась вдруг в паломничество сама, оставляя дома супруга, лишившегося возможности попутешествовать, между тем как к группе паломников неожиданно присоединялся некий так называемый кузен, о котором раньше никто и слыхом не слыхивал... В такой ситуации мужу лучше было оставаться дома — ведь в любом случае правда оказалась бы не на его стороне.

«То она говорит, что одно стремя у нее слишком длинное, а другое — слишком короткое. То ей нужен ее плащ, то она его оставляет. Потом говорит, что у коня слишком резкий аллюр, отчего ей делается дурно. То она слезает с коня, а потом опять на него залезает, чтобы проехать через мост или преодолеть отрезок плохой дороги. То она не может есть. А когда они едут через город, она своего простака, набегавшегося как собака, заставляет бегать еще, чтобы он ей приносил то, что ей захочется».

Обманутый муж — это прежде всего презираемый муж. Лживость вкупе с властностью делали положение жертвы адюльтера еще более унижительной. Сколько таких жен, что сказываются фригидными в супружеской постели, а на стороне обретают вкус к сладострастию.

«Когда вечером муж ложится спать и у него возникает желание позабавиться с ней, то она, вспоминая о своем друге, с коим должна встретиться завтра в определенный час, находит предлог, чтобы уклониться от общения, сказавшись нездоровою. Ведь она не ценит то, что он ей даст, так как это ничтожная малость в сравнении с тем, что она получит от друга, которого не видела неделю либо еще более. А тот придет завтра изголодавшийся и разгорячившийся за все время, что скитался по улицам и садам, когда они даже поговорить не могли прилично».

Женщина по натуре своей обманщица. Она скрытна. Она вся состоит из уловок примитивного общества, тогда как францисканец, доминиканец или монах из нищенствующего ордена персонифицируют христианское общество, каким его изобразили авторы написанного двумя веками раньше «Романа о Розе». Она способна бить своих детей из одного только удовольствия досадить мужу и злокозненно продемонстрировать ему, насколько мала доля его участия в их воспитании. Как говорилось в приключенческом романе, называвшемся «Амадас и Идуан» и пользовавшемся некоторым успехом в эпоху последних крестовых войн, она «охимеривает народ». Вийон назвал это «злоупотреблением верой». Любимая женщина «заставляет принимать мочевые пузыри за фонари».

Тот буржуазный мир, где экономия являлась базовой добродетелью, остро ощущал еще один отождествлявшийся с женской натурой порок: алчность. Ради какого-нибудь платья, драгоценности, вкусного обеда женщина пойдет на все. Та не подпускает к себе мужа, пока он не опорожнит весь свой кошелек, другая чередует праздники с любовными делами. Горе тому мужу, который поддается шантажу. Наши моралисты его предупредили: конца этому не будет. Он залезает в долги, выбивается из сил. Напрасно он жалуется:

«Когда мы устраивали нашу семью, то у нас почти не было мебели, и мы договорились купить кровать и все, что положено для постели, а также для комнаты, и много других вещей, и вот теперь у нас осталось очень мало денег».

Разочарования, обиды, ревности — все это в конечном счете прокладывает путь основному женскому пороку: неверности. Будучи легкомысленной, ветреной, супруга обходительна лишь со своими любезниками.

«Подумайте только, как она рвется танцевать и петь и как мало она почитает своего мужа, когда видит, что ее так почитают и выхваляют. И тут любезники, видя, как она хорошо одета да убрана жемчугами, каждый идет сам по себе, дабы заявить свои права. Ведь не секрет, что пригожий вид и игривость женщины делают дерзким даже робкого».

У клирика о браке представление особое, и он нагнетает зловещие, связанные с женской натурой. В число фатальных для мужской свободы явлений включается им и материнство. У будущей матери появляются «прихоти», она требует; муж пытается удовлетворить ее капризы, а тем временем к ней приходят кумушки, приходят и подливают масла в огонь, да еще разносят сплетни по всему кварталу.

«И почему же у меня не сделался выкидыш! Их было вчера пятнадцать степенных женщин, моих кумушек, которые оказали вам честь, когда вчера пришли, и которые оказывают мне честь везде, где бы они ни находились. А им даже не досталось мяса, которое есть у служанок в их домах, если они болеют. Я хорошо это знаю: я видела. А они ведь умеют смеяться между собой, я сама тому свидетель. Увы! Вот когда они находятся в таком состоянии, в каком я сейчас нахожусь, то, видит Бог, уж за ними и уход лучший, и пища дороже!»

Хорошо еще, если жена не морочит голову мужу относительно его отцовства. Ведь глуповатого мужа так легко убедить в чем угодно. И вот наш клирик иронизирует над тем, как беременная девица ловко имитирует потерю невинности.

«Приходит ночь. И тут будьте уверены, что мать хорошо просветила свою дочь и научила ее, как вертеться и кричать надо, дабы на девственницу походить. Матушка хорошо ее научила, чтобы она, едва почувствует штуку, сразу же издала бы громкий вопль со вздохом, какой издает непривычный человек, вдруг оказавшись по грудь в холодной воде совершенно нагим. Так она и делает, и очень хорошо играет свою роль».

Ну а муж, который не замечает своего рабства, остается единственным человеком, не знающим о своих несчастьях. Так клирик заранее отвечает на возражения тех балуемых женами мужей, что не пожелают признать себя в такой лишенной нюансов карикатуре на супругу и на весь институт брака; они, похоже, просто слепые. И соответственно, под защитой подобного ослепления цинизм супруги только усиливается, и чем хуже ведет себя жена, тем смешнее выглядит муж.

Ну а поскольку женщинам не составляет труда представить вещи, как им нужно, то родственники и друзья в свою очередь тоже оказываются обманутыми. И все начинают жалеть жену, стонущую по всякому поводу. Великими темами этих стенаний, которые, покачивая головами, выслушивают все жители квартала, являются нищета и усталость. Муж выглядит неспособным содержать в достатке свою семью. Приходится все делать бедной женщине. Мужчина может считать себя еще счастливым, когда вся улица не оповещается о его неудачах в постели. В противном же случае даже проживающие по соседству мужчины, слепые в том, что касается их самих, присоединяют свои ироничные голоса к концерту неудовлетворенных женщин.

За всеми этими делами мужчина утрачивает свободу. И автор «Пятнадцати радостей супружества» с выдающей его личную заинтересованность страстностью формулирует еще одно опасение, призванное уберечь холостяка от алтаря: брак означает конец всем честолюбивым замыслам. Когда у тебя есть жена и дети, то на карьере просто не остается времени. Отлучаясь из дома даже на самый короткий срок, рискуешь навлечь на себя упреки и стенания. К тому же путешественника ждут неприятные сюрпризы, когда супруга, устав дожидаться ставшего проблематичным возвращения, слишком поспешно начинает считать себя вдовой.

## **Мезальянсы**

Молодая жена и старый муж испокон веков предоставляли удобный материал для более или менее тонко над ними иронизировавших сатириков. Поскольку роды нередко заканчивались смертью роженицы, вдовцов было много. Их повторные браки хотя и забавляли публику, хотя и расшатывали социальные структуры, но, по существу, никого не удивляли. Однако, как полагает клирик-женоненавистник, разница в возрасте выставляет в смешном свете прежде всего мужа. Муж надеется обрести приятность и благоволение. А получает насмешку. Надо сказать, что в этом месте клирик ощущает некоторое замешательство: ведь должен же был прежний опыт чему-то научить старика. Не имея возможности списать опрометчивость на счет ослепления, автор «Пятнадцати радостей» злорадно перечисляет неприятные неожиданности, встречающие вдовца,

остановившего свой выбор на молодой и красивой женщине. Оказывается, что по сравнению со вторым браком первый — просто пустяки! Женщина здесь даже выглядит достойной снисхождения — настолько глуп отважившийся на это безрассудное предприятие мужчина.

«Подумайте, как она, молодая, нежная, со сладким дыханием, может терпеть старика, который будет всю ночь кашлять, плевать и жаловаться, который чихает и издает другие звуки. Хорошо еще, если она не порешает себя убить...

Ведь то, что будет делать один, окажется супротиву удовольствия другого. Рассудите же, насколько это разумно — ставить две противоположные вещи вместе...

Когда любезники видят красивую молодую девушку, вышедшую замуж за такого человека или за дурака, то они начинают ее подстергать, так как думают, что она должна легче внять их доводам, чем другая, у которой муж молодой и проворный».

Не лучше обстоят дела и тогда, когда молодой человек женится на женщине в годах, например на вдове, имеющей кое-какое состояние, но в то же время имеющей и опыт управления мужьями.

«Раз он, молодой, рядом с ней, она становится ревливой, так как сластолюбие и лакомство молодой плотью молодого человека делает ее прожорливой и ревливой. И она всегда хотела бы держать его в руках...»

Кроме разницы в возрасте существует еще разница в социальном положении. Она вносит раздор во многие супружеские пары. Ведь мезальянс не является привилегией подавленных преступной страсти аристократов: в реальной жизни союз принца и пастушки встречается не часто. Мезальянс — это также порок многочисленных буржуазных браков. Порой служанке удается женить на себе старика хозяина. Или, например, молодой подмастерье женится на богатой вдове, счастливой оттого, что ей удалось застраховать себя от одиночества в обмен на то богатство, которым она обеспечила своего мужа. Мезальянс — это в такой же мере дитя любви, как и дитя жадности. Так или иначе, но приходит день, когда один из супругов начинает попрекать другого врученными ему благами.

В представлении женоненавистника-клирика, естественно, виноватой оказывается женщина, черпающая аргументы в своем богатстве, дабы притеснять всем ей обязанного мужа. Неимущий муж превращается в простого работника своей собственной жены. А его ухаживания отвергаются. Даже славный, хотя и наивный муж, которого некогда удачно нашли, чтобы выдать за него беременную дочь, и тот может быть уверен, что в один прекрасный день с ним тоже поступят нехорошо.

Приходит время, когда вышедшая замуж за неровню женщина призывает на помощь. В дело вмешиваются ее братья. Как, впрочем, и ее дружки. Рано или поздно она все равно идет к своим любезникам, которых находит в своей первоначальной среде. Подобные браки можно объяснить любовью и сложившимися обстоятельствами, но в конце концов они разрушаются из-за непоколебимости вкусов и социальных привычек. Женщина не изменится только оттого, что она вышла замуж.

«Случается, что жена оказывается более родовитой, чем он сам, или более молодой, а это две очень важные вещи, так как нельзя сильнее развратиться, как тогда, когда позволяют сковать себя оковами, коими является отвращение, преодолеваемое вопреки природе и разуму».

Примером неприятельной карикатуры на социальную необходимость, широко представленной в фавлю и соти, является союз богатого простолюдина с благородной дамой, выданной за него насильно. В буржуазном репертуаре плохая роль доставалась тут супругу, тогда как молодая и красивая девушка из хорошего рода молча сносила выходки того единственного мужа, которого смог раздобыть ей отец: мужа достаточно горбатого, достаточно жадного и вдобавок ревнивого. Если бы мезальянсы выпадали в удел лишь дворянским дочерям, то все было бы просто и мы имели бы здесь всего лишь определенный литературный тип. Однако следует учитывать, что в разделенном перегородами средневековом обществе все же существовали кое-какие социальные переходные мостки, и вот брак дочери как раз и был одним из таких мостков. И жертвами мезальянсов становились не только дочери баронов или советников Парламента, но на свой лад также и дочери мясников.

Дать приданое за одной дочерью оказывалось гораздо легче, чем за шестерыми. Поэтому зажиточный буржуа без всяких угрызений совести отдавал младшую дочь зятю, согласному взять ее без приданого. А с другой стороны, безденежный обладатель высокого титула тоже не слишком копался, когда ему удавалось жениться на незнатной, но богатой наследнице. В написанном двумя веками раньше фавлю на это уже обращалось внимание:

*Сквернит свой род барон иль граф,  
Простую девку в жены взяв.  
Неужто им и невдомек,  
Что честь менять на кошелек  
И счет вести чужим деньгам —  
Не выгода, а сущий срам?*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Перевод Ю. Стефанова.

Не следует забывать и то, что у каждой медали есть обратная сторона и что любая «прекрасная» партия, рассматриваемая как веха на пути социального восхождения, кем-то другим воспринимается как типичнейший мезальянс.

Ну а в тех случаях, когда речь шла лишь о забаве, мужчины к мелочам не придирались. Вельможи никогда не пренебрегали служанками и пастушками. И буржуа понимал, какая в этом может крыться опасность: что кто-нибудь из власть имущих вдруг пожелает его жену.

«Старайтесь не принимать участия в праздниках и танцах, устраиваемых слишком большими вельможами. Это вам совсем не подходит и не соответствует ни вашему положению, ни моему».

## **Матушки и кумушки**

Одним словом, женатый человек чувствует себя как в осажденной крепости, причем даже и в тех случаях, когда он, подобно автору «Парижского домовода», давшего своей молодой жене этот совет, полностью ей доверяет, а она его доверие оправдывает. Дело в том, что женская солидарность устраивает вокруг супруга настоящий заговор, о котором рассказывали еще фавлю XIII века. Если супруга ветрена, то ей дает советы и обеспечивает алиби ее мать. А если она сварлива, то ее стенания лучше всякого эха разнесут кумушки. Женщины с удовольствием организуют кампании поношения, чернящие репутации, а то и разрушающие целые состояния.

«Горничная уходит и говорит кумушкам, что мать их приглашает к себе. И кумушки приходят к матери домой и усаживаются у хорошо растопленного камина, если на дворе стоит зима, или на тростниковые стулья, если дело происходит летом.

А первое, с чего они начинают, это с питья, и пьют, что есть лучшего».

Так обсуждаются дела мужа. Хор женщин под управлением тещи походя превращает семейные невзгоды в заунывное перечисление преступлений. «Ах, он не стал есть тот паштет? Ах, какая жалость! Что же, несчастье совсем отбило у него аппетит? Ну и ладно, поправится сам, если Богу будет угодно!» Что бы он ни делал, над ним за его спиной постоянно насмеваются. Безмерно рада и челядь поучаствовать в злословии и дать те показания, которые от нее желают услышать. И вот уже сложилось единодушное мнение всего квартала: жене приходится и дом в порядке содержать, и детей воспитывать, а муж у нее настоящий трутень.

«Государь, говорит кормилица, вы себе не представляете, как трудно приходится госпоже, как тяжело нам прокормить семью.

Честное слово, говорит горничная, вам должно быть стыдно, что, когда вы приходите с улицы и весь дом должен был бы радоваться вашему приходу, вы только и делаете, что шумите!»

Вся семья настроена против него. Притесняемый со всех сторон несчастный муж видит, что ему ничего не удастся добиться, и он, весь промерзший, голодный, идет спать, не поужинав и не зажигая огня. И тут дети начинают кричать. Хозяйка и кормилица договариваются между собой их не успокаивать. Ночь отца семейства испорчена. Чего и добивались.

«Домовод» знает, чего стоят кумушки, и пытается оторвать от них свою молодую супругу. Он рассказывает притчу про одну больную женщину, которая, пытаясь избавиться от докучливых вопросов посетительницы, говорит ей, что она только что снесла яйцо. Ну а по мере того, как новость передавалась от одной кумушки к другой, яиц оказалось столько, что хватило на целую корзину. И притча заканчивается абсолютно однозначным афоризмом, который среди обычно доброжелательных высказываний «Домовода» звучит вдруг неожиданно резко:

«Самое плохое — это когда женщины начинают рассказывать друг другу истории. Каждая старается добавить что-нибудь новое и к чужим вракам добавляет еще свои».

Этот мужской и женоненавистнический взгляд на вещи свойствен и Вийону. Единственная его похвала в адрес женщин — в первую очередь в адрес парижанок — является похвалой их языку. Женщина Парижа выглядит говорливейшей среди самых болтливых. А ведь у других язык тоже хорошо подвешен.

*Не умолкает и в церквах  
Трескучий говорок испанок,  
Есть неумные в речах  
Среди венгерок и гречанок,  
Пруссачек, немок и норманнок...<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 102. Перевод Ф. Мендельсона.

Однако, будь они хоть профессорами красноречия, перед парижанками все должны отступить. Две рыбные торговки на Малом мосту способны заткнуть рот любой болтунье. Восхищение поэта не должно сбивать с толку: он любит поболтать с девицами, но не забывает, что этот острый язык способен больно жалить.

*Принц, первый приз — для парижанок:  
Они речистостью своей  
Заткнут за пояс чужестранок!  
Язык Парижа всех острей.<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 103. Перевод Ф. Мендельсона.

## **Супружеская жизнь**

На улице этот язык хорош. Но не у себя в доме... Ну а что касается брака, то о его успехе либо неуспехе судят по прошествии многих лет: итоги всех доводов в пользу матримониального института и против него подводят, глядя на пожилую супружескую пару. И тут, не опасаясь противоречия, циничный автор «Пятнадцати радостей» утверждает, что в конце концов муж оказывается совершенно изнуренным, а жена — торжествующей. Ведь супруга стареет не столь быстро, так как оставляет мужу все тяготы профессиональной жизни и заботы о материальном благосостоянии семьи. Похоже, что выжившая после родов супруга лучше мужа защищена от повседневных тягот. В совместной жизни у нее, стало быть, лучшая доля.

«Получается так, что молодой человек, бодрый и здоровый, женится на славной девушке, которая становится степенной женщиной, и они имеют совместно наслаждения, сколько могут их получить за один год, за два года, за три года, пока не охладится их молодость. Но женщина не изнашивается так быстро, как мужчина, к какому бы сословию он ни принадлежал, потому что она не берет на себя все тяготы, все труды, все заботы, которые есть у него.

И то верно, что женщина, когда она беременна, то движения ее затруднены, и рождает она с превеликим трудом и болью. Но это такая малость, если сравнить с теми заботами, которые сопровождают разумного мужчину, глубоко размышляющего о всех важных вещах, находящихся в его ведении».

У нас, наследников трех картезианских веков, естественно, возникает вопрос к автору, вопрос о том, как мужчина может сгибаться под грузом ответственности, если все решения за него принимает жена. Современник Вийона не отличается такой дотошностью. В действительности же в этом карикатурном видении неровно состарившейся супружеской пары, очевидно, отразилась картина той реальности, о которой уже шла речь: повторный брак вдовца зачастую превращает молодую и еще очень активную женщину в истинную хозяйку дома, в то время как мужу остается лишь горько пенять на свой возраст. Недоброжелательный клирик извлекает из этой ситуации соответствующий его предубеждению вывод: женатый человек вступает в зрелый возраст в дряхлом состоянии. Он вынес на себе всю тяжесть жизни. И у него хватает силы лишь на то, чтобы... покориться жене.

«Умудренный жизненным опытом муж старается не шуметь и не тревожить свою семью, он все переносит терпеливо и садится далеко от камина, хотя ему очень холодно. А супруга его и дети садятся поближе к огню.

Получается, что за свои великие труды и страдания, бессонные ночи и холод, которые он испытал, чтобы заработать добро и жить в чести, подобно другим людям, или же из-за несчастной случайности или из-за старости бедняга становится больным либо подагрой, либо чем-то еще, так что даже подняться не может с того места, где сидит, ни уйти, или у него отнялась нога или рука, или с ним приключились другие несчастья, которые со многими случаются. И тогда все кончается, и удача его покидает, потому что жена оказывается в более выгодном положении, она лучше, чем он, сохранилась и будет отныне делать только то, что ей будет угодно».

Все завершается торжеством женщины. Поздно сожалеть о том тяжком крестном пути, каковым была супружеская жизнь. В лучшем случае, дабы не выглядеть смешным, старый супруг может сказаться счастливым. Другие его послушают и в свою очередь тоже угодят в ловушку. Возможно, что кто-нибудь из еще не сделавших своего выбора, еще свободных клириков или школяров, извлечет из чтения «Пятнадцати радостей» уроки, которые уберегут его от глупости.

В этой ситуации не следует удивляться тому, что в речи Вийона мы обнаруживаем тождество брака и смерти. Эта речь не является его отличительной заслугой. Вийон гениально владел словом, а вот идею он почерпнул в той среде, которую посещал. Баллады на жаргоне делают это тождество еще более очевидным, «Свадьба», о которой говорится в первой балладе, — это повешение. А «сват» из пятой баллады — это палач. Само собой разумеется, что жених — это повешенный.

Подобная символика отнюдь не являлась прерогативой жаргона тех отбросов общества, среди которых, став бродягой, вращался поэт. Например, почтеннейшие мастера из корпорации канатчиков, говоря об обеспечении всем необходимым «свадьбы», имели в виду продажу новой веревки палачу.

Если клирики и попадались в кабалу брака или же благодаря своей осведомленности избегали ее, то люди истинной веры держались от нее вообще в стороне. Они лишь изредка соглашались с женоненавистническими речами повес из будущего Латинского квартала. Моралисты и богословы, напротив, гораздо более сурово относились к мужчине, причем обличавшиеся ими пороки в совокупности составляли довольно похожий портрет некоего Вийона. Поэт здесь — это своеобразный типаж, легко узнаваемый его противниками.

Любитель выпить, игрок в кости, ленив, способен разорить семью, спустив деньги в таверне и у девок, — такое пугало нарисовал в начале XV века крупный богослов Жан Жерсон. Прежде чем стать в Констанце одним из самых внимательно выслушиваемых соборных отцов, Жерсон был в Париже священником церкви Сен-Жан-ан-Грев и канцлером в университете. Занимаясь делами Всемирной церкви, он не забывал в то же время и о ближнем. В частности, он предостерегал своих сестер и племянниц: зло — это мужчина. Не отменяя, но перевертывая рассуждения «Пятнадцати радостей», которые их автор никогда и не думал представлять как плод высокой духовности, весьма набожный и весьма ученый кюре церкви Святого Иоанна размечал

путь замужней женщины следующими вехами: лень, болтовня и, наконец, нищета. Ей более подобает жить одной и трудиться. Его «Малый трактат, увещающий предпочитать состояние девственности браку» вполне недвусмыслен: идеал — это девственница.

Или, точнее, «Весьма смиренная девственница». Эти клирики читали послания апостола Павла и несколько скоропалительно усвоили аксиомы, отвечавшие их собственному видению мира: «Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью!» Они весьма невнимательно отнеслись к Ветхому завету, где сказано, что нужно искать «сильную жену». И моралисты, и сатирики в конечном счете сошлись на том, чтобы сделать из женщины служанку.

Пессимизм этого клирика, похоже, роднит философию «Пятнадцати радостей» с философией баснописца, выразившегося: «Они слишком зелены...» Так или иначе, но супружеское благочестие «Парижского домовода» отвечает ему по всем пунктам, но не является его абсолютным опровержением. «Домовод», овдовев и недавно вновь женившись, хотел быть советником и своей молодой жены, и своей будущей вдовы, обратить ее внимание на те качества, за которые ей был бы благодарен любой муж, передать ей практические рецепты содержания дома в хорошем состоянии. Он рассказал и об искусстве обучения соколов, и о том, как надо бороться с крысами и мухами, и о том, как управлять челядью, не забыл изложить и основные принципы здоровой семейной экономики, а о супружеском счастье упомянул лишь между строк. Хотя надо сказать, что, будучи счастливым супругом, автор предпринимает меры предосторожности, дабы таковым и оставаться. Ярый патерналист, причем начисто лишенный женоненавистничества, этот добрый буржуа смешал воедино настоящее и будущее и вывел на сцену, не отделяя одно от другого, возможное и идеальное. Тональность его рассказа выдает человека спокойного и довольного своей судьбой. Он человек глубоко порядочный, хотя и не лишенный фатовства.

«Насколько я припоминаю, все, что вы делали с самого дня нашей свадьбы и до настоящего дня, было благим и для меня приятным... Мне в удовольствие смотреть, как вы ухаживаете за розами, за фиалками, как вы делаете из цветов венки, как вы танцуете и поете».

Клирик писал не столько для того, чтобы действительно предостеречь людей от вступления в брак, сколько для того, чтобы посмеять других клириков. А буржуа писал, чтобы просветить свою жену и одновременно продемонстрировать свою ученость. Он желал предстать в глазах своих читателей хорошим домоводом и одновременно показать, какой он проницательный психолог. Перечисляя заботы, которые человек его ранга вправе ожидать от жены, он, по существу, воздвигал свой собственный пьедестал. Супружеское счастье — это его стихия и его образ жизни. Но это царящее в его зажиточном буржуазном доме счастье помимо материального достатка и крепкого эгоизма включает еще один весьма важный элемент — его жену, являющуюся его верной служанкой, внимательной и ненавязчивой, трудолюбивой и скромной.

«Мужчинам — труды и старания вне дома. Мужья должны заниматься многими делами, ходить туда-сюда в дождь и снег, в град и ветер: то его вымочит, то его высушит, то он вспотеет, то промерзнет, то промочит ноги, то не поест, то не выпит, то не найдет подходящего пристанища.

Но от всего этого он не расстраивается, потому что его укрепляет надежда на заботы, которыми его окружит жена, когда он вернется домой, укрепляют мысли о покое, радостях и удовольствиях, которые она ему доставит, какие сама, а о каких распорядится: разует перед горячим камином, вымоет ноги, обует в свежие туфли, хорошо накормит, хорошо напоит, хорошо услужит, хорошо уложит в белых простынях, накроет тело и голову, положит сверху теплые меха и усладит другими радостями и забавами, приватностями, любовью и тайнами, о коих умолчу. А назавтра — чистое белье и новые одежды».

В том, что касается комфорта, никто из авторов не делает сколько-нибудь заметного различия между тем, что мужчина ждет от супруги, от служанки или от любовницы. Какое имеет значение, кто зажжет огонь и постирает белье; суть в том, чтобы тебя хорошо «обслужили», как истинного господина. А какова же роль брака в забавах и «приватностях»?

Согласие ведет к наслаждениям, ночь требует чистого белья, ванна подготавливает к любви. Все уместается в этом мужском восприятии вещей, где славная трапеза выглядит одновременно и подготовкой, и итогом. После ночи любви молодая любовница, про которую рассказывает тот же «Парижский домовод», не одобряя, однако, ее поведения, подает своему

любовнику чистое белье и красивые свежие туфли. Если предлагают ванну — это свидетельство страсти, а в натирании спины гигиена сочетается с эротизмом. Ублажение плоти является элементом любовной литургии, а любовные удовольствия дополняют общую картину жизнелюбия. Карл Орлеанский так представлял себе спокойное счастье человека перед любовным свиданием:

*«Обед иль лодка, ужин или ванна».*

И эту странную строку он сделал рефреном не менее странного рондо про куртуазную любовь.

*Кому услада высшая желанна,  
Кого божественный прельщает хмель,  
Пусть будет насыщаться неустанно  
Речами дам, вкушающих форель<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Перевод Ю. Стефанова.

Однако, соединяя в едином образе идеальной женщины супругу и любовницу, наш славный буржуа умолчал об одной вещи. Ожидая и от любовницы, и от жены теплой ванны для ног, чистых полотенец и пирогов с поджаренной корочкой, он оставил за собой право ругать свою супругу. Если санкцией против любовницы являлся уход, то санкция против жены — гнев супруга. Единственное, что может посоветовать «Домовод» женщинам, на которых ругаются их мужья, — это пойти к себе в комнату, выплакать там все наблевшее, «в тишине и негромко», и пожаловаться Богу.

Этот славный человек в общем и целом был доволен своей женой, и ему казалось, что подобное указание должно его жену удовлетворить.

Естественно, он отнюдь не презирал забавы в супружеской постели. Однако для страсти в его счастье места не нашлось. Чаще всего браки мелкой торговой и судейской буржуазии заключались более или менее по рассудку, и нежность в них тоже была скорее рассудочная. У любви не столь простые пути, и то, что буржуа называл любовью, было, как правило, всего лишь разновидностью подчинения.

«Повинуясь добровольно, добропорядочная женщина обретает любовь своего супруга и в конечном счете добивается от него всего, чего хочет».

Наслаждения

«Домовод» смотрел на вещи трезво. И за его сдержанностью угадывается осведомленность о «красавцах любезниках», которые, как пытался уверить циничный клирик, завладели благорасположением чуть ли не всех жен.

Так же сдержан он и в отношении измен мужа. Их нужно понять, и вот «Домовод» помогает это сделать, рассказывая историю одной великодушной женщины, некой Жанны Ла Кентин. У той был муж, Тома Кентин, а у мужа была любовница. Мужчина отнюдь не отличался изысканными манерами. И спокойно смотрел на лишения «бедной девушки, прядильщицы шерсти на прялке», думая лишь о том, чтобы получать удовольствия. Супруга отправилась к его любовнице с единственной целью сделать ей выговор. Однако, увидев царившую у нее в доме нищету, она предпочла помочь ей одолеть нужду. Дабы «уберечь мужа от всякого осуждения».

Значит, иметь любовницу казалось менее предосудительным, чем оставить ее без съестных припасов, без сала, без дров, без угля, без свечи. Хотя этот сюжет с другими персонажами встречается не только у «Парижского домовода», не исключено, что событие все же действительно имело место, так как личность Жанны Ла Кентин — не плод воображения автора. И вытекающая из рассказа мораль достаточно снисходительна, что является еще одним доводом в пользу его достоверности. Хотя история эта и выглядит назидательной, ее нельзя назвать исключительной.

Дело в том, что замужняя женщина нередко потворствовала изменам своего спутника жизни. В супружеских отношениях она видела угрозу деторождению, опасность которых с годами возрастала, в то время как интенсивность удовольствия ослабевала. Родив до тридцати лет пять-

шесть детей, она приходила к выводу, что этого достаточно. Бесплодие периода кормления позволяло избежать ежегодного зачатия, но в зажиточных семьях имелись кормилицы, отчего тяготы быта у жен буржуа уменьшались, супружеские обязанности становились вновь плодоносящими. Поэтому супруга была заинтересована в изменах, коль скоро они утихомиривали мужа, а рисковала при этом другая. Несмотря на указы, запрещающие «распутницам» принимать женатых мужчин, буржуа пользовались их услугами как в банных заведениях, так и на дому, порой имели также и бескорыстных любовниц, и жены были заинтересованы в таком положении вещей.

При этом жены стремились даже обезопасить своих мужей от неблагоприятных последствий. Жанна Ла Кентин без обиняков объяснила это бедной прядильщице, а «Парижский домовод» передал ее слова, не заметив комизма ситуации:

«Насколько я могу судить, человек он хороший. И я всегда делала все, что было в моих силах: хорошо его кормила, хорошо поила, хорошо утешала, хорошо согревала, хорошо стелила и хорошо укрывала. А у вас, я вижу, мало что есть, чтобы его холить. И мне будет приятнее вместе с вами сблещать его в добром здравии, нежели он у меня одной будет больным».

И вот Жанна Ла Кентин, дабы ее муж не возвращался к супружескому очагу с бронхитом, взялась поправлять хозяйство бедной прядильщицы.

В тех случаях, когда супруга меньше опасалась неприятных неожиданностей или когда она оказывалась защищенной от них противозачаточными «пагубными секретами», неустанно обличавшимися в проповедях и наставлениях исповедника, то она получала удовольствия отнюдь не в лоне семьи. Автор «Пятнадцати радостей» относился к женщинам весьма враждебно, и все же ему пришлось признать, что муж ни в какое сравнение с любовником не идет. Надо сказать, что признание это далось ему легко, поскольку он, будучи клириком, признавался в вине своего пола, бия в чужую грудь.

Впрочем, здесь впору бы и удивиться. Ведь один и тот же человек в одной ситуации выступал в роли мужа, а в другой — в роли любовника. Чередуя более тонкий, чем обычно, психологический анализ с циничными рассуждениями, составляющими сущность его аргументации, клирик-женоненавистник объяснил драму буржуазной семьи и пришел к выводу, что наслаждения и брак — вещи разные.

«Она делает своему другу сотню дел, и показывает любовные секреты, и изображает всякие томности, которые никогда не осмелится ни сделать, ни показать своему мужу. И ее друг тоже доставит ей все наслаждения, которые только в его силах, и сделает множество маленьких ласк, от которых она получит большое наслаждение, которое никакой муж дать ей не сможет. И даже если муж умел хорошо это делать задолго до того, как женился, то позабыл, потому что обленился и поглупел. А еще потому не хотел бы он делать этого своей жене, что ему казалось бы, что он ее научает тому, чего она не знает совсем».

Когда у дамы есть друг для забав и они могут встретиться, когда наступит ночь, то они сумеют доставить друг другу столько радостей, что и сказать никто не может сколько, а муж тут ни во что не ценится. И после таких удовольствий дама от забав со своим мужем получает столько же удовольствий, как знающий толк в вине человек получает их от смеси скверных вин после того, как отведал хорошего глинтвейна или бургундского вина».

Естественно, смесь скверных вин начисто лишена приятности! Мораль, однако, тут весьма проста: есть такие вещи, которые в браке не делаются. Муж — плохой любовник уже просто потому, что муж не является любовником.

Вийон говорил в своих стихах именно это: для женщины хорош любой мужчина, причем несколько любовников лучше, чем один. Покидать, возвращаться, любить тайно — таковы правила игры. Искренен ли был поэт, говоря об адюльтере как о преддверии проституции? Неужели он действительно видел в оплачиваемой по времени любви следствие фантазий «Романа о Розе» — «Все женщины для всех мужчин и все мужчины для всех женщин!» — и неужели его предубеждение делало его настолько слепым, что он не замечал нищеты? Вполне возможно, что это именно так. Вийон обличал женскую алчность. Однако ему и в голову не приходило, что те женщины зарабатывали себе на жизнь. «Оставим потаскух и будем любить только порядочных

женщин», — рассуждал буржуа. На что Вийон отвечал: а разве не честны и эти девки тоже. По крайней мере таковыми они все были. И опустились на дно из-за любви.

*Да, были все они честны,  
И честными не зря их звали  
До первой памятной весны.  
Коль правду говорят, вначале  
Они по одному избрали,  
Монаха — эта, та — писца,  
И с ними вместе заливали  
Огонь, сжигающий сердца<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 60. Перевод Ф. Мендельсона.

А потом стали нечестными. Еще раньше, чем испортилась их репутация. Этим сказано все: честность не в ладах с чувственностью.

*Как Грациан сказал о том,  
Сначала робко и несмело  
Встречались с милыми тайком, —  
Другим до них какое дело!  
Но это скоро надоело,  
Любовь рассеялась как дым,  
И та, что быть с одним робела,  
Теперь ложится спать с любым<sup>1</sup>.*

От одного любовника переходят к нескольким. От тайной страсти переходят к публичному разврату. И при этом камнем преткновения оказывается тайная любовь. Хотя Вийон и развлекался тем, что цитировал «Декрет», то есть свод канонического права, чтобы оправдать тайну, его основная мысль заключается в оправдании физической близости, причем любовнику место отводилось — будь то монах, клирик или мирянин — в сфере дозволенной любви. Репутация любовника от этого не страдает. Нисхождение начинается потом.

*Но что влечет их в этот срам?  
Скажу без тени порицанья:  
Всему виной натура дам,  
Привычка расточать лобзанья...<sup>1</sup>*

Поэт позволяет обличительному порыву увлечь его за собой. Сначала кажется, что он и действительно не склонен порицать. Но вот он резко заканчивает свою мысль:

*И... не рифмуется название.  
Но вот что говорят порою  
Неверным женам в оправданье:  
«Шесть больше сделают, чем трое!»<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 61. Перевод Ф. Мендельсона.

Вот мы и подошли к морали «Романа о Розе»: шесть любовников доставляют больше удовольствия, чем трое.

Однако дурное поведение — это не любовь вне брака, а любовь за деньги. Показательна в этом отношении яростная реакция Тома Кентина, обнаружившего в один прекрасный вечер в жилище своей молодой любовницы неожиданную дотоле роскошь. Набожный человек, каковым был Тома, просто не мог прийти в себя от изумления, увидев и запас дров, и медный таз, где ему помыли ноги, и чистую постель, и чистое белье, полученное им после пробуждения ото сна. Ему и

в голову не приходило, что тут постаралась его жена. Все это, по его представлениям, могло появиться только нечестным путем.

«Он очень удивился, когда все это увидел, и сделался очень задумчивым. И пошел он слушать мессу, как имел обыкновение это делать, а потом вернулся к девушке и сказал ей, что все эти вещи пришли из дурного места, и очень зло обвинил ее в дурном поведении...»

Моралисты того века разделяли практичную мораль нашего славного буржуа: в физической любви нет ничего дурного до тех пор, пока она проистекает из свободного выбора, является выражением свободной склонности. Долгая литературная традиция отводила дочери хозяина функцию престижного украшения постели заезжего героя. Ведь приходила же юная Бланшфлор в легкой сорочке в постель, где спал Персеваль Кретьена де Труа, и предлагала же мудрая Эсколас свои прелести и свое общество Персевалью Жербера де Монтрея.

«И сказала она ему очень изящно на ухо, что если ему нравится ее проступок, то ляжет она с ним в постель».

А когда Ланселот забирался в постель к королеве Женевиеве, то они получали «радость и чудо».

За два истекшие с тех пор века умонастроения не переменялись. Люди, не мудрствуя лукаво, выполняли любовные жесты и столь же свободно о них говорили. Богословы были единственной прослойкой общества, которая категорически осуждала любовь, не освященную брачными узами. Однако, беря на себя функции моралиста, буржуа, несмотря на внешние различия, в конечном счете начинал рассуждать, как Вийон: единственный грех — это падение. По крайней мере если речь идет о женщине, а наш «Домовод» не скрывал, что он заботится о спасении своего потомства.

«Есть два примера добродетели, одна из которых состоит в том, чтобы честно блюсти вдовство или девственность, а другая — в том, чтобы блюсти брачные узы или целомудрие. Знайте же, что в женщине, у которой запятнана или находится на подозрении одна из этих добродетелей, погибают и уничтожаются все ее достоинства: богатство, красота тела и лица, родовитость и все остальное. Конечно же, в этих случаях все погибает и стирается, все умирает без надежды на возрождение, с того самого раза, как на женщину хоть единожды падает подозрение или когда она уже изобличена...

Видите, под какую вечную угрозу ставит женщина свое счастье и честь рода своего мужа и своих детей, когда она не избегает, чтобы о ней говорили с таким порицанием...»

В том мире метафор, каковым была средневековая риторика, всему нашлось свое место: и вопросам пола, и вопросам брака. Буржуа знал, что говорил: пусть его жена блюдет «брачные узы или целомудрие». Между тем и другим он ставил знак равенства. Вийон и сам был в курсе этой риторики и, предлагая своим читателям двусмысленные образы и многозначные слова, имел все основания полагать, что его поймут. Все жившие в том мире, включая и самых великих, и самых малых, знали, что такое колбаса между двумя окороками, что такое скачка без седла или игра в осла. И, покидая Париж в 1457 году, поэт совершенно отчетливо сформулировал свое желание найти в другом месте замену той, которую он оставлял или которая оставила его. Говоря, что покидает «весьма влюбленную тюрьму», и клянясь отомстить «всем венероликим богиням», он играл на несоответствии между внешним и подразумеваемым смыслами слов и пояснял, что отправляется на поиски другой партнерши:

*В иной уголок постучусь,*

*Иные засею поля!<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Перевод В. Никитина.

## **Глава XI**

**Вот книги, все, что есть, бери...**

## Авторитеты

«Будь я прилежным школяром...» Вийон был не против убедить своих читателей, что он стал жертвой своей прежней лени и что потом исправлять что-либо было уже поздно. Суть его мысли совершенно очевидна: зачем сейчас работать, если потерянного времени уже не вернешь.

А убедив в этом, нетрудно заставить поверить и в то, что все его творчество состояло из вдохновения, что оно сводилось к жизни и смерти. Вийон любил изображать из себя поэта, никому и ничем не обязанного. Естественно, кое-что он прочитал. И этого не пытался скрывать. Чтобы получить степень магистра, ему пришлось потратить несколько лет на освоение интеллектуального инструментария схоластов. Однако, занимаясь стихосложением, он отзывался о прочитанном с большой иронией. За исключением «Романа о Розе», о котором поэт отозвался с похвалой, правда не соизволив рассказать, сколь многим он ему обязан, все остальные упомянутые им книги Вийон неизменно высмеивал.

Круг чтения школяра Вийона определялся составом библиотеки его покровителя магистра Гийома, а также, очевидно, и составом библиотеки капитула Сен-Бенуа-ле-Бетурне. Должно быть, именно поэтому, внося изменения в один лишенный какого бы то ни было сарказма пункт «Завещания», он счел нужным подарить славному Гийому де Вийону именно его библиотеку. Библиотека Франсуа Вийона — это не что иное, как библиотека капеллана Гийома.

В университете в описываемую эпоху еще не существовало центральной и доступной всем студентам библиотеки. Каждому студенту приходилось довольствоваться теми книгами, которыми располагали его коллеж или его педагогия. Большими возможностями по сравнению с другими учащимися располагали стипендиаты Наваррского коллежа и Сорбонны.

Существовали, естественно, и книжные лавки, где продавались переписанные писцами книги. Однако клиентура книготорговцев при университете складывалась отнюдь не из неимущих клириков, лишенных возможности попасть в коллеж и получить таким образом комнату, стипендию и учителя. Круг замыкался: тот, кто был слишком слаб, чтобы поступить в коллеж, оказывался одновременно и слишком беден, чтобы купить книги. Оставалось лишь слушать то, что говорилось во время занятий, и по возможности схватывать все на лету.

А вот одалживались книги часто. Для мозга, натренированного такой педагогической системой, где все еще полновластно царило «наизусть», зачастую хватало одноразового прочтения, чтобы запомнить цитаты, превращавшиеся в фундаментальные «авторитеты» диалектики и в типы рассуждения, которые в дальнейшем организовывали и закрепляли мыслительные структуры. Все заимствования Вийона, как признанные им, так и не признанные, явились результатом таких вот быстро, но отрывочно усвоенных чтений.

Восстановить окружавший Вийона мир книг мы можем без труда. Мы не знаем состава библиотеки славного капеллана Гийома, но зато можем перечислить список книг, имевшихся в распоряжении его коллег. Например, нам известно, чем располагали Николя де Байе и Клеман де Фоканберг, каноники из Собора Парижской Богоматери, и тот и другой в разное время выполнявшие функции секретаря Парламента. У одного из них было двести книг, у другого — двадцать шесть. Гийом де Вийон, вероятно, имел книг десять-двадцать. Сознательно или непроизвольно поэт применительно к себе фразу Пилата: «Что я написал, то написал», ответившего отказом на просьбу иудеев изменить надпись на кресте? Возможно, Вийон вкладывал в эти слова глубокий смысл и, представляя себя жертвой, просто-напросто ждал, чтобы его судили по его делам и по тому, что он написал.

*Ведь не монах я, не судья,  
Чтоб у других считать грехи!  
У самого дела плохи.  
О Господи, я сир и мал,  
Прости мне грешные стихи, —  
Что написал, то написал!*<sup>1</sup>

Составляя во славу своего друга Жана Котара каталог оказавшихся в раю великих пьяниц и называя по порядку Ноя, спящего обнаженным в присутствии своих детей, Лота, совершившего инцест со своими дочерьми, Архетриклина, подававшего в Кане гостям воду вместо вина, Вийон черпал в старом резервуаре шуток, из поколения в поколение повторявшихся клириками до и после питья. Не исключено, что так же он поступал и тогда, когда обыгрывал строчки псалма «Deus laudem» («Хвала Господу»), чтобы, не говоря этого открытым текстом, пожелать смерти своему гонителю епископу Орлеанскому. Элементарная шутка церковного певчего — прочитать при епископе псалом, в котором на языке Вулгаты, то есть латинского перевода Библии, «общественная повинность» звучит как «episcopatum», в результате чего получается: «Да достанется его епископство другому!»

А вот когда Вийон поминает «Мудреца», в действительности же Экклезиаста, то можно подумать, что он дословно цитирует Библию. Однако он приводит лишь начало стиха: «Веселись, юноша, в юности твоей», пренебрегая продолжением, где юность отождествляется с суетой. Однако он говорит то же самое, но другими словами; он хорошо знает и этот текст, и текст книги Иова, выражающего свое отчаяние: «Дни мои бегут быстрее челнока и кончаются без надежды».

*Бесследно разлетелись дни,  
И не вернуть уже былого.  
Ткач, сколько нитку ни тяни,  
До края заткана основа...<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 44. Перевод Ф. Мендельсона.

<sup>2</sup> Там же. С. 42.

Или вот еще одна типичная шутка клирика, построенная на частичной омонимии слова «спасение» в религиозном смысле и так называемого «салюдора», золотой монеты с изображением ангела Благовещения, выпущенной во времена английской оккупации:

*Ave Decus virginum,*

*Ave Salus hominum!*

«Слава девичьей чести», — звучит гимн, прославляющий Богоматерь. «Слава спасению людей», — означает вторая строчка. А Вийон осуществил чудовищную акрофоническую перестановку:

*Ave salus, libi decus!*

В результате получилось: «Слава тебе, золотая монета». Звучит кощунственно, даже если не принимать во внимание особенностей произношения, дающихся с учетом рифмовки («Слава тебе, задница») <sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Decus (лат.) и Des culs (франц.) — произносятся одинаково. Прим. перев.

На базе Священного писания выросла целая ветвь литературы, оказывавшая влияние на литургию. Николя де Байе, будучи человеком, интересовавшимся разного рода теологическими спекуляциями, имел в личной библиотеке для углубления своей веры два десятка книг: от трактата Бозция о Троице до антологии сочинений Августина Блаженного. К этой ветви добавлялась еще назидательная литература. «Письма» и «Утешения» святого Бернара, трактат «Сокрушение сердца» святого Иоанна Златоуста, «Послание о таинствах» святого Киприана. «Толкование» Беда, посвященное книге Иова, «История бедствий» Поля Ороза, трактат «О жизни и нравах» святого Ансельма Кентерберийского — все это служило для того, чтобы осмысливать и толковать основополагающие тексты и традиционные формулы веры. Даже Фокамберг, значительно в меньшей степени являвшийся теологом, чем его предшественник на посту секретаря, и то имел в своей библиотеке трактаты парижского епископа Гийома Овернского, авторитетного автора XIII века, трактат которого «О мире» синтезировал все теологические знания своего времени, тогда как в его же книге «О добродетелях» просто и гармонично излагалась моральная теология. Байе шел гораздо дальше: у него имелись письма Абеяра, «Сумма против язычников» Фомы Аквинского, а главное, ключевые для всей схоластики «Сентенции» Петра Ломбардского. Он был весьма

начитанным богословом и располагал даже комментарием мендского епископа Гийома Дюрана к «Сентенциям» Петра Ломбардского.

Читал ли Вийон эти классические книги? Слышал ли он хотя бы названия этих трудов, являвшихся основными источниками как литургических, так и университетских проповедей? Во всяком случае ссылался на них магистр искусств Франсуа де Монкорбье не часто. Например, однажды он упомянул про повара Макара, способного сварить целиком, «со всеми его волосами», самого дьявола, но это еще не значит, что «мученичество святого Бахуса», где фигурирует некий повар Макарий, принадлежало к числу его излюбленных чтений. В школярском мире Макером могли окрестить повара любой харчевни. Для этого достаточно было, чтобы когда-нибудь хоть один какой-то школяр прочитал то самое «Мученичество».

Если не считать нескольких аллюзий, религиозная культура Вийона выглядит не очень богатой. Ему известно, что Соломон из-за любви к женщинам стал идолопоклонником и что филистимляне выкололи Самсону глаза. Наука весьма скудная, причем почерпнутая из назидательных примеров. Имена, образы — и ничего больше.

*Влюбленного глупее нету:*

*Рабом любви был Соломон,*

*Самсон от чувств невзвидел света...<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 62. Перевод Ф. Мендельсона.

В тех библиотеках находились и книги античных философов. Правда, большинство текстов было представлено в сокращенном виде, и среди них выделялся свод наиболее необходимых для человека средневековья знаний «Брак филологии и Меркурия» Мартиануса Капеллы, своеобразный синтез интеллектуальных конструкций, создававшихся с V века, в том числе и того, что было написано Кассиодором в VI веке или Алкуином в VIII веке. Попадались на тех библиотечных полках и кое-какие фундаментальные тексты в русле платоновской логики, в частности «Грамматика» Присциана, «Риторика» Цицерона, равно как и разного рода компиляции, благодаря которым магистры схоластики имели под рукой античную мысль, сведенную к нескольким формулам; таков был «Поликратикус» Иоанна Солсберийского, краткое изложение политической экономики.

Некоторые из античных авторов были представлены в оригинале. Клирики читали Сенеку, Цицерона и Ювенала. Читали они даже Лукреция, а еще больше — Овидия, чья «Наука любви» среди грамотеев пользовалась популярностью, чьи «Письма с Понта» читались от случая к случаю и чьи «Фасты» имелись в библиотеке Николя де Байе. Вергилий с его «Энеидой» присутствовал повсюду. Встречались также Теренций, «Сон Сципиона» Макробия, «Утешения философией» Боэция.

Творчество Аристотеля было представлено достаточно широко, начиная с «Риторики» и кончая питавшими и обновлявшими средневековую мысль «Политикой» и «Никомаховой этикой», известными тогда в латинских переводах, а также во французских переводах епископа Николя Орема, одного из самых незаурядных советников Карла V. Николя де Байе, человек любознательный и имевший возможность покупать книги, был обладателем и такой книги, как «О правлении князей», сочиненной в свое время епископом Буржским Жилем Колонной, одним из наставников и советников Филиппа Красивого, сочиненной, дабы восславить политику разумной середины и правление мудрых людей. Располагал он также и «Письмами» Пьера де Виня, одного из политических советников императора Фридриха II.

Если не считать Аристотеля, то греки в подобных библиотеках отсутствовали. Игнорировались полностью и Гомер, и Пиндар, и Эсхил, и Софокл. А если говорить о римлянах, то предпочтение отдавали относительно легкому латинскому языку Вергилия, а не гораздо более изысканному языку Горация. Причем, встречая те или иные реминисценции, мы вовсе не обязаны принимать их за цитаты. Стихи, перешедшие в поговорки, могли возникать и не из прочитанного.

Чаще всего грамотеи извлекали античные примеры из многочисленных версий и переложений «Романа об Александре», «Романа о Фивах», «Энеаса» и «Романа о Трое», то есть из произведений, обязанных своим содержанием поздним латинским переводам и пересказам, в

которых, как правило, терялось главное. Разве «Роман об Александре» не возник из «Эпитома», являвшегося сжатым школьным пересказом выполненного в III веке Юлием Валерием латинского перевода «Псевдо-Каллисфена», который сам возник как компиляция греческих историй и легенд? Так что читатель XV века находился на весьма приличном расстоянии от Геродота и Гомера.

Перипетии такого рода искажали и смысл произведений, и форму. Вергилий оказался христианизированным. А изящный Овидий в десятках вариантов «Лекарства от любви», «Искусства любви» и иных «Наук любви», на которые наложили отпечаток и морализаторский, написанный в XII веке на латинском языке трактат «Об искусстве благопристойной любви» Андрея Капеллана, и его французский перевод, выполненный во времена Филиппа Красивого клириком Друаром ла Вашем, стал выглядеть просто жеманным.

## Учебники и энциклопедии

Стало быть, классическая культура Вийона вполне стоила его начитанности в области теологии. То там, то тут в его стихах всплывают имена, обязанные своим появлением иногда услышанному анекдоту, а иногда необходимости подчеркнуть какую-нибудь черту характера. Ни одно из них не свидетельствует о более или менее серьезном знакомстве с философскими или другими произведениями. Древняя история и мифология, присутствующие в его творчестве, — это то, что он почерпнул, глядя на резные порталы и на витражи с изображенными на них сценами из истории.

*Орфей, печальный менестрель,  
Покорный глупому обету,  
Сошел, дудя в свою свирель,  
В Аид из-за любви к скелету;  
Нарцисс, — скажу вам по секрету:  
Красив он был, да не умен!  
Свалился в пруд и канул в Лету.  
Как счастлив тот, кто не влюблен!<sup>1</sup>*

А ведь поэт не читал «Георгики», где Вергилий рассказал о путешествии в ад влюбленного Орфея, неспособного выстоять на наказу бога Плутона, вернувшего ему его Эвридику лишь при условии, что он не будет в пути оборачиваться. Очевидно, он читал лишь стихи франш-контийского доминиканца Рено де Луана, являвшегося также переводчиком классической литературы и комментировавшего ее с помощью поздних латинских авторов вроде Боэция.

*Орфей, изящный менестрель,  
Взглянул назад, издавши трель<sup>2</sup>.*

Точно так же не читал Вийон и «Метаморфоз» Овидия. А трагическую историю Нарцисса, погибшего оттого, что ему слишком понравилось собственное отражение в роднике, он узнал из неперемкнутого «Романа о Розе». И оттуда же, из «Романа о Розе», — «Земля — праматерь наша» — позаимствовал он и одно из своих последних волеизъявлений, подкрасив образ своим собственным скептицизмом: слишком уж часто одолевал его голод, чтобы преувеличивать ценность дара, завещанного им земле.

*Затем я тело завещаю  
Праматери, земле сырой.  
Червям пожива небольшая —  
Я съеден голодом живой!<sup>3</sup>*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 62. Перевод Ф. Мендельсона.

<sup>2</sup> Перевод В. Никитина.

<sup>3</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 71. Перевод Ф. Мендельсона.

Правда, школяр Вийон мог все же порой включить в свои стихи и настоящие цитаты, которые он, не задумываясь, видоизменял, дабы подчинить их ритму и рифме. Так, в торжественном «Послании Марии Орлеанской» он процитировал слова «Patrem insiquitur proles» Катона и включил знаменитый стих Вергилия «Jam nova progenies coelo demittitur alto»:

*Nova progenies coelo*  
*Как поведал нам поэт*  
*Jamjam demittitur alto.*

Однако, когда мы начинаем изучать эту проблему более внимательно, наши иллюзии рассеиваются. Высказывание Катона оказывается взятым из апокрифа, причем у клириков XV века эта фраза стала практически поговоркой. «Ребенок идет по следам отца», — гласила древняя университетская мудрость, и, чтобы процитировать этот стих, отнюдь не требовалось читать «Псевдо-Катона», поскольку он автоматически приходил на память любому школяру, стоило ему только подумать про кого-нибудь: «Каков отец, таков и сын!» Что же касается Вергилия, то его на протяжении многих веков из-за этого стиха — «Ныне с высоких небес посылается новое племя», — причем только из-за него, считали одним из языческих пророков, возвестивших новую зарю, Царство Божие, пришествие Христа. Поэтому схоластика стала доброжелательно повторять этот стих. И в будущем Латинском квартале он был у всех на слуху. Так что Вийон, не мудрствуя лукаво, повторил его вслед за многими другими.

Он не читал даже «Достопамятные истории» Валерия Максима, откуда он, по его уверениям, почерпнул историю пирата Диомеда, историю, которую он с таким же успехом мог обнаружить и в «Республике» Цицерона, и в «Граде Божием» Августина Блаженного. Этот диалог Александра Македонского и пирата, сумевшего ответить, что он не был бы «разбойником на море», если бы владел королевским флотом, это удивительное признание законности власти, располагающей силой, Вийон просто-напросто извлек из средневековых компиляций. Историю эту перевел с латинского языка на французский во времена Филиппа VI Валуа один госпитальер из Сен-Жак де О-Па по имени Жан де Винье, и затем она вошла в «Книгу поражений» Жака де Сессоля. А одну реплику Вийон взял в более древней компиляции Иоанна Солсберийского «Поликратикус», восходящей к тексту Цецелия Бальбуса. Как мы видим, он черпал сведения то в одном месте, то в другом, но всегда не из первоисточников.

Стало быть, его знания в области классики складывались из сведений, почерпнутых в школьных учебниках, в компилятивных сочинениях и в сборниках «сказаний», то есть в литературе облегченного типа, предназначенной для второразрядных схоластов. Эта литература не столько приобщала к культурному наследию древних, сколько предоставляла в распоряжение потребителя большой набор цитат, острот и удобных сентенций. Превращаясь в «авторитеты», эти цитаты служили фундаментом для размышлений и питали проповеди. Чеканные формулировки, назидательные истории, удачные шутки — вот тот багаж, который девять клириков из десяти уносили с собой вместе с титулом магистра свободных искусств.

В результате поэт то мог назвать Флору «прекрасной римлянкой», хорошо понимая, что речь идет о проститутке, а то вдруг сравнивал Марию Орлеанскую с «целомудренной Лукрецией», не отдавая себе отчета в двусмысленности подобного сравнения. Он ссылаясь на Гектора как на пример доблести, но в то же время, подобно многим своим современникам, принимал Алкивиада за женщину.

Среди книг, действительно ему знакомых, следует назвать «Грамматику» Доната, о которой он вспомнил, дабы высмеять своих жертв — книга для них слишком трудна! — и «Искусство памяти», низкопробную энциклопедию для недоучек. Цветом своей эрудиции он был обязан составленным специально для школ компиляциям вроде «Поликратикуса» англичанина Иоанна Солсберийского, книги, оставившей по себе неплохую память, поскольку она в XII веке, еще даже до открытия Аристотеля богословами следующего века, стимулировала изучение экономических проблем.

Имена, и больше ничего... Когда Вийон пожелал обвинить парижанок в том, что они болтают в церкви и что они там больше занимаются злословием в адрес ближнего, чем слушают богоугодные проповеди, то противопоставил речи женщин мораль Макробия. Однако Макробий у

него — это всего лишь имя, ассоциирующееся с моралью. Никакой другой нагрузки упоминание его имени не несет.

*Взгляните сами, кто не верит:  
Вблизи церковного двора  
Или у монастырской двери  
Садятся, юбки подбрав,  
Мои красотки и с утра  
Во все вникают так глубоко!..  
Внимай, нет худа без добра. —  
Макробию до них далеко!<sup>1</sup>*

Получить ученую степень на факультете «искусств» и не знать, кто такой Аристотель, было бы просто невероятно. То, что Вийон читал кое-какие его труды, скорее всего из области схоластической логики, не подлежит сомнению, хотя в «Малом завещании» цитируется Аристотель не к месту и иронично: ученая ссылка как бы ликвидирует самое себя своей несообразностью, так что в тексте снова остается только имя. Поэт сообщает, что от избытка размышлений человек нередко становится «безумным и лунатичным», и к сказанному добавляет:

*О том, коль память мне не врет,  
У Аристотеля прочел я<sup>2</sup>.*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 103. Перевод Ф. Мендельсона.

<sup>2</sup> Перевод В. Никитина.

Вспомним, что в 1456 году Вийон, в общем-то, продолжал оставаться теологом-учеником и что все свои знания об Аристотеле он приобрел благодаря Фоме Аквинскому. А из сочинений самого Аристотеля, скорее всего, он прочел лишь небольшие трактаты по элементарной психологии под общим названием «Parva Naturalia» («Малая природа»). Именно в них клирик, не любивший перенапрягаться и не желавший вдаваться в диалектические премудрости фундаментального труда «De anima» («О душе»), мог почерпнуть более или менее приблизительные представления о том, что Аристотель думал о человеческом разуме. Вне всякого сомнения, Вийон обращался и к трактату о сне и бодрствовании «De somno et vigilia» («О сне и бодрствовании»), к этому небольшому опусу, ключевые слова которого обнаруживаются в эпизоде «полузабытья» в конце «Малого завещания».

Мало того, что Вийон охотно заимствовал в рудиментарном томизме и в поверхностно усвоенном учении Аристотеля свой философский словарь и колорит своих познаний в области теологии, он к тому же еще и скопировал, изображая процесс своего «полузабытья», аристотелевскую схему работы интеллекта. Сказанное Аристотелем о деятельности ума Вийон использовал, переставив выражения, для характеристики кризиса функций сознания, каковым явилось его «полузабытье». Аристотелевский переход от восприятия органами чувств образов действительности к их запоминанию, а затем к формированию абстрактных понятий, становящихся основой спекулятивного мышления, это восхождение к «высшей части» души, прочитывается в обратном направлении в описании поэтом собственного кризиса, в описании «полузабытья», внешняя словесная фантастичность которого не должна скрывать от нас внутреннюю стройность схоластической мысли:

*Но за молитвой сбился я,  
Как будто мысли мне сковало, —  
Не от излишнего питья,  
Нет: Дама Память отобрала  
Оппинативный род сначала,  
Затем весь род коллатеральный,  
Все категории смешала,  
В ларь спрятав интеллектуальный*

*Суждений вид эстимативный,  
Что перспективу нам дает,  
Симлятивный, формативный...<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 31. Перевод Ф. Мендельсона.

Чем является здесь Аристотель: символом, шуткой, хвастовством? Возможно, и тем, и другим, и третьим одновременно.

Поэт цитировал также и Аверроэса, арабского толкователя аристотелевской метафизики, но цитировал приблизительно так же, как и самого Аристотеля. Никто не должен заблуждаться. Жизнь дала ему больше знаний, чем Аверроэс и его философия. Страдание, увы, учит лучше, чем чтение.

*Измучен горькою тоской,  
Не в силах удержать рыданья,  
Я слезы проливал рекой,  
Страдал, не видя состраданья,  
В игре нужды, обид, изгнанья,  
Я вечно битым был мячом  
И понял жизнь без толкованья, —  
Здесь Аверроэс ни при чем<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Там же. С. 37.

Так же обстоит дело и с редкими встречающимися у Вийона юридическими цитатами. «Декрет» Грациана, этот основополагающий сборник канонического права, упомянут лишь в связи с женщинами, берущими себе любовников «согласно „Декрету"». За аллюзией скрывается студенческая шутка. В действительности же в «Декрете» говорилось о публичном скандале как об отягчающем вину обстоятельстве. Как и следовало ожидать от школяра, порой после выпивки приобщавшегося к проблемам юриспруденции, Вийон сделал вывод, что грешить лучше в тени. «Любить в тайном месте» — вот как следует толковать его слова о любви «согласно „Декрету"». Так что не будем принимать эту отсылку за доказательство осведомленности в вопросах юриспруденции.

Что же касается буллы папы Николая V, давшей в 1449 году монахам из нищенствующих орденов право исповедовать и, соответственно, отводить к своим обителям потоки приносимых верующими даров, то она у духовенства наделала немало шума. Стало быть, отказ по завещанию одновременно и декрета «Omnis utriusque sexus» («Людям обоого пола»), — являвшегося в действительности декреталией Григория IX, обязывавшей всех христиан исповедоваться по крайней мере один раз в году, причем именно своему священнику, а не чужому, — и «Кармелитской буллы», перераспределявшей доходы в пользу ординарного духовенства, тоже имел источником вовсе не чтение юридических текстов, а беседы в монашеской и священнической среде.

Единственной логически необходимой и практически точной цитатой является цитата из Вегеция, открывающая «Малое завещание». Теоретик античного военного искусства советовал писать то, что думаешь, дабы узнавать мысли других о том, что пишешь. Выслушивать чужое мнение относительно своих произведений — таков смысл высказывания Вийона, который притворился, что следует совету римского стратега, но не обратил внимания на то, что в законченном виде совет гласил: мысль становится руководством к действию лишь после того, как ее прочтет и одобрит государь.

**Роман о Розе**

И тут снова обнаруживается, что Вийон процитировал перевод. Причем вряд ли можно считать случайностью то, что перевод Вегеция, из которого он позаимствовал высказывание, принадлежит не кому иному, как Жану де Мёну. В прологе «Книги рыцарства», переведенной с латинского языка автором «Романа о Розе», мы читаем следующее:

«Если император не прочитал и не одобрил написанные книги, то им будет отказано в признании и в принятии их за авторитетные свидетельства».

С неизбежной закономерностью мы снова и снова возвращаемся к «Роману о Розе», единственной книге, цитировавшейся Вийоном без насмешки. Именно оттуда он извлек основные положения своей философии. Там, в частности, находятся корни его представлений о женщине, представлений, отнюдь не совпадающих в теми, которые явились результатом его собственных любовных опытов. Он заимствовал из «Романа о Розе» темы, образы, даже эмоции. Прекрасная Оружейница, прежде чем попасть в «Завещание», была уже в «Романе», где ее звали Праздной Дамой, причем Гийом де Лоррис использовал те же слова и те же образы, дабы обрисовать как красоту, так и безобразие.

*Золотых волос струя,  
Гладкий лоб, крутая бровь,  
А в глазах горит любовь<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Перевод Ю. Стефанова.

У Праздной Дамы в старости на подбородке появилась ямочка, а у Прекрасной Оружейницы он раздвоился. В молодости у одной нос был «хорош и прям», у другой — «красивый нос прямой». Лоррис изобразил «яркий цветом ротик», а Вийон снабдил портрет «губ алой красотой».

Вийон читал «Роман о Розе» и перечитывал. Он знал из него целые отрывки. И заимствовал целые фразы. «Крепко в зубах узду держи» превратилось в «В зубах узда — рысь ретива». Можно было бы процитировать сотню подобных примеров. Человек средневековья в отличие от нас отнюдь не приравнивал заимствования к плагиату. Вся тогдашняя система образования покоилась на чтении и копировании, а не на оригинальности мысли. В той мыслительной системе, где принцип авторитетности оправдывал любые диалектические ходы, взять у другого означало воздать ему почести и построить новое выражение на уже признанном мнении.

А «Роман о Розе» как раз и был суммой общепризнанных знаний. Гийом де Лоррис и сменивший его Жан де Мён, два живших в XIII веке клирика, развили в этом романе все темы усвоенной за десять веков христианства платоновской философии. Начинается роман с большого трактата о куртуазности, являющегося собственным сочинением Гийома де Лорриса, современника Людовика VIII, а затем следует обширная панорама схоластической философии, вобравшей в себя и взгляды принадлежавших к белому духовенству преподавателей молодого Парижского университета, и умонастроения наслушавшихся церковных проповедей буржуа. Что же касается части, написанной Жаном де Мёном, современником Филиппа III, то она тоже является памятником клерикальной мысли — это видно хотя бы по тому, какая роль отводится автором женщине, — но мысли, преднамеренно оторванной от прежних авторитетов и от доктринальной иерархии. В этой философской системе «Романа о Розе» человек предстает скорее как действующее лицо в обществе, нежели как божье подобие в мироздании. Произведение является также — являлось для не очень отчетливо воспринимавших его новизну читателей XV века — реестром символов и аллегорий. Этот роман выглядит целостной языковой системой. Взяв у Мартиануса Капеллы идею и темы, авторы романа придали им определенность и законченность.

Во многих отношениях Жан де Мён предвосхитил возрожденческий гуманизм. Конечно, нарисованное им естественное общество, моделью для которого послужил вергилиевский золотой век, обязано некоторыми своими чертами мощному направлению эгалитаристской мысли, породившему с одной стороны францисканское течение, а с другой — антиклерикальные, анархистские устремления Иоахима Флора и его последователей «духовников». И все же Жан де Мён создал такую схему божественного творения, где человек ценен не только по занимаемому им в Граде Божиим месту, а и сам по себе.

Именно в «Романе о Розе» черпали чаще всего современники Вийона внешние атрибуты своей классической культуры, равно как и внешнее подобие глубины мысли. Неизменный успех романа стимулировал даже самые невероятные мероприятия: через несколько лет после появления «Большого завещания» преподаватель риторики и официальный летописец Жан Молине взял и сделал прозаический пересказ текста Жана де Мёна. Так что у Вийона, бравшего все ему необходимое в «Романе о Розе», не было никаких оснований испытывать по этому поводу угрызения совести. Он, как, впрочем, и все его современники, был обязан роману прежде всего своей мифологией, отзвуки которой постоянно слышались в беседах на левом берегу Сены. Кто делал заимствования из «Романа»? И кто делал заимствования у заимствующих?

Послушаем Жана де Мёна:

*Ведь сладкий стих порой несносен...  
Рютбёф, его современник, ему вторил:  
Твердят, что сладкий стих несносен...*

Анонимный автор в конце XIV века снова вернулся к этой мысли, используя ту же формулу:

*Твердят нам, сладкий стих несносен...*

А затем ею воспользовался и Вийон, изменив лишь грамматическую конструкцию:

*Чем слаще стих — тем он несносней...<sup>1</sup>*

Надо сказать, что поэт и не скрывал своих заимствований и охотно вручал кесарю кесарево... Не считая нужным давать отсылки по поводу каждой цитаты, порой, однако, когда ему нужно было опереться на авторитетное мнение, он цитировал почти дословно и называл источник. Например, Жан де Мён писал:

*Многое юным сердцам в юности пылкой простится,  
Если Господь им дает к старости остепениться.  
Сколь же блаженнее тот, кто не сумел возгордиться,  
Кто от младенческих лет к зрелости сердцем стремится!<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Перевод Ю. Стефанова.

Вийон несколько изменил смысл высказывания. Он отказался суммировать добродетели юности и зрелого возраста. Первый постулат остался: помня о старости, нужно прощать молодости. Однако за этим следует собственная вийоновская мысль о том, что его преследователи хотят помешать ему дожить до старости.

*Как мудро нас учил «Роман  
О Розе»! Помню, там, в начале,  
Завет нам был прекрасный дан:  
«Чтоб люди молодость прощали,  
Жалели старость...» Но едва ли  
Враги мои считались с ним:  
Меня всегда и всюду гнали,  
Страданьям радуясь моим<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М, 1981. С. 38. Перевод Ф. Мендельсона.

Зрелый возраст позволяет искупить ошибки молодости. И вот этого-то шанса и пытаются лишить Вийона. Из-за страданий «бедный Вийон» умрет молодым. Это совершенно личная тема: у Жана де Мёна ничего подобного не встречалось.

Следует добавить, что в этом цитировании есть одна погрешность: Вийон ошибся книгой. Стихи, частично повторенные Вийоном, фигурируют не в «Романе о Розе», а в «Завещании» Жана де Мёна. Кстати, идея завещания, используемого в качестве предлога для рассказа о своем

видении мира — или в качестве предлога для сведения счетов, — тоже не Вийону впервые пришла в голову.

## Средневековая образованность

Наряду с «Романом о Розе» во всех библиотеках имелись также и книги по истории. На первом месте стоял Тит Ливий, за ним следовали Саллюстий, Цезарь с его «Записками о галльской войне» и нередко Валерий Максим. Встречались там и разного рода версии легендарной истории, например бесчисленные «Истории троянцев», которые монархическая мифология стала в конце концов выдавать за древние истории франков. Можно было верить либо не верить тому, что франки восходят по прямой линии к спасшимся от гибели троянцам, независимо от этого их историю читали, потому что она вошла в моду.

Естественно, в отличие от просвещенного и состоятельного каноника Николя де Байе не каждый мог похвалиться наличием в своей библиотеке четырех томов книги «О достопамятных событиях» Петрарки и книги Боккаччо «О знаменитых женщинах». Однако не было ни одной библиотеки при капитуле, при монастыре или при коллеже, которая бы не располагала той или иной хроникой, пересказывавшей приблизительно одни и те же истории с небольшими добавлениями каких-либо фактов местного значения и каких-либо свежих анекдотов. Везде присутствовали «Жития святых отцов», «Жития философов», «История церкви». Принадлежащая перу Мартина Полония хроника папства под названием «Мартинианская хроника» в каждой своей версии снабжалась местными комментариями и всякий раз обновлявшейся историей церкви. Так же везде можно было встретить и «Историю Александра», равно как и «Иудейские древности» Иосифа Флавия.

Вийону до всех этих крупных исторических трудов, необходимых для осмысления прошлого, не было никакого дела. В его классической культуре история смешивалась с легендами. А его «современная» культура исключала историю, хотя, правда, однажды ему случилось обнаружить в хронике майских епископов привлекшее его внимание своей звучностью имя графини Арамбуржис, тут же зачисленной им из-за этого в знаменитые дамы былых времен. А где они все, эти дамы?

*Где Бланка, белизной сродни  
Лилее, голосом — сирене?  
Алиса, Берта — где они?  
Где Арамбур, чей двор в Майенне?  
Где Жанна, дева из Лоррэни,  
Чей славный путь был завершен  
Костром в Руане? Где их тени?..  
Но где снега былых времен? <sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Там же. С. 47—48.

Сам факт, что это имя является его единственным и, по существу, не имеющим никакого значения заимствованием из исторической литературы, красноречиво свидетельствует, насколько малое место занимала история в его вдохновении. В лучшем случае он запоминал иногда какое-нибудь недавнее событие, о котором поговаривали на улице Сен-Жак и в округе. Так, например, случилось с буллой папы Николая V. Поэтому то внимание — плод внушений какого-нибудь учителя или чего-то из прочитанного, — с которым он, похоже, отнесся к старому делу Жана де Пуйи, всколыхнувшему в начале XIV века и без того уже потрясенную — из-за последовавшего за смертью папы Бонифация VIII краха попыток внедрить учение Августина Блаженного в политику и из-за переноса папского престола на берега Роны — церковь, следует назвать исключительным.

В 1321 году папа Иоанн XXII осудил обвинения, выдвинутые богословом Жаном де Пуйи в адрес францисканцев. И Жану де Пуйи пришлось отречься от своих обвинений во время

публичной церемонии, запомнившейся белому духовенству — и в частности, духовенству церкви Сен-Бенуа-ле-Бетурне — унижением, нанесенным священникам перед лицом нищенствующих орденов. На протяжении более ста лет после того события Сорбонна по-прежнему считала, что магистр Пуийи был достоин всяческого доверия и что пострадал он совершенно ни за что.

И вот скромный школяр Франсуа Вийон попрекнул богослова, поставив при этом ему в вину не его убеждения, а его догматизм. В словах поэта, не посвященного в теологические тонкости конфликта и совсем не стремившегося в них просветиться, мы слышим упрек в измене. При этом не приходится сомневаться, что в ряде случаев он врагом своим считал именно лицемерие нищенствующих орденов.

***И зря бранился мэтр Матье  
Из-за такого пустяка;  
Не лучше был и Жан Пулье,  
Кто проклинал святош, пока  
Его не взяли за бока...<sup>1</sup>***

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 86. Перевод Ф. Мендельсона.

Следует заметить, поэт не делал различия между всеми этими орденами. Он собрал в одну компанию нищих, бегинков, «тюрлюпенгов» и отказал им по завещанию «якоппинские супы», то есть превосходный суп с мясом и сыром, получивший в народе название иаковитского в насмешку не над супом, а над нищенствующими братьями, призывавшими жить в бедности и насыщавшими свою плоть прекрасным супом и прочими яствами. Ирония Вийона простирается еще дальше: иаковиты, кармелиты и некоторые другие нищенствующие ордена слыли любителями проводить время с женами в отсутствие их мужей.

***Отцы святыя испокон  
Веков в Париже всем друзья:  
Пока они лобзают жен,  
Спокойно могут спать мужья!<sup>1</sup>***

---

<sup>1</sup> Там же.

Лучше всего в парижских книжных лавках шли книги по праву: полезная наука. Дело в том, что, например, Библию можно было читать, даже если она и старая, и к тому же магистр теологии вполне мог воспользоваться библиотекой коллежа. Хорошо служили и старые «Часословы», особенно тем, кто, не будучи чрезмерно богатым, не стремился приобретать все новые и новые, изукрашенные по последней моде экземпляры. А вот тем, кто хотел выиграть процесс, следовало иметь самые последние комментарии прецедентов. Обеспеченная клиентура парижских книжных лавок вроде советников, адвокатов и прокуроров стремилась иметь под рукой базовые тексты и практические руководства, одалживать которые всякий раз было бы сложно. «Судебник», «Декрет», свод постановлений обычного права, сборник форм и образцов, глоссы, «случаи» — багаж юриста, оставаясь неизменным в своей основе, имел различную ценность. Один, например, довольствовался «Дигестом», другой «Сводом» Рофруа де Беневана или даже «Сводом» Танкреда Болонского. Один располагал лишь жалкой компиляцией «Декреталий», а другой имел кроме того еще и «Свод» Реймона де Пеньяфорта. Все зависело от средств или от полученного наследства...

Вийон ни в чем таком решительно не нуждался; ему хватило краткого приобщения к праву в качестве писца у одного юриста. Из этой практики он вынес формулы, обороты, звонкие слова. Его долг по отношению к юриспруденции сводился к словарному запасу по судопроизводству и по завещаниям. А как он использовал этот долг, мы знаем.

Из «Декрета», являвшегося фундаментом всех штудий по каноническому праву, он вынес лишь один урок, тот самый, который клирики неизменно повторяли, идя к девицам легкого поведения, а именно: лучше грешить тайно, чем ввязываться в публичный скандал. Грациану, конечно, было бы нелегко узнать в этом уроке свое осуждение адюльтера...

А вот что касается доли франкоязычных художественных произведений в тех библиотеках, о которых мы можем составить представление благодаря осуществленной после смерти их владельцев инвентаризации, то здесь можно было встретить буквально все. В этом разнообразии отражались личные вкусы и пристрастия, хотя, в общем-то, угадать, какие из находившихся там книг действительно читались, а какие — чаще всего — лишь упоминались в разговорах, весьма нелегко. Книга обладала существенной материальной ценностью, и выбросить ее, даже если она вышла из моды, никому в голову не приходило. Следовательно, нужно с максимальной осторожностью зачислить в прочитанные те из книг, что были когда-то приобретены либо получены по наследству. Однако существует и один весьма точный критерий популярности книг, и таковым является количество копий: если переписчики приобретали какой-нибудь текст, то это означало, что в тот момент для этого текста существовала клиентура.

В подходе к художественной литературе, зачастую совпадающем с подходом к области чувств, легко выделить несколько социально-профессиональных сред. Например, буржуа столь же страстно, как и принцы, хотя и по иным причинам, любили романы. Парламентские чиновники относились к ним более прохладно, но зато не пренебрегали поэзией, особенно в тех случаях, когда по своей тенденции она примыкала к какому-нибудь крупному направлению мысли, популярному либо при дворе, либо в городе. Никола де Байе имел две книги баллад и «Роман о состоянии мира», являвшийся, возможно, одним из «сказов» Рютбёфа или чьим-нибудь еще аналогичным сатирическим творением. Ведь в конечном счете секретарю Парламента отнюдь не были заказаны ни смены настроений, ни обиды...

Принадлежавшие к этому литературному жанру произведения, к которым с недоверием относились советники — «великие магистры», как называл их Вийон, — и которые редко встречались на книжных полках коллежей, передавали из рук в руки безденежные и мало заботившиеся о своей карьере школяры. Хотя Вийон и черпал свое вдохновение главным образом из наполовину художественного, наполовину энциклопедического «Романа о Розе», эту литературу он ценил высоко. Но и тут эрудиция его складывалась из разрозненных и косвенно полученных сведений.

Он заимствовал кое-какой материал из героических поэм — Берту, Беатрису Прованскую, Алису Шампанскую, — но эти заимствования пришли напрямиком из романов, написанных позже, когда аристократия уже перестала быть тем, чем она была в героические времена. Да, кстати, и из этого эпического материала взяты лишь несколько благозвучных имен, за которыми не стояло ровным счетом ничего, равно как и за именем «дама Сидуана», понравившегося поэту, когда он встретил его, скорее всего, в «Романе Понтюса и прекрасной Сидуаны», причем, может быть, даже и не в романе — нет никаких указаний на то, что Вийон его прочитал, — а всего лишь в названии.

В действительности же рыцарство не слишком привлекало школяра. Его тоска по героическим временам весьма поверхностна. Сколько бы Вийон ни называл вперемешку различных ассоциировавшихся с подвигами имен, к ценностям эпической художественной литературы он так и остался равнодушным. Фраза «Но где наш славный Шарлемань?» нужна была поэту лишь из-за необычайной красоты стиха. Король франков был Вийону в высшей степени неинтересен, и, похоже, ему абсолютно ничего не приглянулось даже в «Паломничестве Шарлеманя», героической песне, прославлявшей подвиги короля и вдохновившей в XIII веке баллы Филиппа де Бомануара написание «Жана и Блонды», а в конце XV века давшей сюжетную основу книге «Роман Жана Парижского».

Единственное, что ему действительно нравилось в эпической литературе, была звучность имен. Это видно, в частности, и на том примере, когда он превратил умершего незадолго до того короля Ладислава Богемского в «Ланселота, короля Беэньи». Ланселот здесь является не свидетельством эрудиции, а признаком снобизма.

Вкусы Вийона отражали вкусы его среды. Старого «Шарлеманя» и не столь старого фруассаровского «Мелиадора» копиловщики переписывали для замков, где культивировалась ностальгия по рыцарским временам, да еще иногда для какого-нибудь буржуа, приобретавшего аристократическую культуру в ожидании того момента, когда ему удастся добиться возведения во дворянство. Что же касается клириков и школяров, то их мечты и создаваемое ими представление о себе ориентировались на иные ценности. «Бедного школяра» или, как он еще себя называл, «сумасброда» Вийона не слишком влекло к этой литературной традиции, где ничто не трогало его

сердце; его столь мало интересовали интеллектуальные конструкции вокруг короля Рене и он так сухо реагировал на ирреалистическую поэзию анжерского двора. «Мелиадор» был полной противоположностью вийоновского реализма.

Есть даже некоторые основания сомневаться в том, что он читал Рютбёфа, хотя тот и является его предшественником в искусстве прислушиваться к голосу Парижа. Рютбёф писал также и о ветрах, проносящихся над бранным миром.

*Ломился в двери ветер с воем —  
Ведь все друзья мои давно им  
Унесены <sup>1</sup>.*

Однако Вийон предпочел использовать в качестве рефрена для своей «Баллады на старофранцузском» слова из одной «Моралите», сыгранной впервые в 1426 году в Наваррском коллеже, куда в более поздние годы Вийон нередко заглядывал. Осуществлялась ли постановка повторно? Или текст просто сохранился в памяти кое-кого из любителей? Не исключено, что ценившие поэзию клирики продолжали цитировать понравившиеся им стихи. Вийон взял их себе. Оригинальности он не искал, а само заимствование лишь подтвердило надежность его вкуса.

*Принц, не уйти нам от червей,  
Ни ярость не спасет, ни страх,  
Ни хитрость: змия будь мудрей, —  
Развеют ветры смертный прах <sup>2</sup>.*

---

<sup>1</sup> Перевод Ю. Стефанова.

<sup>2</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 52. Перевод Ф. Мендельсона.

Поэт призывает пренебречь и яростью, и страхом... И сообщает сыгранной в Наваррском коллеже «Моралите» метафизическую объемность.

Точно так же и факт заимствования им образа «чертог божества», найденного ранее Рютбёфом для прославления Девы Марии, сам по себе не может служить доказательством того, что Вийон когда-нибудь раскрывал «Девять радостей Богоматери». В XV веке их не читал уже никто. Однако многие символические названия сохранила риторика церковных проповедей. Поэт, подобно многим другим, черпал из общего достояния слов и выражений, еще не застывших в официально признанных нормах. Как и в случае с афоризмом «Чем слаще стих — тем он несносней».

## **Реализм и куртуазность**

Иначе обстоит дело с Аленом Шартье и Эташем Дешаном. Вийон очень хорошо вписывается в традицию Дешана, умершего в начале XV века поэта из Шампани, реалиста, близкого ему и по настроению, и по видению общества, столь же насмешливого и нелицеприятного. А по отношению к Шартье с его вычурностью формы и идеализмом содержания он, напротив, выглядит антиподом. Шартье олицетворял куртуазное искусство. А Вийон был воплощенным вдохновением, родившимся в таверне и переосмысленным клириком, который хотя и не утруждал себя в школе, но как-никак провел десять лет под началом магистров.

Эташа Дешана Вийон читал. Великие люди, названные им среди «сеньоров былых времен», включая и рыцаря Дю Геклена, были героями многих поэм Дешана, который, кстати, задолго до Вийона смешивал и эпохи, и имена знаменитостей.

*Принц, где теперь Роланд и Оливье,  
Где Александр, Артур и Карл Великий,  
Где Эдуард и прочие владыки?  
Они мертвы, они давно в земле <sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Перевод Ю. Стефанова.

Задолго до Вийона начал Дешан пользоваться и диалогами в стихах. Когда-то он сделал также портрет потомственного пьянчуги с «красными жалкими глазами», предвосхитивший вийоновский набросок попечителя Жана Лорана. Однажды, будучи больным, но не собираясь еще в ту пору умирать, Дешан, дабы посмеяться над своими современниками, изобрел прием пародийного завещания с соответственно варьлируемыми в нем дарами. И вот, предвосхитив щедроты Вийона, оставил он францисканцам свои стоптанные башмаки, а королю Франции — Лувр. Опредил он Вийона и в наказе похоронить его на возвышении, а также завещать пустой сундук или служанку.

***А когда меня Бог приберет,  
Пусть юре мою девку возьмет <sup>1</sup>.***

Вийон унаследовал эту рудную жилу и стал разрабатывать ее на свой манер. Перенял он у Дешана и тему завистливых языков, которые подаются в супе злословцам с приправой, составленной из всех ядов мира: из купороса, квасцов, ярь-медянки, сулемы, мышьяка, селитры... Впрочем, это средство для сплетниц рекомендовал еще Жан де Мён:

***Побольше языков колючих,  
Бесстыжих, ядовитых, жгучих <sup>1</sup>.***

Вийон явно находился под впечатлением этого образа «Романа о Розе», когда говорил про «языки жгучие, красные, гадючьи», а вот что касается рецепта похлебки, то его он создавал не без помощи Дешана. Однако почерк у них разный. У Дешана — хищная утонченность:

***Вот из позеленевшей меди миска  
С похлебкою из мяса василиска,  
Вот из гнилушек и лягушек суп... <sup>1</sup>  
А вот почерк составляющего рецепт Вийона:  
В слюне ехидны, в смертоносных ядах,  
В помете птиц, в гнилой воде из кадок,  
В янтарной желчи бешеных волков,  
Над серным пламенем клокочущего ада  
Да сварят языки клеветников! <sup>2</sup>***

---

<sup>1</sup> Перевод Ю. Стефанова.

<sup>2</sup> Ф. Вийон. Лирика. М, 1981. С. 97. Перевод Ф. Мендельсона.

Ну а Ален Шартье, напротив, символизировал все то, что школяр Вийон отвергал, — придворное искусство с его стремлением к элегантности. Надо сказать, Вийон и не пытался притворяться. Он сознательно противопоставлял себя галантному поэту с его фантазиями. Чтобы поверить в то, что красивые слова излечивают от таких несчастий, как одиночество, нищета и болезни, нужно было иметь наполненный желудок и цветущий вид. Куртуазность излечивала лишь здоровых. Шартье в своей поэме «Безжалостная красавица» тоже кое-что отказал по завещанию:

***Больным любовникам я рад  
Пожаловать для исцеленья  
Дар сочинения баллад... <sup>1</sup>***

Вийон тоже не остался в долгу перед влюбленными, но в его завещании звучит нескрываемая горечь, причем даже в призыве молиться слышится язвительная ирония. Он предлагает несчастным влюбленным гротескный обмен: они должны будут помолиться за «бедного Вийона», а он дает им кропильницу, наполненную слезами и плачами. Привычное подмигивание поэта здесь обнаруживается только в одном ироническом условии: дар перейдет к больным от любви любовникам лишь в том случае, если они позабыли приобрести «завещание» Алена Шартье. Иными словами: если Шартье при них, то все будет хорошо.

***Затем, измученным любовью***

*Любовникам, уткнувшим нос  
В стихи Шартье, к их изголовью  
Дарю кропильницу для слез  
С кропилом из увядших роз.  
Чтоб каждый в час ночной, бессонный  
Молитву тихую вознес  
За упокой души Вийона <sup>2</sup>.*

---

<sup>1</sup> Перевод Ю. Стефанова.

<sup>2</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 117. Перевод Ф. Мендельсона.

Исповедуя оптимистическое видение мира, Шартье подчеркивал взаимосвязь человеческих чувств и распределения ролей в обществе. Он считал, что душевное благородство зависит от благородства рода. Поэтому в своих балладах этот поэт благодати прославлял достаток, здоровье, удачливость. Бедность в его сознании ассоциировалась с пороком, причем с пороком неизлечимым.

*От быдла вечно жди беды,  
Не жалуй дружбой голытьбу...  
Не пыжься, как скоробогач,  
Хвали приятеля в гробу  
И вместе с плаксами не плачь <sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Перевод Ю. Стефанова.

Вийон, будучи веселым малым, совершенно не похож на тот тип веселого человека, который импонировал Алену Шартье. Его взгляд на вещи был абсолютно пессимистичным, потому что он просто не располагал средствами, позволяющими смотреть на вещи иначе. Отчетливо этот пессимизм выразился в «Балладе истин наизнанку», где, пародируя Шартье, Вийон обличал отсутствие логики в мироздании. «На помощь только враг придет». Горький вывод человека, тщетно пытавшегося докричаться до людей из глубины своей тюрьмы. А честь воздают, лишь оскорбляя. И истину несет лишь ложь. Гордиться же стоит, только если ты фальшивомонетчик.

*Хвались, подделавши чекан,  
Опухшей рожею гордись... <sup>1</sup>*

Говоря о тех, кто изготавливает фальшивые монеты, Вийон имел в виду все общество. Ну а самый большой обман — это, конечно, любовь.

Тем не менее и сам поэт отчаяния тоже порой становился жертвой этого обмана. Он попадался в им же самим выявленные ловушки. Подобно Алену Шартье, подобно Карлу Орлеанскому, подобно десяткам других поэтов, он обращал свои проклятья смерти. Причем здесь Шартье даже превосходил Вийона своей запальчивостью. «Да будешь Богом проклята!» — восклицал Шартье; «Я на тебя обижен», — говорил Вийон. Парадокс заключается в том, что Вийон, излагая причины своей обиды, заимствовал некоторые символы у куртуазной поэзии. Перед лицом смерти условное искусство частично утрачивало свою условность, что не удивляло Вийона.

В других же случаях неприятие поэзии Алена Шартье доходило у него до того, что он, отказываясь на время от реализма мстительной речи, вдруг начинал пародировать стиль куртуазной поэзии. Вийон умел перевоплощаться. И делал это шутки ради; например когда ему понадобилось упрекнуть изменившую ему любовницу:

*Я ей поверил — и пропал,  
Любовным пламенем объят,  
Меня сразили наповал*

**Ее улыбка, стать и взгляд:  
Недаром люди говорят,  
Что белоногая кобылка  
Лишь только с виду суций клад <sup>1</sup>.**

Конь с белыми ногами — это конь с хорошей статью, но выдыхающийся в бою. Белые ноги — это символ фальши.

В другой раз, посвящая свою балладу «фальшивой красавице», которая обошлась ему столь дорого, Вийон снова воспользовался торжественным стилем куртуазной поэзии, словно уже само изображение обмана заставляло его музу прибегать к языку условностей. Новая, не вийоновская тональность речи обличала как бы сама по себе: куртуазная любовь — это одна из форм обмана.

**Весна пройдет, угаснет сердца жар,  
Исохнет плоть и потускнеет взор.  
Любимая, я буду тоже стар,  
Любовь и тлен, — какой жестокий вздор!  
Обоих нас ограбит время-вор,  
На кой нам черт тогда бренчанье лир?  
Ведь лишь весна струит потоки с гор.  
Не погуби, спаси того, кто сир!  
О принц влюбленных, добрый мой сеньор,  
Пока не кончен жизни краткий пир,  
Будь милосерд и рассуди наш спор!  
Не погуби, спаси того, кто сир! <sup>2</sup>**

---

<sup>1</sup> Перевод Ю. Стефанова.

<sup>2</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 76—77. Перевод Ф. Мендельсона.

Те же обороты почти естественно приходили на ум бывшему школяру и тогда, когда у него возникла вдруг надежда получить субсидию от герцога Орлеанского или когда он благодаря принцу-поэту вышел из тюрьмы. В подобные моменты он говорил тем языком, какого от него ожидали.

В результате нарисованный им портрет Марии Орлеанской получился таким, каким он получился бы у самого что ни на есть законченного придворного поэта.

**Народа радость и отрада,  
От зол ограда и защита,  
Владыки царственное чадо  
Единственное, в коем слито  
Все, чем держава знаменита  
От Хлодвига до наших дней,  
Ты горней славою увита,  
Чтоб век не расставаться с ней <sup>1</sup>.**

Однако Вийон видел себя в изготовленном им самим зеркале. «В сердце печаль, пустота в животе» — вот что словно барьером отделяло его от мира галантности. У кого живот полон лишь «на треть», тот должен покинуть «любви тропинки». И в прямом, и в переносном смысле. Тому заказан путь и к девушкам, и к элегиям.

**Не станешь ни плясать, ни петь:  
Пустое брюхо к песням глухо <sup>2</sup>.**

---

<sup>1</sup> Перевод Ю. Стефанова.

<sup>2</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 41. Перевод Ф. Мендельсона.

Впрочем, если говорить о галантности, то вечно испытывавший в чем-нибудь нужду поэт умел приспособливаться. Ему приходилось включаться в игру, иногда с едва заметной усмешкой, а иногда и искренне. Когда его освободили из тюрьмы благодаря заступничеству Карла Орлеанского, он был в своих стихах искренен. А вот когда его отвергла Катрин де Воссель, то на фоне яростного «отказа от любви» куртуазно-лирический настрой поэзии Вийона стал выглядеть заметно менее естественным. Где начиналась пародия? И где она кончалась? Вполне возможно, что иногда Вийон превращался в двойника Алена Шартье.

## **Глава XII**

### **Глупец, живя, приобретает ум...**

#### **Заимствования и творчество**

Вийон брал у кого только мог. Но его гений принадлежал лично ему. «Это смех, полный слез и плача», — сказал Жан де Мён вслед за Гомером и многими другими. «Смеюсь я, плача», — писал потом Жан Ренье. Ту же самую мысль несколько менее четко выразил Алэн Шартье: «Глаза мои плачут внутри, смеюсь снаружи». «Смеюсь я ртом и плачу глазом», — написал в свою очередь скверный поэт Жан Кайо на «книге» Карла Орлеанского, а тот не отказал себе в удовольствии удлинить фразу:

***В притворной улыбке кривятся уста,  
Но сердце дрожит от рыданий <sup>1</sup>.***

---

<sup>1</sup> Перевод Ю. Стефанова.

А Вийон взял и своим «смеюсь сквозь слезы» превратил прописную истину в настоящую жемчужину. Из древних хранилищ извлек он и сетования Прекрасной Оружейницы. Быстротекущее время и ужас старения стали темами поэзии едва ли не с тех пор, как люди впервые в водных зеркалах увидели свое отражение. О незаметно пролетавших годах весьма многословно говорила ворчливая старуха из «Романа о Розе», причем во многом повторяя рассуждения одного из самых удачных персонажей Овидия. А веком раньше прокурор Жан Ле Февр использовал тему разрушительного воздействия времени в дебатах о Женщине, устроенных им и его единомышленниками. Пересказывая Овидия или то, что он принимал за Овидия, прокурор в своем стихотворении «Старушка» нарисовал портрет бывшей красавицы:

***Ни кожи у нее, ни рожки,  
А груди дряблые похожи  
На два потертых кошелька:  
Ни крови в них, ни молока <sup>1</sup>.***

Попробовал свои силы в лирическом упражнении под названием «Жалобы старухи, вспоминающей свою молодость» и Эташ Дешан, но без особого успеха. Баллада Франсуа Вийона стала единственным созданным в этом русле произведением, где мы видим настоящую человеческую драму, взломавшую литературные клише. Тема ее принадлежит всем, а жалость — Вийону, видевшему воочию эту бывшую «красавицу», сидящую на пороге дома со своими подругами-старухами. Эта сцена растрогала находившегося тогда в расцвете юности поэта или вызвала у него улыбку. Искусство, с которым гений наложил один временной слой на другой и осуществил переход от драматического описания увядающей плоти к жанровой сцене, вызывает эмоциональное потрясение.

***Так сожалеем о былом,  
Старухи глупые, седые,***

*Сидим на корточках кружком,  
Дни вспоминаем золотые, —  
Ведь все мы были молодые,  
Но рано огонек зажгли,  
Сгорели вмиг дрова сухие,  
И всех нас годы подвели!*<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Перевод Ю. Стефанова.

<sup>2</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 56—57. Перевод Ф. Мендельсона.

Незаметно пролетела их молодость. Их жизнь длилась столько же, сколько горит зажженная костра, то есть старые былинки от пеньки, использовавшиеся за неимением лучшего для того, чтобы разжечь костер, и сгорающие, как солома. Старухи, о которых рассказал Вийон, не удивляются, они просто вспоминают свое прошлое.

За не менее избитую тему взялся поэт, когда обратил свой взгляд к высшему обществу, к сеньорам и дамам былых времен. Это очень древний вопрос: куда ушла былая слава? Священное писание ответило на все времена. «Так проходит мирская слава...» («Sic transit gloria mundi»), — возвещают каждому восходящему на престол папе, напоминая ему о хрупкости земного величия. «Запомни, что ты всего лишь пыль...» — говорится в литургической службе первого дня поста, дабы призвать людей к смирению. Перечислив знаменитых дам прошлого, от прекрасной римлянки Флоры, типичной великой куртизанки, от Алкивиада, которого в средние века часто принимали за женщину, и Таис, «ее двоюродной сестры», до «мудрейшей Элоизы», Вийон нашел синтезирующую все эти перечисления гениальную формулировку и сделал ее рефреном:

*Но где снега былых времен?*<sup>1</sup>

Дам сменяют сеньоры, от папы Калиста III до последнего представителя Люзиньянов. Здесь и уже ставший легендарным Дю Геклен, превратившийся у Вийона в Калкена, и совсем недавно умершие принцы. В этой балладе рефрен выводит за пределы исторического времени. Карл Великий (Carlus Magnus) отождествляется с персонажем героических песен и с королем, нарисованным на игральных картах.

*Где Дюгеклен, лихой барон,  
Где принц, чья над Овернью длань,  
Где храбрый герцог д'Алансон?..  
Но где наш славный Шарлемань?*<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Там же. С. 47.

<sup>2</sup> Там же. С. 50.

Включив все эти стихи в свое завещание, Вийон вывел на сцену и себя. Умирают ведь не одни лишь великие мира сего. А куда подевались «галантные кавалеры» былых времен? Куда ушла их молодость и молодость поэта тоже?

На этой литании, вопрошающей «Куда ушли...», пробовали свои силы сорок поколений моралистов и поэтов. Уже в V веке Кирилл Александрийский, вероятно подражая святому Ефрему, вопрошал: «Где сейчас цари? Где принцы и вожди? Где мудрецы? Где ученые мужи?» Боэций, как это часто с ним случалось, передал средневековой античную тему вместе с формулировкой:

*Где кости верного Фабриция лежат?  
И Брута? И сурового Катона?*<sup>1</sup>

Раньше Вийона задавалась этими же вопросами и Кристина Пизанская: «Что стало с теми, о ком в историях читаем?»

«Что стало с былыми временами?..» — встречаем мы в «Жалобе Судьбы» Шастлена. Интересовался этими проблемами и Ален Шартье: «Во что превратилась Ниневия, великий город с улицами длиною в трехдневное путешествие? А что стало с Вавилоном?» Вспоминая об одном

таким вопросом, заданным в свое время самим царем Соломоном, папа Иннокентий III в свою очередь спросил: «А где сейчас Соломон?» Эташ Дешан, среди читателей которого был и Вийон, наполнил усопшими знаменитостями целую галерею:

*Где ныне Дионисий-самодур,  
Где Иов, где вся слава Моисея,  
Где Гиппократ, Платон и Эпикур,  
Юдифь, Эсфирь, Дебора, Саломея,  
Где ныне Пенелопа и Медея,  
Изольда и прекрасная Елена,  
Где Паломид, Тристан, Улисс, Цирцея?  
Все стали прахом. Мир исполнен тлена <sup>2</sup>.*

---

<sup>1</sup> Перевод В. Никитина.

<sup>2</sup> Перевод Ю. Стефанова.

Гений Вийона заключался не в его мысли, которая шла, скорее, проторенными путями духовного конформизма и социального пессимизма, и не в весьма традиционном репертуаре проверенных клише и образов, наполненных символами и аллегориями, которые узнавались даже самыми непросвещенными из читателей. Его гений проявлялся в языке, в отточенных формулировках, в ритме фразы и в умении выбрать самое верное слово. Оригинальность других поэтов, обращавшихся к этой теме, состояла лишь в более или менее удачном добавлении новых имен к уже существующему перечню. Даже Дешан и тот не нашел ничего лучшего, как снабдить звучные имена определениями, благодаря чему имена перестали выглядеть простыми абстракциями.

*Где ныне Ангильберт-аббат,  
Где царь премудрый Соломон  
И врачеватель Гиппократ?  
Где дружный с музами Платон,  
И кроткий музыкант Орфей,  
Где математик Птолемей  
И узник Миноса Дедал? <sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Перевод Ю. Стефанова.

Оригинальность Вийона обнаруживается и в сдержанной эмоциональности промелькнувшего образа, и в умении уравновесить драматизм ситуации насмешливым, заговорщическим подмигиванием читателю. Его гений заключался не в философии, которую, сидя на скамейках, вычитывали у Бозция, и не в избитом приеме напевных повторов. Он «в снегах былых времен», его гений.

## **Мораль и мудрость**

Его приемы — это приемы лиризма, зарождавшегося вне схоластической философии. Подобно большинству стихотворцев его времени, Вийона безудержно влекло к устойчивым словосочетаниям и игре в «вопросы». Его факультетские учителя сводили все нюансы мысли к формулам, где «вопрос» предопределял следующий за ним ответ. Свидетельствуя о триумфе платоновской логики, «вопрос» стал формой как юридической, так и теологической речи. И естественно, он являлся одним из инструментов вийоновской аргументации. Жанна д'Арк оказалась жертвой семидесяти «статей», сведенных к двенадцати «предложениям», то есть к двенадцати упрощенным вопросам о ее вере и нравственности. Предложение — это синтез, как его понимала средневековая диалектика. Для юриста квинтэссенцией предложения была присловица:

«Король Франции в своем королевстве император». Для теолога предложение было статьей догмы. «Оно восходит к Отцу и Сыну», — гласило подправленное Карлом Великим «Кредо».

А для поэтов предложение было тождественно сентенции. И каждый из них играл в игру пословиц, народных поговорок, тщательно отделанных формул, выражавших целую — истинную либо поддельную — философию. Вийон достиг вершины в этом искусстве формулы.

К такому искусству четкого определения поэт добавлял еще один рецепт, неведомый университетской схоластике: игру противоположностей. Некоторым для такой игры достаточно было трения, возникавшего между прилагательным и существительным. Вийону этот прием был знаком, но богатство фантазии позволяло ему превратить его в нечто выходящее за рамки простой антитезы. Мэтр куртуазной поэзии Ален Шартье нередко грешил банальностью сочетаний: «изменчивое постоянство», «подвижное стояние»... Вийон играл более тонко, и у него противопоставление рождалось из подтекста, ирония смягчала противоположности, а иногда вообще читателю приходилось добавлять нечто свое. Пьяницы пьют «из бочек и тыкв», а сам Вийон вслед за многими другими «смеется сквозь слезы». Воздав должное риторике, хотя и не злоупотребляя ею, он создал в «Балладе истин наизнанку» язвительную сатиру едва ли не на всю современную ему поэзию. Похоже, что шарж относился в первую очередь к Алену Шартье и другим известным Франсуа Вийону поэтам.

*Лентяй один не знает лени,  
На помощь только враг придет,  
И постоянство лишь в измене.  
Кто крепко спит, тот стережет,  
Дурак нам истину несет,  
Труды для нас — одна забава,  
Всего на свете горше мед,  
И лишь влюбленный мыслит здраво...<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 135. Перевод И. Эренбурга.

Философия скептицизма, выраженная здесь, далеко не исчерпывается стремлением автора добиться определенного стилизового эффекта. Сталкивание противоположностей — это отрицание окружающего мира. «Чего ради?» — выразил впоследствии это мироощущение еще один поэт.

*Кто любит солнце? Только крот.  
Лишь праведник глядит лукаво,  
Красоткам нравится урод,  
И лишь влюбленный мыслит здраво!<sup>1</sup>*

Однако у метафизики Вийона короткое дыхание. Будучи бунтом против нищеты и против виселицы, против предательства и глупости, его личный бунт ни в коей мере не походил на революционность. Поэт возражал не против существующего порядка, а против того, что ему в этом порядке не нашлось места. В своих несчастьях он обвинял планету Сатурн, и никого иного: виновата злосчастная звезда, а не ошибка Провидения.

*— Мне больно... — Эта боль — судьба моя:  
Гнетет Сатурна тяжкая рука  
Меня всю жизнь!<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> Там же.

<sup>2</sup> Там же. С. 147.

Его мораль внешне выглядела более смелой, чем его философия. Ведь он не лишал себя удовольствия шокировать благонамеренную публику. Прославлял мошенников, умилялся, глядя на проституток, высмеивал набожную мадемуазель де Брюйер и просил всех пьяниц рая втащить к себе наверх «душу покойного славного мэтра Жана Котара».

Однако все это лишь видимость. Аморализм у этого проповедника, каковым был в глубине души Вийон, простирался весьма недалеко. В стихах, написанных на жаргоне, границы его терпимости проступают довольно явственно, и у закоренелого шалопая мы неожиданно вдруг обнаруживаем тот же строй мыслей, что и у мальчика из церковного хора. Он не осуждал ни воровство, ни мошенничество. Не осуждал ни шулерские игральные кости, ни крюки для вскрытия сундуков. Он просто говорил злоумышленникам, своим братьям по несчастью: расплата предстоит тяжелая и, скорее всего, цена окажется намного большей, чем полученная прибыль. Эта мораль риска была не чем иным, как стремлением сохранить равновесие между разумным и чрезмерным.

Вот Тюска, лейтенант по уголовным делам. Вот «женильщик», то есть тот, кто устраивает свадьбу человека с пеньковой веревкой. Мораль Франсуа Вийона — это страх перед жандармом и ужас ожидания встречи с палачом.

*Плутающие в плутнях плуты,  
Клянусь: не век вам плутовать.  
Пора отсюда когти рвать,  
Не то, ручаюсь головою,  
Свиданья вам не избежать  
С женильщиком и со вдовою <sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Перевод Ю. Стефанова.

Более сурово Вийон в конечном счете судил смертные грехи добропорядочного общества. Например, зависть, нередко являющаяся грехом бедняка, он безоговорочно причислил — осуждая «завистливые языки» — к разряду преступлений против духа, где фигурируют и клевета, и жестокосердие, и умышленное злодейство. Так что, позаимствовав из «Романа о Розе» впечатляющий образ «несносных языков», наказанных за злословие, Вийон дал волю словесному потоку, чтобы рассказать про то, как варят «завистливые языки» во всех сущих ядах мира. Если отвлечься от лексики, то можно сказать, что наугад взятый ортодоксальный проповедник произнес бы с амвона абсолютно то же самое.

## Уроки жизни

Неприятие им куртуазного лиризма означало, что школяр Вийон не может и не хочет быть никаким иным поэтом, кроме как поэтом парижским. Мало того, он был человеком левобережья, человеком Университета, где охотно прославляли Женщину, но отнюдь не Даму сердца. В вышедшей из Столетней войны Франции на лиризм смотрели как на явление придворной жизни. Он имел хождение в окружении принцев, в том окружении, где Вийону не нашлось места и где он, вероятно, ощущал бы себя чужаком. Куртуазный лиризм середины XV века в сознании клирика с улицы Сен-Жак ассоциировался, конечно, с провинциализмом, причем несмотря на то, что в провинции незадолго до этого появилось несколько крупных очагов культуры. В подобное восприятие вещей не подмешивалось никакого презрения. Оно являлось простой констатацией существования иного мира и его отдаленности.

Вийон жил в жестоком мире, где люди напивались допьяна и где умирали от голода, где не было никаких гарантий относительно завтрашнего дня и где места — тем, кто попытался их заполучить, — обходились весьма недешево. А мир лиризма — это такой мир, где дни текли незаметно. Теплое время года отводилось в том мире развлечениям. А зимой его обитатели всегда имели хорошие дрова для камина. Сказать, что один из этих миров был настоящим, а другой фальшивым, значило бы погрешить против истины. Пасторали короля Рене существовали в одном обществе, а скреплявшаяся за столами таверн дружба — в другом. Вийон, кстати, не пытался кого-либо осуждать. Обычно он держался в стороне, за исключением тех случаев, когда можно было как-то заработать себе на жизнь и когда это предписывалось правилами игры: так, «Балладу поэтического состязания в Блуа» он написал в том стиле, который господствовал при дворе герцога Карла Орлеанского, и в том стиле, который предопределила выбранная герцогом тема:

## ***От жажды умираю над ручьем <sup>1</sup>.***

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 140. Перевод И. Эренбурга.

Когда Вийон чувствовал себя влюбленным, он не стремился принять позу, подсказывавшуюся канонами куртуазной поэзии. Не превращался в «вассала» своей Дамы. Томиться под апрельским солнцем, ждать, когда, проходя мимо, она осчастливит его улыбкой, — для всего этого у него не было ни времени, ни возможностей. Не падал он и сраженный нарочитым безразличием либо вымышленной изменой жестокой красавицы. Получая удары, он их возвращал: изменившую красавицу менял на другую. Любовь он воспринимал как праздник одного вечера, а не как грезу целой весны. Ну а дружба выглядела как нечто взаимно рискованное. Друга, отказавшегося одолжить тебе десять су, можно было считать предателем.

Если Вийон и прибегал к лиризму, то лишь пародируя. Действительно ли он хотел отомстить красавице, оставленной им в Париже после того, как сам был оставлен ею? Он имитировал любовную риторику в духе Алена Шартье, чтобы сформулировать в соответствующем тоне соответствующие пункты завещания. «Сердце мое в оправе оставляю», — это ли не насмешка?

Куртуазной лирике физический пыл был неведом. А Вийон знал его и гордился этим. Провести ночь, занимаясь любовью «голыми» и лаская женские «соски», — такова нарисованная им картина блаженства. Вийон сделался певцом-реалистом той любви, которую пытались игнорировать предшественники-трубадуры и которую сознательно игнорировал Алэн Шартье; например, он мог восхвалять увядшие прелести толстой Марго и напрямик заявлять, что любовник с пустым животом оставляет желать лучшего.

Еще до Рабле, сделавшего потом реализм достоянием интеллектуальной словесности, Вийон явился наиболее ярким представителем того веристского течения народной литературы, где не стыдились употреблять любые слова и где ситуации и вещи выглядели и пахли так же, как в жизни. Целый век несчастий, вызванных войной и эпидемиями чумы, приучил людей смотреть прямо в глаза жизни и смерти, приучил жить бок о бок с мерзостями, от которых нельзя было отгораживаться. И у любви в том мире тоже было жалкое обличье, а порой даже страшное или гадкое. Анонимное стихотворение XIV века предвосхитило образы жутких вийоновских пар: когда в доме нет ни крошки, а ложе твердое как камень, то даже любовь превращалась в борьбу.

***«Люби меня, мой друг», — мне говорит подруга,  
И вздрагиваю я от жуткого испуга,  
Как будто грузный воз с возницей во хмелю  
Скрипит: «Поберегись, иначе раздавлю!» <sup>1</sup>***

<sup>1</sup> Перевод Ю. Стефанова.

Еще одно, более позднее стихотворение предвосхитило образ старой сводницы, к услугам которой, по словам Вийона, ему случалось прибегать:

***Вонь изо рта, сопля из носу,  
Грудь — что говаяжья требуха,  
А на язык меж тем лиха <sup>1</sup>.***

Настоящее царство вульгарности. Однако Вийон, взявшийся за эту тему, сделал из нее настоящую драму:

***Да, я любил, молва не врет,  
Горел и вновь готов гореть.  
Но в сердце мрак и пуст живот —  
Он не наполнен и на треть, —  
На девок ли теперь смотреть?  
Когда на дне стакана сухо,***

***Не станешь ни плясать, ни петь:***

***Пустое брюхо к песням глухо*<sup>2</sup>.**

Интересно получилось, что свое самое прекрасное лирическое сочинение, прославлявшее вечную Женщину и постоянство в любви, Вийон создал для мужчины: он написал балладу и преподнес ее однажды оказавшему ему серьезную услугу Прево Роберу д'Эстувиллю, дабы тот в свою очередь подарил ее подруге своей жизни. Да не придется нам никогда разлучаться. И в вас я уверен, как в себе. Именно поэтому так крепки соединяющие нас узы...

***Принцесса, поверьте! Отныне покоя***

***От вас вдалеке мне не знать никогда!***

***Без вас я погибну, измучен тоскою,***

***А поэтому с вами я буду всегда*<sup>3</sup>.**

---

<sup>1</sup> Перевод Ю. Стефанова.

<sup>2</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 41. Перевод Ф. Мендельсона.

<sup>3</sup> Там же. С. 96.

Вийон все же не настолько мало читал, чтобы совсем не допускать реминисценций. Нет-нет да и встретим мы у него какую-нибудь формулу куртуазной любви. В начале «Малого завещания» мы читаем про «нежный взор и лик прекрасный». Поэт настроился на условный тон, соответствующий избранной им роли достойного жалости «покинутого и отвергнутого любовника». Тот отвергает любовь, «негодует» на нее. Бросает ей вызов. Здесь нетрудно заметить отзвуки «Романа о Розе».

***Возникло у меня желанье***

***Сломать любовную тюрьму***

***И прекратить души страданье*<sup>1</sup>.**

---

<sup>1</sup> Перевод В. Никитина.

Однако парижский шалопай то и дело одерживал в нем верх, так что месть, отвечающая канонам куртуазной поэзии, не получилась. Куртуазный поэт не стал бы называть свою возлюбленную «девицей с носом искривленным». Роза никогда не слышала, чтобы к ней обращались как к «развратному отродью».

Надо сказать, Вийон прекрасно владел искусством словесной игры и каламбура. И перед фривольной шуткой никогда не останавливался. Он стремился к тому, чтобы вызвать либо смех, либо слезы. Но только не улыбку...

В коротком рондо, полный смысл которого мы до конца никогда не поймем, поскольку оно обращено к неизвестному лицу, игра рифм позволила поэту максимально усилить шутовское содержание миниатюры. Жанэн — это традиционный фольклорный рогоносец. «Л'Авеню» означает «пришедший в неподходящий момент». Ну а баня — это место, где можно было и помыться, и найти девиц легкого поведения. Куда же как не туда отправить пришедшего некстати Жанэна? Эта горящая петарда из слов и трех образов, естественно, не имеет ничего общего ни с «Романом о Розе», ни с унаследованным от трубадуров лиризмом.

***Жанэн л'Авеню,***

***Сходи-ка ты в баню!***

***Ко святому дню,***

***Жанэн л'Авеню!***

***Удиви родню,***

***Поплещись в лохани,***

***Жанэн л'Авеню,***

***Сходи-ка ты в баню!*<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 139. Перевод Ф. Мендельсона.

В наши дни критика ставит под сомнение принадлежность этого стихотворения Вийону. А если его написал все-таки он, будем считать это просто игрой.

Переделка заимствованных образов, оригинальное творчество в традиционных рамках, модернизированная трактовка базовых, уже использованных мифологией тем, данные истории либо богословия, полученные, как правило, не из первоисточников, а из созданных за предшествовавшие три века компиляций, — таков исходный материал вийоновского творчества, и таковы результаты. Чего у Вийона никак не отнимешь, так это его таланта и живости характера. Пусть использованные им слова достались ему в наследство от кого-то другого, гений языка принадлежал лично ему. Такой можно сделать общий вывод.

Копия, плагиат — все эти понятия никак не подходят для тех времен, когда оригинальность мысли никому не казалась главной добродетелью и когда, напротив, добродетелью выглядело гарантировавшее ортодоксальность подражание древним. Ван дер Вейден, писавший сотое в западной живописи полотно «Страшный суд», отнюдь не занимался плагиатом. Находящееся в Эксе «Благовещение» никоим образом нельзя считать плагиатом на том основании, что Богородица изображена там, как и на сотне других «Благовещений», читающей свой часослов перед церковным налоем. И Жан Фуке, творивший в те же годы, что и Франсуа Вийон, тоже не стал плагиатором, когда по возвращении из Италии использовал для «Часослова» Этьена Шевалье геометрическую перспективу Леона Баттисты Альберти.

## **Завещание**

Сама идея организовать свое окрашенное в цвета благодарности либо мщения видение людей и вещей, используя для этого тесные рамки пародийного завещания, оригинальностью не отличалась. Она возникла еще в эпоху позднеримской литературы. Было свое «Завещание» у Жана де Мёна, которое Вийон знал настолько хорошо, что, цитируя по памяти, смешивал его с «Романом о Розе»: именно там Жан де Мён просил, чтобы молодежи прощали грехи, пока она молода, потому что их все равно придется простить, когда молодость пройдет. В свою очередь Рютбёф высказал в своем «Завещании потехи ради», ставшем настоящим шедевром бурлескного жанра, свои последние обиды в форме последних распоряжений. Карл Орлеанский попытался развить эту тему в утонченной тональности куртуазных аллегорий.

*Во-первых, всю мою натуру,  
Чьих склонностей я не таю,  
Его Величеству Амуру  
Вручаю, чтоб в своем Раю  
Он душу приютил мою <sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Перевод Ю. Стефанова.

Пробовали свои силы в жанре завещания, правда с меньшим успехом, и другие поэты, например побывавший в плену у арманьяков осерский балли Жан Ренье. Его поэма в форме завещания несколько затянута, но стихи в ней не лишены силы. Трудно сказать с определенностью, читал Вийон ее или нет: она была написана в 1433 году и, похоже, не получила широкого распространения.

«Завещание» Вийона представляет собой синтез. Оно восходит к жанру поэмы намеков, существовавшему в рамках традиции лирических аллегорий. А с другой стороны, оно было тесно связано и с традицией буржуазной реалистической литературы, причем этот реализм оказался многим обязан карикатуре на язык юридических формул. То, что Вийон какое-то время зарабатывал себе на жизнь в конторе нотариуса, похоже на правду. У него в памяти сохранилась масса юридических изречений, благодаря которым рассказ несет на себе печать подлинности. Тут-то и находится второй компонент синтеза: это правдоподобная карикатура.

Вийон начинает свою поэму с места в карьер. Называет свое имя. Сообщает даты. Мотивирует свои действия, как если бы речь шла о настоящем документе. Дважды апеллирует к святой Троице, с чего в соответствии с раз и навсегда заведенным порядком начинали нотариусы любое завещание. Дважды напоминает читателю, что поэма является завещанием: вымысел должны принимать всерьез.

***Во имя Бога, как сказал я,  
И Матери его святейшей...<sup>1</sup>***

На протяжении всего «Завещания» возникают термины из словаря нотариусов и актуариусов: не слишком много, чтобы не вредить художественности, но вполне достаточно, чтобы расставить юридические акценты. То и дело повторяющиеся «Затем...» отмеряют дары и волеизъявления. Поэт «дарует право» и «дарует власть». Он желает и распоряжается. Он учреждает. Он получает. Он вручает. «Декрет», который уже в «Малом завещании» «по пунктам излагает дело», обладал способностью превращать предложения в статьи. Этим пользовались священники, чтобы «получать сверх», что на официальном языке означало «собирать налоги».

Активно служил Вийону юридический язык и в тех случаях, когда ему нужно было поиграть словами с двойным смыслом. Табари, который во время допроса его королевскими судьями, вероятно, раздул инцидент с «Чертовой тумбой», как оказалось, не просто скопировал «Роман о „Чертовой тумбе“», а «укрупнил» его, как поступал любой служащий нотариуса, переписывавший документ «крупным почерком» для клиента.

Отказывая по завещанию что-то друзьям, что-то родным, сообщая состав душеприказчиков, отдавая распоряжения относительно похорон и места захоронения, Вийон не забыл о главном, о том, что облегчает путь в рай и что непременно фигурировало в каждом завещании: он простил обиды.

***На юных и старых обид не держу...<sup>1</sup>***

---

<sup>1</sup> Перевод В. Никитина.

Если форма и проистекающий из нее комизм идут от нотариальной конторы, то вдохновение идет от улицы. Вийон больше жил, чем учился, так что его мир — это улица. Поэтому основную массу материала он брал из окружавшей его действительности: поэт лучше знал то, о чем говорят в тавернах, чем то, о чем читают в книгах. Да и, как мы уже видели, даже многим из того, что вроде бы приобретает в книгах, он тоже был обязан болтовне школяров.

Тогдашняя историческая наука находилась не в лучшем состоянии, чем наука клириков. Прислушиваясь к ропоту своего времени, Вийон запечатлевал его как мог, и порой случалось, что он смешивал обрывки информации, ошибался, иногда употреблял некоторые слова совершенно невпопад. Так, например, образ, открывающий «Добрый урок пропащим ребятам», хотя сам по себе и грациозен, но не имеет ничего общего с содержанием баллады.

***Не потеряйте, вы, красавцы,  
Со шляпы розу-раскрасавицу!<sup>1</sup>***

---

<sup>1</sup> Перевод В. Никитина.

Проясняет ли это обращение в какой-нибудь мере то предупреждение, с которым поэт обращается здесь к шулерам, грабителям, убийцам? Заложена ли в нем мысль, что их дурные дела приведут их к смерти? Отнюдь. Эта фраза принадлежит к разряду тех выражений, которые люди передают из уст в уста, забыв их первоначальный смысл. Это были последние слова, произнесенные Карлом VII на смертном одре в июле 1461 года, слова, столь часто повторявшиеся, что многие из повторявших даже и не знали, что они предназначались графу де Даммартену, одному из самых элегантных придворных: «Ах, граф де Даммартен, в моем лице вы теряете красивейшую розу с вашей шляпы!»

Фразу повторяли на всех углах, и вот, когда несколько недель спустя Вийон принялся за свое «Завещание», его перо почти автоматически запечатлело ее на бумаге. А в другом случае, когда он перемешал в «Балладе о сеньорах былых времен» позавчерашних покойников со

вчерашними, то сделал это совершенно сознательно, в пику Эсташу Дешану. Времени, неумолимо сокрушающему хрупкие человеческие судьбы, до хронологии нет никакого дела, и Вийон, как бы невзначай перемешавший поколения, позволил увидеть это воочию. Что сохранилось от былых знаменитостей? Из поглотившего их всех забвения выглядывают лишь имена да ассоциирующаяся с ними известность. Причем известность нередко умещается в одном эпитете. Иногда в памяти сохраняются кое-какие черты, как в случае с несчастным Яковом II Шотландским, умершим в 1460 году, который запомнился, увы, всего лишь большим красным пятном на его лице. А Хуана II Кастильского забвение уже успело поглотить полностью: поэт не удержал в памяти даже его имени.

Папа Калист III, Альфонс I Арагонский, герцог Карл I Бурбонский и герцог Артур Бретонский — он же Ричмонт, — равно как и король Кипра Иоанн III Люзиньянский, умерли незадолго до того. Однако Вийон присовокупил их имена вместе с именами только что скончавшихся Карла VII и Хуана II Кастильского к именам славных покойников прошлого вроде Дю Геклена и полумифического героя Шарлеманя. Эсташ Дешан ограничивался древними:

*А где теперь Давид и Соломон,  
Мафусаил, Навин и Маккавеи...<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Перевод Ю. Стефанова.

А Вийон совместил мифическое и прожитое в одном и том же восприятии ирреальности времени и ирреальности славы. Для его современников называвшиеся им имена еще были исполнены смысла. Но рефрен уже отправлял их туда же, в вечное безмолвие.

*Скажите, Третий где Калист,  
Кто папой был провозглашен,  
Хотя был на руку нечист?  
Где герцог молодой Бурбон,  
Альфонс, чье царство — Арагон,  
Артур, чья родина — Бретань,  
И добрый Карл Седьмой, где он?  
Но где наш славный Шарлемань?  
А где Шотландец, сей папист,  
Чей лик был слева воспален  
И розов, точно аметист?  
Где тот, кому испанский трон  
Принадлежал? Как звался он,  
Не знаю... Где собирают дань  
Все властелины без корон?  
Но где наш славный Шарлемань?<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 49. Перевод Ф. Мендельсона.

## Свидетель

Не будем же принимать Вийона за надежного свидетеля своей эпохи, за летописца случавшихся тогда событий, так как узнавал он о них лишь благодаря слухам. Ему было известно, что прево Робер д'Эстутвиль познакомился со своей будущей женой при дворе короля Рене, но в момент написания и включения предназначавшейся для его жены баллады в «Завещание» еще не было известно, что тот впал в немилость. Шутил ли он или действительно не знал, как звали короля Кастилии? Вийон пожертвовал его именем ради рифмы или же и вправду не смог его вспомнить?

Есть риск увидеть политическую сатиру в лукавом намеке на архиепископа Буржского, в стреле, выпущенной поэтом после того, как он завещал следователю церковного суда Жану Лорану так называемый «буж», то есть сделанную из грубой ткани подкладку от сумки, нечто вроде мешковины, дабы тот утирал свою физиономию потомственного пьяницы. Если бы Лоран был архиепископом Буржа, то у него был бы шелковый платок! Напомним, что архиепископом Буржским в ту пору был Жан Кёр...

Десять лет спустя после разорения и опалы, постигшей бывшего королевского казначея, его сын продолжал по-прежнему жить на широкую ногу в своем архиепископском дворце. Вполне возможно, что большое состояние, уцелевшее после одного из самых крупных скандалов того времени, порождало всевозможные слухи и что Жана Кёра считали нуворишем, вышедшим сухим из воды. Однако колкость в адрес архиепископа не выглядит здесь логически связанной с фигурой пьяницы, в то время как сетование на мир звучит вполне естественно: бедняк Жан Лоран легче переносил бы несчастья, будь он богат. Когда плачут в шелка, то плачут меньше...

*А следователя Лорана —  
Его глаза соленым лужам  
Под стать, ведь зачат был он спьяну  
Приверженным к бутылке мужем, —  
Я осчастливлю старым «бужем»,  
Чтоб утирать глазные щели;  
Будь он архиепископ в Бурже,  
Он взял бы шелк для этой цели <sup>1</sup>.*

У рифм есть своя обратная сторона: изначально Вийон вовсе не собирался включать в свое завещание архиепископа. Архиепископ возник из-за Буржа. И на этот раз тоже Вийон почитал Дешана и позаимствовал у него несколько слов и несколько образов. Упоминалась, в частности, у Эсташа Дешана шелковая ткань, но в иной связи. Фигурировала у него и бросавшаяся в глаза нищета, нищета, отличавшая старого священника с минимальным доходом от священника-декана, которому не приходится жаловаться на судьбу. И старый «буж» там тоже был, но не для того, чтобы им вытирать слезы, а чтобы прикрыть спину лошади. И уже там Бурж появлялся лишь для того, чтобы составить рифму к «бужу».

*Как-то священник мне встретился старый,  
На лошаденке он ехал чубарой,  
Вместо попоны укутанной «бужем»,  
Требник висел у него на луке.  
Все б мне понравилось в том старике,  
Если б не глазки, соленые лужи,  
Если б не веки, красней, чем шелка,  
Если б не в сизых прожилках щека...  
К полудню мы уже были под Буржем <sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Перевод Ю. Стефанова.

Сцену с бедным Жаном Лораном Вийон выдумал от начала до конца. А под руку подвернулся архиепископ. И то сказать, чтобы зарифмовать слово «буж», Дешану не оставалось ничего иного, как упомянуть город Бурж. Ни Жак Кёр, ни его сын тут ни при чем — Эсташ Дешан умер, когда Жаку Кёру было всего десять лет...

Займствуя слова и образы, Вийон иногда наталкивался на новую мысль и хватался за нее. Бурж возник ради рифмы, но, упоминая о нем, почему бы не поддеть слишком богатого архиепископа.

Хотя Вийон и припомнил славную лотарингскую Жанну, «что в Руане сожгли англичане», которую только что с помпой реабилитировали, политическим наблюдателем он был

никудашным. Но зато многое подмечал в обыденной жизни. Читал не много, но зато много повидал. Ему знакомы страдания тех, кто останавливался перед лотком булочника:

*Хлеб видят они лишь в окне.*

Знакомы ему были и нетопленые комнаты, где даже друзей нечем угостить. А себя он определил так:

*Голее камня-голыша,  
Не накопил он ни гроша...<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 121. Перевод Ф. Мендельсона.

Вийон не раз видел бездомных перекасти-поле, скитавшихся, подобно ему самому, по дорогам Франции и оставлявших на колючих кустах куски своей одежды.

Этот ленивец, влача голодное существование, перепробовал разные ремесла, и у него в памяти запечатлелись все тяжкие труды людей без профессии. Если уж каменщик возвращался с работы разбитым от усталости, то насколько тяжелее приходилось его помощникам, подавальщикам, чернорабочим, не владевшим мастерством и годным лишь на то, чтобы носить наверх камни и кирпичи. Есть у Вийона один почти неприметный намек, который, однако, выдает близкое его знакомство с предметом:

*Вот кладчик — невелик сеньор,  
А без подручного — ни шагу<sup>1</sup>.*

Вийону были хорошо знакомы мелкие драмы повседневной жизни. Такие, например, как конфискация сержантами Шатле слишком красивых поясов, которые, вопреки предписаниям, носили проститутки, желавшие привлечь к себе внимание. Однако производили конфискацию поясов также и у осужденных, что дало поэту повод посмеяться над одним судьей, чьему имени он не без задней мысли придал форму женского рода. Судья Массе из Орлеана заполучил пояс осужденного Вийона; но если он будет его носить, предупреждает поэт, то на него наложат штраф, как на непотребную женщину.

*Для судей старый их сарай  
Я после смерти перестрою,  
Чтоб был не суд, а просто рай,  
И всем по креслу дам с дырою  
Из уваженья к геморрою,  
А чтоб покрыть расходы все,  
Пусть будет оштрафован втрое  
Шлюшонка-лейтенант Массе!<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> Перевод Ю. Стефанова.

<sup>2</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 87. Перевод Ф. Мендельсона.

Наблюдательность Вийона, завсегдагая улицы, проявилась и в том, как он описывает внешние признаки блеска и падения девиц легкого поведения. Вот Катрин-кошелечница, отгоняющая от себя мужчин. Вот Гийометта-ткачиха, отвергающая ухаживания своего хозяина. А вот пригожая Колбасница, предпочитающая танцы работе. Приходит день, когда они оказываются никому не нужными.

Придется рано закрывать окно.

Одна из них становится служанкой у кюре. И все они встречаются снова, «на корточки усевшись полукругом». И, сидя на пороге, без умолку болтают.

## Пословицы

Единственным уроком, который школяр Вийон действительно хорошо усвоил, был урок, сложившийся из совокупной мудрости наций. Пословицы и поговорки с их стремительными уравнениями и упрощенными парадоксами — вот что легло в основу его практической морали и его мировосприятия. Вряд ли кто сумел бы точно сказать, что он взял от книг, а что от улицы. Вся литература, состоявшая из моралите, соти, мистерий, романов, фаблю, черпала из старых запасов поучительных изречений и естественной логики.

«Баллада пословиц» — это всего лишь игра. Стилистическое упражнение сводилось к тому, чтобы многократно варьировать выражения, начинавшиеся с одного и того же слова. К этому добавлялось упражнение просодическое, состоявшее в том, чтобы найти тридцать четыре восьмисложные пословицы либо довести до восьми слогов изначально более длинные пословицы. Есть ли за этой игрой какая-нибудь философия? Не в том ли здесь философия, что автор показывает суетность схоластических дебатов? Если баллада и подводит к какому-то выводу, то он гласит: любую мысль можно выразить в восьми слогах, а народный опыт обладает большей силой, чем рассуждения педантов.

*Вещь дорога, пока мила;  
Куплет хорош, пока поется;  
Бутыль нужна, пока цела;  
Осада до тех пор ведется,  
Покуда крепость не сдается;  
Теснят красотку до того,  
Пока на страсть не отзовется.  
Гусей коптят на Рождество <sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М, 1981. С. 131—132. Перевод Ф. Мендельсона.

Дословный перевод:

Кто любит собаку, гот ее кормит.

Кому нравится песня, тот ее заучивает.

Кто долго яблоки хранит, получает гниль.

Кто добивается места, тот его получает.

Кто медлит, тот терпит неудачу.

Кто торопится, у того дело не спорится.

Кто много набирает, у того из рук вываливается.

Кто зовет Рождество, к тому оно приходит.

Разочарованный поэт выдает себя своим выбором. Последний куплет выглядит как констатация собственных несчастий. У забавника пропало желание смеяться: праздник оказался не для него. Не помогли ни искренность, ни великодушие. Обещания оказались пустыми словами.

В «Большом завещании» раз двадцать в разной форме выражена мысль: «Как каждый убеждается в сердцах: на удовольствие — тысяча страданий». Ну а для любви самым непоправимым несчастьем является старость: «Ну что за радость — старую увидеть обезьяну».

Приходит Вийону на помощь народная мудрость и тогда, когда ему нужно оправдать свое дурное поведение: когда ты голоден, то не до морали.

*С пути сбивает нас нужда,  
Волков из леса гонит голод <sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Перевод Ю. Стефанова.

Однако мораль людская оказывается спасенной благодаря другим поговоркам, и поэт в конце баллады, названной Клеманом Маро «Добрый урок», предупреждает «пропащих ребят», что:

***Дурная прибыль — проку нет.***

Религия Вийона тоже уместилась всего в одной поговорке. Самая что ни на есть простейшая вера сына бедной прихожанки состояла из одной только любви к Богу, и в ней не было ничего от умствований магистров богословия из Сорбонны; именно эта вера удерживала поэта в лоне церкви, что бы он о ней ни думал. Однако слишком уж много любви к Богу требовалось в те смутные и жестокие времена. На заднем плане этой стихотворной строчки, одной из наиболее богатых смыслом во всей «Балладе пословиц», мы угадываем контуры и Великой Схизмы, и соборов, и папского фиска, вспоминаем про индульгенции, про алчность прелатов, про невежество священников. Преданность христиан церкви спасала лишь вера.

***Дворняга сытая не зла;  
Люб гость, покуда не уьетя  
И все не сдернет со стола;  
Покуда ветер — ива гнетя;  
Покуда веришь — Бог печетя  
О благе чада своего;  
Последний хорошо смеетя...  
Гусей коптят на Рождество <sup>1</sup>.***

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 132. Перевод Ф. Мендельсона.

Дословный перевод:

Кто шутит слишком много, уже не смешит.

Тратишь столько, что не остается даже рубашки.

Показываешь свою щедрость, а у самого не остается ни гроша.

Слово «держи» — это все равно что полученная вещь.

Так сильно Бога любишь, что принимаешь и церковь.

Раздаешь столько, что приходится занимать.

Ветер дует так сильно, что становится зябко.

Кто зовет Рождество, к тому оно приходит.

То есть Вийон говорит, что рано или поздно все заканчивается неизменно плохо. Раз дует ветер, то надует зиму. Побеждает всегда наихудшее. Однако пессимизм этот сглаживается присутствием образов повседневности, поэт не доводит свою мысль до конца, и метафизическое уступает место физическому: морозу. От ветра «становится зябко». И мы оказываемся на углу улицы Сен-Жак.

Один из даров «Завещания» выражает критическое суждение Вийона, направленное не на общество, а на Бога. Это не значит, что поколебалась его вера, но он оставляет за собой право посетовать на свой удел. Без излишней горечи, но в то же время и без подобострастия он воспроизводит мечтания изголодавшегося человека, которые свидетельствуют об отсутствии справедливости в Царстве Божиим. Пусть Бог направит на путь благонравия тех, кому Он дал все. У бедняков нет для этого возможностей... Так пусть же этим беднякам Он даст терпение.

Красочное видение праздничного стола не должно скрывать от нас суровой моральной теологии поэта. Богу нечего с него спросить.

***Ты знатным дал, Господь, немало:  
Живут в достатке и в тиши,  
Им жаловаться не пристало —  
Все есть, живи, да не греши!  
У бедных же — одни шиши.  
О Господи, полегче с нами!  
Над теми строгий суд верши,  
Кого ты наделил харчами.  
Такие жрут куда как сладко!***

*Пулярки, утки, каплуны,  
Фазаны, рыба, яйца всмятку,  
Вкрутую, пироги, блины...<sup>1</sup>*

Но вот в последний момент появляется надежда. Она проявляется в раскаянии «доброто сумасброда», выраженном в конце «Баллады пословиц». Он уже так долго потешался. Он так низко пал. А если бы он взялся за ум... Если бы он вернулся... Он уже так истомился, так исстрадался.

Выбор рефрена отнюдь не случаен, и вовсе не звучность поговорки привлекла внимание поэта. В этой пословице, выбранной из сотен других пословиц, заключена вся надежда Вийона, и выражает она только одну мысль: не надо никогда отчаиваться. Пребывая в безднах своего несчастья, бедный школяр находил в себе силы надеяться. У него еще будет Рождество. Не то Рождество, которое празднуют 25 декабря и которое имеет в виду поговорка, а Рождество его жизни, новое рождение.

*Принц, дурень дурнем остается,  
Пока не вразумят его  
Иль сам за ум он не возьмет.  
Гусей коптят на Рождество<sup>2</sup>.*

---

<sup>1</sup> Там же. С. 43.

<sup>2</sup> Там же. С. 132.

Дословный перевод:

Принц, живет безумец, живет и вдруг образумливается.

Ходит он, ходит и в конце концов возвращается.

Так измучился он, что одумался.

Кто зовет Рождество, к тому оно приходит.

## **Глава XIII**

### **Девушки, слушайте...**

#### **Брак и карьера**

Побочная любовь при законном браке — это отнюдь не то же самое, что наличие брака при любви. Социальное положение, подкрепленное женитьбой, плотские наслаждения, духовные склонности в различных их проявлениях — этот комплекс мотивировок образовывал разные комбинации в зависимости от обстоятельств, от темпераментов и от индивидуальных перспектив.

Выбор, сделанный юным магистром искусств, был, скорее всего, продиктован не какими-то долгими расчетами, а простым импульсом, если, конечно, дело обошлось без совета, на которые бывают щедры старшие. Доля рационализма, расчета, очевидно, была в те времена более велика — и более оправданна — на высших ступенях социальной иерархии. Получивший степень сын адвоката или племянник советника шагнул по хорошо освещенному пути, и его шансы заполучить ту или иную должность оправдывали его более серьезное отношение к проблеме выбора. Он не слишком рисковал вернуться из своего путешествия несолоно хлебавши.

Ну а Франсуа де Монкорбье шел наугад. Осознавал ли он, насколько важную роль сыграет тот или иной выбор в его дальнейшей судьбе?

Среди возможных вариантов выбора существовали прежде всего мирские профессии. Однако они таили в себе больше риска, чем клерикальные. Не имея средств к существованию, мирянин устраивался в жизни с большим трудом, чем клирик, а вступление в брак означало отказ от всех реальных преимуществ школяра. Следовательно, исходящее из жизненного опыта женоненавистничество клирика возникало не на пустом месте: молодой магистр искусств,

размышлявший о своем будущем ремесле, должен был очень быстро решить, сохранять ему тонзуру или от нее отказываться.

Дело в том, что, становясь клириком, дабы, например, получить степень магистра, человек еще не делал необратимого выбора. Он мог затем предпочесть какое-либо иное положение. Изменить ситуацию оказывалось невозможным на более высоких уровнях иерархии: отказавшийся от своего статуса дьякон или священник становился настоящим изгоем христианского общества. Ну а молодой магистр мог беспрепятственно войти в мирскую жизнь с помощью брака. Но при этом ему было над чем задуматься, поскольку брак, по существу, тоже оказывался нерасторжимым.

Одно дело духовный чин, а другое — бенефиций. Духовный чин являлся знаком приобщения к клерикальному сословию, а бенефиций в теории означал обязанность, а на практике — доход. Некоторые были канониками, не являясь священниками, другие — священниками, не будучи канониками. Клирик Арно де Серволь, вошедший в историю как «Протоиерей», чаще работал секирой, чем кропильницей, но при этом, даже имея сан протоиерея, он никогда не был священником. Подобно тысячам клириков, которые, прожив славно ли, худо ли свою жизнь, никогда ни непосредственно, ни издали не были причастны к церковным службам, этот протоиерей имел лишь тонзуру, но не доходы.

Соответственно, находившийся на распутье школяр должен был подсчитывать свои шансы получить то или иное место в культовой и социальной иерархии: на уровне духовных чинов и на уровне доходных бенефициев.

Домогаться чинов можно было, уже обеспечив себя бенефициями. А не имея бенефициев, всегда можно было отказаться от еще не полученного сана священника. Выбор клирика в этом случае не отличался сложностью: он старался отодвинуть момент окончательного принятия решения. При этом парижский школяр так же избегал женщин, как какой-нибудь подмастерье или приказчик, откладывая свадьбу из-за того, что еще не накопил на нее денег. Подобно всем остальным людям, ему случалось влюбляться. Но только вот подумывать о браке означало для него потерять надежду на получение бенефициев и навсегда отказаться от карьеры.

Естественно, мужчинам и женщинам XV века была введена страсть, приводившая к алтарю. Однако в большинстве случаев институт брака походил скорее на деловое мероприятие, чем на триумф любви. Чувство не посягало на интересы. В лучшем случае оно подкрепляло их.

Браки принцев скрепляли союзы и мирные договоры. Благодаря им получали отсрочку одни конфликты, но порой зарождались другие. Они обеспечивали счастливые престолонаследия. Например, государство, которым с 1419 года правил «великий герцог Запада» Филипп Добрый, было все соткано из браков. Для этого потребовалось, чтобы в XIII веке граф Фландрский женился на графине Неверской, чтобы в XVI веке граф Бургундский женился на графине Мао д'Артуа и чтобы их внучка вышла замуж за герцога Бургундского, наследник которого Филипп Смелый женился в 1369 году на единственной наследнице фламандского престола, обладавшей к тому же правами на Брабант и на Лимбург, чем воспользовался в 1430 году их внук, Филипп Добрый...

Тогда же одна из сестер Филиппа Доброго, первым браком бывшая замужем за старшим братом Карла VII, сочеталась вторым браком с коннетаблем де Ричмонтом, будущим герцогом Бретани. Вторая его сестра вышла замуж за Карла Бурбонского, а третья, ставшая герцогиней Бедфордской, вплоть до своей смерти в 1435 году оставалась самой настоящей королевой Парижа.

Отвлечемся, однако, от принцев и их матримониальных союзов. В Париже буржуа было больше, чем принцев, а среди буржуа больше было людей женатых, нежели холостых, причем для них брак тоже являлся делом, которое обсуждалось и которое оформлялось как контракт. Кстати, именно этим определялся парадоксальный характер обручения: хотя оно и выглядело как простое согласие на бракосочетание, но, по существу, оказывалось столь же нерасторжимым, как и само бракосочетание, потому что представляло собой соответствующим образом клятвенно закрепленный контракт.

Стало быть, брак вписывался в стратегию буржуазных семейств в такой же мере, как и в дипломатию принцев. В 1386 году Жан Ле Мерсье, обер-камергер Карла VI и один из королевских казначеев в недолговечном правительстве так называемых «Мармузетов», практически сделал карьеру молодому адвокату Жану Жувенелю, устроив его брак с дочерью советника Парламента

Гийома де Витри. Племянница того же самого Гийома де Витри вышла замуж за Жана Люйе, одного из самых богатых парижских менял, чье имя не раз встречалось среди столичных старшин. Их дочь вышла замуж за председателя Парламента Адана Кузино. А в другой среде хорошо устроил свои дела будущий канцлер Людовика XI Пьер Дориоль, женившись на вдове Гийома де Вари, компаньона Жака Кёра.

Ну а что касается судейского сословия, там из брака сделали очень надежное средство приобретения должностей. Ни распространять свое влияние, ни утверждать свою власть не представлялось возможным без создаваемой на протяжении нескольких поколений сети круговой поруки, где ячейками служили удачные браки. Едва попав во власть имущую среду, новоявленный чиновник торопился там укрепиться с помощью матримониальных уз. Из семидесяти одного человека, заседавшего в Парламенте в 1454 году, сорок два чувствовали себя там как в своей семье и были связаны друг с другом двумястами семьдесятю восемью более или менее близкими родственными узлами.

Карьера и брак взаимно дополняли друг друга: союз открывал дверь перед одним и закрывал ее перед другим. Это хорошо видно на примере Анри де Марля, который, попав в Парламент во времена Карла VI в качестве председателя, поспешил закрепить в достаточно хорошо известной ему как адвокату среде: он выдал там замуж своих дочерей. Правда, успех его из-за сопротивления уже укрепившихся на местах семейств был тогда еще неполным. Однако он заполучил в свои руки средства утверждения своего влияния. И пристроил в Судейскую палату своего брата, своего зятя и, наконец, своих сыновей.

Простой клирик Франсуа Вийон прекрасно знал про солидарность такого рода, всегда обращенную против него и стоявшую преградой на его пути при поиске мест. Он знал людей и имел представление о барьерах. Иронически упомянутый в «Малом завещании» в качестве примера неимущего клирика магистр Гийом Котен в 1417 году занял место в Парламенте рядом со своим братом Андре, а четыре года спустя оказался избранным благодаря своей популярности адвокатом короля. Со временем он помог проникнуть в Судейскую палату также своему племяннику, зятю и даже зятю зятя. Поэтому-то и сошел он в глазах понимавшего, как делаются карьеры, поэта за «бедного клирика, говорящего по-латыни».

## **Амбруаза де Лоре**

Если брак являлся инструментом семейной политики, то супружеское счастье могло рождаться и укрепляться, несмотря на лежавшую в его основе ткань социальных условностей. Вийон, знавший об этом, вспомнил о любимой жене парижского прево Робера д'Эстутвиля, дочери одного из предшественников Эстутвиля в Шатле Амбруаза де Лоре. Дочку тоже звали Амбруазой, и всему Парижу было известно, что она вся состоит из достоинств, необходимых для того, чтобы стать идеальной супругой.

Во время войны прево Лоре отличился как храбрый и верный полководец, чьи старания немало помогли Карлу VII одержать победу. Парижем он управлял твердой рукой, благодаря чему снискал популярность среди уставших от войны и жаждавших порядка буржуа. Правда, в его адрес раздавалась критика из-за его многочисленных любовниц, но серьезного обвинения в этой связи предъявить никто не осмелился.

И вот весной 1446 года король Рене объявил, что устроит при своем дворе прекраснейшее из всех когда-либо виденных состязаний на копьях. Хотя Рене Анжуйский и потерял в Неаполе все, что у него еще оставалось от королевской короны, он по-прежнему сохранял свои позиции одного из крупнейших властителей Запада.

По официальному титулу на издаваемых им указах и по надписи на изготовленных на его монетном дворе деньгах он значился королем Иерусалима и Сицилии, но реально являлся герцогом Анжу, Бара, Лотарингии и графом Прованса. Он славился своим искусством организовывать ристалища, а также своими талантами живописца, поэта и музыканта.

Судьба юной Амбруазы решилась там, в Сомюре, где король Сицилии организовал турнир, продлившийся сорок дней. Отец ее туда привез. И там ее заметили.

Турнир получился превосходный. С утра до вечера рыцари, которых турецкое перемирие обрекло на бездействие — война за окончательное возвращение территорий возобновилась лишь в 1449 году, — состязались в подвигах, разыгрывая что-то вроде рыцарского романа. А ставкой были сердца дам, укрывавшихся от ветра на выстеленных драгоценными коврами трибунах. Устроители обозначили даже перекресток, который ни одной из них не позволялось пересекать, прежде чем кто-то из «чемпионов» не поломает ради нее пару копий. Можно было подумать, что вдруг вернулся XII век. Веселились вовсю. Некоторые входили в азарт.

По вечерам, закончив турнир, шли пировать в сомюрский замок, причем король Рене стремился поразить гостей великолепием. И там, сменяя игры доблести, вступали в свои права игры любви, искрившиеся остроумием и длившиеся до поздней ночи.

Робер д'Эстутвиль отличался и храбростью, и красноречием. И ему удалось покорить сердце прекрасной Амбруазы де Лоре. Восседая на покрытой красно-голубой — цвета его герба — попоной лошади, он поломал копьё. На его шлем — нашлемник был выполнен в виде головы мавра, украшенной двцветным покровом, — обратили внимание. Ради прекрасных глаз Амбруазы он бросил вызов министру двора Анжу господину Луи де Бово. И победил. А затем попросил руки своей дамы сердца.

Прошло десять лет. О Робере д'Эстутвиле и его жене постоянно говорили как об идеальной супружеской паре. Амбруаза слыла безупречнейшей хозяйкой дома. Цвет парижского общества почитал за счастье бывать в ее особняке на улице Жуи. Там читались стихи. Был ли там принят Вийон? Возможно, супруга прево просто оказала какую-нибудь помощь бедному школяру, который тоже сочинял стихи.

Затем наступила опала. По восшествии на престол Людовика XI Робера д'Эстутвиля бросили в Бастилию; четыре года спустя тот же самый король восстановил его в должности прево. Однако друзей за время тяжелых испытаний поубавилось. Платил ли Вийон, сочиняя балладу, какой-то долг? Включив в свое «Завещание» балладу, которую влюбленный муж мог преподнести своей верной жене, он одарил сразу двух людей.

Подарок этот сугубо индивидуализирован, потому что имя молодой женщины прочитывается в начальных буквах четырнадцати первых строчек, в акrostихе, который тогда любили все, а Вийон особенно. Баллада отвечала всем требованиям моды того времени: сама она изобилует аллегориями и символами, а предшествующий ей куплет, где содержится посвящение опальному прево, богат лестными аллюзиями. Вийон имел представление о том круге людей, он хорошо знал, что больше всего нравится участвовавшим в турнирах любителям деланной и обветшалой «галантности».

Чувствуется, что поэт заставлял себя писать в несвойственной ему манере. И баллада, и акrostих создавались как своего рода упражнение. Однако в предшествующих балладе строчках отчетливо различим голос сердца. Есть даже какая-то дружеская ирония в сравнении Робера д'Эстутвиля с Гектором. Мол, лучше уж пусть он расскажет своей жене стихи Вийона; поэт считает, что прево более искусен в турнирных делах, нежели в речах.

*Прево парижскому, который  
Жену копьем себе добыл,  
Не тратя слов на разговоры  
(Не то что Гектор иль Трои), —  
Он короля Рене сразил  
И первым стал в турнирном круге, —  
Сию балладу я сложил  
В честь молодой его супруги <sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 94. Перевод Ф. Мендельсона.

Герой «Романа о Троиле», который пересказал сам Луи де Бово, взяв за основу «Филострато» Боккаччо, был до такой степени застенчив, что не осмеливался сообщить даме своей мечты о с недавней его страсти. И ему пришлось привлекать к себе ее внимание с помощью ратных подвигов. Впору предположить, что он же, Бово, сочинил и эту похвалу супружеской жизни, которую Вийон превратил в двойной подарок чете д'Эстувилей.

*Алой окрашено небо зарей,  
Мечется сокол в предчувствии боя,  
Брошенный в небо, мчится стрелой,  
Ранит голубку и мнет под собою.  
Участь нам эту всевластной рукою  
Амур уготовал. Ваша звезда,  
Знайте, уже не затмится другою,  
А поэтому с вами я буду всегда.  
Душу мою не отдам я другой,  
Если уйдете — расстанусь с душою.  
Лавры сплетутся венком надо мной,  
Оливы излечат страданье любое;  
Разум твердит, что с вами одною  
Это, возможно, будет, когда  
Станете вы моей верной женою,  
А поэтому с вами я буду всегда<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Там же. С. 95.

Все смешалось в этом старательно выполненном упражнении: метафоры любовной риторики и символы, позаимствованные в Священном писании. Амбруазе де Лоре достаточно было прочитать стихотворение вертикально, чтобы не только обнаружить свое собственное имя в виде посвящения, но и почувствовать игру слов, где по созвучию символом фамилии Лоре выступает лавр, соединяющийся с оливковым деревом, которое в Библии олицетворяет верность избранного народа своему союзу со Всевышним.

Поведение мелкой буржуазии, занимавшейся торговлей и ремеслом, в вопросах брака мало чем отличалось от поведения высокопоставленных чиновников. Для галантерейщика и бакалейщика в такой же мере, как и для судьи из Парламента или же должностного лица из Шатле, брак являлся средством уточнения, укрепления, расширения, а иногда и небольшого повышения уровня естественной солидарности. Оригинальность профессиональных и соседских взаимоотношений состояла здесь в том, что границами им служили не турниры, а либо ремесло, либо перекресток. При таком положении вещей, когда рамки, ограничивавшие сферу простого человеческого общения и контактов профессиональных, нередко совпадали, любовь оказывалась в более выгодной позиции, чем в аристократической и судейской среде, где расчеты производились на расстоянии.

Хотя, естественно, и здесь тоже претенденты охотились за приданым, а вдовы злоупотребляли притягательной силой оставленного им мужем наследства. Поэтому порой препирательства в суде вели родственнички с весьма усложненной генеалогией: например, некто, женившийся пять раз и четырежды промотавший состояния своих жен, судился с братом своей пятой жены, которая в свою очередь выходила замуж трижды!

А что уж говорить про любовь подмастерья, вдруг получившего возможность жениться на вдове своего хозяина! В основе подобных союзов редко лежала страсть, хотя была иногда нежность. Нередко итогом их являлись неблагодарность и обиды. Первым результатом такого рода браков была уверенность, уверенность, проистекавшая из обладания орудиями труда, из доступа к профессиональным учреждениям, а также из права занять хорошую комнату на втором

этаже. И еще люди избавлялись таким образом от призрака одиночества. Выгоду в этом находили и мужчина, и женщина.

Некоторые браки заключались и по расчету, и по любви одновременно. Так случилось с Томассой Ла Моэт, молодой вдовой седельного мастера, которая вдруг стала хозяйкой превосходно оборудованной мастерской, не обладая при этом ни силой, ни искусством набивания изготовлявшихся из твердой кожи седел. Испытывая большую потребность в умелом подмастерье, Томасса без труда его нашла: им оказался молодой мастеровой по имени Колен Менар. Она наняла его, пообещав платить восемь су в неделю и выделив ему соломенный тюфяк. Однако зима в тот год случилась суровая, а сердце у дамы было нежное. И через пять дней после найма на работу Колен перебрался с кушетки в постель.

«Так как поведение у него было приличное и работу делал он хорошо, то позволила она ему спать на кушетке в своей комнате, поскольку время было холодное. И тогда увидел он, что вдова она еще крепкая.

А после кушетки она позволила ему спать в большой кровати в продолжение четырех месяцев.

И был он таким хорошим работником, что каждый день набивал от четырех до пяти седел. А она была очень довольна, что у нее такой удачный работник, и заговорила с ним о том, чтобы пожениться с ней, и говорила она про это со своими родителями. Потом они сочетались браком, и были при этом свидетели».

Стоит ли напоминать, что в те времена еще не регистрировались ни рождения, ни браки? Специалисты по церковному праву требовали, чтобы свадьбы были публичными, но на практике все обстояло иначе. Спустя несколько лет доказать наличие либо отсутствие брака оказывалось задачей непростой. Соответственно, двоеженство и двоемужество были нередким явлением. Распространенная поговорка гласила: «Если вместе спать, пить и есть, то, кажется, женитьбой это можно счесть». Независимо от наличия либо отсутствия детей сожителство могло приниматься за брак.

Проблема усложнялась, когда один из супругов пытался оставить другого. Так случилось с мастером седельного дела Коленом Менаром. Весна поубавила у него усердия в труде, которое раньше стимулировалось безработицей и холодом.

«Наступил Великий пост. Не то время было, когда он имел привычку набивать шесть седел, и он два оставил, а стал набивать четыре.

Тогда она сказала ему, что он больной и что работает не так, как раньше. И нашла удобные слова, чтобы с ним распрощаться.

И взяла она в дом человека по имени Бланшфор, у коего было большое желание взять ее в жены».

Женитьба и развод из-за разницы в производительности труда. Из-за двух седел в день... Тогда Колен Менар заявил, что он женат. Томасса стала отрицать. Прево оказался в сговоре с ней и под каким-то предлогом отправил беднягу посидеть пятнадцать дней в Шатле. А когда Колен вышел из тюрьмы, то место оказалось уже занято. Причем все стали клясться и божиться, что тому все приснилось, что никто ничего не знал про его женитьбу и что к тому же он прихвастнул: больше двух-трех седел в день ему ни за что не набить. В дело вмешались эксперты, заявившие, что набить шесть седел в день — задача невыполнимая.

А тут он, чересчур скоро возомнивший себя хозяином, потерял вообще все, когда стали разбирать его дело еще с одной вдовой по имени Симона Шляпница, на которой он накануне пообещал жениться. Во всяком случае, так она заявила в Парламенте. Как бы там ни было, но шляпница седельщицы не стоила. Кое-что на этом деле заработали адвокаты. А Томасса Ла Моэт взяла себе лучшего из двух седельных мастеров: он и мужем оказался весьма подходящим.

Для многих буржуа, принадлежавших к этому маленькому миру лавок и мастерских, брак и комфорт являлись понятиями синонимичными. Нехорошо, когда брак есть, а достатка нет, но и при достатке комфорт без брака невозможен. Чтобы холостяку организовать себе уютное существование или же чтобы вдова могла устроить себе беззаботную жизнь и только отдавать

распоряжения сыновьям и зятям, нужно было иметь состояние покрупнее. В большинстве же случаев вдовство означало возврат к одиночеству, к печальному уделу, усугублявшемуся с возрастом. «Женщина без мужа — это такая малость», — выразился, выступая в Парламенте, адвокат одной красивой вдовы, слишком скоро после смерти мужа вышедшей снова замуж.

Так что для вступления в брак одного желания было мало. Отцы зачастую безуспешно изыскивали средства на приданое дочерям. А муж должен был решить сложную проблему с жильем. Подмастерье, живущий у своего хозяина, равно как и служанка, не имеющая никакой личной жизни, не так-то просто решались отказаться от того, чем располагали, дабы создать семью, означавшую в ближайшем будущем необходимость найти жилье, а потом необходимость прокормить детей. Комната в городе или проживание на постоялом дворе способны были поглотить весь заработок ремесленника. А появится ребенок, и вот тебе нищета.

К тому же расходы начинались с самого дня свадьбы. Жених либо тесть — в зависимости от обстоятельств, от возраста — не могли рассчитывать на хорошее к ним отношение, если угощение оказывалось скудным. Свадебная трапеза до такой степени походила на застолье для всего квартала, что в смутные времена правительство регента Бедфорда придумало такое правило, когда жених кормил еще и шпика, призванного следить, чтобы свадьба не превратилась в заговор. Выдававший замуж свою дочь аристократ налагал на вассалов дополнительную пошлину, как правило санкционированную законодательством. Ну а буржуа, не имевшему подобной возможности, приходилось тратить на это дело свои сбережения, а то и изымать часть капитала. Тот же, у кого ничего не было, от свадьбы отказывался.

Либо на долгие годы влезал в долги. Однако кто захочет одалживать тому, кто не имеет ничего, кроме своих рабочих рук? Только хозяин, только он один мог согласиться принять в качестве залога то, что отвергал даже самый сговорчивый ростовщик: будущий поденный труд. Однако, становясь должником, работник или подмастерье уже больше не мог торговаться относительно стоимости своей рабочей силы. Работник, залезший в долги, навеки оставался работником малооплачиваемым. И он об этом знал. Поэтому, прежде чем идти к алтарю, ему было о чем подумать.

Что и должен был бы сделать тот подмастерье-шорник, который приехал в 1460-е годы из Турне в Париж в надежде увеличить свой заработок. В течение двух лет он жил с одной девушкой-землячкой. И хотел бы на ней жениться, тем более что она со своей стороны тоже его поторапливала. Новый парижский хозяин, человек добрый, не заставил себя просить и одолжил денег и на свадьбу, и на жилье. Молодая чета собиралась выплатить долг из заработка. Точнее, надеялась это сделать, потому что аванс разошелся очень быстро. А работник остался без единого су и стеснялся попросить причитавшийся ему заработок.

Драматическое развитие событий ускорила одна вроде бы совсем второстепенная деталь: молодой жене очень не понравилась двухмесячная борода своего мужа. А визит к парижскому цирюльнику был недоступной роскошью. Вот бородач и надумал выйти из положения, украв в мастерской кусок кожи, который затем попытался продать. Ну а от таких попыток до тюрьмы путь очень близок. Став вором только из-за того, чтобы разок побриться, несчастный парень на свободу все-таки вышел, но место потерял.

При таких расходах можно понять сдержанность большинства столичных жителей по отношению к браку. В демографическом балансе Парижа в среде состоятельной буржуазии более или менее уравнивались рождения со смертями. Ну а бедный люд по рожденьям отставал. Гораздо чаще работавшие в мастерских подмастерья были не уроженцами Парижа, выросшими в семье какого-нибудь подмастерья, а либо приезжими из другой провинции, либо жителями деревень Боса или Иль-де-Франса.

## **Выбор клирика**

У клирика дела обстояли несколько не лучше, чем у наемного работника, а из всех клириков школяр находился в самом невыгодном положении. Начать с того, что он не имел представления о том, какое будущее готовит ему выбор профессии ученого, юриста, священника

или врача. Подмастерье, тот, несмотря на изменение конъюнктуры найма, хотя бы в общих чертах знал, что он бросает на чашу весов: и по выходе из периода ученичества, и после десяти лет работы подмастерьем он без труда мог себе представить, как будет выглядеть его жизнь холостого подмастерья в сорок лет. Так что ему оставалось лишь взвешивать и решать. Неожиданности случались редко, а иллюзии не шли в расчет. А вот любой молодой магистр искусств и знал, и прокручивал в уме, сколько председателей судов, докторов и архиепископов начинали так же, как он. Блестящие карьеры встречались не часто, но иллюзии выглядели вполне обоснованными.

Мартен Бельфе, получивший степень бакалавра в том же 1452 году, когда Франсуа де Монкорбье стал магистром искусств, сделал карьеру в миру и шесть лет спустя стал тем самым лейтенантом уголовного ведомства при парижском превостве, которого Вийон при известных нам обстоятельствах сделал одним из своих «душеприказчиков». Бельфе не пришлось сожалеть об утраченной им тонзуре. Однако натопленное жилье и никогда не пустовавший стол магистра Гийома де Вийона тоже должен был искушать школяра в момент выбора. А ведь магистр Гийом не обладал никакими талантами. Иные его однокашники стали епископами.

Мир холостяков, каковым являлся будущий Латинский квартал, отличался одной особенностью, состоявшей в том, что там люди старались не вступать в брак и из-за неуверенности, и из-за осторожности, и из-за безденежья. Клирики-школяры, в большинстве своем не слишком уверенные в собственном религиозном призвании, хуже, чем их сверстники из других сфер, представляли себе, как должно складываться становление их социального бытия. Однако они знали, что в миру клирику, согласному отказаться от даваемых ему тонзурой привилегий, доступны все виды деятельности, но что отказ от оной закроет им все пути в мире клириков. Знали они и то, что силы клерикального nepoтизма не столь сильны, как силы мирского чадолюбия, поскольку дядя заботится об устройстве племянников все же меньше, чем отец об устройстве сыновей и о благополучии своего рода. Среди советников-клириков, заседавших в Парламенте в те времена, когда Вийон зарифмовывал свои дары, родственники, попавшие туда до них, имелись лишь у каждого третьего. Ну а у советников-мирян все обстояло иначе, поскольку у них по следам одного либо нескольких родственников в Парламент попадали четверо из пяти. Так что задуматься безродному школяру было о чем.

Между магистром искусств, заканчивавшим свои дни в облачениях доктора-«регента» либо каноника, и магистром искусств, сделавшим «практическую» карьеру в миру, различия лет через двадцать стирались. А вот дистанция, которая отделяла молодого магистра искусств, исходившего слюной перед лотками колбасников и мерзшего на сквозняках, от мастеров преуспевших, была поистине огромна. И все это учило осторожности. В результате клирик старался как можно дольше оставаться клириком.

В городской суете одиночество клирика, не имевшего денег, но имевшего много друзей, скрашивалось посещениями трактиров, таверн, борделей... Никто не смог бы пересчитать все таверны, которыми славился Университет — район левого берега Сены — район Франсуа Вийона. Некоторые из таверн были знамениты и имели свою историю. Другие же представляли собой просто поставленные у входа скамейки перед прикрытой навесом бочкой, принадлежавшей какому-нибудь буржуа, изготовившему вина больше, чем ему требовалось.

## **Девицы**

Украшение таверн составляли девицы не слишком строгих нравов, с которыми Вийон мог шалить, не тратя денег. Трактирные служанки, горничные из домов буржуа, работницы самых разнообразных необходимых столице профессий — все они тоже жаждали бесплатных развлечений. Служанки и белошвейки, прачки и перчаточницы изо дня в день покоряли все новые и новые сердца, а обслуживавшие столы девушки, стремясь сохранить место и не очень заботясь о том, что кто-то может осудить их поведение, давали себя ущипнуть и раздражались подлинным либо поддельным смехом.

Заниматься самой древней профессией эти девушки вовсе не собирались. Единственное, чего им хотелось, — это повеселиться в редкие часы, свободные от тяжелой и более

продолжительной, чем у мужчин, работы. Попить вина, потанцевать, посмеяться — вот из чего состояла их программа, где мужчина уместен лишь в том случае, если он исполняет свою партию. Именно так понимали веселье горничные, которые, едва их хозяева укладывались спать, уходили в погребок к своим друзьям. Час игры в осл наступал значительно позже. А до того можно было насладиться прелестями полуночного пиршества: пирогами с сыром, сдобными булочками, пирожными. Ухажерам подобное угощение стоило порой немало, но все же девичья добродетель доставалась им не за деньги, а как праздничный подарок.

*Затем, служанкам и лакеям  
Я завещаю: пировать,  
Господской снеди не жалея!  
Фазанов, уток — все сожрать,  
Напиться так, чтобы не встать,  
К утру еще опохмелиться  
И на хозяйскую кровать  
С любезным другом завалиться<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 104. Перевод Ф. Мендельсона.

В «Книге трех добродетелей» Кристина Пизанская еще до Вийона писала про загулы слуг и горничных в часы, когда буржуа занимались делами или слушали мессу. Пиршества устраивались на кухне. Приходили подружки. На столе появлялось хозяйское вино.

«А иногда она относила пирог в свою комнату в городе и туда приходил ее любезный покупатель. Так вот они веселились».

Хозяйка, будь то трактирщица или владелица мастерской, порой тоже принимала участие в этих любовных играх, где не столько целовались, сколько подмигивали другу, не заходя слишком далеко. Правда, некоторые из них получали за любовные услуги подарки, слегка округляя таким способом сумму своих доходов. Один из современников Вийона чуть было не попал на виселицу за то, что распределял между девицами похищенные им простыни и платья. Симпатичная перчаточница, получившая от своего любовника в подарок пару простынь, проституткой себя, естественно, не считала...

Это дело заставляет нас вспомнить про вийоновских чаровниц, про тех продавщиц — хозяйек либо наемных работниц, — которым старая, познавшая жизнь Оружейница не столько с горечью — как быстро летит время! — сколько с нежностью читала наставления.

*Внимай, ткачиха Гийометта,  
Хороший я даю совет,  
И ты, колбасница Перетта, —  
Пока тебе немного лет,  
Цени веселый звон монет!  
Лови гостей без промедленья!  
Пройдут года — увянет цвет:  
Монете стертой нет хождения<sup>1</sup>.*

Симпатичная ткачиха еще совсем молода, еще вчера она была ученицей. А завтра уже будет стоять не больше, чем стертая монета. Отсюда мораль: пользуйтесь, пока молоды.

*Пляши, цветочница Нинетта,  
Пока сама ты как букет!  
Но будет скоро песня спета, —  
Закроешь дверь, погасишь свет...  
Ведь старость — хуже всяких бед!  
Как дряхлый поп без приношенья,*

*Красавица на склоне лет:  
Монете стертой нет хождения.  
Франтиха шляпница Жаннетта,  
Любым мужчинам или привет,  
И Блани, башмачнице, про это  
Напомни: вам зевать не след!  
Не в красоте залог побед,  
Лишь скучные — в пренебрежение,  
Да нам, старухам, гостя нет:  
Монете стертой нет хождения<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 58. Перевод Ф. Мендельсона.

Поэт весьма категоричен. Женщину, утратившую привлекательность и пытающуюся привлечь к себе внимание мужчин, ждут одни лишь насмешки. А о любви не стоит и мечтать.

Значит, нужно пользоваться своим капиталом, и без промедления. Наиболее отчетливо завет старой куртизанки сформулирован там, где она цинично советует Жаннетте не обременять себя любовью к мужчине. Мораль Вийона здесь перекликается с лишенной каких бы то ни было иллюзий философией «Романа о Розе»: женщину, ограничивающую себя любовью к единственному мужчине, ждут разочарования.

Крик тоски раздается лишь в конце стихотворения, в нарушающем традицию обращении. Там стоит не «принц», как обычно, а «девки», и баллада написана не ради просьбы о помощи, а с целью дать совет своим подружкам, и в рефрене повторяется: старая куртизанка никому не нужна.

*Эй, девки, поняли завет?  
Глотаю слезы каждый день я  
Затем, что молодости нет:  
Монете стертой нет хождения<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Там же. С. 59.

Оружейница, башмачница, колбасница, ткачиха, шляпница, кошелечница — эти названия профессий заменяли в глазах покупателей и поклонников настоящие имена женщин, вынужденных в зависимости либо от обычаев, либо от официально установленных порядков того времени носить то фамилии своих отцов, то фамилии мужей. Жанну Ла Жансьенн, вдову управляющего налоговым ведомством Арнуля Бушье, называли Жансьеной, тогда как Жанна Ла Рабигуаз получила свою фамилию, выйдя замуж за адвоката Гийома Рабигуа. Ну а в маленьком мире лавочек эти тонкости никого не смущали. Причем часто верх одерживала профессия. Названия ремесел превращались в фамилии или, скорее, в имена мужчин и женщин, но превращения их были неполными, так что человеком XV века они воспринимались иногда как разновидность широко распространенных имен, а иногда как эпитет с весьма конкретным смыслом. И коль скоро, например, имя Ла Бурсьер означает «кошелечница», то его носительницу воспринимали прежде всего как торговку сумками.

Естественно, имели место и ошибки, и недоразумения. Мы, вероятно, так никогда и не узнаем, почему у парижского булочника Жана Сенто было прозвище Ле Барбье («цирюльник»). Может быть, в свободное от основной работы время он еще и брил. Или же в какой-то момент сменил тазик цирюльника на квашню. А кроме того, по мере смены поколений менялись и профессии, а имена оставались. Жан Бушье («мясник») занимался изготовлением обуви, Жан Шанделье («свечник») исполнял функции прокурора в Шатле, Пьер Кордые («канатчик») был мясником, а его брат Жан Кордые имел бакалейную лавку, Этьен Фурнье («печник») был суконщиком, а Гийемен Ле Фурнье — бакалейщиком. Жан Ле Шанжер («меняла») тоже работал суконщиком, Жан Ле Мерсье («галантерейщик») — пекарем, а Роже Ле Пеллетье («скорняк») — ткачом.

Такая вносящая путаницу в имена передача их по наследству практически не касалась замужних женщин. Надо сказать, что у мужчин наследование благоприобретенных имен порой происходило параллельно с наследованием ремесла, что объяснялось передачей по наследству инструментов труда. Никто не удивлялся, когда какого-нибудь проживавшего рядом с церковью Сент-Андре-дез-Ар цирюльника звали Колен Ле Барбье.

Поскольку фамилии тогда еще несли на себе печать своего происхождения, они менялись по родам и склонялись как какие-нибудь простые существительные или прилагательные. Так, нотариус, записывая имя сестры Жана Ле Гуа, ставил его в родительном падеже, в результате чего получалось «сестра дю Гуа». А хорошо известные в Гревском порту братья Ле Норман, специализировавшиеся на торговле дровами, при записи — когда речь шла о них обоих — меняли артикль единственного числа на артикль множественного числа, и сама фамилия ставилась тоже во множественном числе. При таком положении вещей не было ничего удивительного ни в том, что имя супруги Гийома Рабигуа ставилось в женском роде и превращалось в Рабигуаз, ни в том, что прозвища Оружейница, Перчаточница или Колбасница становились практически настоящими фамилиями.

Оружейница, которой Вийон предоставил слово в своем «Завещании», считалась в Париже начала века личностью весьма популярной. Родилась она, похоже, в 1375 году, а уже в 1393 году имя Оружейница замелькало в скандале, поскольку ее квартирному хозяину Николя д'Оржемону, очевидно являвшемуся к тому же еще и ее любовником, пришлось выгнать ее из расположенного близ Собора Парижской Богоматери дома под вывеской «Лисий хвост». Пятьдесят лет спустя от бывшей Оружейницы осталась только ее тень, и вот на ней-то Вийон и остановил свой выбор, дабы она рассказала о тяготах существования женщины, наблюдающей за бегом времени.

*Мне никогда не позабыть  
Плач Оружейницы Прекрасной,  
Как ей хотелось юной быть  
И как она взывала страстно:  
«О, увяданья час злосчастный!  
Зачем так рано наступил?  
Чего я жду? Живу напрасно,  
И даже умереть нет сил!»<sup>1</sup>*

Кто же мешал ей наложить на себя руки? Кто мешал покончить с собой? Старуха не пожелала ответить. Только она сама, и это ей прекрасно известно. Так или иначе, но любовник ее умер, и на свете не осталось ни одного человека, который высказал бы ей свою признательность за былые радости.

*Он умер тридцать лет назад,  
И я с тоскою понимаю,  
Что годы вспять не полетят  
И счастья больше не узнаю.  
Лохмотья ветхие снимая,  
Гляжу, чем стала я сама:  
Седая, дряхлая, худая...  
Готова я сойти с ума!»<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 54. Перевод Ф. Мендельсона.

<sup>2</sup> Там же. С. 55.

Не будем опрометчиво зачислять в проститутки этих девиц, живших в очень неласковом к женщине мире. Вийон этого не делает. Оружейница и ее последовательницы не столько подрабатывают, сколько развлекаются. История сохранила для нас сведения о ткачихе Гийометте: это была типичная представительница мелкой буржуазии, торговавшая вышитыми изделиями в большом зале дворца — в будущей «галантерейной галерее», — а ее муж Этьен Сержан

изготавливал из твердой колокольной бронзы печати для высокопоставленных парижских буржуа. Вийон не ошибается: одна из них любит танцевать, а другая вообще отгоняет от себя мужчин. Никто из них за деньги себя не продает. Оружейница когда-то любила одного велеречивого хитреца и на склоне лет сожалеет, что кормила своим трудом лентяя, который к тому же ее бил. Ее никак не обвинишь в том, что она отдавалась кому попало.

*Ведь я любого гордеца  
Когда-то сразу покоряла,  
Купца, монаха и писца,  
И все, не сетуя нимало,  
Из церкви или из кружала  
За мной бежали по пятам,  
Но я их часто отвергала,  
Впадая в грех богатых дам.  
Я чересчур была горда,  
О чем жестоко сожалею,  
Любила одного тогда  
И всех других знала в три шеи,  
А он лишь становился злее,  
Такую преданность кляня;  
Теперь я знаю, став умнее:  
Любил он деньги, не меня!»<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 54—55. Перевод Ф. Мендельсона.

## Любовь за деньги

Однако от всего этого до проституции расстояние было невелико. Служанки прирабатывали. Матери эксплуатировали своих дочерей. Вдовы получали средства существования. Вийон находит в себе сокровища снисходительности и по отношению к этим женщинам, которым было не до развлечений, которым нужно было просто прокормиться. Так уж у них сложилась жизнь.

*С любым ложатся спать за грош,  
Но ласкам этим грош цена.  
Приди, когда в кармане вошь, —  
Захлопнут двери, как одна!»<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Там же. С. 60.

На улице Катр-Фис-Эмон проживала прекрасная Марьон Л'Идоль по фамилии — если принять это за настоящую ее фамилию — Ла Дантю, а ее квартирохозяином, а также, похоже, любовником и, несомненно, сутенером был буржуа Колен де Ту. Человек скользкий, пронырливый, занимавшийся темными делишками. В 1461 году духовный судья при епископе проведаль, что Ту является клириком и при этом занимается сводничеством. Ту поклялся, что он честный квартирохозяин, что дело не приносит ему никаких доходов и что он, навещаясь к своей квартиросъемщице и пользуясь ее прелестями, платит свой пай, как любой другой. Обмануть судью, естественно, не удалось: тот обратил внимание, что у Колена де Ту не одна, а несколько таких квартирток. Ту заплатил штраф и продолжал заниматься тем же самым.

Сутенер, приятель, привилегированный клиент — в этой ситуации побывал и Франсуа Вийон, когда в 1461 году вернулся в Париж после пяти лет бродяжничества и нескольких месяцев тюрьмы. Правда ли, что он жил на средства, заработанные «Толстухой Марго»? Нам ничего об

этом не известно, не известно даже, была ли Марго реальной женщиной или простой вывеской на доме. Близ Собора Парижской Богоматери стоял дом, гостиница «Толстой Марго», вертеп, находившийся там и после того, как Вийон и его любовные дела ушли в прошлое.

Однако независимо от того, звалась ли подруга Вийона Марго или как-то еще, вполне вероятно, что его любовь действительно вписывалась в интервалы между ее встречами с клиентами. Посвященная этой теме баллада сделана не в форме рассказа, а в форме эпизодического воспоминания. Поэт воссоздает сцену и берется исполнять в ней роль. В результате получилась настоящая трехактная пьеса про жалкую торговлю сомнительными прелестями проститутки, с которой он живет, деля ее скромные доходы. Первый акт: успех, угодливость, гармония. Радости, естественно, убогие, но дела идут неплохо. Второй акт: неудача, ярость, взбучка. Пара находится на грани разрыва. Третий акт: примирение, ласки, отдых.

В балладе есть сценическая игра: вот Вийон открывает дверь, держит свечу, приносит клиенту еду и напитки. Есть диалоги, из которых до нас доносится только одна-другая реплика. Если все идет хорошо, то: «Vene stat» («Добрый путь»). «Возвращайтесь, когда снова возникнет потребность...» Тон меняется, если любитель наслаждений оказался скрягой. Тогда грубиян бьет ее по лицу, отбирает у нее одежду. Женщина пытается сохранить хотя бы пояс. Начинает даже плакать: она беременна. Мелодрама в полном разгаре.

Вийон не скрывал своей обиды на ту, которую он называл Розой и которая постоянно что-то у него выпрашивала. А к Марго, давшей ему помимо всего прочего еще и немного животного тепла, он, напротив, полон нежности. Можно быть потаскухой и не быть дурным человеком, как можно кормиться от потаскухи и оставаться ее любовником. Мораль поэта проста: «Не считайте меня ни за дурака, ни за подлеца».

В той совместной жизни, которую воссоздает «Баллада о Толстухе Марго», в жизни, о которой невозможно сказать, длилась ли она два месяца или два года, мэтр Франсуа предстает как маргинальная личность, как изгой, но не как эксплуататор. Он товарищ по несчастью, а не сутенер. Он «ходит за вином». Это выражение употреблялось по отношению к мужу, потворствовавшему изменам жены и уходившему из комнаты — будь то действительно в погреб за вином либо куда-нибудь еще — на то время, пока жена развлекалась или зарабатывала деньги в супружеской постели. Говоря о том, что идет за вином, Вийон подчеркивает свою активную роль в деле, которое он даже называет «нашей коммерцией». Уточняет, что действует «от чистого сердца». Еще немного, и он назвал бы это работой!

*Слуга и «кот» толстухи я, но, право,  
Меня глупцом за это грех считать:  
Столь многим телеса ее по нраву,  
Что вряд ли есть другая, ей под стать.  
Пришли гуляки — мчусь вина достать,  
Сыр, фрукты подаю, все что хотите,  
И жду, пока лишатся гости прыти,  
А после молвлю тем, кто пощедрей:  
«Довольны девкой? Так не обходите  
Притон, который мы содержим с ней».  
Но не всегда дела у нас на славу:  
Коль кто, не заплатив, сбежит как тать,  
Я видеть не могу свою раззяву,  
С нее срываю платье — и топтать,  
В ответ же слышу ругань в бога мать  
Да визг: «Антихрист! Ты никак в подпите?» —  
И тут пишу, прибегнув к мордобитью,  
Марго расписку под носом скорей  
В том, что не дам на ветер ей пустить я*

*Притон, который мы содержим с ней.  
Но стихла ссора — и пошли забавы.  
Меня так начинают щекотать,  
И тербить, и тискать для растравы,  
Что мертвецу — и то пришлось бы встать.  
Потом пора себе и отдых дать,  
А утром повторяются события.  
Марго верхом творит обряд соитья  
И мчит таким галопом, что, ей-ей,  
Грозит со мною вместе раздавить и  
Притон, который мы содержим с ней.  
В зной и в мороз есть у меня укрытье,  
И в нем могу — с блудницей блудник — жить я.  
Любовниц лучших мне не находите:  
Лиса всегда для лиса всех милей.  
Отрепье лишь в отрепья и рядите —  
Нам с милой в честь бесчестье... Посетите  
Притон, который мы содержим с ней<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Избранное. М., 1984. С. 364. Перевод Ю. Корнеева.

Вийон не был исключением в своем снисходительном отношении к публичным женщинам. Их считали «распутницами», но зла на них не держали. Лица, наблюдавшие за общественным порядком, то есть Прево и его сержанты, старались сконцентрировать «девочек» в нескольких горячих местах, на нескольких улицах, где проституция разрешалась с утра до вечера, а с наступлением ночи за нее штрафовали. По правде говоря, бордели при тавернах либо в домах — иногда составлявших целые улицы — имелись в каждом квартале. Большое их сосредоточение наблюдалось на острове Сите, рядом с северной башней Собора Парижской Богородицы и рядом с улицей Глатиньи. Несколько десятков заведений насчитывалось на левом берегу, вокруг площади Мобер и рядом с монастырем кордельеров, а также сразу за мостом Сен-Мишель, где располагался так называемый «бордель Макона». На правом берегу проституция организовывалась вокруг центрального рынка и тянулась от него до самых подступов к Лувру, а также располагалась между Гревской площадью и Бастилией. На левом берегу ее клиентами были холостяки, а на правом — временно одинокие приезжие торговцы.

Не следует забывать и про бани. Все выражали к ним претензии, и все туда ходили. Помыться и позаниматься любовью — что означало одно и то же.

Время от времени столичные жители начинали сердиться. Из-за обитательниц борделей падали цены домов и снимаемых квартир. Из-за них возникали разлады в семье. Прево и Парламент получали жалобы.

Проститутки старались увеличить временной диапазон, пытались распространить свою деятельность на другие улицы помимо улиц, уже освященных обычаем, королевскими указами и предписаниями Шатле. Они принимали клиентов у себя дома, воздвигали импровизированные таверны, занимались любовью в своих комнатах. Еще куда ни шло, когда все делалось втихую; хозяин обычно притворялся, что ничего не знает о сути происходящего. Хуже было, когда возникали ссоры, драки. Скандал становился известен всей улице. Хозяин рисковал попасть в смешное положение. Когда солдаты начинали ломиться в дверь какой-нибудь девицы, решившей, что ее рабочий день закончен, или когда клиент избивал до полусмерти обрезавшую у него кошелек «возлюбленную», соседи начинали волноваться и приходилось вызывать сержантов.

Приставания на улице были запрещены, но на запрет никто не обращал внимания. Похоже, они как бы даже поощрялись, особенно когда должность прево занимал Амбруаз де Лоре; этот славный воин, доказавший свою верность в мрачные дни буржского королевства, выглядел

главным сводником возвращенной Карлу VII столицы — он чувствовал свою силу и ничего не боялся. Более опасным приставание стало тогда, когда после смерти Лоре в Шатле появился менее покладистый прево Робер д'Эстувиль, не разделявший ни вкусов, ни интересов своего тестя. Жак де Вилье де л'Иль-Адан, сменивший его по восшествии на трон Людовика XI, оказался столь же непреклонным. «Девочкам» приходилось остерегаться, действовать с оглядкой на закон, подвергаться штрафам, проводить ночи в тюрьме.

По сути дела, указы были направлены прежде всего на то, чтобы избежать путаницы. Прохожий должен был знать, кто порядочная женщина, а кто развратная. Если на женщине позолоченное серебро и дорогие меха, то, значит, порядочная. Обманывать общество считалось более серьезным грехом, нежели незаконно развратничать в частной обстановке. Проститутку, пытавшуюся приодеться получше, наказывали не за то, что она торгует ласками, которые не освящены браком, а за то, что она вносит путаницу в установленный порядок вещей. Как показывают ведомости Шатле, обновление гардероба стоило проституткам немалых денег.

«Маленький пояс, пряжка, застежка с четырьмя серебряными зацепками обнаружены и конфискованы у Гийенны Ла Фрожьер, женщины любовного промысла...

Несколько женских поясов с серебряными застежками и серебряными пряжками конфискованы в пользу короля у женщин любовного промысла, которые носили эти пояса в Париже, несмотря на соответствующий указ...

Пояс с серебряными, позолоченными пряжкой, застежкой и зацепками, весящими вместе две с половиной унции, с напоясником, тоже имеющим пряжку, застежку и зацепки из позолоченного серебра, коралловые четки, серебряная ладанка, женский «Часослов» с застежкой из позолоченного серебра, а также атласный, беличий воротник конфискованы в пользу нашего короля у девицы Лоране де Вилье, женщины любовного промысла, арестованной за ношение вышеперечисленных вещей».

Речь здесь шла, по существу, о социальной морали. Коралловые четки конфисковывались не потому, что проститутку считали плохой христианкой, а потому, что коралл внушает почтение, из-за чего можно составить ошибочное представление и о самой женщине. По этой же причине у буржуа конфисковывались незаконно носимые шпаги и кинжалы. Каждый должен походить на того, кто он есть!

Несмотря на предписываемую указом скромность, незаметней проститутка от нее не становилась. Ее узнавали и по походке, и по осанке.

«Ходят они с вытянутой вперед шеей, как олень в степи, и смотрят презрительно, как дорогая лошадь».

Понимать эти слова следует так: безденежному клирику приходилось смотреть на искусительниц лишь издали, потому что они были ему не по карману. Женоненавистничество тогдашней интеллигенции, отразившееся и в трактатах, и в песнях, частично объяснялось тем, что «девочка» стоила дорого. Да и к тому же если бы она еще довольствовалась тем, о чем условились! А то ведь чаще всего клиент лишался всего кошелька. Первейший упрек со стороны сатирической и более или менее морализаторской литературы в адрес проститутки касался ее алчности. Прибегая то к вымогательству, то к воровству, она демонстрировала свое истинное ремесло, состоящее в выманивании денег.

Почти все литературные тексты сходились в одном: священник наряду с дворянином и буржуа являлся одним из самых типичных клиентов борделя. Священник, но не клирик. Профессиональные любовницы были доступны только зажиточным слоям населения, к коим не принадлежали ни подмастерье, ни простой клирик-школяр. Война поставляла еще одну типичную разновидность клиентуры — солдата. Гражданские службы тоже вносили свою лепту — сборщиков налогов и секретарей суда. Вийон мог попасть в бордель лишь в качестве компаньона Толстухи Марго.

## Глава XIV

### Прощайте! Уезжаю в Анже

#### Отъезд

Жизнь обходилась с ним жестоко. Ему было с кем сводить счеты: с женщинами, с неверными друзьями. Что касается остальных, друзей по коллежу или кабаку, он так же легко развлекался без них, как и с ними. Он завещает им все, чем владеет.

Однако о смерти пока речи нет. В данный момент Вийон «отмечает» Рождество 1456 года. В своей комнате близ Сен-Бенуа-ле-Бетурне он изнывает от тоски, дрова здесь редкость, а на дворе — зимний вечер.

Некто хочет его смерти, он бежит от него. Образ, целиком заимствованный у риторики труверов, где столкновение страстей разыгрывается в духе военной стратегии, как в трактатах о нравственности столкновения добродетели и порока. Дама — в центре крепости. Оскорбленный любовник — словно поверженный в бою. Изменница, не желающая слышать его жалобных стенаний, — это «Безжалостная красавица». «Живой сплав» — это живая связь Дамы и ее вассала. Он рвет ее. В средневековом словаре есть одно слово для характеристики сеньора, который отлынивает от своих обязанностей по отношению к вассалу: он — «изменник».

*Увы, мне душу полонил  
Тот взор жестокий и неверный...  
Напрасно я в тоске молил,  
Томился в муке беспримерной, —  
Она меня высокомерно  
Отринула, не вняв мольбам.  
Тогда я понял: дело скверно!  
И вверил жизнь своим ногам.  
Чтоб не страдать превыше меры,  
Осталось мне одно: бежать.  
Прощайте! Путь держу к Анжеру!  
Она не хочет мне отдать  
Свою любовь, — чего ж мне ждать?  
Довольно мне обид, обманов!  
Я мученик любви, под стать  
Героям рыцарских романов<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 20—21. Перевод Ф. Мендельсона.

Действительно ли он отправляется в Анже? Или Анже тут для рифмы? Привлекает ли нашего поэта двор короля — мецената Рене — из-за его объемистого кошелька или прельщает просвещенная публика, готовая все время аплодировать ему? Позже пойдет речь о готовящемся коварном ударе и об анжевенском дяде поэта, чей выход на сцену окажется очень кстати. Вопрос остается открытым, без сомнения, потому, что все сошлось воедино одновременно.

Остается неясным вопрос: отчего это бегство? Не надеялся ли Вийон за год до написания этих стихов на оправдательные письма, без которых ему бы не быть в Париже?

Бежит ли поэт от своей «жестокой»? Или более прозаически — от наказания короля? А может быть, у него на совести новое «дело»? Когда знаешь, что бегство из наваррского коллежа совершилось в самую рождественскую ночь 1456 года, дата «Малого завещания» —

рождественская — наводит на мысль, что Вийон серьезно озабочен тем, как бы избежать виселицы. Возможно, «Малое завещание» — это лишь осмотнительное алиби гениального хулигана, пытающегося внушить как анжевенцам, так и другим, что его бегство — лирического свойства.

Есть или нет оправдания, предназначенного для публики, «Малое завещание», конечно, — деньги на расходы: при каком бы дворе это ни происходило, поэт зарабатывает себе на пропитание лишь своим талантом. Однако чересчур рассчитывать на вдохновение было бы неразумно. Человек, взывающий к авторитету многоумного Вегеция, знает, что ему неплохо бы привести, где бы это ни случилось, доказательства своего мастерства.

### **«Малое завещание»**

Естественно, что в сумраке надвинувшейся ночи поэт принимает необходимые для всякого путешественника меры, касающиеся его отъезда. Таким образом полуреально, полупризрачно вырисовывается своего рода завещание. Это «Малое завещание». Вийон раздает свое «добро». Разговор короткий. Несмотря на то имя, которое ему вскоре даст толпа и которым вновь воспользуется в 1489 году издатель Лева, главное, что завещает поэт, не в «Малом завещании». «Завещанием» будет нечто другое, более существенное: оставленные им ценности впишутся там в общий рисунок, который поэт намеревается оставить вечности; настоящее завещание — как бы совокупность мер, предпринятых человеком, чтобы обеспечить себе свое место в жизни. Однако публике «Малое завещание» стало известно раньше, чем «Большое», и она сбита с толку; но автор протестует, он хочет, чтобы знали его «Большое завещание».

*Как помню, в пятьдесят шестом  
Я написал перед изгнанием  
Стихи, которые потом,  
Противно моему желанью,  
Назвали просто «Завещаньем».  
Но что поделать, если всем  
Присловье служит оправданьем:  
«Никто не властен ни над чем»<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Там же. С. 67.

Вийон ничего не пожалел, чтобы «Малое завещание» выглядело как настоящий документ. Дата, установление подлинности завещания, обращение к Троице — все тут убедительно, всего достаточно, в том числе обращений к нравственности и набожности, которыми встречает свой предсмертный час любой буржуа, когда высказывает свою последнюю волю.

Он уходит, а не умирает. Сначала он включается в хорошо известную игру из куртуазного репертуара, которую называют «любовная отставка». Начиная с XII века возникает постоянная традиция описаний этих, часто вымышленных, отъездов, являющихся литературным эквивалентом для выражения любви и дающих повод для несостоятельных обещаний, столь же несерьезных, как и сам «побег». «Подарить» свое сердце — наиглавнейшее обязательство любовника. У Вийона тоже этого предостаточно; он «оставляет» своей красавице «плененное» сердце, но сперва оставляет магистру Гийому де Вийону свою репутацию и, возможно, свое настоящее имя, поскольку его имя он взял себе.

Реализм Вийона вырисовывается уже в теме завещания. Он вводит в него формулировки нотариальной конторы, он говорит, как распорядиться его ценностями, истинными и вымышленными. Порвав с условностями любовной куртуазности, он соединяет таким образом два сюжета: уход и завещание.

А кроме того, он оплакивает иллюзию. Среди «затем», наполовину шуточных, его «Малого завещания» школяр вкрапляет напоминания о своем «предназначении». Надежда на церковные

бенефиции была мизерной. А превращение клирика в правонарушителя свело на нет всякую надежду. Помилование не позволяло тем не менее забыть об убийстве священника Сермуаза. Кража добавляет свой мазок к картине. Мэтр Франсуа не осмеливается представить себя в роли монаха. Но имя свое завещать может.

Магистру искусств нечего оставить, кроме химер, и он дает волю слову. Он не удовлетворен тем, что изобретает забавные истории, как это уже делал Рютбёф, рассказывая о своем осле, чей хвост походил на пояс францисканцев, а голос был совсем как у певчих. Вместе с забиякой и сорванцом Вийоном «влюбленный» и «неудачник» сочиняют пародию на завещание как на официальный документ, и в этой необычайной поэме-пародии из трехсот двадцати стихов, имеющей множество оттенков, Вийон запутывает следы и осмеивает все подряд. Мы находим здесь карикатуру и на мироздание и на видение мира, карикатуру на схоластическую науку и на юриспруденцию; изображая условности куртуазной любви и правила поведения рыцарской аристократии, Вийон обращает в фарс поведение человека перед лицом смерти. Осмеяние в стихах нахальства и кичливости дающего в залог составляет настоящее театральное действие: в нем представлено и кажущееся, и очевидное.

Отточив перо, Вийон смеется и над собой, и над другими; он выставляет на обозрение целую вереницу истинных друзей и истинных врагов, фальшивых ярлыков и фальшивых правдоподобий. Над всеми этими двойными и тройными значениями царствует парадокс, который смешивает лексику и играет намеками. «Малое завещание» написано для посвященных — они знакомы со схоластической игрой образов с тремя смыслами: историческим, нравственным и теологическим, — оно написано для тех, кто знает этот мир. «Бедный грамотей» Робер Валле — богатый человек, «трое нагих сироток» — это трое ростовщиков, сеньор Гриньи и благородный Ренье де Монтиньи обратились в нищих бродяг и не знают, что делать с собаками, которых поэт оставил для охоты на землях, уже не принадлежащих этим сеньорам. Нужно очень хорошо представлять себе парижскую улицу, чтобы знать, что наследник водопойни Попена — спуск к Сене ниже Моста менял — не кто иной, как известный пьяница, «родной брат» другого подобного же типа. И нужно быть очень осведомленным, чтобы знать, что у шевалье Жана де Арлея оспаривают его благородное происхождение, когда поэт выводит его на сцену под видом наследника «Шлема», являющегося одновременно и кабачком под этим именем на улице Сен-Жак, и геральдическим знаком, коим рыцарь может украсить свой герб.

А завещание Жану Трувэ — образец формулы с двойным смыслом. Следует, вероятно, признать, что анализ стихов не совсем проясняет, почему среди фантастических наследников маленького оборванца с улицы Сен-Жак должен быть кто-то из мясников.

Для мясника, а также и для изголодавшегося писца баран, бык и корова — прежде всего жаркое, котлета. Но «Жирный баран», «Круторогий бык» и «Корова» — также и вывески: множество таверн на том и на этом берегу носят такие имена, и не раз можно было видеть, как школяры объединялись в группы, несмотря на их различия. Для обитателей района Университета пойти в таверну «Баран» означало пойти выпить вина.

*Затем я завещаю Жану  
Трувэ три славных кабака:  
«Корову», «Жирного барана»  
И «Круторогого быка».  
А если кто у мясника  
Угнать захочет это стадо,  
Пускай повесят дурака,  
Чтоб не хватал, чего не надо!<sup>1</sup>*

«Баран, породистый и нежный»<sup>2</sup> — это выпад против Жана Трувэ, про которого все знают, что характер у него необузданный. Во всем квартале мясников Трувэ известен вспыльчивостью, и у многих на памяти, как его не один раз, чтобы успокоить, приходилось отводить в Шатле. Возможно, Вийону или кому-нибудь из его друзей доводилось драться с мясником. Кто знает Трувэ, вдоволь посмеется над этими словами: чистопородный и нежный.

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 26. Перевод Ф. Мендельсона.

---

<sup>2</sup> Дословный перевод:

А также Жану Трувэ, мяснику,  
Оставляю *Барана*, породистого и нежного,  
И хлопущку, чтобы отгонять мух,  
*Венценосного быка*, которого хотят продать,  
И *Корову*, которую может взять себе  
Негодяй, обнимавший ее за шею:  
Если он не вернет ее, пусть его повесят  
И удушат крепкой веревкой!

Гурманам известно также, что породистый баран — это баранина, из которой готовят отбивные. «Хлопушка для мух» — это хлыст, чтобы наказывать. Хлыст волопаса для «круторогого быка»? Ну да, ведь его хотят продать! Еще одна неудача для томимой жаждой молодежи: таверну закрывают. Ну а при чем тут мясник Трувэ? А при том, что завещать пьянице закрытую таверну — это насмеяться над ним.

Конец восьмистишия еще более мрачен. Негодяй, который обнимает корову, может также попасть на вывеску. Улице «Корова» на правом берегу дано название по вывеске не вполне приличной. В конце стиха, очень дерзком, содержится намек на того, кто знает, какому врагу обещана веревка. Кто будет повешен: негодник (*vilain*) — игра слов с фамилией автора — или мясник Трувэ? А насмешники, которые в один прекрасный день переместили «Чертову тумбу», на сей раз подшутили над вывеской «Корова»?

Вывески, эти наивные картинки, вырезанные из крашеного дерева или позлащенного полотна, занимают существенное место в социальном облике средневековья. Они стали развлечением учащейся братии, но еще раньше они давали имя дому, служили рекламой лавочек. Сами по себе они адреса. Живут не только в доме с «Образом святой Екатерины», но и напротив него или рядом с ним. В городском лабиринте, где названия улиц никак не обозначены и где у домов нет номера, вывеска — главный ориентир в городской жизни. Образы святых, фигурки животных, символические предметы в конце концов дают свое имя человеку, который живет в доме, лавочник или ремесленник, — это «магистр из „Образа святого Николая"», «сеньор из „Барана"», даже «Пьеро из „Мула"». Некоторые сделают потом название дома частью своего имени.

Естественно, когда парижанин хочет пошутить, он отдает предпочтение вывескам-животным. В то же время многие хозяева обнаруживают при пробуждении, что у них пропала вывеска и необходимо водворить ее на место, а тем временем весь квартал потешается на их счет. «На их счет» — точное слово, ибо, если потешаются над ночной «свадьбой» «Кобылы в полоску», ее хозяин в конце концов должен хорошо угостить соседей, дабы восстановить мир.

Подобные «свадьбы» часто отличаются дурным вкусом. В 1452 году всю потешались над тем, как молодые бездельники публично поженили «Медведя» и «Бегущую свинью» — таинство совершалось в «Олене». Благоразумные жители будущего Латинского квартала подали жалобу.

Шутка иногда превращается в сведение счетов. Так, например, было с Робером Валле, однокашником Вийона, — если помните, это он быстро перескакивал с одной ступени своей карьеры на другую. Валле принадлежал к самой знатной финансовой и судебной элите, уже в 1449 году он магистр искусств, тремя годами раньше, чем Вийон; затем становится кюре в 1452 году и прокурором в Шатле — в 1455-м. Он владелец нескольких домов. Он бывает на людях с доброй подружкой, известной всем благодаря нашумевшему судебному процессу в 1454 году. В отличие от своих менее удачливых старых друзей Валле не знает забот. Друзья молодости забыты. Возможно, что они просто ему в тягость. Дела есть дела; к черту попрошаек.

И тут Вийон становится жестоким. Два завещания клеймят предательство и скопидомство — два качества, наиболее ненавистные поэту. Он завещает Валле подштанники, чтоб тот мог сделать из них головной убор для своей дамы. Он присоединяет к этому трактат «Искусство памяти». И, словно не насытившись шутками, бедный клирик хочет продать свою кольчугу и

купить этому «мальчугану» лавку публичного писца, «оконце», какие можно увидеть меж контрфорсов Сен-Жак-де-ла-Бушри. Будет чем заняться!

Нет нужды говорить, что богатый наследник не станет корпеть над изготовлением копий — а Вийону приходится это делать, и, кроме того, у бедного школяра нет кольчуги, этой примитивной ячеистой одежды, за которую теперь, во времена гибких доспехов, старьевщик не дал бы и десяти су.

Один мотив, как рефрен, вырывается из-под пера Вийона: все продается. За усмешкой поэта видится некая навязчивая идея: у нищего школяра старьевщику есть еще что взять. Книга, которую он завещает, называется «У Мопансе» — имя, конечно, вымышленное, бессмыслица. Подштанники, завещанные Валле, есть «У Трюмельеров», в таверне, что находится на Рынке; выбрал ее Вийон потому, что он нашел тут рифму, и потому, что читатель, интересующийся устройством парижского общества, будет чувствителен к ассонансу: Валле — близкий родственник богатого советника Пьера де Тюийера, который в свою очередь породнился благодаря женитьбе с известной династией финансистов Браков, Тюийеров, Трюмельеров; и сведущий парижанин посмеется над Жанной де Мильер, даже если он хорошо знает, что никакой содержатель таверны не примет в залог штаны от Франсуа Вийона. Как, впрочем, и святые дары, оставленные монахом из «Игры в беседе»...

Эта двойная аллегорическая фигура включает в себе все, что хочет выразить Вийон: ему не остается даже того, что таверна взяла бы как плату за горшок варева, а Валле может украшать свою подружку чепцом из кальсон, иначе говоря — надеть на нее штаны наизнанку. И если Робер Валле ушел от своих старых друзей в сомнительное будущее, то, значит, Жанна де Мильер здесь сыграла не последнюю роль.

Игра продолжается, порой еще более упрощаясь. Сутенеру — три охапки сена. Не имея других занятий, он найдет, как его использовать. Цирюльнику — «обрезки волос». Сапожнику — «старые туфли». Бакалейщику — другую таверну, с громким названием «Золотая ступка». А богатому меняле бедный школяр завещает алмаз, которого у него, конечно, никогда не было.

Горечь достигает высшего накала, когда ее меньше всего ждешь, — когда Вийон размышляет о более несчастных, чем он сам, людях. Завещая этим обездоленным свои дары, Вийон клеймит не нравы общества. Его злые шутки — это разочарованные слова человека, не верящего в добро. Завещание — не насмешка. Быть может, это — покорность судьбе?

*Затем приютам и больницам  
Свою каморку я дарю,  
А тем, кто в дым успел упиться, —  
Под каждый глаз по фонарю:  
Быть может, путь к монастырю  
Отыщут хоть тогда бедняги,  
Привыкшие встречать зарю  
Кто в подворотне, кто в овраге...<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 29. Перевод Ф. Мендельсона.

Вот что не радует пациентов в больнице и нищих под навесами: сквозняки — в окнах, затянутых паутиной, а не плотным воощенным холстом, — и вдобавок они получают синяк под глазом, дабы дрожать не только от холода. Здесь завещание — отражение социального зла; это жестокий взгляд человека средневековья на самый жалкий тип бродяги — на слепорожденного. Сочувствие испытывают к больным, выздоравливают они или находятся при смерти. Но калек оно не касается. Сколько их шатается, и настоящих, и притворщиков! Вот и повод для развлечения. В 1424 году парижане устроили удивительное состязание на обнесенной оградой площадке: четверо слепых против сильного борова. Свинья предназначалась тому из слепых, кто ее убьет. Успех не выпал никому: они с яростью исколошматили друг друга, к большой радости празднующихся. Парижане еще долго говорили об этом.

Так пусть же сквозняки леденят хворого, и пусть осыпают оплеухами бродягу, лишь бы было смешно, лишь бы увидеть, как им худо. Вийон здесь больше чем сатирик. Это признание без прикрас: бедный писака, чья свеча гаснет от ветра, выстуживающего его каморку, не шадит тех, у кого нет ни каморки, ни свечи. Так он, стгущая краски, еще безжалостнее ополчается на нужду. Но он приглашает и нас посмеяться вместе с ним. Вот типичная «острота» из злой пьесы мещанского репертуара: слепцу повезло, он может экономить. Ложиться спать, например, не зажигая свечи.

«Малое завещание» было бы неполным, если бы автор не высмеял показную набожность. Святое дело — вывести на сцену лицемерие, жадность, разврат. «Добывать себе на хлеб», сказали бы мы, но речь идет о звонкой монете. Проповедовать «пятнадцать знамений», которые возвестят о Судном дне, и в то же время зубоскалить, обеими руками загребать подношения, щупать девок — вот какова картина. А девки — это меньшее из зол.

*Затем, монахам-попрошайкам,  
Монашкам-нищенкам с крестом,  
Как богомольная хозяйка,  
Дарю заплывшего жирком  
Гуся и зайца с чесноком, —  
Пуускай нажрутсЯ до отвала  
И досыта клянут потом  
Греховность пирогов и сала <sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 29. Перевод Ф. Мендельсона.

## Полузабытье

Вийон прерывает нить своих размышлений и хватается за другую. Лишился ли он чувств? Или забросил свои «завещания», эту полуправду, в угоду настоящей мечте? Но разве его «завещания» — это простая придумка? Разве потрясение не есть факт возвращения к реальности? Трудно сказать, что произошло с поэтом, но внезапный кризис личности поэт воспринимает всерьез, и мы, видимо, должны поступить так же.

*Но за молитвой сбился я,  
Как будто мысли мне сковало, —  
Не от излишнего питья... <sup>1</sup>*

Вспоминая свое прошлое, рассказчик повествует о том, что пережил и физическую и психическую травму. В Вийоне-человеке внезапно нарушилось интеллектуальное равновесие. Словно затормозилась работа мозга. Вийон, верный постулатам аристотелевой логики, говорит: «Суждений вид эстимативный, что перспективу нам дает».

Усвоив законы логики — единственное, чем он обязан университету, — Вийон знает, что способности человека образуют единое целое и что атрофия одной способности ведет к гипертрофии другой.

*А чувства, как на грех, проснулись;  
Затем — фантазия; за ней  
Все органы вдруг встрепенулись! <sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Там же. С. 31.

Поскольку разум застыл, фантазия увлекает поэта. Что такое фантазия, забытые ли грезы, а может, его фантазия не что иное, как само «Малое завещание»?

Что это было: потеря сознания, галлюцинация, эпилепсия? Над этим еще будут раздумывать. Сам он будет впоследствии вспоминать о своем «потрясенном рассудке». Он достойно перенес испытание.

Последним его воспоминанием был звон колокола Сорбонны. Он отложил перо, помолился. И с этой минуты наступило помутнение рассудка. Пробуждение трудно, ибо действительность не имеет ничего общего с фантазией. Чернила замерзли. Очаг — без огня. Как же поэт «раздобыл» — оплатил — поленья и хворост? Он поплотнее закутался: так греются бедняки.

*Тут мысли спутались в клубок  
И разум мой вконец затмило.  
Я дописать строки не мог:  
Замерзли у меня чернила,  
Порывом ветра погасило  
Свечу, — хотел огонь я вздуть,  
Да где уж там!<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 32. Перевод Ф. Мендельсона.

Таков образ бедного школяра. Не будем делать из него бродягу. Зима жестока и для самых именитых; люди видели, как секретарь Николя де Байе писал в своих бумагах, между двумя заседаниями Суда, о трудностях жизни профессионала, когда чернила замерзают в чернильницах.

«Реки сковало льдом, и народ в Париже специально переходил во многих местах Сену по льду, как по проезжей дороге. Все время шел снег, причем такого обильного снегопада никто никогда не помнил.

И было очень холодно, так что писцы рядом со своим стулом держали жаровню, где разводили огонь, чтобы не замерзли чернила, но чернила застывали на кончике пера через каждые два-три слова, так что записывать удавалось с большим трудом».

У секретаря есть жаровня. У поэта ее нет. Остается только посмеяться над его невезением. Так как пришло время заканчивать «Малое завещание», он прибегает к выражениям, столь милым сердцу судейских крючков, и берет заглавиями атрибуты своей нищенской жизни. Он вкладывает в эти слова не только всю свою целомудренную скромность, но и жестокий реализм. У него осталось лишь несколько медных монет, однако им приходит конец. Но кто в Париже XV века всегда имел палатку или павильончик, служившие во время войны жилищем, пристанищем для самых знатных баронов? Кто, даже если он не «тощ и черен», как щепка, всегда ест фиги и финики из Испании, которые первоклассные бакалейщики предлагают своим богатым клиентам? И Вийон не нищ, ибо сам себя относит к «средним» парижанам, как если бы он был из удачливых монахов.

*Сие в означенную дату  
Преславный написал Вийон;  
Дворцы, поместья и палаты  
Без сожаленья роздал он,  
А сам, — не сливками вскормлен, —  
И тощ, и черен, как голик,  
Деньгами скудно наделен,  
Предела бедности достиг<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Там же.

## **Наваррский коллеж**

Дела идут неважно. И однако он отправляется в Анже и даже уточняет, что отправляется в «далекую страну». По правде говоря, для этого есть причины; одна из них такая: взломщика Вийона скоро будут искать в Париже, а другая — этот самый Вийон собирается устроить в Анже еще один грабеж со взломом. Он во всеуслышание объявляет о поездке в Анже, возможно, для

того, чтобы его не искали там, где он будет на самом деле, то есть или в Бур-ла-Рен, или еще где-нибудь неподалеку от Парижа. Во всяком случае, он, кажется, чего-то боится, но в то же время спокойно, в ожидании Рождества, пишет свое «Малое завещание». Однако человек, который знает, что его ищут, вряд ли будет сочинять стихи, перед тем как улепетнуть. О краже в Анже вскоре заговорят в Париже, судьи оставят о ней память в своих книгах; но пока что это всего-навсего проект.

Истинная причина, скорее всего, та, о которой он сам говорит: Вийон уезжает, чтобы не видеть больше Катрин. Раненый любовник покидает страну своих разочарований. Но прежде чем покинуть Париж, он дает, или дал, дополнительное объяснение сей меры предосторожности — «удаления»; дело в том, что он распотрошил сундуки университета. Можно ли предпринимать путешествие в Анже, когда твой кошелек пуст?

У магистра Франсуа де Монкорбье нет средств, чтобы стать студентом, и в особенности чтобы стать учеником очень известного наваррского коллежа, единственного коллежа, который ни разу не закрыл своих дверей в самые трудные для него времена, когда Париж вел войну. Что касается Вийона, то его связывали с Наваррой достаточно прочные узы, так что иностранцем там он себя не чувствовал. Его бывший учитель Жан де Конфлан ведает теологией. А Жофруа ле Норман — бенефициант Сен-Бенуа-ле-Бетурне — собрал под свое крыло всех грамматиков Наварры. Места эти и новые люди не пугают Вийона: он знает, что в коллеж входят, как на мельницу, и что через него проходит такое множество учащихся, что никто ничему не удивляется. Всяк, кто хочет выпить и закусить, приезжает в Наварру. Впрочем, возможно, туда приезжают и чтобы послушать лекции.

Эволюция превратила и старый коллеж, основанный в XIII веке Робером де Сорбоном, в настоящий теологический центр, научный центр, где возрождение христианского аристотелизма — как Фомы Аквинского, так и мэтров, пришедших из нищенствующих орденов, — в 1460-е вновь дает жизнь схоластической науке, которую слишком часто замуравывали в формализм логических рассуждений.

У Сорбонны и Наварры есть одна общая черта: туда не берут юристов. Оба университета проповедуют бесплатный интеллектуализм. Нет — судьям, адвокатам и нотариусам! Там обучают ораторов, писателей, философов — их называют логиками — и теологов. Оттуда выходят хорошо образованные люди, способные мыслить и анализировать. Достаточно сказать, что Сорбонна и Наварра дают парижскому обществу элиту и достаточно много безработных.

Наварра отличается менее выраженной склонностью к «Священной странице» — теологии. Там акцент ставится на логике и сопутствующих ей свободных искусствах «трех ветвей»: грамматики, риторики и диалектики. Коллеж играл не последнюю роль в великие времена истории — в блистательные годы становления французского гуманизма при Карле VI и его брате Людовике Орлеанском. Здесь похоронен Никола Кламанжский, под одной из плит бокового придела. Гордость библиотеки составляют книги, завещанные Пьером д'Айи и Жаном Жерсоном.

Гордо возвышаясь в начале улицы Сент-Женевьев и занимая большую площадку, специально оставленную для этой цели Жанной, которую нарекли королевой Наваррской и чье замужество с Филиппом Красивым сделало ее королевой Франции, Наваррский коллеж не дает забыть о себе. Совершенно естественно, что Вийон и его друзья вспомнили о нем, когда нечего стало есть. В коллеже, про который говорили, что в большом сундуке его ризницы кое-что имелось, денежки водились. И молодые хулиганы рассудили: чем умирать с голоду, лучше украсть.

Их было пять школяров с разным достатком. Колен де Кейо был клириком и без особых призваний; его больше знали как искусного игрока — он крапил кости, — университетских заслуг у него не было. Епископ без конца вырывал его из когтей судейских чинов, но поистине Колену де Кейо нужно было очутиться в большой опасности, чтобы приняться за учение. В детстве он прекрасно изучил искусство, необходимое при отсутствии монет в кошельке; отец у него работал слесарем. Его напарник Пти-Жан был экспертом по части «взлома». Вечером под Рождество 1456 года два человека ужинали в таверне «Мул» близ улицы Матюрен и столкнулись там с двумя школярами, которые довольствовались весьма скромной едой, — с Франсуа Вийоном и его старинным приятелем Ги Табари.

В «Завещании» поэт завещает Табари переписку некоего «Романа о „Чертовой тумбе"». Может, Табари заработает несколько монет перепиской.

Вийон и Табари пришли поужинать в «Мул» и принесли с собой кое-какие припасы: так было дешевле; соседи по столу убедили их пойти на одно очень выгодное и безопасное дело: обобрать ризницу в Наваррском коллеже. Один мошенник — монах, более или менее порвавший с монастырем, — примкнул к группе; звали его Дом Никола.

Пятеро грабителей начали с того, что сменили одежду. Они перепрыгнули через стену, окружавшую двор дома одного буржуа, нашли там лестницу, оставили то, что их выдавало как клириков — длинные платья, плащи — их поручили заботам Табари. Была холодная декабрьская ночь, они переоделись в легкие платья. Лестница оказалась бесполезной: стены Наваррского коллежа были высокими. Пробил час отхода ко сну, все стихло. Два взломщика взяли на себя заботу проникнуть в часовню и открыть сундук. Вийон стоял на страже во дворе. История умалчивает о том, что делал Пикардийский монах.

В полночь все оказались подле богатых одежд. Табари увидел маленький мешок из холста, его приятели сказали, будто в нем около ста эю. Табари за его участие в этом предприятии выделили десять эю, он посчитал себя счастливецом, ведь несколько часов назад у него и одной монеты не было, так что он не смог даже пообедать по-настоящему. Когда заговорили о том, чтобы завтра вместе пообедать, замыслы изменились.

Понял ли Табари, что за десять эю покупали его молчание? Чтобы поставить все на свои места, ему пригрозили: если он проговорится, его попросту убьют.

Когда Табари ушел, оставшиеся разделили между собой добычу. Всего оказалось пятьсот эю.

Сундук ризницы коллежа не открывался каждый день. Только в марте забеспокоились, обнаружив, что замки на сундуке не в порядке. Сундук не могли, как ни старались, открыть. Полиция немедля начала розыск: занимались делом двое судейских из Шатле.

Розыски ни к чему не привели, установили только, что ворами были учащиеся. Они пытались, но тщетно, взломать замок на тяжелой крышке сундука с утварью, правда, в конце концов им удалось открыть его с помощью рычага. Четыре замка большого деревянного сундука, обитого железом, и три замка шкатулки из ореха, находившейся в большом сундуке, были испорчены. Девять слесарей, призванных для экспертизы, сошлись на одном: у воров не было ключей...

Персонал коллежа почувствовал некоторое облегчение: ключи хранились надежно. Оставалось только признать, что грабители хорошо знали эти места и что они отправились напрямик к добыче. В сундуках валялись лишь списки сумм, недавно хранившихся в нем: сто эю принадлежало старому декану факультета теологии, шестьдесят эю были накоплены церковным сторожем, триста сорок эю составляли неприкосновенный фонд коллежа.

В Париже быстро разнеслась весть о том, что из Наваррского коллежа похищено пятьсот эю, чему Ги Табари немало удивился.

Прошло два месяца. Однажды, выпив, Табари расхвастался. Он завтракал в «Стуле», недалеко от Малого моста, где встретил одного славного сельского священника, только что прибывшего в Париж, а именно священника из Парэ-ан-Бос Пьера Маршана, и, почувствовав себя большим ловкачом, решил просветить его. Священник был и не глуп, и не наивен. Он заставил Табари разговориться.

Табари представился как «мэтр Ги» и заявил, что он большой специалист по взломам. Он говорил, что совершил пропасть разных взломов. Он некстати выбросил в Сену весь свой инструмент, так что показать его он не мог, но это и неважно: священник может ему верить, впрочем и продавец инструментов известен.

Табари доставляло удовольствие выставлять себя знатоком воровского дела. Так как он сам увлекался своей игрой, ему показалось, что он завербовал себе ученика. Пьер Маршан выказал самый живой интерес, объявил, что он хочет войти в столь процветающее дело, и захотел узнать о нем побольше. Табари привел его в «Сосновую шишку» в Ла-Жюиври, где они встретили

нескольких маленьких мошенников, скрывавшихся в этом доме — ведь полиции и в голову бы не пришло их там разыскивать. Маршан был представлен эксперту по взломам, «молодому человеку» — тому стукнуло уже двадцать шесть, — речистому и длинноволосому. Священник из Парэ сделал вид, что он в восторге от столь рано созревшего таланта своих новых друзей. На самом-то деле все было враньем, начиная с инструментов и кончая *делами*.

Мэтр Ги наконец предложил один надежный план. Они пойдут к августинцам грабить мэтра Робера де ла Порт. Их соучастник, августинец, введет их под видом монахов, в монашеских рясах.

Пока они шли, священник узнал, что совсем недавно очистили жилище другого августинца, Гийома Куафье. Он подумал: автором содеянного был не кто иной, как его компаньон. Безмерно счастливый от того, что без труда так высоко вознесся, Табари расхорохорился и приписал себе вышеупомянутую кражу: деньги Куафье, в частности, понадобились ему для того, чтобы выйти из Фор-л'Эвек, куда его спровадили из-за всех этих наделавших шуму дел. Были и соучастники, но он один воспользовался украденным. Он счел нужным уточнить: тюремщик епископа стоил ему восьми экю.

Частично рассказ оказался правдивым. Но был ли Табари замешан в последних кражах, о которых говорил весь Париж? Кое-что он придумывал, особенно упирая на свою, якобы главную, роль в описываемых событиях.

Вот так-то кюре Маршан и познакомился с тайной наваррского дела. Они похитили сокровища, но оставили, по недоразумению, нетронутым сундук, где хранилось четыре или пять тысяч экю. Непременно нужно к этому вернуться! Табари забыл сказать, что его роль сводилась к роли сторожа у вешалки...

За другими сокровищами понадобится пойти в церковь Матюрен. В первый раз собаки подняли такой лай, что пришлось убежать, но Табари и его друзья не прочь были повторить. И тут Табари не проявил большой активности. Однако он действительно о многом слышал и был в курсе событий.

Мало-помалу Пьер Маршан познакомился со всеми причастными к успехам и неудачам, о коих с таким удовольствием поведал ему болтливый мэтр Ги. Так его знакомцем стал мэтр Жан; Пти-Жан, конечно, настоящий эксперт по взломке в наваррском деле. Маленький, темноволосый, бородатый, Пти-Жан рассказывал обо всех подробностях как профессионал. Он предложил Ги Табари и его новому другу участвовать в одной *экспедиции*, беспроигрышной, по его словам. Свидание было назначено в Сен-Жермен-де-Пре.

Речь шла о непростом деле. Предстояло освободить от содержимого сундуков одного старого и очень богатого священника, у которого в Анже был свой дом, где водились деньжата. Его кубышка насчитывала от пяти до шести сотен экю. Один из членов банды уже отправился в путь, дабы все как следует разузнать. Когда он вернется обратно, станет ясно, стоит ли игра свеч. Разведчика звали магистр Франсуа Вийон. А пока, в ожидании оно, готовили инструмент.

А что же наш священник? Хотел ли он стать взломщиком? Не закрался ли страх в его душу? Или он решил все-таки удовлетворить свое любопытство? Как бы то ни было, но 17 мая 1457 года он явился в Суд и попросил, чтоб его выслушал дежурный следователь, им в тот день был Жан дю Фур.

Табари арестовали 25 июня 1458 года. Он сознался во всех кражах, совершенных в Париже, и отрицал анжевенские планы. 7 июля его подвергли допросу, он клялся, что никогда не знал никакого Пьера Маршана, но признавался, что служил посредником между лжеавгустинцем и ловким изготовителем отмычек по имени Пти-Тибо. Пти-Жан, Пти-Тибо и мэтр Жан, по всей вероятности, были одним и тем же лицом.

Когда же ему прочли донос Маршана, Табари стал защищаться иначе. Петушиться было ни к чему. Он признался полностью в участии в наваррском деле, но утверждал, что его роль там была незначительна. На этот раз он не лгал.

По мере того как допрос «совершенствовался», мэтр Ги умножал свои признания. Когда же его голым положили на «доску», он открыл все. Его отправили на кухню, где напоили теплым

бульоном. Вся операция велась под названием «кухарничать». Важно было, чтобы подсудимый набрался сил; пытка должна была заставить его разговориться, она не была самоцелью.

Болтливый Ги Табари выпутался. Его мать выплатила дважды по пятьдесят экую, и теологический факультет удовлетворился этим. Прimitивному мошеннику Ги были благодарны за то, что правосудие смогло выбить из него истину. Колен де Кейо, которого к этому времени полиция разыскала и допрашивала, тоже выпутался.

А был ли в Анже Вийон? Действительно ли «Малое завещание» — грезы разочарованного в Париже и парижанках влюбленного юноши? Или так развлекался вор, вынужденный бежать и попытавшийся облечь свое бегство в поэтическую форму в стиле «Бегства», предписываемого канонами куртуазной любви? А «опасности», которым он подвергался, что это: желание умереть из-за «жестокой» или боязнь виселицы? Ни Вийон, ни Табари не придумали путешествия в Анже. Никто не посвящал нас в различные мотивы, толкавшие мэтра Франсуа к дому его дяди, анжевенского священника: забыть? забыться самому? пополнить свою кошелек? Можно полагать, что все вместе.

Поэт узнал о признаниях, сделанных Табари. Он представил себе, как его приговаривают к пытке и к веревке, и не стал упрекать своего друга. Кто поступил бы лучше под пыткой? Но какого черта Табари так разболтался и все преувеличил? Позже он ответит за это: Вийон изъязвит его в «Завещании», где очень точно определит свой дар мэтру Гийому де Вийону. Франсуа завещает своему покровителю... книги, которых у Табари, этого вечного должника, вероятно, нет.

*Вот книги, все, что есть, бери,  
Возьми роман мой «Тумбу Черта»,  
Который мэтр Ги Табари  
Переписал рукой нетвердой.  
В нем я рассказываю гордо,  
Без нежных рифм и плавных строф,  
О том, как страже били морды  
Ватаги буйных школяров <sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 71. Перевод Ф. Мендельсона.

Хотел ли Вийон отомстить Табари этими стихами, над которыми еще долго будут ломать голову толкователи? Такого «романа», конечно, никогда не существовало. Вийон не считает Табари достойным такого «наследства» или недвусмысленного упрека. Но он играет на слове «переписал» и вкладывает в это понятие иронию, бичующую человека, который предал своих товарищей. В отношении Вийона к измене есть место состраданию. В глубине души Вийон отдает себе отчет в своей удачливости: в июле 1458 года лучше было находиться в Анже — или другом месте, — чем в Париже.

## **Глава XV**

### **Ибо тот, за кем охотятся, был крайне неряшлив...**

#### **Кокийяр**

Мэтр Франсуа оказался на распутье. Он убил человека, но он не убийца. Он украл деньги в Наваррском коллеже, но в данную минуту он не мошенник. Образ мирного писца, сидящего на пороге своего дома вечером в день праздника Тела Господня, еще не стерт образом того, по ком плачет виселица. Они друг от друга на почтительном расстоянии. С обществом людей уважаемых связь еще не прервана.

Каковы бы ни были причины, заставившие его отправиться в Анже, удача, о которой он мечтает, зависит не только от лома и отмычки. Его старый сосед по улице Сен-Жак, парижский прокурор короля Рене, много говорил ему о короле-меценате, каковым был Рене Анжуйский, и Вийон призадумался над судьбой такого поэта, которому не приходится воровать ради куска хлеба. Этот прокурор в Шатле по имени Андри Куро, живущий под вывеской «Золотой лев», раздобыл даже рекомендации, благодаря которым перед Вийоном откроются двери двора, где поклоняются литературе и искусствам. В «Завещании» Вийон будет размышлять на эту тему: человек закона оказал ему поддержку.

Именно в это время Вийон, несмотря ни на что, стал скатываться к профессиональной преступности. Как и многие другие, побоявшиеся оказаться жертвой этих смутных времен, он избирает легкий путь. Семья богача Робена Тюржи, обитавшего в доме под вывеской «Сосновая шишка», где привык бывать Вийон, конечно, без всякого удовольствия узнала сперва о репутации Кристофа Тюржи, игрока и мошенника, а затем о его публичной казни на Свином рынке у ворот Сент-Оноре за то, что он сбывал фальшивые монеты. Благородное семейство писца Ренье де Монтины пришло в отчаяние, когда понадобилось объединить усилия всей семьи — людей, состоявших членами Суда и Ратуши, — дабы попытаться — но тщетно! — вырвать из рук палача незадачливого Ренье.

Вийон завещал ему трех охотничьих собак, в насмешку, без сомнения, ибо Монтины не имел средств для охоты. Он шесть раз сидел в тюрьмах. Официальное мнение не склонялось в пользу писца, о котором было известно прежде всего, что он один из крапильщиков костей и один из самых ловких во всем королевстве взломщиков сундуков. Епископ Парижа отправился за ним в Шатле, где Ренье сидел отдельно от людей светских, не для того, чтобы его миловать, а для того, чтобы казнить. На этот раз — а было лето 1457 года — королевский прокурор отказался выпустить мошенника. Писец он или нет — все равно: груз его преступлений слишком тяжел, чтобы его могли еще раз оправдать. Украв потир в ризнице Сент-Жан-ан-Грев, он лишний раз подтвердил свою виновность, а епископ уже устал от него.

Семья Ренье обзаводится прошениями о помиловании виновного. Суд, отметив, что еще никогда перечень столь тяжких преступлений не представляли королю, объявляет эти письма недействительными. Приговор суда утвержден.

Ренье Монтины отказывают даже в праве, которое имел всякий человек благородного происхождения, а именно — чтобы ему отсекли голову. Но раз он всего-навсего писец, он не благороден! И вот скандал: он повешен как обыкновенный мошенник.

В это же время у многих на устах было имя Франсуа де Монкорбье по прозвищу Вийон; Вийон осознает, как низко он пал, но упрямо стоит на своем. Впоследствии в одной из баллад, которую он напишет на воровском жаргоне, мы увидим в качестве примеров печального конца избранного им пути преступлений тех же самых людей, которые затащили Вийона на этот путь и во многих отношениях превзошли его, — это Ренье де Монтины, Колен де Кайо — сын слесаря, так бойко орудовавший в Наваррском коллеже. Колен «Лекайе», «L'Ecailler»<sup>1</sup> — игра слов тут прозрачна — надеялся, что он выкарабкался, заговорив под пыткой. Но он не смог «снять шелуху», то есть провести правосудие. Дело кончилось тем, что палач отрубил ему голову.

---

<sup>1</sup> «Ecailler» — буквально: «снимать шелуху» (франц.).

*Ребятам, рыщущим в Рюэле,  
Даю совет: умерьте пыл,  
Пока туда не загремели,  
Где Лекайе Колен гостил.  
Добро б на дыбу вздернут был —  
Нет, раскололся перед нею,  
Но лувовку не облупил,  
Палач сломал бедняге шею.  
Напяльте поновой одежду*

*И в храм чешите прямиком,  
А шляться в Монпипо негоже,  
Чтоб не попасть в Казенный дом,  
С которым Монтиньи знаком;  
Там солоно пришлось злодею:  
Как ни вертелся он волчком,  
Палач сломал бедняге шею <sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Перевод Ю. Стефанова.

Вийон скитается по стране, и его язык — это язык шайки, которая орудовала во Франции в эти послевоенные годы. Однако жаргон Вийона, этот «веселый жаргон» воров, — словесная игра, где поэт блистателен, и ничего другого тут нет.

Существует три языка Вийона. Язык «Малого завещания», «Большого завещания» и баллад: это словарь магистра литературы и искусств, который читает «Роман о Розе» и который пишет одинаково хорошо как для принцев, так и для судей. Язык баллад — жаргонный, это язык, заимствованный у случайного бродяги, выросшего не в этой «среде», как будет принято потом говорить; и поэт развлекается, смакуя слова с привкусом новизны. Повседневного языка Вийона мы не знаем, это язык Латинского квартала в пору, когда он перестает говорить на латыни. Но аргумент отсутствует в «Завещании», так же как и в последних стихотворениях.

В течение этих пяти лет, когда, разыскиваемый за кражу, Вийон стал еще более своим в воровской среде, голова у него оставалась холодной. Точно так же как он фиксирует каждую ступень своего падения и всякий раз предупреждает об опасности своих дружков, он контролирует свою лексику и не смешивает жанров. Вор с ворами, он благороден с благородными. Аргумент не является его языком, это просто новая гамма в арсенале выразительных средств. Таким образом, одна и та же мораль находит свое выражение и в воровском жаргоне баллады-обращения к убийцам-кокийярам, и в литературном языке северной Франции баллады «Добрый урок пропащим ребятам», своеобразного «утешения» из «Большого завещания».

*Красавцы, не теряйте самой  
Прекрасной розы с ваших шляп!  
Сомнет ее судья гнусавый,  
Останется вам конопля;  
В Рюэле холодна земля,  
И в Монпипо грязь по колено,  
И всюду вервие смолят  
Для вас, как для Кайо Колэна.  
Играют там не в дурака,  
Там ставят жизнь и душу тоже,  
Честь проигравшим высока  
И смерть тяжка, — помилуй Боже!  
И тем, кто выиграл, на ложе  
С Дидоною из Карфагена  
Вовек не лечь... Так для чего же  
Все отдавать за эту цену?  
Теперь послушайте меня,  
Совет я добрый дать хочу:  
Пей днем, пей ночью у огня,  
Пей, если пьянство по плечу,  
И все, что есть, — сукно, парчу, —*

***Спусти скорей! Придет пора,  
Кому оставишь? Палачу?  
От воровства не жди добра <sup>1</sup>.***

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 110—111. Перевод Ф. Мендельсона.

Вийон опытный исследователь в школе аналогий: он играет разными языковыми оттенками, как художник, разрисовывающий собор, играет символами. На хорошем французском пишет он, что Колен спал с лица после своих развлечений в Монпипо и в Рюэле. На жаргоне — как с его друзьями из «шайки» сняли шелуху в Рюэле. Рюэль расположен у входа в Париж, это селение, часто посещаемое злоумышленниками, а Монпипо находится рядом с Мен-сюр-Луар, это крепость, которую и не разглядишь издали. Но отправиться в Монпипо — это нанести крап на кости, а «брыкаться» в Рюэле — это отбиваться «брыкаясь», то есть применить оружие. Ошибка Колена в том, что он не поверил, «растопырил уши», будто игра стоит ставки. Мораль извлекается, таким образом, на двух языках: кого «плохо приняли», тот уж не отыграется, говорит один, и «Принц, остерегись», говорит другой.

Следует ли рассматривать произведения Вийона на жаргоне как моральный итог, который можно по-разному толковать, как думают некоторые комментаторы? Было бы преувеличением считать, что Вийон отводит большое место серьезному в своих жаргонных сочинениях, и полагать, что его баллады на жаргоне принадлежат научной схоластике. Он уступает легкости разговорной речи в жаргонных балладах не больше, чем старается «зашифровать» язык своих «обращений». Людям, привыкшим к жаргону, недоступна расшифровка многозначности смыслов — исторического, теологического, этического — любых схоластических текстов и религиозных образов в поэзии. Привыкшего говорить на жаргоне не назовешь «мэтром», точно так же говорящие на чистейшем языке «мэтров» не знают воровского жаргона. Вийон искушен жизнью — и как человек искусств, и как вор, — и он легко обращается и со словами, и с рассуждениями. Но людей, владеющих обоими языками, мало, и поэт не упускает этого из виду.

Игра идет дальше. Дурные знакомства Вийона — одно, а его фантазия — другое. Возможно, он выучил аргю, играя в труппе бродячих актеров, к которой присоединился во время своих скитаний, а возможно, в шайке шалопаев, где встретился с молодыми людьми, гораздо худшими, чем он сам. Жулик, связавшийся с еще большими жуликами, чем он сам, поэт был не больше бандитом, чем профессиональные носители жаргонного языка «кокийяров».

В этом поэте-бродяге, которого обстоятельства бросили в трясины преступлений, многие хотели бы видеть отпетого бандита. Конечно, пути Вийона и матерых преступников в какую-то минуту пересеклись. Однако воровской язык — недостаточная улика. С таким же успехом Вийон пользовался и диалектом жителей Пуату, но ведь никому не пришло в голову называть его пуатевенцем.

Решили, что нашли разящий аргумент, заметив имя Вийона среди множества преступников, зарегистрированных магистром Жаком Рабастелем, составившим анкету деяний шайки проходимцев. Читаем: «Симон Ле Дубль, у которого рассечена верхняя губа». Всем известно, что Вийон поплатился за участие в «деле» во время праздника Тела Господня рассеченной в кровь губой. Что касается самого имени «Симон Ле Дубль», то его вывели из анаграммы «мэтр Франсуа Вийон», так что «Симон Ле Дубль» превратился в «Мэтр Вийон». Ведь и у самого Вийона Колен де Кайо становится Колен дес Кайо, или Колен д'Эккейе, и даже Колен де Л'Экай или Колен де ла Кокий.

Следует напомнить, что слово «мэтр» часто ставится перед собственно именем, а не перед фамилией или псевдонимом. Разве не говорят «мэтр Франсуа», а не «мэтр Вийон»? И разве не правда, что среди тысячи с небольшим преступников найдется не один, у кого на верхней губе шрам? Ничто, впрочем, не доказывает, что у Вийона остался от удара кинжалом шрам именно такой, как его описывают. В заявлениях самого Вийона, которые дали жизнь второму прошению о помиловании, сам он отрицает, что у него кровоточила губа, хотя и признавался в этом несколькими днями раньше. Пораненная губа не означает, что лицо изуродовано на всю жизнь. Вийон с осторожностью рассказывает о самом себе в своих стихах, в некоторых из них он рисует свой подлинный портрет, совершенно не заботясь о том, чтобы выставить себя красавцем, но

нигде он не говорит об этой рассеченной губе. Он себя видит маленьким, черным, серым. Но никогда — со шрамом. «Бедный Вийон», уж наверное, воспользовался бы таким случаем, чтобы вызвать к себе сострадание.

## Бродяга

Не подлежит сомнению, что в 1457—1461 годах Вийон был обыкновенным бродягой, и больше никем. Его обращение к сильным мира сего, как мы увидим дальше, потерпело неудачу. Его средства существования сомнительны, но они еще не самые позорные. Он — нищий. И это приводит его в тюрьму. Живя всякими уловками, иногда прибегая к мошенничеству, он не гнушается и воровством, участвует в ночных вылазках, однако это не бандит с большой дороги. Он вымогатель, может торговать девичьей честью, но настоящим сводником никогда не был, может участвовать в какой-нибудь аванюре, но он не распутник. Мелкий вор, да, но не разбойник.

Здесь историк должен, впрочем как и везде, остерегаться смешения времен. Речь не идет больше об эпохе, когда Карл VII организовывал свои «кампании королевских указов» и привлекал к себе на службу лучших военных, обращая их против других военных. Именно при Карле VII в 1445 году был выпущен указ, в котором предлагалось «провести» одну за другой пятнадцать — а вскоре и восемнадцать — кампаний, дабы создать королевскую армию, коей не свойственны были бы слабости армии временной, и распустить все наемные группы, готовые всегда поживиться за счет населения, как во время войны, так и в мирное время, освободить от них дороги, где грабят и разоряют, имея лишь два резона: во-первых, надо жить, а во-вторых — чем-то заниматься.

Грабежи, конечно, так вдруг не прекращаются. На больших дорогах Французского королевства всегда околачивались люди без ремесла, кормившиеся лишь надеждой на новые конфликты. После Столетней войны, окончившейся в 1453 году, возмущение дворян пошло на убыль, уже с 1441 года наем в армию редок. Лига «Общественного блага» 1465 года, решение споров между Бургундией и Лотарингией предлагали профессиональным военным лишь ограниченные контракты. Для большинства французских наемников Бедфорда и короля Бургундского оставался в конце концов один выбор: стать либо крестьянином, либо нищим.

Франция 1460-х годов — страна, вновь отстраивающаяся. Везде требуется рабочая сила. Спрос на строителей в Париже между 1440-м и 1460 годом удваивается. Среди «старых солдат», в большинстве своем взявшихся за возделывание земли, а она все еще в цене, и ставших оседлыми благодаря указу короля, мало осталось тех, кто рыщет по дорогам — где и Вийон искал счастья, — тех, кто грабил и наводил ужас на предыдущее поколение.

Конечно, бандитизм не исчез вовсе. Несколько организованных банд все еще гуляют по стране. По милости одного чрезвычайно усердного прокурора мы хорошо знаем о «кокийярах», сеявших страх в Бургундии в 1455—1456 годах. А есть еще и «акулы» в долине Луары, и «распутники» в Лангедоке. Они внушают ужас, и о них говорят. Возможно, им приписывают больше злодеяний, чем они совершили. Без сомнения, у них нет строгой организованности, которая вовсе не соответствовала бы их духу авантюризма.

Дороги средневековой Франции, которые бороздил Вийон, не имеют ничего общего с разбойничьими. Двадцатью годами раньше крестьянин, идя к своему полю, рисковал жизнью, так же как и гонец, отправляясь из Парижа в Этамп. В 1460 году восстановлены торговые отношения. По Сене и Луаре снуют корабли. Дороги удобны и для повозок, и для вьючных животных. Но до благоденствия далеко, и в Париже пока сокрушаются: преступники все еще совершают небольшие вылазки. Однако они у всех на виду, и никто не жалуется, как прежде, на перехваченные среди бела дня обозы, ограбленные экипажи, торговцев не трясут как грушу на каждом перекрестке. Судов пока не очень много, но они приходят в порт, а набережные порта, как речного, так и морского, заново вымощены.

Бродяге Вийону удается повстречаться с другими шалопаями, но он не из-за бродяжничества занимается грабежом.

Он больше докучает, чем внушает опасения, больше просто бродяга, шатающийся без дела, чем задира, больше школяр-голодранец, чем представитель «кокийяров»; скорее всего, поэту хотелось казаться тем, чем он на самом деле не был. Не есть ли баллады, написанные на жаргоне, школьным упражнением, только в особом смысле: жалкие потуги мелкого воришки, который ставит на «большую шайку»? Как если бы случайный актер играл роль нищего, удалившегося от дел...

Мораль жаргонных баллад подтверждает эту мысль. С чего бы вдруг «акуле» обращаться к себе подобным с такими наставлениями? Кстати сказать, вору никогда не слышали таких вот призывов к осторожности: баллада — не письмо, смешно думать, что какого-либо стихотворения Вийона достаточно было, чтобы всполошить шалопаев, коим угрожает конкретная опасность. Вообразить, что баллады предупреждают об опасности, — в высшей степени надуманно. Преступники, действовавшие в районе Парижа, не нуждались в предупреждении о том, что полдюжины их коллег принародно повешены.

Речь идет о морали, о морали, систематически навязываемой — школяр не переделает себя, — и о галерее преступников, а она не что иное, как «типологизация» вора, под стать трактату о пороках и наказании.

*В Париже, на веселеньком глаголе,  
Черным-черны, болтаются шуты,  
Развеской этой перекатной голи  
Лихие ангелочки заняты.  
Глядят шуты на землю с высоты,  
Их ветер тормозит, едят их мухи —  
Ах, незавидна участь горемык!  
Ведь в бездну ада рвутся напрямик  
Злодеи эти, эти корноухи.  
Не лезь, не лезь в пеньковый воротник!<sup>1</sup>*

Мошенникам, ворам, голодранцам Вийон кричит: «Берегитесь веревки!» Разбойникам, убийцам и другим любителям пользоваться разного рода оружием он напоминает о том же, но в других выражениях.

*Принц, коль от музыки блатной  
Я вас отвадить не сумею,  
Спознаетесь вы со вдовой,  
Когда палач вам сломит шею!<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Перевод Ю. Стефанова.

Взломщикам, специалистам по сундукам он советует беречь сон буржуа:

*Принц-медвежатник, принц-пролаза,  
Разуй глаза, беря сундук:  
А вдруг хозяин спит вполглаза  
И вскочит на малейший стук?<sup>1</sup>*

Всем он дает мудрый совет: быть всегда начеку. И перво-наперво: не доверяться трактирщикам, которые спаивают бедного горемыку, опустошают его кошелек и отдают его затем в руки полиции.

*Берегись, голытьба,  
Столба,  
Бойся пеньковой петли,  
Лги и юли,  
Чтоб не спать на соломе сырой,*

***Вовремя хайло закрой <sup>1</sup>.***

Тем, кто взламывает печати на больших сундуках, кто открывает замки — изготовителям «фомок», — поэт напоминает, играя на двух смыслах слова «кофр» (coffre)<sup>2</sup>, что тяжелые укрепленные двери ведут к закрытым наглухо темницам. Риск в том, что тут много лишних: всякий соучастник — возможный болтун.

***Принц с козьей ножкой, будь всегда на стрёме,  
Не доверяй подельщикам ни в чем:  
Сплутуют в кости — и в казенном доме  
Окажетесь все вместе под замком <sup>1</sup>.***

---

<sup>1</sup> Перевод Ю. Стефанова.

<sup>2</sup> Французское слово «coffre» означает как «сундук», так и «грудная клетка».

Фальшивомонетчикам достаточно назвать пытку, которую обычно к ним применяют. Подделывать королевскую монету — это покушаться на верховную власть суверена: монета — знак публичной власти, и не стоит вносить смуту в общественный порядок, где все экономические взаимоотношения предполагают наличие твердых эталонов. Чаше всего фальшивомонетчики кончают в котле Свиного рынка.

***Принц, дай Бог ноги из свиарен,  
А если не поможет Бог,  
Ты будешь как свинья ошпарен:  
Ох, ну и крут там кипяток! <sup>1</sup>***

Мораль бесхитростна. Глупый малый, играющий в бандита на большой дороге, прекрасно видит, что опыт одних ничему не учит других. К чему приводить перечень преступлений и наказаний за них! У бандита все равно один конец — повенчаться с веревкой. Можно сколько угодно втолковывать ему все, что вам захочется, — он лишь пожимает плечами.

***О принц плутов, не слушай тары-бары,  
Что, мол, дружны с удачей кокийяры:  
Придет конец — волосья поздно рвать,  
И нет для них гнусней и горше кары,  
Чем свадьба со вдовой. — А мне плевать! <sup>1</sup>***

---

<sup>1</sup> Перевод Ю. Стефанова.

Несмотря на скудость наших знаний об этих годах Вийона, когда он мечется по всей Франции из-за боязни вернуться домой, вполне возможен один вывод: речь идет скорее об отсутствии удачи, чем о преступлениях. Всюду — провал, для мэтра Франсуа нет выхода. Вийон хочет видеть себя поэтом, мечтает о дворах. Однако туда его не допускают. Он занимается кое-каким ремеслом, но общество его не поощряет. Вийон влачит жалкое существование. Попрошайка у принцев, временный работник, бредущий от деревни к деревне, — вот каковы его занятия и взаимоотношения с обществом, и вряд ли такого человека назовешь бандитом. По своей склонности он забулдыга, а по необходимости — вор; Вийон знает, что такое тюрьма, где обретаются мелкие воришки.

Однако между 1455-м и 1457 годами в сети правосудия попадают главари шаек, жертвы энергичного прокурора, старшины города Дижона Жана Рабастеля. Из своей комнаты в Сен-Бенуа-ле-Бетурне, из ее затишья, Вийон наблюдает, как банда постепенно рассеивается. Все говорят об этом, сперва в Бургундии, затем в Париже. Сама собой Вийону приходит в голову мысль, будоражащая его воображение, сыграть роль кокийяра, чтобы попытаться определить границы честного и бесчестного. Но, пожалуй, Вийон больше думает о том, как бы наестся теплых булочек, — наслаждаться стихами ему не отказано.

## Маршрут

Сначала Вийон направляется в Анже, он бежит от кары короля и принимает вид путешествующего любовника — условный тип, так хорошо известный из куртуазной поэзии, в это время он возвращается к последним стихам «Малого завещания», на дворе разгар зимы 1456—1457 годов. Набожный дядя поэта питает к нему сдержанную враждебность. Так что — обворовать дядю или кого-либо другого? Город богат возможностями всякого рода.

Для такого школяра, как Франсуа, Анже — это место, где находится университет, основанный веком раньше братом короля Карла V герцогом Людовиком I Анжуйским. Репутация Анжевенского университета во время царствования внука Людовика, короля-герцога Рене, превосходна. Кабаков в городе много, вралей тоже. Пословица говорит, к радости парижских писцов: «Анже — город с невысокими домами и высокими колокольнями, с богатыми шлюхами и бедными школярами». Анжевенцы не согласны, но Вийон не анжевец. Бедный школяр там окажется на своем месте, хотя сам он хотел бы скорее снова приступить к занятиям.

Поэт мечтает о том, чтобы ему платили за его талант. Двор Рене Анжуйского блестящ, и герцог-король, поэт, художник и музыкант, столь же просвещенный меценат, сколь и великодушный человек. Что ж из того, что герцог Анжуйский, граф Провансальский, король Иерусалимский и Сицилийский, король Рене потерял свое итальянское королевство и никогда не видел своего предполагаемого восточного королевства; он все равно самый великий из французских принцев после герцога Бургундского. В Анже, как в Тарасконе, при его дворе собраны прекрасные умы, занятые проблемой, как приятно убивать время. Сам король Рене — средний поэт, талантливый художник, в общем разбирающийся в искусствах меценат. Если Анри Куро порекомендует Вийона своему хозяину королю Сицилийскому, это не вызовет удивления. А для поэта путешествие в Анже может сослужить добрую службу: он заработает себе на жизнь.

Причины провала нам неизвестны. По всей видимости, меценат ничего не сделал для поэта, приехавшего из Парижа. Он вновь уезжает в поисках удачи, но это настолько же шалопай, насколько поэт, он бродит по дорогам, ведя жизнь трудную, не имея ни ремесла, ни покровителей. Грабитель без призвания к этому делу, он входит в мир профессиональных бандитов, когда банда уже стала рассеиваться. Он будет говорить о бандитах, но чего ожидать от повешенных? Друг прокурор приоткрыл ему двери двора. Он вышел оттуда бедняком, если только он вошел туда.

Маршрут этих его пяти лет нам известен. Вийон покидает Париж в первые дни 1457 года и возвращается обратно в последние недели 1461-го. Между этими двумя датами он появляется то здесь, то там. Он исходил вдоль и поперек долину Луары, эту Францию принцев, откуда продолжительные войны и парижские потрясения удалили на какое-то время некоторую часть аристократии. От герцога Бретонского Вийон попадает к герцогу Бурбонскому, минуя герцога Анжуйского и герцога Орлеанского; Франция 1430 года была поделена на множество герцогств: поэт прошел и через ряд высоких судов, довольно равнодушных к тому, что скажет прево Парижа. Нетрудно понять, чего мог там добиться беглый бродяга. Франция 1460 года — это не Франция 1430-го, но правосудие не меняется, как и нравы принцев. Тот факт, что часть знати еще не совсем восстановленной столицы проживает в долине Луары, оправдывает утрату интереса к Парижу. Мода следует необходимости: нет больше нужды устраиваться в Париже.

Дошел ли Вийон до Бретани? По крайней мере он похваляется своей удачей в Сен-Женеру близ Сен-Жюльен-де-Вувант, поэтому можно предполагать, что названия этих деревень употребляются им не только для рифмы. Может быть, поэт устроил наконец свою жизнь в качестве разносчика? В «Завещании» он скажет «бедный разносчик из Рена» — известно, что множество воров принимают обличье бродячих торговцев, чтобы наметить себе жертвы и подготовить свой «выход», а затем — чтобы сохранить краденое и скрыть перепродажу добычи.

Очень похоже на то, что Вийон дважды посещал двор герцога Орлеанского в Блуа и нашел там гостеприимство, аудиторию и, кажется, даже пансион. Но вот в Бурбоннэ он как будто бы не попал, и при дворе Муленов он не обрел того, чего ему недоставало в Анже и что приоткрылось ему в Блуа: безопасность.

Он прогуливался. Он видел Сансерр и заметил в деревне, соседствующей с Сен-Сатюром, любопытный памятник; это, скорее всего, были романские руины, а фантазия местного люда сделала из них великолепную могилу легендарного гиганта Футеора.

Где окончилось путешествие: на берегах ли Роны или в центре Дофинэ? В последнем прощальном слове «Завещания» Вийон говорит о своей собственной жизни как о блуждании по пыльной дороге. Его судьба была не чем иным, как скитанием выгнанного отовсюду поэта в лохмотьях, оставляющего на всех кустах «отсюда до Руссильона» лоскуты своей незамысловатой одежки.

По правде говоря, мы ничего не знаем об этом скитании поэта и у нас нет ни одного точного свидетельства о его пребывании то там, то здесь, если только не считать Блуа и тюрьму Мён. Сен-Женеру, Сен-Жюльен-де-Вувант, Рен, Руссильон постоянно у него на языке, но поэт, который извлекает их из своей памяти, может быть обязан им как своему бродяжничеству, так и рассказам своих братьев. Его поразили имена. Почему? Различные взгляды поэта на вещи всякий раз заставляют его утверждать то одно, то другое, а историк должен к этому приравниваться.

## Дорога и вымысел

Итак, из Сен-Сатюра в Берри. Хорошо известно, что из Блуа в Мулен дорога идет вдоль Сансерра. Путешественнику видно, как над Сен-Сатюром карабкается вверх Сансерр, и кажется, что образ «под Сансерром» родился у очевидца. Но особенно четко вырисовывается у поэта злобная непристойность, с которой он обращается к его «дорогой Розе». Он отказывает ей и в сердце, и в чести. Это ей неизвестно. Она предпочитает другое. Что именно? Любовь ради денег. И он горько иронизирует: она богаче, чем он. Так что ему не достается ни эю, ни щита: ведь щитом называют монету, а венерин холмик — это эю Венеры. Вийон устал от жестокой чаровницы, пусть гигант Футеор возьмет все на себя.

*Припомни лучше о Мишо —  
И в Сен-Сатюре под Сансерром  
Ты порезвишься хорошо  
С его наследником Футером <sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Перевод Ю. Стефанова.

Мишо — это родовое имя, имя распутника. «Прыжок Мишо» — это половой акт. Футеор — это персонаж фавлю, хорошо известный любителям за его кипучую мужественность. Где же ему еще быть похороненным, как не в Сен-Сатюре, который по звучанию напоминает слово «сатир», между тем как Сансерр рифмуется с Футерр?

«Большое завещание» завершается темой нищеты, где слово поэта особенно полновесно, ибо речь идет о нем самом. Вийон перестает шутить. Вся его одежда — лишь лохмотья, но не потому, что «ветер дружбы» отнял у него весь его гардероб. Завещание ни к чему, ведь поэт живет в убожестве; оплакивая свое несчастье, он заявляет о своем желании умереть. Пришедшая смерть — не следствие болезни. Если прочесть внимательно последнюю балладу, поэт умирает как «влюбленный мученик», но умирает он добровольно.

Когда решил сей мир оставить.

Захотел уйти... Подумал о самоубийстве? Риторическая фигура поэзии влюбленных? Без сомнения, и то и другое. Главное — скорбная гримаса бродяги, умирающего в лохмотьях. И здесь, вероятно, поэт черпает слово из своих воспоминаний.

*Его отправили в изгнание,  
Но что Париж, что Руссильон,  
Везде о нем воспоминанья*

*Остались у девиц и жен.  
Нигде не унимался он,  
Любой красотке угождая,  
И был по-прежнему силен,  
Юдоль земную покидая...<sup>1</sup>*

Никто не обманут, и Вийон хорошо это понимает. Его последнее волеизъявление, составленное по форме настоящего завещания, звучит торжественно; Вийон здесь использует общепринятые формулировки нотариальной конторы, с установлением подлинности личности завещателя и исполнителей, с обращением к Богу и с наказом выпить глоток вина «из черного винограда». Человек всегда на грани отчаяния. Поэт смеется, но ему не до улыбки. Нищета не придумана. Однако мы не услышим в этом литературном упражнении отзвука отчаяния. Вийон как будто не принимает себя всерьез. Он кричит «всем людям спасибо» и делает им нос.

Добрался ли поэт до Дофинэ? Праздный вопрос, даже смешной. Следует принимать всерьез из всего сказанного по этому поводу Вийоном лишь то, что вырвалось непреднамеренно. Не всегда следует принимать на веру его философию, тем более когда он подписывается акростихом своего имени. Вот какую истину он нам поверяет:

*Велел апостол позабыть вражду  
И вместе мыкать горе и нужду,  
Любить друг друга, попусту не споря,  
Лишь в мире счастье, нет его в раздоре.  
Об этом не напрасно речь веду, —  
Написано злодеям на роду:  
Кто сеет зло — пожнет позор и горе!<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 127. Перевод Ф. Мендельсона.

<sup>2</sup> Там же. С. 130.

Бессмысленно без конца вопрошать себя о галантерейной торговле, о Ренне, о Сен-Женеру, о Вуванте. Все это связано с одним: поэт ищет слово, образ. Ему и в голову не приходит подтверждать свой маршрут. То, что он знает какое-то имя, ничего не значит. «Пойти в Рюэль» означает вооруженное нападение, а не прогулку в деревню. «Монпипо» — это от глагола «piper» (пипэ) — «обманывать, подделывать», и можно лишь предположить, что Вийон знает крепость с таким названием. Галантерейщик из Ренна (Рэн) — «бедный малый», и название города рифмуется со словом «гегне» (рэнъ) — королевство, государство.

*Папы, короли, сыновья королей,  
Зачатые во чреве королев,  
Погребены, мертвые и холодные,  
В другие руины переходят их государства —  
А я, бедный галантерейщик из Ренна,  
Я ль не умру? Да, если Богу так угодно,  
Но мне хотелось бы раздать всем подарки,  
Тогда смерть мне не страшна<sup>1</sup>.*

Лишь бы успеть свести со всеми счеты, а там можно и умереть. Люди более значительные, чем он, не ускользают от смерти. Галантерейщик там не для того, чтобы установить чью-то профессию, а Ренн упоминается не для того, чтобы определить чье-то местонахождение. «Маленькому галантерейщику — маленькая корзина», — с покорностью говорит герой современного Вийону романа, озаглавленного «Маленький Жан из Сентре» — Антуана де ла Сая. И опять же маленький галантерейщик дважды выводит на сцену герцога Карла Орлеанского, чтобы дать жизнь персонажу из престолярды.

*Я зарабатываю один день за другим,*

**Но мне далеко до венецианских сокровищ!  
Маленькому галантерейщику — маленькую корзину...<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> Перевод дословный.

«Корзина» как таковая Вийону не нужна, но он сохраняет образ, имеющий хождение в литературном языке его времени. Однако в отличие от Карла Орлеанского или Антуана де ла Саль Франсуа Вийон толкует по-своему понятие «галантерейчик». Герцог и сеньор могут рассудить так: галантерейщик — это хорошо для людей маленьких! А бедный школяр в Париже не может презирать зажиточного буржуа, коим является галантерейщик. В то время, когда Вийон составляет свое «Завещание», долгое путешествие его завершилось. Он возвращается в Париж. Он может называть себя кем угодно, хоть бретонцем. Но галантерейщик в Париже — это человек благородный, твердо стоящий на ногах торговец, продающий и оптом, и в розницу внешние знаки буржуазной зажиточности: шелковые ленты, золотые нитки, перламутровые пуговицы, пояса с заклепками, серебряные застёжки, ножи с кольцами на рукоятках, гребни из слоновой кости, алебастровые дощечки... Галантерейщик в Париже не жалуется на свою долю...

На своем пути поэт встретил других продавцов галантерейных товаров; среди них и крестьяне, и «тюконосы», таскающие на спине в «тюках» предметы их торговли. Эти галантерейщики продают чепчики и вязаные носки, костяные гребни и карманные ножи. Об этих «тщедушных лоточниках», у которых никогда не будет крыши над головой, об этих горемыках думает Вийон, когда просит, чтобы его пожалели. И тогда, вместо того чтобы использовать слово «галантерейщик», он изобретает «галантерейчик» и называет себя «бедным галантерейчиком из Ренна».

Удачно продать товары с Запада — проблема. Сен-Женеру находится в Пуату (сегодня в Дё-Севр), а Сен-Жюльен-де-Вувант — на границе Бретани и Анжу (сегодня в Ла Луар-Атлантик). «Возле» — это около сотни километров: несколько дней пути для «бедного галантерейчика». Вийон или ошибается, или насмешничает.

На самом деле речь идет о том, чтобы завещать кабатчику Робену Тюржи, в качестве платы за выпитое, право стать старшиной и добрый совет: пусть приходит, если найдет жилище поэта. Но если он его найдет, то станет сильнее, чем любой колдун...

Две дамы из Сен-Женеру или из Сен-Жюльен-де-Вувант не имеют особых причин для упоминания, но поэту надо ввести четверостишие на пуатвенском диалекте, который иногда слышат на берегах Сены, как слышат там диалект лимузенский, над которым будет потешаться Рабле. Совершенно очевидно, что во время своих скитаний Вийон немного научился пуатвенскому языку. Но где происходит событие — там или еще где-нибудь, — ему все равно. И вот снова появляются зарифмованные имена собственные.

**Они прекрасны и милы,  
Живущие в Сен-Женеру,  
У Сен-Жюльен-де-Вувант.  
Я всех их посещал, от Бретани до Пуату,  
Но не скажу вам точно,  
Где они живут.  
Клянусь душой, я не безумец,  
Чтобы сообщить вам адреса моих любовниц<sup>1</sup>.**

---

<sup>1</sup> Перевод дословный.

Он хочет сказать, что, где бы его ни искали, его не найдут. Он не скажет и где проживают все его подружки. «Клянусь своей душой!» Но он не до такой степени безумец. То, что он хочет утаить адреса «своих любовниц», — это одно, а то, что он сам прячется от всех, — это уже другое, но самый загадочный тайник — в Париже. Главное в том, что Вийон немного поразвлекался, «поговорив на пуатвенском наречии», другими словами — скрываясь от своего кредитора. Две дамы, появившиеся в стихах, — это для полноты образа, посему они «красивы и милы».

Приземленности слов «горшки плохого неоплаченного вина» поэт противопоставляет возвышенность риторического цветка, настолько же условного, насколько несвойственного двум деревенским жительницам. Но не будем забывать: поэт — шутник.

От любви куртуазной к любви деревенской — во всем этом есть лишь один смысл. Чтобы Тюржи «стал виден» со своим долгом кабатчику... Первые читатели «Завещания», друзья Вийона, одновременно являющиеся завсегдастями «Сосновой шишки», поняли бы, о чем речь.

Мы были бы не правы, толкуя все буквально. Но рискнем и попробуем понять два намека — каждый состоящий из нескольких стихов. Первый — это когда поэт отказывается посвящать нас в свою жизнь. Его душа в другом месте, она с «великими мастерами», с которых Бог должен бы много запросить, поскольку у них на столах добрые пироги, яйца всмятку и огромные рыбы.

*Вот каменщик и невелик сеньор,  
А без подручного — ни шагу:  
То подавай ему раствор,  
То разливай по кружкам брагу <sup>1</sup>.*

И вот возникает образ подручного. Он носит кирпичи и черепицу на верх лесов. А когда мастера-каменщика обуревают жажда, то он идет за свежим вином и подает наверх бурдюк или кувшин.

Вийон и сам зарабатывает себе на жизнь, подымаясь со ступеньки на ступеньку и неся то вино, то балки, то черепицу. В начале одной поэмы, современной «Завещанию», он говорит, что, когда он лицом к лицу встречается с Фортуной, она отворачивается от него, она как худший из худших рабочих карьера.

*Я прозвана Фортуною была,  
А ты, Вийон, зовешь меня убийцей —  
К лицу ли мне подобная хула?  
И не таким, как ты, чтоб прокормиться,  
Пришлось в каменоломнях потрудиться,  
С какой же стати мне тебя жалеть?  
Ты не один — всем суждено терпеть <sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Перевод Ю. Стефанова.

Если только худший и лучший не становятся равными на лестнице, по которой поднимается человечество, а самообвинение не принадлежит писцу, сидящему за своим столом, в то время как лучшие убиваются на работе в гипсовой яме... было бы большой смелостью утверждать это с настойчивостью. Однако два образа свидетельствуют о том, что «бедный Вийон» — действительно «бедный» в жизни, а не в поэтическом вымысле. Тут каменщик, там — чернорабочий, тут роют, там носят груз на спине — вот действительность, с которой столкнулся поэт за пять лет своего бродяжничества. Примерно известно, что можно заработать таким трудом: в два-четыре раза меньше, чем квалифицированный рабочий, и во столько же больше ломоты во всем теле.

## **Глава XVI**

### **Нет больше счастья, чем жить в свое удовольствие...**

**Король Рене**

Он ходил от двора ко двору. Это, пожалуй, наиболее достоверно из того, что мы о нем знаем: он не столько искал случая украсть что-нибудь, сколько случая быть по достоинству оцененным. Неизвестный в Париже, Вийон ожидает лучшей участи на Луаре. Он не стал настоящим вором и хочет теперь быть принятым при дворе поэтом. Но и тут его постигает неудача.

А тем временем король Рене, которого знают в Париже, имеет все, чтобы привлечь к себе поэта. Он сам и стихоплет, и художник, и меценат как из любви к искусству, так и из желания сделать свой двор роскошным, — последний из ветви неапольских анжевенцев, он намерен окружить себя пышностью, победить скуку, одолевающую его, ибо в политике он инертен и терпит поражение за поражением. Он друг артистов. Люди блестящего ума — желанные гости как в Анже, так и в Тарасконе, — ведь король Сицилии ищет таланты.

Когда в начале 1457 года Вийон покидает Париж, король Рене поселяется в Анже. Он прибыл туда в августе 1454 года, а уедет в Прованс в апреле 1457 года. Мэтр Франсуа не будет с ним путешествовать.

Для парижанина все быстро закончилось. То была эпоха, когда дворы открывали буколизм не только у Вергилия, когда — тремя веками раньше Марии-Антуанетты — принцы развлекались игрой в пастухов и пастушек, ибо им уже надоели военные игры. Бургундский летописец Жорж Шателен, отменный льстец, нарисовал словами песни идиллическую картину:

***В Сицилии счастливой  
Король стал пастухом.  
Жена его прельстилась  
Таким же ремеслом.  
На грубый плащ сменяла  
Роскошный свой наряд  
И на траве дремала  
Средь ярка и ягнят <sup>1</sup>.***

Мораль в ту пору такова: все хорошо, что исходит из сада. Благоволящий двору Карла VII летописец поэт Марциал д'Овернский в буколическом восторге воскликнул:

***Завидуй пастушатам,  
Овечкам и ягнятам! <sup>1</sup>***

---

<sup>1</sup> Перевод Ю. Стефанова.

Рене Анжуйский поступает как все. Он покидает темные своды крепостей и суровые куртины городов, укрепленных, чтобы отражать атаки осаждающих. Он отдает предпочтение удобным и приятным помещениям, ажурным фасадам, широким окнам, открывающимся на цветущие сады. Вместо бойниц он делает окна. Балюстрада — это уже не зубчатая стена с бойницами, она превращается в легкую террасу. А рвы, с появлением пороха и артиллерии, перестают служить для защиты, они становятся зеркальными прудами.

Король Рене ухаживает за растениями. Рассуждая о любви и войнах, он ловит рыбешку и собирает полевые цветы. Все играют в пастухов и пастушек, но не перестают быть аристократами. К 1455 году король заканчивает свою пастораль «Ренье и Жаннетт», а в 1457 году «Влюбленное сердце», которое представляет собой собрание самых условных аллегорий куртуазной любви. Мастер устраивать турниры и прекрасный знаток правил рыцарской чести, он также придает большое значение искусству быть щедрым. Его государственная казна не слишком тяжела, но двор -блестящ.

Этикет безупречен, иерархия в почете. Пастушок не забывает, что он король, даже несмотря на то, что Сицилия с 1282 года, а Неаполь с 1442-го принадлежат арагонцам. У него любят поэзию, а не бродягу, который читает стихи. По одежде Вийон — монах при анжуйском дворе, а «ливрея», которую он иногда надевает, обеспечивает ему вход во дворец. Там играют

огнями и красками ткани, галуны, позументы, драгоценности, перья, отмечающие различные социальные уровни и раскрывающие смысл взаимоотношений.

Король снисходит до того, что сам вмешивается в эту игру и следит за разграничениями: так, когда в 1453 году умерла королева, он тщательно разграничил по качеству куски черной ткани, выдавая их так, чтобы соблюдалась иерархия: учитывалось происхождение и кто кем служит у короля. Инициатива придворных обычно пресекается, а когда эта инициатива становится слишком назойливой, достаточно небольшой группы людей, чтобы всех поставить на свое место.

У Вийона душа не лежит к службе царедворца. Иерархическая жесткость вынуждает Вийона отойти в сторону. Не столь решительно, как при бургундском дворе, где артист официально приравнен к слуге, здесь из поэта делают менестреля, из художника — лакея. Благожелательный, но безучастный к тому, что талант и фортуна стоят на разных ступенях, Рене Анжуйский заставляет заново разрисовывать свои стены художника, который должен ему представить также и «Часослов»...

Если б Вийон остался при дворе короля Рене, с ним бы неплохо обращались. Лакей — это звание, а есть на кухне — это все-таки есть. Платья, предлагаемые королем своим художникам, шиты были из атласа либо из Дамаска. Искусство — не презираемо. Рене умеет ценить талант. Но двор — это клетка, а мэтр Франсуа не из тех, кто даст себя запереть в ней.

Парижанина могла удивлять приверженность анжуйского двора ко всему итальянскому, которая стала как бы провозвестником Ренессанса; это обстоятельство способно объяснить, почему король и его приближенные столь подолгу обитали в Неаполитанском королевстве. Итальянизация пока не знакома Парижу; Пико делла Мирандола заявит о себе там только четверть века спустя, а возвращенный в тени коллежей школяр не знает пока, что происходит во Флоренции. Или, вернее, итальянизация забыта: волна наказаний и ссылок развеяла в начале века первые дуновения французского гуманизма, того гуманизма, что процветал в окружении герцога Людовика Орлеанского. Вийон услышал отголоски итальянизации в Анже в первые недели 1457 года, она была сродни снобизму: на итальянский манер носят вместо куртки с поясом, которая еще в моде в Париже, камзол с пышными, вздымающимися рукавами и короткую накидку.

Если бы была только одна пастораль! Если б был только камзол на итальянский манер! Однако при дворе короля Рене все звучит фальшиво, и парижский поэт мечтает не о тихом прибежище от слишком жестокого мира. В каком-то безумном наваждении поэт ищет забвения в экзотике. Рене не вписывается в тот ряд принцев-меценатов и коллекционеров, каковыми были Карл V и Жан Беррийский. Он из породы неугомонных любителей необычного, собирателей всяких диковинок. Этот старый путешественник много повидал на своем веку, но не насытился сполна. Он сам подбирает старье и заставляет это делать других, — все нужное и ненужное.

Несколькими годами позже счета анжевенского казначейства дадут нам представление об этой экзотике, с которой плохо уживалась чувствительность такого вот Вийона, причем пребывание в Провансе — не то же самое, что пребывание в Анже, сравнивать их следует с большой осторожностью. Во Флоренции и Венеции закупают атлас и бархат, в Турции — тонкий камлот, в Александрии — тафту, покупают расписанный золотом фарфор. Продают и покупают разные «диковинные вещицы».

«Некоторые тунисские птицы и другое, что он повелел купить в варварских странах.

Удивительная лошадь, газели, страус, тунисские птицы и другие вещи...

Мавританская юбка и два мавританских колпака с приятно пахнущими духами из Левана.

Три графинчика мускатной воды и пастушеский плащ из Турции».

И даже если поставщики турецких шелков более редки в Анже, чем в Тарасконе, все это является свидетельством пристрастия к антиподам парижских мостовых, к схоластическим играм и застольным песням. Другие поэты, а не Вийон, без труда находят себе место при этом дворе, где художника чествуют, как повсюду, но при условии, что он принимает правила игры. Так происходит с Бар Ван Эйком и Петрюсом Христюсом, у которых Рене Анжуйский учится искусству видеть мир и запечатлеть его в красках. Так ведут себя и в Тарасконе, и в Анже многие художники, поэты, музыканты, переводчики...

Нет такого таланта, на какой бы не обратил внимания Рене Анжуйский у других и не стремился бы развивать у себя. Он хорошо говорит на латыни, по-каталонски, на итальянском и на прованском. Он владеет пером и кистью. Он любит пение, равно как и турниры. Рене для принцев то же, что Пико делла Мирандола — для философов. Девиз последнего известен: "De omni re scibili et aliquibus aliis", то есть: «Знать обо всех вещах, о которых можно знать, и еще кое-что о других».

Любознательность этого мецената объясняется его общественным положением. Его корреспонденты — люди знатные, как будут говорить впоследствии. Его сотрапезники — любители турниров и галантных увеселений, а не потасовок и борделей. В парижских тавернах за поцелуй девчонки готовы драться. Согласно своду об «использовании оружия», принятого у короля Рене, доказывают свое благородное происхождение и отстаивают свои гербы в законной битве, чтобы снискать «благодарность, милость и большую любовь своей великодушной дамы». Вийон, завсегда «Сосновой шишки», был далек от всего этого.

Вдохновение разбитого сердца — какой бы ни была высокой поэзия воздыхателя Франсуа Вийона — менее понятно двору Рене, чем интеллектуальные пассажи куртуазной любви. «Несчастный влюбленный» будет присутствовать в «Большом завещании», так же как и во «Влюбленном сердце», но, чтобы подчеркнуть огромную разницу между ними, достаточно услышать лишь их тон. Вийон — поэт, но он певец страдания и смерти. Певцы весны и жизни не приемлют его. Пастораль не для него, так же как и любовь — с тысячами условностей.

## Франк Гонтье

Разочарованию обязан он одной из своих самых прекрасных поэм, которую он посвятит, из насмешливой благодарности, этому самому Анри Куро, что так некстати рекомендовал его своему мэтру королю Рене; это — «Баллада-спор с Франком Гонтье».

Франк Гонтье у аристократических пастушек прозывался Жаком Боном. Созданный епископом Филиппом де Витри, на радость современникам Карла V этот персонаж являлся образцом сельских добродетелей. Он гордый и любезный, строгий и сильный, верный и честный. Три поколения сменились, но пикник Франка Гонтье и его возлюбленной Елены всегда занимал видное место в антологии поэзии.

*Вот масло, свежий сыр, вот брынза с ветчиной,  
Лучок и чесночок, улиточки в сметане  
И с крупной солью простой ломоть ржаной —  
Уж тут, как ни крепись, на выпивку помянет <sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Перевод Ю. Стефанова.

Вийон, как и все, читал «Сказ о Франке Гонтье». Он даже помнит спор, который в течение полувека ведется в школе вокруг морали, выведенной после Вергилия и до Руссо славным Филиппом де Витри: истинная добродетель лишь в простоте. Точно так же, как сражались *за* или *против* «Романа о Розе» и *за* или *против* «Послания Богу Любви», противопоставленному клерикальному эпикуреизму «Романа» первой из женщин-писательниц Кристиной Пизанской, — точно так же литераторы эпохи Карла VI выступали *за* или *против* Франка Гонтье. Это была эпоха, когда в недрах бури воцарилось затишье; кульминация ее — 1400 год, тогда интеллигенция получила место на авансцене общественной жизни. Изабелла Баварская играла в пастушку у себя в деревне Сент-Уэн. На балдахине своей кровати Людовик Орлеанский велел вышить пасторальные картинки с «пастухами и пастушками, вкушающими орехи и вишни».

Кристина Пизанская вышла на сцену со своим «Сказом о Пастухе», подхватившим тему Франка Гонтье. Теологи сделали то же, что епископ и доктор Пьер д'Айи. Поэты пустились всю зарифмовывать буколическое счастье беззаботного пастушонка. У одних это вызвало восторг, у других — возмущение. От Золотого века переходили к новому — где царила природа.

Евангелие с его искусственными лилиями и застывшими птицами служило защитой Франку Гонтье. Политики поддакивали теологам с их недобрыми воспоминаниями о Жакерии 1358 года и Тюшенах 1392-го: пусть крестьянин будет всегда рад и пусть ему это как следует втолковывают. Не умея убедить в этом Жака Простака, ученый муж убеждал себя, что времена бедствий миновали, что народ счастлив и что владелец замка может жить в свое удовольствие.

Вся мораль истории укладывается в два слова и держится на том, что Витри видоизменяет «Георгики», не проявив при этом гениальности Вергилия. И так, да будет счастлив не имеющий ничего, если таковым его представляет живущий на добрую ренту. В анонимной поэме все говорит об этом: нет денег, нет и забот. Сапожник Лафонтена станет рассуждать так же:

*«И деньги есть?» — «Ну, нет, хоть лишних не бывает,  
Зато нет лишних и затей»<sup>1</sup>.*

Второе требование морали истории — это искренность того, у кого нет никаких интересов в игре. У пастуха и пастушки нет даже могилы. А что им нужно? Они друг для друга — целый мир.

*Елену я люблю, ей без меня невмочь,  
И что нам до гробниц, коль счастливы мы оба?»<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> И. А. Крылов. Сочинения. М., 1984. С. 508.

<sup>2</sup> Перевод Ю. Стефанова.

Вийон читал подобный вздор. И вот мягкое обращение короля-пастуха приводит к тому, что он вынужден оправдать «Сказ». Плохо принятый, плохо чувствующий себя при дворе, так же как и среди пастухов и пастушек, парижский проказник найдет утешение в «Споре». Его чувствительность и его опыт сделают его чужим в этом мире «придворных», где весну украшают гирляндами, а осень — венками из виноградной лозы. Не созданный для жизни в деревне, он еще менее создан для такой деревни, где кустарники все время осыпаны цветами, где деревья переплетены одно с другим и где постоянно танцуют пастухи и пастушки. Веком раньше Фруассар в своих «Сказах» уже создал этот фальшивый сельский мирок, предвосхитивший деревушку Марии-Антуанетты. Но поэт-летописец был придворным, как позже Кристина Пизанская и как Эсташ Дешан, которого привел в восторг замок Ботэ-сюр-Марн.

*Чу, соловей запел. Кругом луга...<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Перевод Ю. Стефанова.

Дешан — буржуа, и, заставь его кто-либо заняться крестьянским трудом, ему это быстро прискучило бы, но он — придворный, он видит в деревне «обворожительные сады»: сады, возвращенные для услады.

Современники Вийона начинают наконец обращать свой взор на природу, обнаруживая в ней весь мир. Но это не тот мир, в котором живет Франсуа де Монкорбье — парижский школяр Франсуа Вийон — поэт в бегах. Вийону не до развлечений и неги в цветущих лугах, ему бы супу похлевать.

Возможно, слукавив, поэт в «Большом завещании» дарит прокурору Андри Куро «Спор с Франком Гонтье». Вийон посмотрелся на судейских крючков, и ему хорошо известна вся процедура: говорит такой-то, возражает такой-то, отвечает на возражение такой-то... Однако его ирония — в другом: в притворной покорности, напоминающей подвластному Куро, что тиран — образ классический для короля — в действительности ничего не сделал для своего друга. Вийон так же беден, как и Франк Гонтье. Пусть не заставляют поэта говорить, что эта нищета радует его.

*Затем, Андри Куро мой «Спор  
С Гонтье» дарю, с кем невозбранно  
И смело спорю. С давних пор  
Страшусь лишь близости тирана,  
Похвал, наград, сетей обмана;*

*В Писанье сказано не зря,  
Что гибнет поздно или рано  
Бедняк от милостей царя.  
Конечно, мне Гонтье не страшен,  
Он, как и я, бедняк нагой,  
И знатностью он не украшен.  
Так что же он славит жребий свой?  
Без крова летом и зимой  
Страдать и упиваться горем?  
Как можно хвастать нищетой?  
Но кто же прав? А ну, поспорим!<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 98—99. Перевод Ф. Мендельсона.

Его попробуют опровергнуть. Но Вийон не поддается нападкам. У него отточенные стрелы. Дождем падают сравнения. Его злят восторженные похвалы деревенской простоте, и тогда поэт восхваляет парижскую улицу. Он не любит запах чеснока, который отравляет поцелуй. Спать под розовым кустом? Пусть так, для того, кому это нравится. Лично он предпочитает хорошую кровать со стульями по бокам, которые придерживают постель. Вода вместо вина? Все чудеса мира — все райские птицы отсюда до Вавилона — не заставят его ни на один день остаться в подобной харчевне. И если других все это забавляет — тем лучше; и тем лучше, если Гонтье играет Елене на лютне под шиповником. Мэтр Франсуа предпочитает другие радости, а другие радости — в другом месте.

*Когда б Гонтье, с Еленой обрученный,  
Был с этой жизнью сладкою знаком,  
Он не хвалил бы хлеб непропеченный,  
Приправленный вонючим чесноком.  
Сменял бы на горшок над камельком  
Все цветики и жил бы не скучая!  
Ну что милей: шалаш, трава сырая  
Иль теплый дом и мягкая кроватка?  
Что скажете? Ответ предвосхищаю:  
Живется сладко лишь среди достатка.  
Лишь воду пить, жевать овес зеленый  
И круглый год не думать о другом?  
Все птицы райские, все рожи Вавилона  
Мне не заменят самый скромный дом!  
Пусть Франк Гонтье с Еленою вдвоем  
Живут в полях, мышей и крыс пугая,  
Вольно же им! У них судьба другая.  
Мне от сего не кисло и не сладко;  
Я, сын Парижа, здесь провозглашаю:  
Живется сладко лишь среди достатка!<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 100—101. Перевод Ф. Мендельсона.

**Карл Орлеанский**

В другом месте — это значит в Блуа, при дворе Карла Орлеанского. Устав от войн, борьбы, интриг, герцог Карл пытается, досажая музам, забыть, что он практически уже потерял большую часть своей жизни. Детство у него было трудное, с ним обращались как с незаконным принцем. Его отца, Людовика Орлеанского, брата Карла VI, однажды вечером, дело было в 1407 году, убили, когда он выходил из дворца Барбетт, где королева Изабелла только что разрешилась от бремени. Вдова Людовика Орлеанского, Валентина Висконти, решила отомстить за мужа. Молодой Карл женился на дочери Бернара Арманьяка, и вскоре все стали говорить «Арманьяки» о партии герцогов Орлеанских. Карл оказался неспособным держать в руках нить политики и, будучи просто игрушкой в руках своего тестя, вынужден был лишь «присутствовать» на спектакле, в котором столкнулись две партии и где его не принимали всерьез. Он решил, что играет какую-то роль в армии. Но однажды вечером, в битве при Азенкуре, он стал пленником, самым известным из всех пленников.

Шел 1415 год. Карлу, герцогу Орлеанскому, был двадцать один год. Прекрасный возраст, чтобы повелевать...

Когда он вернулся из Англии в 1440 году, минуло уже четверть века; Карл убедился, и с полным основанием, что его царственный кузен Карл VII не собирался откупиться от него в ближайшее время. Франко-бургундское перемирие состоялось в 1453 году на таких условиях: король Франции не будет преследовать убийц — сторонников герцога Бургундского, в частности Жана Бесстрашного, сделав вид, что он забыл, что по наущению этого самого Жана Бесстрашного убили Людовика Орлеанского. Хуже того, Карл должен был еще и благодарить герцога Бургундского: тот в конце концов расплатился с англичанами, которым задолжали еще со времен Азенкура.

Недовольный, пресыщенный, усталый, герцог приближался к своему пятидесятилетию. Обманувшись в единственной своей попытке играть какую-то роль на политической арене, он рассудил, что пришло время использовать прекрасные дни в милой компании его новой супруги, юной, но уже искусенной в кокетстве Марии Клевской.

Герцогиня Орлеанская любила роскошь, туалеты, драгоценности, украшенные миниатюрами книги. Карл любил играть в шахматы, беседовать с литераторами, вести переписку в стихах, ходить на охоту и совершать длительные прогулки. Он наслаждался изысканным языком, куртуазным обществом и хорошей музыкой. И муж и жена писали стихи.

Старый муж отдалился от всего, молодая супруга еще во все верила. Один легко предавался меланхолии, другая иллюзиям любви. Герцог не сбрасывал со счетов ее молодость: он добавлял к ней от своей мудрости.

*Амур, которому нетрудно  
И старцу голову вскружить,  
И юношу привадой чудной  
В свои тенета заманить,  
Тебе ль не знать, что безрассудно  
С влюбленными так говорить.  
И ждет меня их суд прилюдный,  
Но я прошу меня простить,  
Повременив с судом, покуда  
Не поубавится их прыть  
И им придется рассудить  
Что страсть — лишь милая причуда <sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Перевод Ю. Стефанова.

Карл слишком долго жил в крепости, а потому знал цену свободному пространству и свежему воздуху. Но он остается принцем старого времени, буколика ему чужда, как и его

предшественникам — великим охотникам. Куропатка ему больше по вкусу, чем соловей. И поэтому он славит замок Савоньер, этот старый сельский дом.

***Через поля, через холмы  
За дичью понесем мы,  
А там придет черед рыбалке <sup>1</sup>.***

Самый приятный месяц — это май. Но не для игр в пастухов и пастушек. Май — месяц любви, а соблазнить любимую можно во время прогулки. Поэт думает об удовольствиях, об «увеселениях».

***Где мне обещана услада,  
В тиши полей, в тени дубрав,  
Яви, Амур, свой резвый нрав,  
А большего мне и не надо <sup>1</sup>.***

---

<sup>1</sup> Перевод Ю. Стефанова.

Карл Орлеанский чувствует себя не в своей тарелке в этом мире, где все так изменилось, пока он отсутствовал. Его внутреннее «я» все еще питается «Романом о Розе» и «Мелиадором» Фруассара, ему мил Ален Шартье с его «Безжалостной красавицей». Любимые слова в поэзии старого герцога — это «меланхолия», «томность», «увеселение»... Каждый стих расцвечен аллегориями. Сентименталистская грамматика — неотъемлемый признак любовной схоластики: закодированная в символической куртуазной поэзии, она недоступна богословам, с присущей им ограниченностью выразительных средств.

Любитель веселых прогулок и всяческих развлечений в деревне на берегах Луары способен пробежать путь, ведущий к Радости, как Жан де Мён искал дорогу, которая ведет к Розе.

И если язык в поэзии Орлеанского по форме нов, то по сути он повторение прошлого. Присутствует здесь в избытке словарь верховой езды:

***Вперед, любовное Желанье,  
Спеши в садах Очарованья  
Ты замок Радости найти,  
А чтобы не скучать в пути,  
Возьми с собой Воспоминанье.  
Это также и словарь судейский:  
Тебя на суд, прямой и скорый,  
О Старость, вызываю я:  
Предстань пред Разумом, который  
Нам и Закон, и Судия <sup>1</sup>.***

---

<sup>1</sup> Перевод Ю. Стефанова.

Даже если Вийон уже и пародировал в «Малом завещании» юридические формулировки, он очень далек от этих аллегорий. Традиционная куртуазность не самая сильная его сторона, хотя он и обращается к ней в «Балладе своей подружке», которая, может быть, послужила ему ключом к дверям дома герцога Карла. Здесь — вся грамматика куртуазной Любви с ее очень условными фигурами: Гордость, Суровость, вероломная Прелесть, Жалость, Смерть... Но что бы там Вийон ни писал, среди цветов риторики пробивается простота его поэзии. Он насмехается над весной в цветах, зимой же он чувствует холод в ногах, а не белую ее холодность.

К счастью, двор де Блуа гостеприимен, а у Карла Орлеанского широкая душа. Находится место и для бедного парижского писца, в котором видят скорее скитающегося поэта — нечто вроде жонглера, — чем «кокийяра» с дурной репутацией. Более того, ему есть на что жить: ему дают небольшую пенсию и возможность писать. Об этом по крайней мере позволяет думать

поздний и двусмысленный намек в «Балладе поэтического состязания в Блуа», которая датируется вторым пребыванием поэта в Блуа.

## Состязание в Блуа

Слишком громко сказано: «Состязание в Блуа». Просто гости герцога Карла вписывали в листы личной книги, которую держал и хранил принц-меценат, некоторое количество стихотворных вещиц на предложенную тему. Лирическое соперничество здесь не спектакль, не судилище.

Мысль организовать зрелищное состязание талантов — нечто совершенно обычное для людей той эпохи. В нем участвуют и поэты, и музыканты; некоторые кормятся этим. Постоянные дворы и случайные собрания соперничают между собой в изобретательности и строгости суждений. Подвергать суду различные выражения одного и того же чувства — в этом для современника Карла Орлеанского нет ничего шокирующего, как нет и ничего необычного.

Как турнир, как состязание на копьях, поэтическое состязание — это зрелище, где соперничество гарантирует высокий уровень участников. Он возвращает двору принца его первоначальную функцию: давать советы сеньору, а тот выносит решение. Вот уже два века, как придворные, иначе говоря, вассалы благородного происхождения, уступили профессионалам право назначения «заседателей», облекших юридической властью сеньора. Они сохранили за собой лишь права в вопросах политики. Несколько процессов, проведенных в присутствии пэров, ничего не прибавили к королевской юриспруденции, участие в них носило довольно формальный характер, и это обстоятельство сильно опечалило судей. В основе же ничего не изменилось: суд короля или принца остался судом его судей.

К счастью, невзирая на все, есть придворная жизнь. Но время теперь проводят иначе, чем тогда, когда сеньор, окруженный вассалами, правил и судил, скликал на войну или вел переговоры о мире. Двор теперь состоит лишь из части «людей», и там господствует феодальная и вассальная иерархия. Двор — это придворные, среди них — разный народ, и двор составлен скорее под воздействием практики, нежели под влиянием непреложности политической системы. Одни сами находят там свое место, другие его завоевывают. Друзья, клиенты, верноподданные — все образуют подвижную группу, где взаимоотношения так же зыбки, как и ее контуры. Что касается «жизни двора», то это — спектакль, который дают себе принц и его близкие.

«Жизнь замка» поддерживает этот спектакль, если только жилище достаточно обширно и может предложить двору постоянное гостеприимство.

Во времена феодализма эта жизнь иногда ограничивалась башнями замка и тесными узилищами крепостей. Пребывание у сеньора было определено временем, которое отводил сам вассал. Выполнив свою службу, всяк возвращался к себе. Большие ассамблеи были редки, как редки были и замки, способные предложить придворным что-нибудь получше случайного пристанища.

Потом, в XIV веке, в глаза стала бросаться парижская централизация, достигшая своего апогея, а жизнь двора распределилась между отдельными аристократическими домами. Король и его окружение бываю то во дворце Сен-Поль, между Сеной и Бастилией, то в соседнем дворце, Пти Мюск, — впоследствии, в конце века, получившем название Нового дворца, — если только они не едут в Венсен или, что бывает реже, в прекрасный дом, построенный Карлом V напротив северной куртины старого Лувра. У Парижа есть свой дворец в Бургундии — от него осталась одна башня на улице Тюрбиго, — свой дворец в Наварре, есть Анжуйский дворец, Бурбонский, Беррийский дворец в Бретани. Есть даже Арманьякский дворец и тот самый Сицилийский дворец возле Сент-Катрин-дю-Валь-дез-Эколье, на севере Сент-Антуанской улицы, который был одно время собственностью Людовика I Анжуйского, дедушки короля Рене.

У Карла Орлеанского в распоряжении старый Орлеанский дворец — украшение улицы Сент-Андре-дез-Ар; это дворец, где жили герцог Людовик и его супруга Валентина Висконти. Но смута унесла аристократическую резиденцию. Париж отныне перестал быть городом, где все на

виду, где нет ничего тайного, где всякий, кто занимает видное общественное положение, должен иметь собственный дом и своего прокурора. Раздел Франции ускорил децентрализацию. Тулузский суд приобрел во время войны подлинную самостоятельность, и вот-вот должны были появиться такие же суды в Гренобле и Бордо. Вскоре образуется палата высшего податного суда в Руане и такая же палата в Монпелье. По мере того как появляются новые независимые ячейки, получают жизнь местные органы управления. В то время как Бретань и Бургундия начнут чеканить золотые монеты, зная, что это — прерогатива суверена, никто уже не будет помышлять о том, чтобы представлять свои дела парижским судам, хотя прежде они нашли бы свое разрешение лишь в лоне королевского правосудия.

При таком разграничении функций столицы, когда новые университеты появляются в других городах, в провинции расцветает интеллектуальная жизнь, становясь более насыщенной и более оправданной. Так как раньше эти города являлись административными центрами в то время, когда принц жил в Париже, теперь они приобретают столичный облик, привлекая всеобщее внимание, и практика их местных органов управления предоставляет им такие же возможности, как городам королевским. Так и произошло с Анже, где правил герцог Анжуйский; Нант стал столицей герцога Бретонского, а Тулуза при правителе Лангедока Карле Анжуйском, графе Мэнском, приобрела подобный статус для наследника венского престола, дофина Людовика, будущего Людовика XI.

Времена величественных башен миновали. Конец тесным жилищам, где придворный, лежа на охапке соломы, мечтал о том, когда закончится его служба. С появлением артиллерии укрепленные крепости, стоящие на плоской равнине, стали бессмысленны. Они открыты врагу и так же ненадежны, как перемирие. Старая крепость по обе стороны распростерла свои крылья. Теперь нет нужды «взмывать ввысь» за счет плохо защищенных побочных строений. Крепость оберегает привольную жизнь двора, сообразующуюся с наступившими временами.

Искусство жить, развертывающееся в этих рамках, отражает по большей части честолюбивые замыслы и капризы принца. Бургундский двор во времена «великого герцога Запада» Филиппа Доброго был средством управления и способствовал политическому расцвету. Дворы Тараскона и Анже являлись для короля Рене прибежищем, прибежищем принца, уставшего от ненужных боев и эффектных разгромов. Рене потерял все, что оставалось анжевенцам от их итальянского королевства; его удел — тихо радоваться жизни и проводить досуг, извлекая пользу из своего таланта и таланта других. Рисовать, танцевать, сочинять стихи — это было реваншем за утрату неаполитанского королевства.

Карл Орлеанский по части рисования не был так одарен, как его анжевенский кузен. И он не был королем. Ему, как Рене, не пришлось бы в голову составить «Книгу турниров», которая прославляла рыцарскую честь и была похвалой храбрости. Но долгая праздность дала ему возможность служить своей музе, а собравшимся у него поэтам утешить его в его потраченной зазря жизни. У него своя «книга», куда он вписывает свои сочинения и сочинения других людей. Ему по душе читать, писать и перечитывать.

Таким образом, «состязание в Блуа» не имеет ничего общего с конкурсами Любви, которыми развлекалось рыцарское общество французского XII века и где часто состязались — особенно известен в этом смысле 1207 год — в Вартбурге, в Тюрингии, лучшие миннезингеры Германии; нет у него ничего общего и с Двором Любви, учрежденным 6 января 1400 года Карлом VII — а на самом деле Изабеллой Баварской и ее окружением, — дабы исключить «всякий выпад, или насмешку, или непочтительность, или игривый упрек», а более точно, дабы разрешить литературные тяжбы, если в них замешана честь дамы.

Но формы поэтического соперничества не сводятся к зрелищному конкурсу. До возобновления войн и даже именно из-за отсутствия военного духа у аристократии Карл VI прославил свое время множеством поэтических сражений. В 1389 году приезд молодого короля в Авиньон всколыхнул общество и дал толчок к написанию Жаном Ла Сенешалем «Ста баллад», где рыцари, такие, как граф д'Э и маршал Ла Менгр, прозванный Бусико, столкнулись в решении такого простого вопроса: «Как любить?»

В том, что Карл Орлеанский предлагает своим гостям тему для сочинений, нет ничего необычного. В свою личную книгу он вписывает свою версию, а его примеру следуют и

остальные. И речь не идет о зрелищном конкурсе, даже если двор собирается вокруг того, кто читает свою балладу или свое рондо. Такие же кружки образовывались бы, если бы темы были разные.

Возможно, что и «Баллада неправдоподобий» тоже родилась из подобного упражнения на тему парадоксального аргумента. Карл Орлеанский, как и король Рене, с большим уважением относился к Алену Шартье, охотно слушал этого поэта, который вдохновлял его; возможно, именно Шартье и предложил тему, сформулированную в известном сочинении:

***Опасен только негодяй...***

Вийон подхватывает этот мотив, перефразирует его и делает из него известную литанию.

***Мы вкус находим только в сене  
И отдыхаем средь забот,  
Смеемся мы лишь от мучений,  
И цену деньгам знает мот.  
Кто любит солнце? Только крот.  
Лишь праведник глядит лукаво,  
Красоткам нравится урод,  
И лишь влюбленный мыслит здраво<sup>1</sup>.***

В то же время Вийон, чувствуя отвращение к буколическим шалостям анжуйского двора, пишет об этом стихи.

Нет большей радости, чем жить в свое удовольствие.

И вот он в Блуа, а двор герцога Карла занят тем, как бы передать в стихах страдания неудовлетворенного влюбленного и чтобы в этих стихах присутствовала привычная аллегория: человек, умирающий от жажды у источника. Зеркало воды навевает поэту другие образы, нежели ощущение жажды и муки отверженного. Постараемся определить, какие именно.

Герцог уже развил тему Фонтана. Около 1450 года он пишет:

***От жажды и томлюсь над родником,  
И стыну от любовной лихорадки;  
Слывя слепцом, служу поводырем...<sup>2</sup>***

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 135. Перевод И. Эренбурга.

<sup>2</sup> Перевод Ю. Стефанова.

Несколькими годами позже, когда приезжает Вийон, при дворе Блуа все говорят о воде: герцог только что приказал произвести большие работы, дабы наполнить водой колодец замка. Заговорить о воде — это дважды похвалить его. Впрочем, он сам возобновляет разговор на ту же тему в стихах, отвечающих требованиям различных ситуаций и написанных по всем правилам научной риторики.

***Не жажду больше, хоть иссяк родник,  
Пылаю без любовной лихорадки.  
И зрячим стал. Никем я не ведом...<sup>1</sup>***

«Состязание», которое разворачивается вокруг этой темы, имеет в виду лишь чистую форму и чистую лирику. Речь совершенно не идет о том, чтобы приводить новые доводы и противопоставлять их прежним. Здесь не сражаются, как при Дворе Любви Карла VI, за или против идеального образа. Лирические состязания не мешают турнирам, часто сопровождая их и отвлекая от войн. Что же рисуется воображению уставшего от войны принца в его мирной старости? Главное — это играть словами, ритмами, звуками, составляющими мелодию стиха. Доктринерская мысль не витает над головой герцога Карла: дело не в том, чтобы знать, умирают или нет от жажды подле фонтана, в то время как он еще не иссяк, и не в том, чтобы знать, ведома ли Любовь разумом или эмоциями, суть ли она обещание или чувство и суть ли Женщина объект

или властелин этой Любви. Целью состязания для Карла Орлеанского является словесное искусство, а не искусство мыслить отлично от другого.

Результат вдохновения его придворных, втянутых в игру, — это рождение часто двух-трех строк, но занятие это трудное.

*Умираю от жажды подле фонтана,  
Довольный всем и полный желания...<sup>1</sup>*

Другой не лучше этого:

*От жажды я томлюсь над родником,  
Чем больше ем — тем больше голод мучит...<sup>1</sup>*

Третий того пуще:

*Не жажду больше, хоть иссяк родник,  
Я досыта наелся мясом знания...<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Перевод Ю. Стефанова.

Десять поэтов придумывали стихи на заданную герцогом тему. Вийон в свою очередь пополнил этот список. Мы не узнаем никогда, что об этом подумал Карл Орлеанский. Узрел ли он, за этими условностями игры, необычную глубину анализа взаимоотношения людей? Ибо поэт вызвал к жизни образ человека, столкнувшегося со своей судьбой, а не того, перед кем возник облик любимого существа. Вийон выходит на сцену, полный целомудрия, его вымысел сдержан, поэт обращается к великодушию герцога.

*От жажды умираю над ручьем.  
Смеюсь сквозь слезы и тружусь играя.  
Куда бы ни пошел, везде мой дом,  
Чужбина мне — страна моя родная.  
Я знаю все, я ничего не знаю.  
Мне из людей всего понятней тот,  
Кто лебедицу вороном зовет.  
Я сомневаюсь в явном, верю чуду.  
Нагой, как червь, пышнее всех господ,  
Я всеми принят, изгнан отовсюду.  
Я скуп и расточителен во всем.  
Я жду и ничего не ожидаю.  
Я нищ, и я кичусь своим добром.  
Трещит мороз — я вижу розы мая.  
Долина слез мне радостнее рая.  
Зажгут костер — и дрожь меня берет,  
Мне сердце отогреет только лед.  
Запомню шутку я и вдруг забуду,  
И для меня презрение — почет.  
Я всеми принят, изгнан отовсюду.  
Не вижу я, кто бродит под окном,  
Но звезды в небе ясно различаю.  
Я ночью бодр и засыпаю днем.  
Я по земле с опаскою ступаю.  
Не вехам, а туману доверяю.  
Глухой меня услышит и поймет.*

*И для меня полыни горше мед.  
Но как понять, где правда, где причуда?  
И сколько истин? Потерял им счет.  
Я всеми принят, изгнан отовсюду.  
Не знаю, что длиннее — час иль год,  
Ручей иль море переходят вброд?  
Из рая я уйду, в аду побуду.  
Отчаянье мне веру придает.  
Я всеми принят, изгнан отовсюду  
Пристрастен я, с законами в ладу.  
Что знаю я еще? Мне получить бы мзду<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 140. Перевод И. Эренбурга.

Получил ли он свою мзду? В жалованье, сперва обещанном, потом отказали. Вещи или книги пришлось заложить ему? Или отдать в залог любовь?

Вийон вполне мог бы совершить какую-нибудь глупость. Слова последней строки каждой строфы позволяют так думать. Как бы то ни было, он не понравился.

«Милостивый принц» — обращение необычное. Строфы начинаются чаще всего словами «Принц», но определение редко. Центральная строфа тоже с подтекстом: Вийон — политик. Вероятно, он сталкивался с некоторыми недовольными придворными. Но закон одинаков для всех. Заблудший подчиняется общему правилу, моля только о том, чтобы его простили.

Как бы то ни было, Вийон уезжает. Стихотворчество в Блуа возобновляется, другие поэты развлекают двор. Другие поэты вписывают свои стихи в альбом герцога Карла, книжицу, которую принц закроет со свойственной ему элегантностью минувших дней, закроет, ибо настала минута простых слов, расставания:

Скажите мне «прощай» все вместе!

Карл Орлеанский — а вместе с ним и его поэзия — умрет 4 января 1465 года и не узнает, что в конце века его внук станет королем Франции.

Хорошо ли, плохо ли оплачиваемый, но Вийон не из тех людей, что умеют устраиваться.

«Выгнанный отовсюду», он пойдет искать лучшую долю.

Судьба бродяги, увы, чаще приводит его в тюрьму, чем к роскоши. Именно в тюрьме и застанем мы снова мэтра Франсуа: ему грозит потеря как звания, так и жизни.

## **Мария Орлеанская**

Кажется, он был уже в тюрьме, когда 17 июля 1460 года молодая принцесса Мария, дочь короля Карла Орлеанского и Марии Киевской, торжественно въезжала в Орлеан. Перед ней парадным маршем прошли войска, был дан бал. Заключение были выпущены на свободу. Вийон принадлежал к тому роду бродяг, которые, стоило свершиться радостному въезду в город маленькой принцессы, вернулись к своим обычным занятиям. Так как он чувствовал себя спасенным от веревки, он решил, что случай самый подходящий, чтобы выразить благодарность.

*Я думал: мне спасенья нет,  
Я чуял смертное томленье,  
Но появились Вы на свет,  
И это дивное рожденье  
Мне даровало избавленье*

## ***От смерти и ее тенет*<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Перевод Ю. Стефанова.

Лучшее, что он находит, — это вставить в оправу длинной и путаной похвалы принцессе стихи, внушенные не так давно угодливостью. Тремя годами раньше Вийон приветствовал рождение Марии Орлеанской: он берет это сочинение и обогащает его балладой, где в каждой строчке проглядывает ученость школяра, но где муза задыхается. Этот литературный опус — не самое сильное произведение поэта, он увязает в нем. Он цитирует Вергилия и псевдоКатона с таким же успехом, что и псалмы Давида. Карлу Орлеанскому, происходившему по прямой линии от Хлодвига, мнится даже, что он новый Цезарь; историческая ошибка тут невольна, а образ — самое меньшее — неадекватен. Что же до молодой Марии, которую ее родители ждали шестнадцать лет, она становится «манной небесной». Каждая строка перегружена подбострастием.

***Не побоюсь здесь повториться:***

***«Nova progenies celo», —***

***Ведь таковы слова провидца, —***

***«Jamjam demittitur alto».***

***Из женщин древности никто***

***Вовеки с вами не сравнится***

***Ни мудростью, ни красотой,***

***Моя владычица-царица!*<sup>1</sup>**

Вид виселицы заставил поэта забыть о всякой сдержанности. Лыстец, попрошайка, он осмелел, но чувствует себя не в своей тарелке. Он делает ложный шаг в этих стихах, взятых из поэмы в честь рождения Марии, где он утешает герцогиню, так как герцог Карл ожидал мальчика — будущий Людовик XII родится в 1462 году, — а поэма сводится к резюме: если так хочет Бог, значит, все хорошо!

***А те, что истины не знают,***

***Уподобляются глупцам***

***И спорить с Господом дерзают,***

***Когда желают сына вам.***

***Но все Господь решает сам,***

***Его решениям нет замены,***

***И все сие — во благо нам:***

***Дела Господни — совершенны*<sup>1</sup>.**

<sup>1</sup> Перевод Ю. Стефанова.

Лучшая часть поэмы состоит, вне всякого сомнения, из этих стихов, написанных, и это очевидно, перед состязанием; здесь Вийон без всякого кривлянья возносит похвалу Марии Орлеанской, сливая ее образ с традиционными образами Девы Марии. Это смешение не навязчиво, но достигает ушей только тех слушателей, для которых такой словарь обычен. Поэт дает мольбе своего детства унести себя, его вдохновение сродни вдохновению, с коим написана баллада Деве Марии, которая превратится в «Большом завещании» в балладу, посвященную старой матери поэта; он, очевидно, писал ее для самого себя в минуту тоски и отчаяния. Еще раньше, чем были затеяны ученые игры и придуманы тяжеловатые пошлые сочинения, еще прежде, чем поэт обнаружит у девочки мудрость тридцатишестилетней женщины, откроет в ней посланницу Иисуса Христа, прежде чем повторит в тяжеловесном рефрене «О добром говорить надо по-доброму», бн пишет (и это самая большая его удача, полет вдохновения) о слиянии образов двух Марий: небесной и земной, — обе спасли его от опасности.

***Да будешь ты благословенна,***

***Небесной лилии росток,***

*Дар Иисуса драгоценный,  
Мария, жалости исток,  
Спасение от всех тревог,  
Подмога и утеха сирым,  
Любви и милости залог,  
Что мирно правит нашим миром!<sup>1</sup>*

И пусть Вийон, заимствуя у Вергилия образ, говорит о Золотом веке, за ним, вышедшим из тюрьмы, по пятам следует нищета. Радостный приезд принцессы Марии вновь вывел Вийона на большую дорогу, кошелек его пуст. Освобожденный из орлеанской тюрьмы в июле 1460 года, годом позже он вновь оказывается в тюрьме в Мён-сюр-Луар. Снова ему грозит виселица.

Что же он совершил зимой, опять кражу? Урожай 1460 года был посредственным, одних только продавцов устраивали цены. Возможно, о нем просто вспомнили и решили наказать за старое. Неважно. Потом будут говорить о краже в ризнице. Что ж, пусть.

На этот раз Вийон — пленник епископа. Мён — светское владение орлеанских епископов, а задняя часть окруженного ровом укрепленного замка, куда прелаты больше не ходят, — темница, лишенная какого бы то ни было очарования для человека, который скучал в деревне и насмешничал над пастухами и пастушками короля Рене. Он был бы рад теперь, если б мог предаться сну под дубом или под каким-нибудь цветущим деревом, которое сажают в мае, чтобы танцевать под ним. Отчаянная мольба о помощи, которую он обращает к своим друзьям, не носит больше — ведь это тюрьма — печати иронии, Вийон больше не верит в удачу.

*Я к вам взываю: сжальтесь надо мною  
Хотя бы вы, любимые друзья.  
Ни свежим майским деревом, ни сосною  
Не осенен тот гнусный ров, где я  
Теперь гнию, судьбу свою кляня!<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Перевод Ю. Стефанова.

## **Глава XVII**

### **Смерть, не будь такой беспощадной...**

#### **Смерть**

Вийон и его современники не затрудняют себя тем, чтобы думать об общечеловеческой судьбе: смерть вездесуща, она расставляет вехи в семейной жизни, она элемент жизни общественной. Переступив порог детства, где смертность ужасающа, всякий взрослый считает себя удачливым, но его надежда на жизнь невелика. Сменяют друг друга эпидемии. Умирают от переохлаждения или от переедания. Дают себя знать последствия какой-нибудь раны. Человек XV века не перестает видеть смерть, свою и других людей.

Много говорили о чуме в XIV веке, о временах черной чумы 1348 года и ее рецидивах. Теперь чума поутихла, а слово это произносят на все лады. Всякая эпидемия — чума. Но есть болезни, которые стоят черной чумы. К примеру, не перестает поражать людей оспа. В 1418 году она косила парижан: около пятидесяти тысяч человек умерло, из них в одной только больнице — пять тысяч. Она возвращается в 1422 году, а потом в 1433 году. Наконец, в 1438 году оспа уносит почти столько же, сколько в 1418-м, умирает и много аристократов, хотя они могут укрыться и бежать от заразы в свои замки или загородные дома. Среди умерших — шесть советников Суда, таких, как парижский епископ Жак дю Шателье, настолько высокомерный, что простолюдин не станет его оплакивать. Суды насчитывают лишь половину своего состава. Город парализован. Порт опустел. При похоронах не звонят больше колокола.

Для объятого ужасом зеваки эпидемия означает мрачные кортежи, сменяющие друг друга, обреченные дома, рвы, разбросанные по округу, наспех сожженную одежду. Она означает также отправляемые обратно обозы с провизией, заблокированные в порту, закрытые лавки. Это голод, и это безработица.

Мелкий люд ест суп из травы, набивает себе желудок крапивой, сваренной без масла, а за украденный кусок хлеба грозит веревка.

Кто плохо ест, плохо сопротивляется болезни. Парижскому буржуа приходится с горечью констатировать: «Эпидемия убивает, как назло, самых сильных и самых молодых». Будущее в опасности. Буржуа считает вполне естественным, что умирают старики и слабые.

Беда возвращается в 1445 году. Франсуа де Монкорбье четырнадцать лет, и он чудом спасается — ведь чума в первую очередь убивает детей. Точно так же ему удастся избежать и гриппа, который иногда тоже убивает, и коклюша, который часто поражает рожениц и малолетних детей.

Однако в его творчестве ни слова о чуме. Вийон и не помышляет бросать обвинение злу, которое в той или иной форме унесло часть его поколения. Эпидемия — вещь естественная. От нее умирают, но что толку это обсуждать? Смерть, о которой говорит поэт, — это то, что поражает человека. Она приходит или со старостью, или с виселицей.

Вийон не обвиняет участь, постигающую всех, он обвиняет Судьбу: она обрушилась на него, а другим позволяет процветать. Она убивает, как убивают в бою: разборчиво. И, если слушать голос поэта, она еще и хвастается этим.

***Ты вспомни-ка, мой друг, о том, что было,  
Каких мужей сводила я в могилу,  
Каких царей лишала я корон,  
И замолчи, пока я не вспыхнула!  
Тебе ли на Судьбу роптать, Вийон?  
Бывало, гневно отверщала лик  
Я от царей, которых возвышала:  
Так был оставлен мной Приам-старик  
И Троя грозная бесславно пала...<sup>1</sup>***

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 148. Перевод Ф. Мендельсона.

Эгоисту Вийону нет дела до смерти, когда он здоров. «Малое завещание» 1456 года не упоминает о смерти. Зато пятью годами позже она очень беспокоит автора «Большого завещания». Но он видит по-настоящему только свою будущую смерть, свою собственную старость, мысли о которой отвлекают от любви, свою собственную болезнь, которая тащит его к небытию. Проходят эпидемии, но каждый умирает только раз.

***Огромна власть моя, несметна сила,  
О, скольких я героев встарь скосила...<sup>1</sup>***

Старость у Вийона — это конец жизни. Время, говорит он, вслед за пророком Иовом, исходит как горящая нить. Ничто не вечно в этом так гнусно устроенном мире. Час удовольствий минует. Приходит печаль, и воцаряется нищета. В конце — смерть.

Жизнь и город жестоки для старца без занятий. Уже в XIII веке фаблио «О разрезанной попоне» представляло нищету как естественный атрибут конца жизни буржуа. С этим согласны все: стариков отторгают, изгоняют. С легким оттенком жалости поет об этом Тайеван в «Прекрасном путешествии».

***Он не прочь бы в пляс, да все прочь тотчас,  
Он бы в щечку — чмок, да его — за порог!<sup>1</sup>***

---

<sup>1</sup> Перевод Ю. Стефанова.

Худшее в старости — это жизнь. И Вийон принимается набрасывать опус о самоубийстве. Только страх ада — единственное, что останавливает старца. Но не всегда...

*Ничто не вечно под луной,  
Как думает стяжатель-скряга,  
Дамоклов меч над головой  
У каждого. Седой бродяга,  
Тем утешайся! Ты с отвагой  
Высмеивал, бывало, всех,  
Когда был юн; теперь, бедняга,  
Сам вызываешь только смех.  
Был молод — всюду принят был,  
А в старости — кому ты нужен?  
О чем бы ни заговорил,  
Ты всеми будешь обессужен;  
Никто со стариком не дружен,  
Смеется над тобой народ:  
Мол, старый хрен умом недужен,  
Мол, старый мерин вечно врет!  
Пойдешь с сумою по дворам,  
Гоним жестокою судьбою,  
Страдая от душевных ран,  
Смерть будешь призывать с тоскою,  
И если, ослабев душою,  
Устав от страшного житья,  
Жизнь оборвешь своей рукою, —  
Что ж делать! Бог тебе судья!<sup>1</sup>*

Однако в конце концов смерть убивает старость. Она уравнивает всех. Сильных и слабых. Кого бояться и чего бояться, если смерть у порога?

*Чего же мне теперь бояться,  
Коль смерть кладет предел всему?<sup>2</sup>*

Старость легко воплощается в Прекрасную Оружейницу с поблекшими чарами. У смерти — лицо несчастных случаев, угрожающих самому Вийону. Слабовольного морализатора, но тем не менее морализатора, интересуется лишь смерть, которой удастся избежать. Смерть — это поражение, а поражение — это ошибка. Баллады, написанные на жаргоне, являют тому странное свидетельство: поэт боится веревки и пытается избавить от нее тех, кого он любит. Берегись палача, говорит одна из них.

*А если влипните, ребята,  
Вам тошен будет белый свет  
Под грабками лихого ката<sup>2</sup>.*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 52—53. Перевод Ф. Мендельсона.

<sup>2</sup> Перевод Ю. Стефанова.

Не видеть «жестокою» — вот что тревожит Вийона с той поры, как в Мёне он почувствовал на шее веревку и как в Париже, куда он вернулся, на его бедную голову посыпались всевозможные несчастья. Из-за виселицы теряешь почву под ногами. Задушить прохожего, чтобы обобрать его, — здорово. Но быть в свою очередь задушенным пеньковой веревкой — это совсем не так весело.

*Кто в лапы угодил злодею,  
Тот на воздухах поплясал:  
Палач сломал бедняге шею<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Перевод Ю. Стефанова.

Парижанину не надо делать много усилий, чтобы вспомнить о смерти, так же как и о виселице. Город состоит из своих мертвецов, как и из своих горожан. На кладбище живут, как живут на перекрестке. Кладбище Невинноубиенных младенцев — место собраний, тайных сборищ, галантных радеву. Кладбище святого Иоанна со стороны улицы Сент-Антуан, столь же, если не более, часто посещаемо буржуа. На кладбище молятся и собирают пожертвования, но все смеются при виде груды трупов, не задумываясь ни на миг о том, что развлекаться перед таким количеством мертвых — просто кощунство. Смерть — это конец жизни, и все.

Поэт в свою очередь размышляет на кладбище о бренности человека и лишний раз убеждается в этом, созерцая образ, нарисованный в «Пляске смерти», образ, наводящий на мысль не столько о вечности, сколько о тщетности всего сущего. Все черепа в могиле равны. Принадлежали ли они могущественным людям или посредственным? Какое это имеет значение? Все в одной куче.

*Я вижу черепов оскалы,  
Скелетов груды... Боже мой,  
Кто были вы? Писцы? Фискалы?  
Торговцы с толстою мошной?  
Корзинщики? Передо мной  
Тела, истлевшие в могилах...  
Где мэтр, а где школяр простой,  
Я различить уже не в силах.  
Здесь те, кто всем повелевал,  
Король, епископ и барон,  
И те, кто головы склонял, —  
Все равны после похорон!  
Вокруг меня со всех сторон  
Лежат вповалку, как попало,  
И нет у королей корон:  
Здесь нет господ, и слуг не стало.  
Да вознесутся к небесам  
Их души! А тела их сгнили,  
Тела сеньоров, знатных дам,  
Что сладко ели, вина пили,  
Одежды пышные носили,  
В шелках, в мехах лелея плоть...  
Но что осталось? Горстка пыли.  
Да не осудит их Господь!<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 114—115. Перевод Ф. Мендельсона.

## **Виселица в городе**

Виселица, эшафот, позорный столб — неотъемлемая часть городского пейзажа. Хороший ли, плохой ли год — правосудие парижского прево и высоких церковных властей отправляют в

потусторонний мир не менее шести десятков бродяг и воров разного вида. Это число, понятно, разбухает во время политических смут. Оно уменьшается, когда эпидемия берет на себя заботу сокращать население и когда клиенты палача и судьи находятся в другом месте.

В каждом квартале Парижа есть своя виселица, или свой позорный столб, или и то и другое. У епископа своя «лестница» на паперти Нотр-Дам, у кафедрального капитула — своя в порте Сен-Ландри. У аббата Сен-Жермен-де-Пре своя виселица в центре его округа, у приора Сент-Элуа — своя за городской ратушей, у ворот Бодуайе, невидимых ворот забытого местечка, которое на самом деле одно из самых посещаемых мест в городе. Что касается короля, то он вешает им осужденных на Гревской площади или перед позорным столбом Рынка, на Круа дю Трауар — перекрестке улиц Сент-Оноре и л'Арбр Сек — или в Монфоконе, одном из самых высоких зрелищных мест подобного рода.

После двух веков безупречной службы виселица Монфокона всерьез угрожает рухнуть вместе со своей ношей — своим повешенным. Поэтому не так давно соорудили новое деревянное орудие правосудия в том же самом районе: виселицу Монтины, которую обновила в 1460 году целая группа бродяг.

Вешают живых. Вешают даже мертвых, и без малейшего стеснения. Так, 6 июня 1465 года повесили одного доброго буржуа с улицы Сен-Дени по имени Жан Марсо, по своему социальному положению — торговца вязаными изделиями, а по своему возрасту — преклонных лет человека. Старик обвинялся в том, что он сам себя «повесил и задушил» у себя дома перед вывеской «Золотая борода». Его сняли и уже окоченевшего отнесли в тюрьму Шатле — таким образом он ее «посетил», кончину констатировали — и «отнесли, чтобы повесить».

Если же «изменник» принимает участие в заговоре против короля или нарушает общественный порядок, спектакль совершенствуется. Виновного сперва обезглавливают, а потом подвешивают за подмышки. Если дело очень серьезное, осужденного волокут по городу: тело превращается в мешок костей, так как лошадь скачет галопом, но оно еще живо для последних мучений. Если же обезглавливали изменника на Гревской площади, а вешали в Монфоконе или в Монтины, то весь город считал, что ему повезло. Так поступили в 1409 году с Жаном де Монтэгу — одно время он был управляющим финансами королевства, и никто среди налогоплательщиков не сожалел о том, что ему устроили такой торжественный выезд.

Исключительное всегда привлекает толпу. Так, в 1445 году люди явились, чтобы посмотреть, как распинали одну женщину, укравшую ребенка и выдавившую глаза у своей жертвы, чтобы сделать из этого несчастного превосходного нищего. Еще долгое время зеваки задавались вопросом, почему прево выбрал именно такую пытку.

Иначе происходит казнь фальшивомонетчика. Чтобы отдать должное одному из основных прав короля, фальшивомонетчика варят заживо. Спектакль этот происходит за воротами Сент-Оноре, на территории Свиного рынка. Плоский камень, прочно установленный, образует основу очага, который устраивают для «кипячения»; смысл пытки заключается в том, что немедленная смерть не наступает: крики осужденного усиливают яркость события. Так и случилось 17 декабря 1456 года с «кокийяром» Кристофом Тюржи, близким родственником содержателя кабачка «Сосновая шишка», где любил проводить время Вийон.

Некоторых преступников сжигают на костре. Это участь отравительниц, колдуний, еретиков и тех, что упорствуют в содеянном зле, — воров-рецидивистов. Прежде чем их сжечь, их выставляют у позорного столба, чаще всего возле Рынка.

С женщинами правосудие обращается особо, не слишком милостиво. Обезглавить их кажется невыносимым, вешать их тоже не любят. Их не сжигают и не варят в кипящем котле, а просто без жалости «закапывают», как, например, воровок. Случается, посылают «экспертов» к осужденной женщине, присягнувшей, чтобы избежать худшей участи, в том, что она беременна. Так, в то время, когда Вийон сидел в тюрьме в Мёне, была осуждена скупщица краденого Перетта Може; в тюрьме ее посетили «матроны, знающие толк в животах, и они объявили правосудию, что Перетта не отяжелела». Перетту закопали.

Если даже проступки незначительны, парижанину все равно есть чем поразвлечься. Отрезание уха, наказание бичом — все предлог для зрелищ и удовольствия, получаемое бродягой, не меньшее, если даже вор всего-навсего слуга. Впрочем, народная хроника проявляет особый

интерес к этим мелким наказаниям, ибо правосудие разыгрывает целую гамму наказаний, и у кого есть мало-мальская память, может проследить «карьеру» того или другого вора, переходящего от одного позорного столба к другому. За первую кражу — ухо, второе ухо — за вторую, веревка или костер — за третью.

Добрый люд развлекается также, когда виновный должен публично покаяться. Так, в августе 1458 года за фальшивые заявления и клятвопреступление в деле, касающемся собственности корабля «Карреле», пришвартованного в порту, был осужден некто по имени Жан Бланшар; в то время он был приведен на Гревскую площадь и повинился перед собравшимися там старейшинами.

«С непокрытой головой, с тяжелым — три фунта горячего воска — факелом в руке».

Этого оказалось недостаточно. Он должен был еще подойти к Сент-Эспри на Гревской площади и поднести свой факел к воротам больницы. После этого, так как у него не было чем расплатиться с королем — десять ливров — и со своим противником — сто су, — его отправили в Консьержери.

Юриспруденция выказывает себя более или менее снисходительной к детям, совершившим первое свое преступление, им оставляют нетронутыми оба уха. Но бьют смертным боем.

Все это почти каждую неделю дает возможность парижанам насладиться отменным зрелищем; их не надо долго упрашивать: они выходят на порог или бегут на перекресток. Несчастному, который проезжает в роковой повозке через весь город, задают вопросы. Его мимика и посылаемые им проклятия вызывают смех у зевак. За кортежем бегут, желая посмотреть на казнь, если только не приходится ждать вечера или следующего дня, чтобы увидеть, что качается на конце веревки. Среднего парижанина, по всей видимости, утомляет только монотонность спектакля. Синие языки повешенных уже никого не удивляют. Они больше не вызывают изумления. Буржуа находит, что сработано хорошо, и, пока он смотрит, как казнят вора-карманника, «кокийяр» вытаскивает у него из кармана кошелек.

Палач Анри Кузен — один из персонажей этого театра. Его сила всеми оценена, ведь, чтобы проделывать такие упражнения, нужны мускулы — будь то колесо или бич. Его ловкость обсуждают, хвалят, когда ему удастся одним махом отрубить голову. Его имя всем известно. Буржуа, пожалуй, не отдал бы ему в жены свою дочь, но зато ему дали прозвище «Мэтр».

В «Большом завещании» Вийона есть строки, посвященные палачу, его именем автор пользуется, дабы свести счеты с Ноэлем Жоли, коварным свидетелем сцены, когда поэта здорово поколотили. Завещание звучит в унисон с событием:

*Затем, тебе, Ноэль Жоли,  
Я двести розог завещаю,  
Что словно для тебя росли,  
Дождаться дня того не чая,  
Когда назначу палача я,  
Чтоб высек он тебя. Смотри, —  
Я это дело поручаю  
Достопочтенному Анри <sup>1</sup>.*

Вор знает, какого наказания он достоин. В балладах на жаргоне Вийон не перестает кричать об угрозе, но он не дает совета следовать честным путем: речь идет о том, чтобы увернуться вовремя.

*Придурок гадам попадется —  
И марш на встречу со вдовой,  
А уж у той всегда найдется  
Горбыль с пеньковой бечевой.  
Волосья дыбом, вой не вой,  
А из петли куда деваться?*

*Уж тут ты вспомнишь, милый мой,  
Как в сундуках чужих копаться!*<sup>2</sup>

В заклинании Вийона больше суеверия, нежели назидания. Уйдите подальше от Монжуа, от Монфокона... Единственный приговор, который он выносит, — это приговор глупцу, позволившему себя взять, и болтуну, выдающему весь белый свет. В то время много говорят о доме терпимости, и таков последний мудрый совет поэта:

*Не будь же треплом,  
Не то поделом  
Залетишь на Веселый бугор.  
А там разговор  
Скор,  
А там тебя цап-царап —  
И в глотку кляп:  
За треп, за баб...*<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 108. Перевод Ф. Мендельсона.

<sup>2</sup> Перевод Ю. Стефанова.

## Тревога и боль

Физическая боль не заглушает тревогу. Умереть «в муках» — мысль, не безразличная для поэта, его портрет умирающего — упадок духа и одиночество — проливает свет на пессимистическое настроение поэта. Человек одинок перед лицом смерти, рядом с умирающим — никого. В то же время Вийон оправдывает раба Божьего Франсуа де Монкорбье за единственный упрек, который он осмелился сделать Богу: упрек за разрушение в конце жизни такого шедевра Творца, каким является женское тело. Как пережить то, чего сам Бог не смог вынести по отношению к своей Матери. Чтобы узаконить нетленность Пресвятой Девы, Бог уничтожил идею физического разложения: Успение оправдывает в плане божественном мятеж человека перед таким не менее божественным кощунством, каковым является гниение «нежного» тела.

Нежность, которую вкладывает Вийон в свой стих, исключает мысль об эпатаже. Магистр искусств, логики, хранящий воспоминания о годах ученичества, ограничивает силлогизм определенными рамками, но аллюзия понятна.

*Будь то Парис или Елена,  
Умрет любой, скорбя умрет,  
Последний вздох задушит пена,  
Желчь хлынет, сердце обольет,  
О Боже! Страшен смертный пот!  
Тогда, кого ни позови ты, —  
Хоть сын, хоть брат к тебе придет, —  
От смерти не найдешь защиты.  
Смерть скрутит в узел плети вен,  
Провалит нос, обтянет кожу;  
Наполнит горло горький тлен,  
Могильный червь скелет обгложет...  
А женицин плоть? О, правый Боже!  
Бела, нежна, как вешний цвет,  
Ужель с тобою станет то же?  
Да! В рай живым дороги нет!*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 46. Перевод Ф. Мендельсона.

Умирают лишь в скорби: не только у обезглавленных или повешенных бывает «последний вздох». В жестоком описании повешения Вийон не оставляет места для физического страдания. Небесные птицы и ненастья атакуют мертвых. Время страдания прошло. Повешенные Вийона — не умирающие. Когда можно было смеяться над этими пугалами, их телесные муки уже прекращались.

Поэт не обращается более к судье и не надеется избежать веревки. Говоря от имени мертвых, их устами, он умоляет выживших «не презирать их». У Вийона, достаточно перенесшего, чтобы не бояться новых ударов, еще очень чувствительная душа. Он страшится двух вещей в потустороннем мире: ада и насмешки. Больше, чем неизбежного палача, он страшится зеваки, ибо и сам часто бывал в этой роли. Достоинство повешенного остается человеческим достоинством. Веревка — пусть. Но не «издевка».

***Над нашим несчастьем не смеется никто,  
Но молитесь Бога, чтоб не сделал нас дураками <sup>1</sup>.***

---

<sup>1</sup> Дословный перевод.

Безразличный к смерти, которую он часто видел, покорный перед лицом слишком привычной смерти, — таково представление у современников о поэте, хорошо усвоившем, что его возраст — тридцать лет — не спасет его. Лишь бы сперва насладиться жизнью, а «честная смерть» его не пугает. Что его ужасает, так это виселица с сопровождающими ее насмешками: мало того, что жизнь не удалась, так и над смертью издеваются. Вийону не так уж и страшна смерть, идущая рядом, или смерть, ожидающая впереди, лишь бы она не была смертью-спектаклем. Спустя век после черной чумы спектакль, сотворенный Смертью, стал творением человеческой воли.

Тысячелетняя традиция иконографии, основанная на Священном писании, стала предлагать уже свое видение смерти, начертанное на фронтонах соборов, — смерти, побежденной искуплением. Последний суд, воскрешение из мертвых — явления одного порядка. Король и епископы, солдаты и крестьяне, все общество пробуждается при звуках труб, и единственно, в чем заключается неравенство, — это в том, что одни — избранники божьи, а другие — проклятые им. Там и ростовщик со своей мошной на шее. Задыхаются обжоры. Иллюстрация смерти — только предупреждение от семи смертных грехов.

Все меняется, когда на сцену выходит поколение, познавшее наваждение чумы и военные беды. Смерть перестает быть переходом к вечным мукам или вечному спасению. Она сама по себе большое несчастье, ведущее к концу. Смерть — это Судьба. Теперь уже не Бог забирает жизнь, чтобы потом воскресить ее, а смерть сама убивает.

Смерть — не состояние, она — враг. И иконография быстро отводит ей то место, которое в течение тысячелетия принадлежало Дьяволу и иже с ним.

С изображений смерти Христа и детей человеческих сходит налет просветленности, присущей им ранее. Появляется трагическая маска смерти, отражающая муки, пережитые в момент перехода от жизни к смерти. Тлен уже делает свое дело, становясь основой смерти.

Несмотря на очень личностную интонацию — интонацию человека, чувствующего, что конец близок, Вийон только воспроизводит уже известную тему, тему нового восприятия жизни и смерти. Одновременно с созданием «Пляски смерти», а может быть, и раньше болезненный дух XIV века породил изображение «мертвеца» — это разлагающееся тело, разрушаемое смертью не в момент кончины, а уже в вечности. Так перед современниками Вийона появляется множество изображений усопших, либо нарисованных, либо вылепленных из гипса, которых недавно изображали умиротворенными, в вечном покое, и с атрибутами той роли, какую они играли при жизни. Изображения усопших — как на могильных плитах (в частности, каноника Ивера в Соборе Парижской Богоматери), так и на первой странице модного Часослова. Обнаженность, исчезновение телесных знаков силы или процветания — все способствует тому, чтобы создать из «мертвеца» символ равенства всех перед загробной жизнью. «Пляска смерти» — это предыдущий этап. Смерть одинакова для всех, но люди разные. Для «мертвеца» больше нет отличия. У Вийона

в голове свой образ «мертвеца». Это о нем он будет думать, описывая повешенных, — «ибо они „мертвецы“», — и ничего ужаснее не знали люди.

*...То хлещет дождь, то сушит солнца зной,  
То град сечет, то ветер по ночам...  
...Над нами воронья глумится стая,  
Плоть мертвую на части раздирая...<sup>1</sup>*

## Пляска смерти

Будь Макабр поэт или персонаж театра, художник или мифическое лицо — это дела не меняет: пляска Макабра<sup>2</sup> — пляска на кладбище. В большинстве своем иллюстрацией к ней являются росписи на стене часовни: это пляска мертвых, такая, какую танцевали живые, чтобы выразить свою веру, свой страх и свою надежду. Папа и король, писец и офицер, торговец и крестьянин — все они в одеждах живых, с соответствующими социальными атрибутами — вовлечены в бесконечное рондо, где сама Смерть держит их за руки.

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 152,151. Перевод Ф. Мендельсона.

<sup>2</sup> По-французски «пляска смерти» звучит как «ла данс макабр» (La danse macabre).

У каждого своя *смерть*, и, конечно, самое ужасное — неуверенность, остающаяся у зрителей, — кто же тащит за собой живого: мертвый ли это, а может, то бестелесная *смерть*, *смерть*, которая для всех одна и та же и которая тащит каждого к его собственной кончине?

То, что именно так был поставлен этот танец-спектакль, в котором действуют тщеславие недолговечных иерархий и эфемерность человеческой уверенности в себе, не должно удивлять нас, как не должно удивлять нас и то, что танец этот исполняют на кладбище.

Танец — заклинание, кладбище — место встречи, и танец на кладбище вписывается с самого начала средних веков в ритуалы, более сатанинские, нежели литургические; христианство не смогло отказаться от этого ритуала в духовном наследии античности.

Впрочем, смех — это не улыбка. Над смертью смеются, не профанируя ее, но никто не стал бы взирать на нее с улыбкой. «Я смеюсь, плача» — наивнейшее противоречие Вийона, и оно не лишено смысла. Смеяться над смертью столь же непристойно, как и смеяться над уродством карлика. Назвать злым общество, рассматривающее себя в выбранном им самим зеркале, — значит ничего не понять в смехе средневековья. Безумец, глупец и жонглер — три ипостаси зеркала, которые мир терпит и которые участвуют в проповеди морали. Что Смерть натягивает на себя платье жонглера и пляшет фарандолу — это не насмешка над Святостью, а насмешка над устройством Мира. Танец — это обряд, и смеяться над ним — значит понимать его.

Обряд стал темой. Ею завладели поэт и артист. «Пляска смерти» на стене часовни кладбища Невинноубиенных младенцев — с 1425 года; Гийо Маршан опубликует ее текст с великолепными гравюрами в 1485 году. Во Франции Франсуа Вийона «Пляска смерти» так же известна, как и «Последний Судный день» во Франции времен святого Бернара. В праздники ее исполняют на площадях. Каждый вводит в нее свой персонаж, соответствующий его фантазии или его положению в обществе. Главенствует там монах. Доминиканец и францисканец выступают на равных. Всех радует, когда среди действующих лиц оказываются сержант, сборщик налогов и ростовщик.

Есть там и женщины, которым отдают дань учтивости в последний раз. Неизвестно, был ли утонченный Марциал Овернский автором, создавшим «Приговор Любви», но существует и «Пляска смерти женщин», и это произведение как нельзя лучше говорит о глубоком смысле действия, отнюдь не кощунственного. Насмешка здесь — это суждение о человеческих ценностях, а гротеск — всего лишь барочное выражение чувственности, на которую Аристотель не оказывает более сдерживающего влияния. Герцогиня плачет оттого, что умирает в тридцать лет, а маленькая девочка откладывает в сторону куклу, веря, что у праздника будет продолжение.

Строфы Вийона вписываются в традицию «Пляски смерти», и не только потому, что смерть повсюду вмешивается в жизнь. Смерть с косою ведет танец, и если Неизбежным было начало, то Неумолимым становится конец. Принижение веры, пожалуй, но также и возвышение человеческих ценностей. Судьба людей измеряется эталоном жизни, а не вечности. Равенство перед смертью заменяется равенством перед Судом Бога.

На тимпанах XIII века изображен кортеж испуганных осужденных, но также и процессия избранников, ведомых к свету, в Авраамово царство. И тут поэта постигает разочарование, и в стихах появляются епископ и папа, школяр и торговец. «Пляска смерти» не знает деления на доброе семя и плевелы: ничто не отличает избранных и обреченных. Вийон может вновь повести свой кортеж, где царствует насмешливая иерархия танца.

Первым идет папа — «как самый достойный сеньор», говорит Гийо Маршан. Потом очередь императора, вынужденного оставить знак императорской власти в форме золотого шара: «Оставить надо золотой, круглый плод!» Затем следует кардинал, за ним — король.

И в заключение своего тщетного поиска людей, снискавших славу, Вийон задает вопрос: «Но где наш славный Шарлемань?»; в своей «Балладе на старофранцузском» он пытается соединить архаические выражения и устаревшие формы, чтобы отдать все на волю ветра, уносящего кортеж, более всего похожий на сатанинскую фарандолу. Черт (le «mauffe») тащит за ворот апостола — папу, императора и короля Франции, его — прежде других: «Ведь он во всем первый». Слуги папы, раздувшиеся, словно индюки, гонимы ветром, как и их хозяин, кардинал пляски. Папа титулуется не как обычно, а «слугою из слуг Бога», что старофранцузский не боялся часто переводить этим удивительным сочетанием: «служитель из служителей монсеньора Бога». Император же у Вийона погибает, сжимая в кулаке позлащенный шар — символ высшей власти. И далее говорится, как суетно и тщетно дело короля, строящего церкви и монастыри. Мощь и благочестие — ни к чему: их уносит ветер.

*А где апостолы святые  
С распятыми из янтарей?  
Тиары не спасли златые:  
За ворот шитых стихарей  
Унес их черт, как всех людей,  
Как мытари, гниют в гробах,  
По горло сыты жизнью сей, —  
Развеют ветры смертный прах!  
Где днесь величье Византии,  
Где мантии ее царей?  
Где все властители бывые,  
Строители монастырей,  
Славнейшие из королей,  
О ком поют во всех церквах?  
Их нет, и не сыскать костей, —  
Развеют ветры смертный прах!<sup>1</sup>*

«Пляска смерти» Вийона — это все его «Завещание». Ее персонажи — люди из жизни Вийона, друзья и недруги под флером иронии.

*Я знаю: бедных и богатых,  
И дураков и мудрецов,  
Красавцев, карликов горбатых,  
Сеньоров щедрых и скупцов,  
Шутов, попов, еретиков,  
Дам знатных, служек из собора,  
Гуляк и шлюх из кабаков, —*

### ***Всех смерть хватает без разбора!*<sup>2</sup>**

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 51. *Перевод Ф. Мендельсона.*

<sup>2</sup> Там же. С. 46.

Равенство перед Судом — это компенсация праведников. Равенство перед смертью — реванш бедняков. Вийона утешает, что не только он умрет, но и другие тоже, в том числе и богачи. На этот раз он был уверен, что у него одна судьба с сильными мира сего.

#### ***Всех смерть хватает без разбора.***

Это месьт голодных животов. Она вырастет у Вийона в литанию, где он скажет, что слава тех или иных деяний развеется, как дым; это две баллады: «Баллада о дамах былых времен» и «Баллада о сеньорах былых времен». Смерть уничтожает заблуждения, питающие одну великую иллюзию.

***Увы, без толку я речист:  
Все исчезает, словно сон!  
Мы все живем, дрожа как лист,  
Но кто от смерти был спасен?  
Никто! Взываю, удручен:  
Где Ланселот? Куда ни глянь —  
Тот умер, этот погребен...  
Но где наш славный Шарлемань?***<sup>1</sup>

Любовь к жизни — вот что мстит за бедняка, за его нищету. Лучше жить бедным, чем умереть богатым. Обращение к имени Жака Кёра говорит об этом реванше отверженного.

***Что нам тягаться с Жаком Кёром!  
Не лучше ль в хижине простой  
Жить бедняком, чем быть сеньором  
И гнить под мраморной плитой?***<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 49—50. *Перевод Ф. Мендельсона.*

<sup>2</sup> Там же. С. 45.

Из своего путешествия на кладбище Невинноубиенных младенцев, где на стене часовни изображена «Пляска смерти», Вийон вынес один урок: жизнь и смерть — две сменяющие одна другую формы одной и той же реальности, которая является условием бытия. Смерть — или мертвый, об этом будут долго рассуждать, — увлекает живого, и две фигуры сменяют одна другую в течение долгой фарандолы, как и в «Завещании», где под конец появляется несчастный, умирающий поэт: его «я» просматривается сквозь вереницу других лиц, тех лиц, которым несуществующий дар поэта достаточен как атрибут их существования. Ростовщик из «Пляски» несет кошелек на шею, а ростовщики Вийона получают добрый совет, сопровождаемый игрой слов...

Пируэты, выделяемые поэтом, стоят упражнений акробатов. Гротеск, который мы у него находим, — не что иное, как человеческая приниженность.

Смерть в «Пляске» не порождает надежды, в иконографии XV века запечатлено не много случаев Воскресения. Смерть живет, а живой мертв. Движение живых к Смерти порождает иллюзию жизни. Ответ Вийона мы находим в «Балладе истин наизнанку»: нет ничего истинного в этом мире. Поэт, покорный судьбе, не славословит отчаяние, однако он оставляет «Балладе Судьбы» право высказать свою точку зрения:

Тебе ли на Судьбу роптать, Вийон<sup>1</sup>.

Одной из «истин наизнанку» нет в балладе: она в «Большом завещании», и вот как поэт квалифицирует «развлечение», иначе говоря — забаву любовников: «Что плохо для души, то хорошо для тела». И Вийон так определил программу этого Малого эпикуреизма: «Всё, всё у

девок и в тавернах!» Но в час сведения последних счетов с жизнью это кажется ему слишком дорогой расплатой.

*Вам говорю, друзья, собратья,  
Кто телом здрав, но хвор душой:  
Тесны пеньковые объятия,  
Бегите от судьбы такой!  
Вам «Со святыми упокой»  
Уже никто не пропоет,  
Когда спознаетесь с петлей...  
А смертный час ко всем придет <sup>2</sup>.*

---

<sup>1</sup> Там же. С. 148.

<sup>2</sup> Там же. С. 113.

Смысл специально затемнен благодаря двойственному пониманию. Что означает стих: «Passez-vous au mieux que pourrez!»? «Passez-vous» — это «попытайтесь жить». То есть пользуйтесь удовольствиями, а там видно будет? Или это совет не идти до конца: дорого обойдется?

Вийон достаточно насмотрелся на «Пляску смерти» на стене кладбища Невинноубиенных младенцев, так же как и на рай с его ангелами-музыкантами, и ад, «где будут кипеть в котлах проклятые», у монахов-целестинцев и в других местах. Все это уже выражено в «Мистерии» Арнуля Гребана. Вийон хоть и подхватывает на лету основную мысль, но выделяет ее особо. Когда он думает о вечном спасении, он взывает к Деве. Это традиционная религия, где заступники предстают перед Судом и где Святые дают каждому право и на молитвы, и на добродетели. Когда он думает о смерти, у него нет больше прибежища. В «Пляске смерти» нет ни Девы, ни святых. Бог был судьей, а Смерть — враг, и она заранее побеждает. Современник Вийона, автор «Пляски слепых» Пьер Мишо пишет не без вызова:

*Я Смерть, врагиня всей природы,  
Я подвожу черту всему <sup>1</sup>.*

Вийон взывает к смерти. В действительности же он обвиняет. Человек беспомощен перед косою.

*О Смерть, как на душе темно!  
Все отняла, — тебе все мало!  
Теперь возлюбленной не стало,  
И я погиб с ней заодно, —  
Мне жить без жизни не дано.  
Но чем она тебе мешала,  
Смерть?  
Имели сердце мы одно,  
Но ты любимую украла,  
И сердце биться перестало,  
А без него мне все равно —  
Смерть <sup>2</sup>.*

---

<sup>1</sup> Перевод Ю. Стефанова.

<sup>2</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 78. Перевод Ф. Мендельсона.

## Глава XVIII

### Оставьте здесь бедного Вийона?

#### Епископ Орлеанский

Узник Мёна обвиняет судьбу, потому что он не осмеливается обвинить Бога, но он и не помышляет обвинять самого себя. Да, он зол особенно на епископа Орлеанского и несколькими месяцами позже отведет ему должное место в своем «Завещании»: пусть Бог будет так же милостив к епископу Тибо д'Оссињи, как епископ был милостив к «бедняге Вийону». Не стоит объяснять далее, читателю ясно, о чем речь: это просто парафраза из молитвы «Отче наш», которую использовал здесь писец, мечтая о возмездии: простите нам наши долги, как мы прощаем нашим должникам... Но Вийон переиначивает паразу — риторическая фигура появляется в арсенале магистра искусств.

И если инверсия формулы рождает ненависть, то кто в этом виноват? Епископ был и неприступным, и жестоким, и Вийон считает, что они квиты. Он не против того человека, который раздает благословения толпам, он против тюремщика. И если тюремщик — епископ, тем хуже.

Сила возмущения не оставляет места ни юмору, ни иронии. Ненависть Вийона доказывает искренность его вполне оправданной идеи. Пожалуй, единственное проявление духа Вийона в этом памфлете — строфа: «Я почитать его не стану!»

*Мне шел тридцатый год, когда я,  
Не ангел, но и не злодей,  
Испил, за что и сам не знаю,  
Весь стыд, все муки жизни сей...  
Ту чашу подносил мне — пей! —  
Сам д'Оссињи Тибо, по сану  
Епископ Мёнский; тем верней  
Я почитать его не стану!  
Ему не паж и не слуга я<sup>1</sup>,  
Как в ощиц кур, попал в тюрьму.  
И там сидел, изнемогая,  
Все лето, ввергнутый во тьму.  
Известно Богу одному,  
Как щедр епископ благородный, —  
Пожить ему бы самому  
На хлебе и воде холодной!  
Но чтоб никто из вас не думал,  
Что за добро я злом плачу,  
Что вовсе я не зря в беду, мол,  
Попал и зря теперь кричу, —  
Лишь об одном просить хочу:  
Коль это было добрым делом,  
Дай Бог святоше-палачу  
Вкусить того ж душой и телом!<sup>2</sup>*

Мэтр Франсуа не собирался молиться за своего тюремщика. Если это грех, ну что ж, одним больше; тем хуже. И процесс над епископом Орлеанским кончается сентенцией, которая опять же

восходит к юридической формуле, застрявшей в голове прежнего школяра. Только суд над ним вершит не дюжина людей, как было принято в судебных палатах. Суд вершит Бог.

*А он был так жесток со мною,  
Так зол и скуп — не счесть обид!  
Так пусть же телом и душою  
Он в серном пламени горит!  
Увы, но церковь нам твердит,  
Чтоб мы врагам своим прощали...  
Что ж делать? Бог его простит!  
Да только я прошу едва ли <sup>3</sup>.*

---

<sup>1</sup> По-французски здесь дословно: «Je ne suis son serf ni sa biche», то есть: «Я не олень его и не козочка» («serf» также означает «крепостной»). — *Прим. перев.*

<sup>2</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 33—34. *Перевод Ф. Мендельсона.*

<sup>3</sup> Там же. С. 34.

К концу «Большого завещания» гнев поэта нарастает. Поэт все еще рисует себя таким, каким создала его злая фортуна, — слишком рано состарившимся и слишком рано износившимся, и с первых же строк, рожденных в порыве вдохновения, в стихах чувствуется горечь и ярость. За свое несчастье Вийон благодарит Бога и епископа Така Тибо. Епископ выставлен у позорного столба.

Благодаря воспоминаниям Фруассара мы знаем, что Тибо своим кюре был назван Жаком, а Таким — презренным людом. Он не был епископом. Он был немного известен как чулочник, но главным образом был знаменит в Париже Карла VI как приближенный герцога Жана Беррийского. Меценатство принца обходилось дорого, а его любовь к мальчикам вызывала лишь недоумение.

«Рядом с герцогом сидел Так Тибо, к которому чаще всего обращался любящий взор. Этот Так Тибо был слугою и чулочником, к которому герцог Беррийский прикипел душой неизвестно почему, ибо у вышеназванного слуги нет ни ума, ни разумения и чего бы то ни было полезного людям, ему важна лишь его собственная выгода. Герцог одарил его прекрасными безделушками из золота и серебра стоимостью в двести тысяч франков. А за все расплачивался бедный люд Оверни и Лангедока, который вынуждали три или четыре раза в год удовлетворять безумные прихоти герцога».

У Вийона нет иллюзий насчет того, что всяк хранит воспоминания о подмастерье, современнике его дедушки. Читал ли он сам Фруассара? Упоминалось ли имя «Так Тибо» как пример нравов или расточительства тех времен? Поэт не делает никакого хотя бы легкого намека, но его справка стоит того, чтобы быть принятой всерьез: он обвиняет Тибо д'Оссины в том, что он вор. Он же, Франсуа Вийон, — конченный человек. Он знает, кого ему благодарить.

*Я славлю Господа везде  
И д'Оссины-злодея тоже.  
Меня на хлебе и воде,  
В железзах (вспомнишь — дрожь по коже)  
Держал он... Но скулить негоже:  
Мир и ему, et reliqua.  
Так дай же, дай ты ему, Боже,  
Что я прошу, et cetera <sup>1</sup>.*

Вийон использует здесь классические аббревиатуры нотариуса и секретаря суда, чтобы не растекаться мыслью по древу. Это не мешает ему быть правильно понятым. Слова «так дай же, дай ты ему» как бы усиливают угрозу.

Впрочем, Вийон уже сказал, чего он желал для епископа — смерти. Довольно церемониться! Пусть смерть не медлит. Школяр дает себе волю и смеется над своим

преследователем, играя словами цитаты, хорошо известной людям, для которых он пишет. Епископ просит, чтобы молились за него? Пожалуйста! Поэт декламирует псалом.

*Если он хочет узнать, что просят для него (в этой молитве),  
Ясно, что я всем этого не скажу,  
Поклявшись верой, которой я обязан моему крещенью.  
Он не будет разочарован.*

Епископ не обманется в своих надеждах.

*В моей Псалтири,  
Которая не переплетена ни в воловью кожу, ни в кордуан,  
Я выберу на свое усмотрение маленький стих,  
Отмеченный седьмым<sup>2</sup>  
Из псалма «Deus laudem»<sup>3</sup>.*

Нет такого писца, привыкшего к церковной службе и требнику, который бы не понял, о чем речь. Псалом «Deus laudem» поют в субботу вечером — а «малый часослов» предназначен специально для клириков, у которых есть дела поважнее, чем распевать псалмы целый день, как монахи, — это псалом гнева Господня.

И когда в тексте царя Давида говорится об «общественной повинности», латынь Вулгаты, на которой написан и требник, переводит его не более не менее как «episcopatum»<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Перевод Ю. Стефанова.

<sup>2</sup> Стих, в котором говорится: «Да будут дни его кратки, и достоинство его да возьмет другой» (Псалтирь, 108). Вероятно, в текстах того времени этот стих действительно был седьмым, а не восьмым. — Прим. перев.

<sup>3</sup> Перевод дословный.

<sup>4</sup> Епископство (лат.).

«Пусть он уйдет осужденным, если его судили, и пусть его молитва будет ему грехом.

Пусть дни его будут сочтены, и пусть другой возьмет на себя его ношу».

Не осмеливаясь, однако, ясно написать о том, что он желает смерти епископу, Вийон расчленяет тему разговора. С одной стороны, он произносит псалом для прелата, и это было бы набожное произведение, если бы этот псалом не был песней, которую со смехом распевают потихоньку все дети хора: «Episcopatum accipiat alter...» Всем понятно: «Пусть другой получит епископство». С другой стороны, он иронизирует, обращаясь к классическому пожеланию: «Пусть Бог дарует ему долгую жизнь!» Что касается скрытых его мыслей, то тут на помощь приходят судейские словечки. «Не доверяй этому *и так далее* нотариуса», — гласит пословица. *И так далее* Вийона проходит через весь псалом: «Пусть он сдохнет и пусть назначат другого епископа!»

Лишний раз убеждаешься, что надо внимательно взглядеться, прежде чем толковать буквально тему, разбираемую школяром, приученным к изыскам риторики и библейской символики. Вот таким образом, в шуточных выражениях, кои можно было бы принять за безобидные, не знай мы всего «Завещания», Вийон продолжает сводить счеты с правосудием епископа Тибо д'Оссины.

*И все же зла желать не след  
Его друзьям-официалам.  
Один из них на целый свет  
Не зря слывет добрейшим малым.  
Да и других вокруг навалом,  
Но всех милей — малыш Робер.  
Я их люблю с таким запалом.  
Как любит Бога малонер<sup>1</sup>.*

Он ни на кого не сердится. Он ни о ком не думает плохо. Но все знают, что епископский судья Орлеана, «официал», зовется Этьеном Плезаном<sup>2</sup>, а «малыш» Робер — по всей видимости, сын и помощник орлеанского палача мэтра Робера. Палач занимается исполнением приговора, его сын — пытками. С остальными Вийону не хочется возиться. Для того, кто избежал ненависти, остается презрение.

---

<sup>1</sup> Перевод Ю. Стефанова.

<sup>2</sup> Plaisant (франц.) — «любезный».

Пародия на юриспруденцию ощущается повсюду в «Большом завещании». Как человек, которому осталось жить недолго, Вийон протестует против того, чтобы ему навязывали любовь к людям, причинявшим ему зло. Он их любит так же, как ломбардец любит Бога. А всем известно, что любит ломбардец, — ведь он чаще всего ростовщик, а церковь запрещала получать долги с процентами, основываясь на Евангелии от Луки: «Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад». Прав он или не прав, но ломбардец не очень-то беспокоится о своих последних днях, а если и начинает беспокоиться, то слишком поздно. Он чересчур любит деньги.

В самой середине пародии, где поэт использует традиционные формулы, мы вдруг замечаем его лукавую усмешку. Он любит их всех «в одной меже». В судейском языке это классическое описание прекрасных земельных владений.

Пока поэт намеревается одаривать всех благами, он сидит в подземной тюрьме епископского замка в Мёне, и епископ Тибо д'Осиньи не спешит выпускать его на волю. Насколько известно, Осиньи хоть и был человеком высокомерным, но оставался при этом весьма справедливым — он совсем не тот тиран, каким рисует его Вийон. Но епископ Орлеанский — жесткий администратор, любящий порядок, для которого плохой писец — это плохой писец, и он предпочитает видеть вора в наручниках, а не бродящим по дорогам.

## **Бедный Вийон**

Теперь все помыслы мэтра Франсуа о его парижских друзьях. Некоторые из них живут в своих домах, у них добрые лица, а когда они выходят на улицу, на них приятно посмотреть. Далеко не все шалопаи. Есть среди них и те, кто занимается полезными делами и водит знакомство с такими же людьми, как они сами. Это им, или одному из них, посвящается «Послание», написанное в тюрьме, это крик о помощи, который ставит на кон веревку или грамоту о помиловании. Эти люди развлекаются под солнышком, «любезничают» — мы бы сказали «танцуют самбу», — попивая молодое вино. Позволят ли они повесить бедного малого, который был одним из них? Придут ли они вовремя или же принесут ему теплого бульона, когда он уже будет мертв?

Обращаясь к своим прежним друзьям с длинным посланием, Вийон рисует картину былого счастья — счастья, сотканного из беззаботности, разных уловок и маленьких радостей. Любить, танцевать, пить, понемногу сочинять стихи и чуточку размышлять; критика другого здесь — это программа для самого себя. Простое счастье — это когда живешь, не замечая его, — его замечают, лишь когда утрачивают.

*Ответьте, баловни побед,  
Танцор, искусник и поэт,  
Ловкач лихой, фигляр холеный,  
Нарядных дам блестящий цвет,  
Оставьте ль вы здесь Вийона?*<sup>1</sup>

Это тоже образ счастья, но видится он теперь из мрачной тюрьмы, где глотки сухи и издают звук, похожий на щелканье погремушки.

*Ваганты, певуны и музыканты,  
Молодчики с тугими кошельками,*

**Комедианты, ухари и франты,  
Разумники в обнимку с дураками,  
Он брошен вами, поддыхает в яме.  
А смерть придет — поднимете вы чарки,  
Но воскресят ли мертвого припарки? <sup>2</sup>**

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 144. Перевод И. Эренбурга.

<sup>2</sup> Перевод Ю. Стефанова.

У поэта больше нет желания смеяться, и с подмигиванием на этот раз ничего не получается. Очень нужен будет ему теплый бульон, когда его не станет! Единственный штрих иронии — в автопортрете узника, который постится по воскресеньям и вторникам, именно когда никто и не думает поститься.

Ни смеха, ни улыбки: это попросту скорбное одиночество человека, что умрет, покинутый друзьями.

**Взгляните на него в сем гиблом месте <sup>1</sup>.**

---

<sup>1</sup> Перевод Ю. Стефанова.

Вийон очень изменился. Какова бы ни была причина его заточения, он считает себя жертвой ошибки. Когда он шатался по дорогам, был нищим, когда его искали и даже арестовывали, тогда он не чувствовал еще настоящей горести. Теперь он скис. Его внутреннему взору представляется новый образ Вийона, образ жертвы общества. В сердце беззаботного шутника, писавшего «Малое завещание», а потом бежавшего от малозавидной судьбы, была лишь нежность, предназначавшаяся друзьям, и ирония, предназначавшаяся всем другим людям; и не без гордости он называл себя школяром. Узник Мёна составляет колючий букет из всех пережитых страданий и предлагает его самому себе, ставшему другим человеком.

Этот новый человек — «бедняга Вийон». Это износившийся человек, которого уже можно было разглядеть в «Балладе подружке Вийона» с ее тихим плачем, горестными предчувствиями. До сего времени Вийон употреблял слово «бедный», только лишь чтобы поразвлечься, даже когда в нем чувствовался будущий певец горестных минут, хотя он был еще только творцом «Малого завещания». «Бедные писцы, говорящие по-латыни» из «Малого завещания» — это откормленные монахи, а «бедные беспризорные сиротки» — это богатые ростовщики. Теперь понятие «бедный» уже не вызывает смеха. Вийон сетует на свою судьбу и определяет свое новое положение другими словами. Несправедливость фортуны, тщета усилий, постоянно повторяющиеся неотвратимые падения — все это высказано в одном стихе и названо одним словом. В рефрене «Баллады Судьбы» Вийон сам себе дает совет, выражающий его новое мироощущение.

**И замолчи, пока я не вспыхнула!**

**Тебе ли на Судьбу роптать, Вийон? <sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 148. Перевод Ф. Мендельсона.

Повторяющееся слово — это «бедный»; он «бедный школяр» и воображает себя «бедным галантерейчиком», а в эпитафии ко всему прибавляется еще «бедный маленький школяр». Он нравится себе в этом облике и дважды повторяет «бедный» в двух стихах «Большого завещания». Чтобы представить себе облик этого нового Вийона, достаточно прилагательного «бедный», звучащего все время, пока заключенный в тюрьме Мёна взывает о помощи:

**Оставьте ль вы бедного Вийона?**

Бедным родился, бедным умирает. Не писал ли несколькими годами раньше Мишо Тайеван: «Бедственное положение хуже смерти»? Одураченный Фортуной, наказанный людьми, обманутый женщинами, истощенный голодом, побежденный болезнью, он заранее оплакивает себя в предчувствии смерти, которая ничего в мире не изменит. Утешает одно: все пройдут через это.

Но с той минуты, как ему начинает слышаться голос жалости, для него все становится приемлемым. Физическая немощь, дряхлость входят составными частями в общую картину. Он потом добавит к этому в «Большом завещании» и бессилие, рисованное без всякой стеснительности с помощью двойного словаря — реалистического и куртуазного. Его «плоть уже не пылает», а голод «отбивает любовные желания».

Оставшаяся у него малая толика уважения и почтительности заставляет его обратиться к образу матери, он и ей, старой, набожной женщине, приписывает те же качества, что и себе, — «бедная» и «маленькая», он как бы признается в своем поражении и в то же время наслаждается своей горечью. Она «беденькая, старенькая», «бедная мама», «бедная женщина», «скромная христианка». Она ничего не ведаёт, ничего не просит. Вийон объясняется с ней так, чтобы не казаться слишком почтительным. Он выбирает для нее судьбу, уготованную им себе: делает менее значительной, чем она есть на самом деле.

Нищета не мешает надеяться. И один и тот же рефрен повторяется на протяжении всей баллады, где тревога достигает предела. Может быть, его все-таки не оставят? Даже свиньи, говорит он в другом месте, помогают друг другу. Придет ли наконец грамота о помиловании, которую так просто получить, живя в Париже и имея доступ во дворец?

*Живей, друзья минувших лет!*

*Пусть свиньи вам дадут совет:*

*Ведь, слыша поросенка стоны,*

*Они за ним бегут вослед.*

*Оставьте ль вы здесь Вийона? <sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Там же. С. 145. Перевод И. Эренбурга.

Узник ждал письма. Но грядет великое, и Вийону не надо ни родственникам, ни друзьям раздавать благодарности. Грядет король Франции.

## **Восшествие на престол Людовика XI**

Карл VII умер 22 июля 1461 года. Дофин Людовик был в Авене и готовился войти во Францию. Еще прежде его короновали в Реймсе. Праздник был великолепен. Каждый следил за своим соседом.

В течение пятнадцати лет дофин открыто выражал недовольство своим отцом. Все отталкивало их друг от друга, долголетие Карла VII вызвало феномен, дотоле неизвестный во Франции, — нетерпение наследника. Карлу VII было пятьдесят восемь лет, а будущему Людовику XI уже тридцать восемь! На памяти принца такого никогда не видели. Карлу VII было девятнадцать, когда он взшел, не без труда, на престол. Карлу VI было двенадцать — обстоятельство, утвердившее власть его дядей. После поражения короля Жана Карл V, которому в ту пору минуло восемнадцать, взял на себя управление страной, а в двадцать шесть он уже сам стал королем. Оставалось только вспомнить восшествие на престол Жана Доброго, чтобы найти принца, коронованного более чем в тридцать лет. А Людовик XI приближался к сорока.

В детстве он много страдал. Атмосфера двора была удручающей, с тысячей интриг, которые отец отнюдь не поощрял, законность престолонаследия Людовика оспаривалась, и он всячески старался выделиться, играть роль, определить свое место в жизни, свое общественное положение. У него образовались связи при дворе, и он вероломно составил заговор против своего отца-короля. Сам он был правителем, и подлинным, своих венских владений, так что ему было куда девать энергию. В Лангедоке, как и в Савойе, в Италии, во Фландрии он вел независимую политику и использовал возможность, чтобы противопоставить ее политике короля Франции. Наконец, испугавшись за свою безопасность, он принял решение войти во двор Филиппа Доброго, где он стал обременительным гостем, из которого герцог Бургундский вознамерился сделать очень полезную пешку.

Карл VII был в ярости. Филипп Добрый не раз задавался вопросом, и совершенно искренне, как выйти из тупика. Советники короля Франции колебались между верностью хозяину настоящему и необходимостью служить возможному королю завтрашнему. И впрямь, все было ненадежным: дофин Людовик достиг возраста, когда большинство его предшественников уже предъявили счет этому миру.

Конец ожидания все приветствовали с облегчением. Коронованный в Реймсе 15 августа, Людовик XI 31 августа торжественно вошел в Париж, три недели провел в своей столице и отбыл 24 сентября.

Его пребывание в столице привело всех в замешательство. Парижане сначала забеспокоились. Как сложатся их отношения с новым королем Франции? Ведь на следующий день после смерти Карла VII, а именно 23 июля около девяти часов вечера, все видели комету, сверкнувшую в небе.

«Комета с очень длинным хвостом светилась столь сильно и ярко, что казалось, будто весь Париж в огне, весь объят пламенем. Да сохранит его Бог от этого!»

Обеспечить безопасность короля в его столице было совсем нелегким делом, ведь столько лет в Париже не держали двора, и общественный порядок оставлял желать лучшего. Буржуа заставили охранять каждые ворота опоясывающего город вала шестью стражниками, живущими по соседству. Возле каждой ворот стояли два капитана, и два отряда вооруженных людей сменяли друг друга днем и ночью. Два стрелка из лука и два вооруженных арбалетами стояли на случай непредвиденной атаки. Программа этих предосторожностей сводилась вот к чему:

«Следует помнить, что никакая группа вооруженных людей не должна входить в город, если их больше двадцати человек, и эти люди не будут пропущены в город, если на них окажется военная одежда».

Равным образом следовало помнить о расквартировании военных в предместьях. С тех пор как аристократия удалилась из Парижа, дома баронов остались без присмотра, если только они не перешли в руки других владельцев. Гостиниц за отсутствием клиентов было меньше, чем в период, когда все дела королевства решались в Париже. Начальники групп в сорок человек произвели, квартал за кварталом, учет всех свободных комнат. Сосчитали кровати, так же как и все «места в стойлах». Потом ответственные за жилье распределили документы на проживание. И тут следовало успокоить буржуа: эти документы на проживание лишали привилегии парижан, свободных от обязательств такого рода. Несмотря на согласие, которое в конечном счете дала купеческая гильдия, было немало недовольных.

Следовало еще раз реквизировать зерно. Старейшина запретил торговлю зерном во время пребывания короля в Париже: зерно, доставлявшееся в город, поступало в распоряжение общественных властей. Торговцы расценили это как ущемление их прав в выгодном деле.

Выборы откладывались. Старейшина торговцев и старшина увидели, что истекает срок их мандатов. Времена были спокойные, и город главным образом торопился выслать навстречу новому королю своих посланцев, а затем подготовиться к его въезду и пребыванию в городе.

Людовику XI пришлось ждать двое суток, только на третьи Париж подготовился к его приему. Он устроился в Поршероне — наш нынешний квартал Нотр-Дам де Лорет, — у своего верного Жана Бюро. Это произвело на всех дурное впечатление. Когда он оттуда удался, парижане облегченно вздохнули.

Зеваки, конечно, получили удовольствие. Они стали свидетелями многочисленных выездов, праздников, зрелищ. Символика была в чести. Так, например, «Прямодушное Сердце» представили королю пять богато одетых горожанок, каждая из которых являла собой одну из букв, составлявших слово «Париж»; аллегория была такова: Покой, Амур, Рассудок, Искренность, Жизнь. Все смогли насладиться зрелищем — у подъемного моста возле ворот Сен-Дени — серебряного ковчега, в котором сидели представители дворянства, духовенства и буржуазии. У моста улицы Сен-Дени развлекалась большая толпа: женщины и мужчины, одетые как дикари, «сражались перед фонтаном и принимали различные позы».

«И еще были три очень красивые, совершенно обнаженные девицы, изображавшие сирен; и все любовались их торчащими круглыми и твердыми сосками, смотреть на которые было очень

приятно, и еще говорили о небольших музыкальных пьесах и пасторалях. Множество музыкальных инструментов исполняло звучные мелодии.

И для удовольствия входящих в город использовались различные трубки, ответвленные от фонтана, выбрасывающие молоко, сладкое и кислое вино, и каждый пил что хотел.

И немного ниже вышеназванного моста, подле Троицы, молчаливые персонажи изображали Страсти».

Король не испытывал большого удовольствия при виде своей столицы. Ему предстояло явить себя королевству, от которого долгие годы его отодвигали обстоятельства. Добавим, что герцог Бургундский считал, что король будет чувствовать себя обязанным ему, но Людовику XI очень хотелось напомнить королевству, кто был его истинным хозяином. Филипп Добрый играл в покровителя во время коронавания, он вводил короля в Париж, который всегда был немного бургундским. Постепенно всеми овладевало такое ощущение, будто Людовик берег свое королевство от герцога. Достигнув Турена, он почувствовал, что с плеч его свалилась гора.

По правде говоря, он ненавидел и Париж и парижан, двор и придворных. Его резиденция Валь-дю-Луар служила от них убежищем. В замках своего отца, а затем в том, что он велел построить в Плесси-де-Тур, Людовик находил и уют, и простоту, и свободу. Ему не приходила в голову мысль кончить там свои дни, как его соседи из Анже или Блуа, в приятном окружении блестящего двора. Чего искал Людовик XI, так это места, где бы он смог работать. В Турене он будет спокоен.

Дорога на Тур идет по правому берегу Луары. Тридцатого сентября король прибывает в Орлеан. Четвертого октября он в Божанси, седьмого — в Амбуазе, девятого — в Туре. Второго октября он останавливался на ночлег в Мён-сюр-Луар.

Само собой, как и в других городах, ему там преподнесли ключи от города на бархатной подушечке. Он получил подарки: семгу и севрюгу, жирных гусей и каплуна, несколько бочонков местных вин, несколько сетье пшеницы. Людовик XI был прост в обращении, а потому всем понятен в своих повелениях: одной рукой он даровал, зато другой забирал еще больше; он слез с мула, поблагодарил жителей города и презентовал городу все, что было ему подарено. В церкви настало время почтить реликвии. Звонили колокола, и все кричали: «Слава благоденствию!» и «Да здравствует король!» — он повелел освободить узников.

Король Франции, вероятнее всего, не знал, что он возвращал свободу магистру Франсуа де Монкорбье, нарежнему себя Вийоном. Лишь присутствие Карла Орлеанского рядом со своим сувереном заставляет сомневаться в этом. Но ведал ли герцог, чем стал его гость былых времен?

А вот поэт знал, чем обязан Людовику XI. В начале «Большого завещания», тотчас после проклятия епископу Тибо, возникает похвала королю, похвала Создателю:

*Дай Бог Людовику всего,  
Чем славен мудрый Соломон!  
А впрочем, он и без того  
Могуч, прославлен и умен <sup>1</sup>.*

О желаниях поэта знает каждый по «Завещанию», знает, что они совпадают с желаниями короля и его окружения: продление дней жизни немолодого уже человека и процветания, прибавления семейства одного из Валуа, который далеко не был уверен, что будет иметь наследников.

*Но жизнь — как мимолетный сон,  
И все, что есть, возьмет могила;  
Так пусть живет подольше он, —  
Не менее Мафусаила!  
Пусть дюжина сынов пригожих,  
Зачатых с верною женой,  
На Карла смелостью похожих,*

*На Марциала — добротой,  
Хранят Людовика покой<sup>2</sup>.*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 35. Перевод Ф. Мендельсона.

<sup>2</sup> Там же. С. 35—36.

Людовик XI не проживет 969 лет патриарха Мафусаила. Но шестьдесят тем не менее проживет и оставит корону Карлу VIII, родившемуся только в 1470 году.

Все это не простое расшаркивание, вынужденная вежливость, умышленная предосторожность. Благодарность Вийона искренняя, и он считает даже необходимым настаивать: королю он обязан жизнью. Официальные акты датируются согласно праздникам, помеченным в церковном календаре. Поэт датирует завещание своим вторым рождением:

*Пишу в году шестьдесят первом,  
В котором из тюрьмы постылой  
Я королем был милосердным  
Освобожден для жизни милой.  
Покуда не иссякли силы,  
Я буду преданно служить  
Ему отныне... до могилы, —  
Мне добрых дел не позабыть!<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 36. Перевод Ф. Мендельсона.

## Герцог Бурбонский

Итак, Вийон выходит из мёнской тюрьмы 2 октября 1461 года. В конце года он в Париже. Просьбу, обращенную к герцогу Бурбонскому, — если только речь не идет о путешествии в Бурбоннэ, хотя, впрочем, с точностью этого сказать нельзя, — следует отнести примерно к ноябрю того года. Намек на Сансерр не вполне определенно свидетельствует, что Вийон посетил Мулен, и совсем не обязательно предполагать, что поэт отправился к герцогу Бурбонскому, дабы воззвать к его великодушию.

Что правда, то правда — Жан Бурбонский держит в Мулене двор, который способен привлечь поэта, оставшегося без средств к существованию. В своей «Просьбе к герцогу Бурбонскому» Вийон вспоминает, что когда-то или совсем недавно они у него были, он получил «аванс» в шесть экю и рассчитывает получить еще. Это все, что нам известно. Так как следовало побывать в Бурбоннэ, то, по-видимому, по выходе из тюрьмы поэт отправился к своему истинному сеньору. Можно даже считать, что было два путешествия: одно после убийства Сермуаза — «шесть экю» — и другое после мёнского дела.

Но тут можно ошибиться. Менее трех месяцев на путешествие в пятьсот километров — это даже больше, чем требуется хорошему ходоку, но это также столько времени, сколько нужно, чтобы прийти и вернуться обратно горемыке, который вышел из своей «ямы» таким изможденным.

Дабы протянуть руку своему сеньору — Вийон забывает, что он в то время чувствовал себя гораздо больше парижанином, чем бурбонцем, — нет нужды отправляться в Мулен. Герцог Жан был в августе в Реймсе, поблизости от нового короля Франции. Все видели, как 13 августа он гарцевал «с чепраком из черного бархата, усеянного серебряными и золотыми листочками с колокольчиками». В это время под радостные крики въезжал в свою столицу король Людовик XI. Известно, что Бурбон один из редких принцев, парижский дворец которого, расположенный между Лувром и Сен-Жермен-л'Осеруа, не был тронут всеобщим упадком. Нотариус Шатле, автор «Хроники», именуемой «скандальной», Жан де Руа извлечет свою выгоду из усердной службы у герцога: он одновременно и парижский секретарь, и швейцар дворца Бурбона.

Итак, не сворачивая со своего пути, даже если он отправится прямо в Париж после своего освобождения, Вийон может повстречаться со своим сеньором герцогом или найти случай постучаться в его двери.

Однако не исключено: поэт искал при дворе в Мулене то, чего в то время, когда он жил значительно лучше, ему не хватало в Анже, как и в Блуа. Ибо в те годы двор Жана Бурбонского был Двором первой величины. Для всех герцог еще был графом Клермонским. Победитель англичан при Форминьи в 1450 году, организатор последних гийеннских кампаний в 1453 году, он не имел соперников в славе, если только не считать Ричмонда. Король Рене был побежден, Шарль Орлеанский побежден еще раньше, а Ричмонд только что умер, в 1458 году. Теперь он, Жан Бурбонский, управляет его герцогством и держит в Мулене двор, который стоит многих других. Принц, обожающий пышность, просвещенный меценат и поэт, не особенно талантливый, но очень благожелательный. Про него знают, что он поклонник рондо. Вийон тут же рискнул обратиться к нему:

*Сеньор мой и принц благородный,  
Лилии цветок, королевский отпрыск,  
Франсуа Вийон, укрощенный работой,  
Ее тычками позлащенными,  
Умоляет вас этим скромным посланием  
Дать ему милостиво вознаграждение <sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Дословный перевод.

Поэт лукавит. Это чувствуется по его словарю, хотя он употребляет формулы, целиком составленные из традиционных прошений, где главное — не отличиться оригинальностью, а остановить на мгновение взгляд герцога Бурбонского. Итак, Вийон только играет словами: «вознаграждение» — не тот дар, который он намерен возвратить, это «вознаграждение» солдата, которое никто, конечно, никогда не возвращает. Вийон предлагает свою службу в обмен на кошелек.

Работа — страдание — укротила его многочисленными «побоями», мы бы сказали — «оплеухами», от которых остаются голубые и желтые разводы. Работа подобна пытке? На дорогах своего несчастья Вийон встречал уже мёнского палача. Возможно, он говорит о страдании многих дней, о трудных дорогах, грубых окриках и тумачах...

Если изучить словарь поэта, то мы увидим, что его поэтическое дыхание коротко. Мы уже не на состязании в Блуа. Вийон не пишет балладу о Любви или жалобу на Судьбу. У него теперь более четкая интонация, он ошеломляет герцога письмом с изложением обстоятельств дела, которое его талант помешал ему написать в прозе.

*Не получил от принцев ни денье, —  
Не считая вас, — ваше скромное созданье.  
Шесть экю, которые вы ему пожаловали,  
Пошли у него на еду,  
За все расплатится сполна, честно.  
И это будет легко и с готовностью;  
Ибо как встречаются в лесу желуди,  
В окрестностях Патэ, и каштаны,  
Точно так же тот, кому вы заплатите,  
Отдаст вам все безотлагательно.  
И, по существу, вы ничего не теряете. Надо только подождать <sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Дословный перевод.

Стихи написаны в шуточной форме. Вийон знает, что Патэ находится на равнине и что там нет ни желудей, ни каштанов. Прием не нов, уже в «Малом завещании» поэт заставлял нас улыбнуться, завещая Жаку Кардону желудь с ивы...

Во всем этом лишь один смысл: герцогу не будет возвращен долг. И опять Вийон заимствует слова из лексикона крючкотворов: «отдаст вам безотлагательно»; и клянется, что герцог ничего не потеряет — «надо только подождать», то есть герцог потеряет только проценты.

Вийон все тот же, мечтающий и выпрашивающий, такой, каким был и в Блуа, когда, склонившись над фонтаном, он писал: «Я смеюсь, плача». Теперь он забавляется, попрошайничая, и с юмором надписывает удивительный адрес на своем послании — это четверостишие, видимо, предпослано самому письму и должно тронуть герцога:

*Стихи мои, неситесь вскачь,  
Как если б волки гнались сзади,  
И растолкуйте, Бога ради,  
Что без гроша сижу, хоть плачь!*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 143. Перевод Ф. Мендельсона.

Отсутствие денег дает о себе знать... Он еще продолжит в том же духе. Двор Бурбона имел также ту особенность, что там деловые люди охотно играли в аристократов. Пьер де Нессон, сын суконщика, долго старался задавать тон, для этого он написал «Поэму Войны», нагло откликнувшись на «Поэму Мира» Алена Шартье. Но Нессон не смог скрыть своей «рыцарственности», и его опусы смешат как буржуа, так и аристократов древних родов.

Никто, конечно, так резко, как Вийон, не мог описать эту среду, где все друг друга обманывают, но можно ли это было делать? Если ему так хочется войти в среду разбогатевших торговцев, может ли он так подчеркнуто выказывать свое пренебрежение? Голодный поэт — в ста лье от мира, где деньги определяют место каждого. «Куртуазность» здесь берется взаймы, и придворные Жана Бурбонского честно стараются обрести ее, личное влияние герцога ведет двор к самому точному равновесию между обществом, которое существует, и тем, о котором мечтают. Он нанимает артистов, собирает поэтов, организует праздники. Менее пышный, чем герцог Бургундский, потому что не так богат, к тому же не так молод и не одержал таких побед, чтобы играть в «отставленного», как герцоги Орлеанский и Анжевенский, Жан II Бурбонский умеет объединять людей и мысли.

## **Конец иллюзиям**

И снова поражение. Можно подумать, что дорога Вийона выстлана неудачами, а может, тут играет роль стремление к независимости. Он не служит герцогу Бурбонскому так же, как не служил Анжуйскому или Орлеанскому. Дали ему или нет его шесть экю — значения не имеет. Вийон не кончит свою жизнь одетым в ливрею чиновника, призванного развлекать, не будет он и менестрелем, нанятым для того, дабы знатная особа имела при себе на всякий случай талантливый поэт. Все отъединяет его от этих людей — тот играет на виоле, этот искушен в шахматах, которыми кишат дворы. Он сам к этому времени определил свое место в жизни; Вийон перечисляет все те недуги, которыми наделяет себя человек, когда он не способен заработать даже трех су. Он пишет стихи, он насмешничает, он «прославляет», он борется. Он придумывает фарсы, игры, наставления. Он из тех, кого хорошо принимают и чей талант оплачивают, но не из тех, кого причисляют к сложной, но единой социальной группе, именуемой двором. Рефрен «Баллады поэтического состязания в Блуа» — это как бы автопортрет:

*Я всеми принят, изгнан отовсюду!*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 140. Перевод И. Эренбурга.

Теперь с миражом покончено. Тот Вийон, который возвращается в Париж осенью 1461 года, растерял все иллюзии, но возмужал от страданий. Он размышляет над своей судьбой. Этот возврат отражен уже в «Споре Сердца и Тела Вийона»; поэт беседует сам с собой, и тут к разочарованию примешиваются добрые решения, сформулированные в диалоге души и тела. Мы не можем с уверенностью сказать, имело ли это произведение такой конец, который убедил бы архиепископа Орлеанского, в чем действительно виновен заключенный в тюрьму бродяга, а в чем нет. Во всяком случае, личностный тон убеждает нас, что «Спор» не просто словесное упражнение в рамке диалога с самим собой, которым забавлялось более или менее удачно столько ритористов и до и после Вийона.

Одна мысль превалирует в размышлении бедного малого, вырвавшегося из заточения: он чувствует, что дошел до конца пути. Он вернется к этому в «Большом завещании»: он выдохся. Так начинается «Спор» — с признания в своей немощи. Сухой и черный — так характеризовал он себя недавно. Теперь мужество его покидает. Он слишком хотел жить.

*— Кто там стучится? — Я. — Кто это «я»?  
— Я, Сердце скорбное Вийона-бедняка,  
Что еле жив без пищи, без питья,  
Как старый пес, скулит из уголка.  
Гляжу — такая горечь и тоска!..  
— Но отчего? — В страстях не знал предела!  
— А ты при чем? — Я о тебе скорбело  
Всю жизнь <sup>1</sup>...*

Вийон мыслит трезво. Вся его жизнь осталась позади, он мог бы прожить другую. Жизнь прошла напрасно. Он «бедняк Вийон», он похож на «старого пса». И главное — «скулит из уголка». Он одинок.

*— Чего ты хочешь? — Сытого житья.  
— Тебе за тридцать! — Не старик пока...  
— И не дитя! Но до сих пор друзья  
Тебя влекут к соблазнам кабака.  
Что знаешь ты? — Что? Мух от молока  
Я отличаю: черное на белом... <sup>1</sup>*

Возраст не прибавляет мудрости. Все, чему научился поэт, — это признавать очевидное. Винить во всем надо лишь самого себя — уж лучше бы он был дураком.

*— Мне горько, а тебя болезнь твоя  
Измутила. Иного дурака  
Безмозглого еще простило б я,  
Но не пустая ж у тебя башка! <sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> Там же. С. 146.

<sup>2</sup> Там же. С. 147.

Покорность, даже фатализм; душа Вийона корит Судьбу за обреченность на нищету. Больше, чем глубокой мудрости, дающей духу власть над миром, Вийон верит в неблагоприятное расположение светил, которое оставило на нем свою мету. Таким они его сделали, таким он и живет.

*— Мне больно... Эта боль — судьба моя:  
Гнетет Сатурна тяжкая рука  
Меня всю жизнь! — Сужденье дурачья!  
Всяк сам себе хозяин, жив пока,  
И... вспомни Соломона-старика:*

*Он говорил, что мудрецу всецело  
Послушен рок и что не в звездах дело...  
— Вранье! Ведь не могу иным я стать,  
Как никогда не станет уголь мелом!  
— Тогда молчу. — А мне... мне наплевать <sup>1</sup>.*

Мораль диспута в следующем: перестанем философствовать. Ну что ж, пусть так! Вийон заканчивает спор акростихом. К чему советы? Все слишком поздно.

*— Ведь жить ты хочешь? — Мне не надоело.  
— И ты раскаешься? — Нет, время не приспело.  
— Людей шальных оставь! — Во как запело!  
— Людей оставь... А с кем тогда гулять?  
— Опомнись! Ты себя загубишь, Тело!  
— Но ведь много нет для нас удела...  
— Тогда молчу. — А мне... мне наплевать <sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 147. Перевод Ф. Мендельсона.

## **Глава XIX**

### **Здесь покоится завещание...**

#### **Завещание**

К концу осени 1461 года Вийон вновь в Париже. Но это все равно нищенство, хотя поэт признает, что он пользуется уже небольшой известностью. Что бы там ни говорили о его «Малом завещании» в Париже школяров, его стихи еще не приносят ему дохода.

В одном из домов монастыря Святого Бенедикта магистр Гийом де Вийон оказывает Франсуа Вийону гостеприимство. Автор «Большого завещания» в споре между капитулом Сен-Бенуа-ле-Бетурне с капитулом Нотр-Дам явно примет сторону первого. А в это время все еще ищут жуликов, ограбивших Наваррский коллеж, и Вийону надлежит вести себя скромно: Табари говорил о нем, и имя мэтра Франсуа засело в памяти тюремщиков Шатле. Самое лучшее для него — вести спокойный образ жизни.

За пять лет колесо повернулось. Старому школяру есть что почерпнуть из хроники последних событий. Едва став королем, Людовик XI убрал много лиц, бывших советниками при его отце. Люди, недавно стоявшие у власти, теперь в немилости, а некоторые из них даже оказались в тюрьме. Недаром видели комету в небе: все объяснимо. Среди жертв — хранитель королевской печати Гийом Жувенель дез Юрсен, так же как и первый президент Ив де Сено и как генеральный прокурор Жан Дове. Старые фавориты Антуан де Шабан и Пьер де Брезе арестованы; арестованы советники Гийом Кузино и Этьен Шевалье. В немилость впал даже всем известный Андре де Лаваль, сир де Лозак и маршал Франции. Однако многие королевские чиновники избежали этой участи, этой, хоть и ограниченной, чистки. Очень скоро опять оказались на их прежних местах эфемерные жертвы долгожданного восшествия на престол Людовика XI. Из семидесяти восьми членов Парламента — четверо опальных, и это одна видимость, ведь всем известно, что генеральный прокурор Дове снова становится председателем Счетной палаты, а один из уволенных адвокатов короля — глубокий старик. Но пока все говорят об арестах.

Говорят о том, какой удар нанесен могущественному человеку в столице, а именно Роберу д'Эстутвиллю. Его заменили в самый день приезда короля в Париж, 30 августа 1461 года, Жаком де Вилье де л'Иль-Адам, а в 1465 году посадили в тюрьму Шатле. А пока что, когда Вийон возвращается наконец в Париж, тот, чью радость по поводу счастливого брака он разделял и кто,

без сомнения, оказал ему кое-какие услуги, в то время как королевское правосудие искало с ним ссоры, находится в тесных стенах тюрьмы, сначала Бастилии, а затем Лувра.

Все это не означает, что Париж переменялся, хотя на Сене коммерческая активность возросла, а в городе слышат в течение всего дня удары молотков каменотесов и плотников. Квартирная плата поднимается, лавки ломятся от товаров, молодежь бежит на занятия. Парижане могут наблюдать, как строятся нефы соборов Сен-Северен и Сен-Медар. Творение музыкального мастера Жана Бурдона, новый орган, звучит в Соборе Парижской Богоматери. Известно также, что в Монтиньи новенькая тюрьма заменила грандиозное здание в Монфоконе. Парижский динамизм переориентирован на новый век, век испытаний, и он набирает силу. Но Париж Людовика XI прочно стоит благодаря Парижу Карла VII.

Для человека, который скромно возвращается к своим прежним занятиям, очевидно следующее: чтобы выжить, ему надо раскрыть тайну другого мира. Власть имущие не те, что были. Умы повернулись к новым делам. В университете заканчивается реформа, и, несмотря на забастовку 1460 года, вызванную арестом церковного сторожа, это уже университет, на котором через несколько лет будет лежать печать платоновского гуманизма.

Вийон давно не школяр и больше не писец. Магистр Франсуа де Монкорбье потерял свою должность по приказу епископа Тибо д'Оссины из-за неизвестных мотивов — возможно, из-за участия в труппе бродячих актеров. Работа писцом была материальной поддержкой. Отстранение от должности — это оскорбление, если не угроза, поэт в ярости, его гнев изливается на епископа Орлеанского.

Бывший клирик, школяр без оплачиваемой степени, Вийон вынужден прибегнуть к крайним мерам. Не тогда ли решил он попользоваться прелестями толстухи Марго? Как бы то ни было, он болен — лучше тюрьма, чем плохое здоровье, — и не способен работать: в некоторые минуты он подумывает, не обманывая себя, о том, что, вероятно, конец его близок.

У него в друзьях один славный малый, Фремен Ле Мэн, сын книгопродавца — присяжного и нотариуса Совета при епископе. Фремен — общественный писарь. Вийон использует свое перо, дабы сделать вид, не питая никаких иллюзий, что Фремен — его секретарь.

***И сей завет да не осудят!***

***Его я девкам завещал,***

***Хорош ли, нет ли, — будь что будет, —***

***За что купил, за то продал.***

***Притом не я, Фремен писал, —***

***Беспутнейший писец на свете,***

***И будь он проклят, коль наврал:***

***Ведь за слугу сеньор в ответе <sup>1</sup>.***

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 59. Перевод Ф. Мендельсона.

Не диктовал ли он свои 2023 стиха «Большого завещания», уже лежа в постели? Это вполне допустимо. Если прислушаться к тому, что говорит ученая братия, то вряд ли можно поверить в помутнение рассудка, послушного перу писца. «Большое завещание» — произведение человека, который прекрасно владел ресурсами своего ума, который сохранил копию «Малого завещания» 1456 года и который подвел итог своим счетам с обществом, с властями, с друзьями.

Его болезнь — это уединение, конец его любовных приключений. О чем он и говорит, не красуясь:

***Да, я любил, молва не врет,***

***Горел и вновь готов гореть.***

***Но в сердце мрак, и пуст живот —***

***Он не наполнен и на треть, —***

***На девок ли теперь смотреть? <sup>1</sup>***

Впрочем, в своем окончательном виде «Большое завещание», возможно, состоит из стихов, сложенных зимой 1461/62 годов затворником из Сен-Бенуа-ле-Бетурне. Мы не знаем позднейших переделок; некоторые комментаторы склонны полагать, что следует отнести к 1463-му и последующим годам всю первую часть произведения — приблизительно 728 стихов.

Как бы то ни было, Вийон постоянен в своих вымыслах и доверяет писцу Фремену трижды переписать «Большое завещание», что и подтверждается в описаниях нищенского существования старого изгнанника. Смерть Вийона — смерть литературная, если даже человек Вийон и побит изрядно жизнью. Фремен дремлет, и тут уже ничего не поделаешь. И вот кончается исповедь, и начинается завещание в собственном смысле слова. Поэт говорит теперь о своей мести прямо. Пусть поймет, кто сможет. Время памфлетов — против епископа Орлеанского прежде всего — прошло: отныне Вийон будет завещать свои дары.

*Пора, однако, приступать.  
Еще лишь слово, но не боле:  
Фремен, когда не лег он спать,  
Запишет всех, кто недоволен;  
Никто не будет обездолен,  
А коль гарантия нужна,  
Пусть обеспеченьем сей воли  
Послужит Франции казна!  
Фремен, тебя с трудом я вижу  
И чувствую — мой близок час.  
Возьми перо и сядь поближе,  
Дабы никто не слышал нас.  
Все, что диктую, без прикрас  
Пиши, — мне жить осталось мало!  
Я говорю в последний раз  
Для вас, друзья. И вот — начало... <sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 41. Перевод Ф. Мендельсона.

<sup>2</sup> Там же. С. 68.

Не стоит говорить, что писец, который спит, не может переписывать приказы и что ирония пронизывает строфу: «Большое завещание» — это указ, как те, что читают во время проповеди по воскресеньям во всех приходах Франции. Слабеющее сердце также включено в мизансцену: это завещание *in articulo mortis*<sup>1</sup>. Поэт идет до конца вымысла.

---

<sup>1</sup> При последнем издыхании (*лат.*).

Строфы, сложенные в конце 1461 года, — часто переделка «Малого завещания» 1456 года. Вийон острит по поводу и тех и этих, подхватывает свои находки. Он яростен, но прежде всего он развлекается. Болен ли, нет ли, Вийон организует свой литературный выход. И небеспричинно включает он в новое произведение антологию своей продукции за истекшие годы. Приуроченные к определенному случаю стихи входят в это новое «Завещание» вместе со стихами, где автор развивает новые темы — темы подлинного завещания.

Когда Вийон вызывает к жизни или пересматривает свои прошлые завещания — в этом тоже вымысел, как и в сведении счетов. Поэт — человек с жизненным опытом, он знает элементарную юридическую осторожность, состоящую в том, чтобы сделать манеру изложения исключительно ясной, дабы избежать будущих судебных процессов, основой коих стала бы противоречивость толкований текстов. Хотя вдохновение никогда не покидает поэта, он не может пожертвовать тремястами двадцатью стихами «Малого завещания», он использует их в своей новой антологии. Вийон как бы подхватывает мотивы «Малого завещания» и выставляет его напоказ.

Во время отсутствия Вийона парижская молва сделала «Малое завещание» своего рода завещанием поэту. Возможно, все торопились увидеть Вийона ушедшим в мир иной. Но он высоко поднимает древко «Малого завещания», так что даже наименее внимательный читатель понимает, что к чему.

Как всегда, вымысел у Вийона имеет двойной смысл. Даже если его философия не выходит за узкие границы, произведение 1456 года представляется, как ни посмотри, завещанием. «Оставляю именем Бога...» Однако Вийон не собирался умирать, и те, кто не так расценил его завещание, глубоко заблуждались. Иначе говоря, завещание 1456 года было игрой, а кто принял его всерьез, сам повинен в ошибке. Завещание 1461 года — чистосердечно.

Тут тоже Вийон подмигивает. Он не думает дарить уже подаренное: всем известно, что эти дары были чистой фантазией. Но он вновь возвращается к своим старым шуткам, только делает их более тонкими. И приступает к обсуждению главного: бастард де ла Барр. Этого сержанта Шатле на самом деле зовут Перренэ Маршан, а парижане знают его больше то как сутенера в борделях, то как служащего королевской юстиции. В «Малом завещании» ему отказывают мешок с сеном, дабы он мог заниматься любовью.

*Затем... но что мне дать Маршану?*

*Ему ла Барр слывет отцом,*

*Да, видно, согрешил он съяну:*

*Маршан, увы, не стал купцом!*

*Дарю ему мешок с сенцом, —*

*На этом ложе досветла*

*Он может прыгать вниз лицом,*

*Раз нет иного ремесла <sup>1</sup>.*

«Большое завещание» вернется к этой теме, чтобы подтвердить сказанное. Вийон отдает в залог «всю свою землю» для выполнения завещаний былых времен. Маршан получает дополнение к своим благам: старые циновки. Смысл даров остается прежним: держать крепко, то есть окружать, обнимать, душить <sup>2</sup>. Цинковка — для любви наспех...

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 26. *Перевод Ф. Мендельсона,*

<sup>2</sup> По-французски: tenir serré, c'est enserrer, embrasser, etreindre. В поэтическом переводе этих слов нет.

*Ну что ж, я не лишаю дара*

*Тех, кто его заполучил,*

*И, скажем, к пащенку ла Барра*

*Я стал еще добрей, чем был:*

*Тогда ему я подарил*

*Сенник. Теперь же, для обновки,*

*Чтоб ноги он не застудил,*

*Добавлю старых две циновки <sup>1</sup>.*

«Завещание», своего рода школьное упражнение, призывает публику подумать, а публика уже привыкла к словесным двусмысленностям. Когда Вийон говорит, что он оставил любовные игры, он в том же самом стихе сетует на невезение и обвиняет своего неверного друга:

*Другой, кто сыт и пьян,*

*Воспользуется этим <sup>2</sup>.*

---

<sup>1</sup> Там же. С. 67.

<sup>2</sup> По-французски этот стих звучит так:

Au fort, quelqu'un s'en recompense

Qui est rempli sur les chantiers.

Другой занимает его место, потому что его желудок не пуст. Это один смысл. Но каждый парижанин знает, что chantier — это подпорка для винной бочки, уже початой. И значит, тот, кто занял место Вийона, полон до краев вином. Тот, кто занимает место голодного, ко всему еще и пьяница.

Есть и такой смысл: некоторые толкователи считают, что стих несет в себе эротическое начало. Chantiers — это деревянные палки, которыми затыкают бочки... Не один только желудок здесь имеется в виду.

Если расколоть слова, чему с охотой предаются толкователи текстов Вийона, то получается вот что: RAMpli sur les CHANTiers — это Маршан (MAR-CHANT). Если верить некоторым поэтам XX века, и прежде всего Тристану Тцара, известному своими изысканиями в игре слов, то любителям каламбуров откроется такой смысл: Вийон уступает свое место Итье Маршану.

Эта же манипуляция предложит на выбор новые толкования стихов Вийона или появление новых стихов у поэта Вийона. И Вийон, как мы видели, окажется кокийяром, известным под именем висельника Симона Ле Дубля.

Но надо остерегаться преувеличений в разного рода толкованиях: публика XV века чаще состояла из слушателей, нежели из чтецов, а слушатель, что понятно, не может вернуться к первым строкам, как читатель.

## Творчество и итог

Помимо шуток и сведения счетов, это также время трезвых оценок. «Большое завещание» — это экзамен на здравомыслие; Вийон пока еще не при смерти, но он все равно знает, что конец близок. Даже если имеется в виду только смерть литературная, то и тут сожаления, выражаемые им, полны искренности. Подводя итоги, он таким образом хочет как-то оправдать себя.

Родись он богатым, он был бы честен. Вспоминается история пирата Диомеда. И коли бы Вийон занимался науками, а не безумствовал, он владел бы домом и спал бы на мягкой постели. Он расплачивался за все мудрыми изречениями Екклезиаста, забывая последнее из них.

*То, что Екклезиаст святой  
Велел, я выполнил давно.  
Он говорил: «Ликуй душой,  
Пока ты юн годами!» Но  
Прибавил он еще одно, —  
И это горькое признание! —  
«Что в молодости нам дано?  
Одни соблазны и незнанье!»<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 42. Перевод Ф. Мендельсона.

Он думает теперь о своих друзьях, о своих врагах, о своей жизни, о своей судьбе. Все идет чередой друг за другом в «Пляске смерти», где за всем следует Смерть, как на росписи кладбища Невинноубиенных младенцев.

Что это, автобиография? И не являлся ли сей рассказ только ярким образом на авансцене глубокого размышления о жизни и смерти? Но возможно, мы имеем дело с пародией на суд, на судейских чиновников и жалобщиков... Сводит ли тут Вийон счета или то новый фарс, насмешка над судейским сословием? Что это — парад друзей и недругов или попытка воздвигнуть пламенеющий собор?

Такие интерпретации «Завещания» предлагают или предлагали его толкователи. Было бы ошибкой искать среди них одну, исключаящую все другие. Не вернее ли полагать, что поэт

просто размышлял и вскармливал свои размышления обращением к реальной жизни? Не питает ли размышления над жизнью его собственный жизненный опыт, собственные его переживания?

Наследники из «Завещания», конечно, не просто парад разных лиц, и большинство из них не могли бы быть символами общества, закрытого для «бедного Вийона». Все вместе они, несомненно, тесно связаны с правосудием, но нам хорошо известно, что в средневековом обществе все решало последнее слово судьи. Тот факт, что епископ Орлеанский пять лет был в суде ради своей выгоды, достаточен ли для того, чтобы объяснить личную неприязнь Вийона? И было бы нелепо предположить, что всех наследников «Завещания» объединяет только тот факт, что их имена встречаются в реестрах парижских юрисдикции, будь то судья, адвокат или жалобщик...

Если поэт ни с кем не был в личных отношениях, то почему он в «Большом завещании» накинудся на тех же людей, которых пять лет до этого избрал жертвами и в «Малом завещании»? Легко заметить, что от него особенно достается знатым лицам, с которыми он никак не сталкивался и они не адресовали ему ни одного слова. Но разве скупой финансист не сыграл своей роли в жизни просящего у него? И разве учитель не занимал определенного места в злоключениях школяра-неудачника?

В часы раздумий все, что пережито, питает воображение. Жизненный опыт поставляет примеры из плоти и крови, раз уж затеяна такая игра — игра в завещание. Лица, увиденные в «Малом завещании», вновь появляются здесь, а причина этому та, что у Вийона уже сложились свои отношения с обществом: тем, в глубь которого он погрузился и которое познал.

Все это не означает, что Вийон озабочен созданием своего жизнеописания. Он поэт, а не мемуарист. Из пережитого, коим он насыщает свое воображение, он без малейшего стеснения выхватывает то, что ущемляет образ, который художник собирается рисовать. Он страдал и говорит об этом с избытком, но ничто не высвечивает для читателя «Большого завещания» те ошибки, что привели его к несчастью. Он стонает от своего заключения, от перенесенных пыток, от близости смерти. Он забывает священника Сермуза, убитого, возможно, по недоразумению, но тем не менее уже мертвого. Вы не найдете ни слова, ни даже намека на дело, которое превратило в несколько минут беглеца-школяра в убийцу и бродягу. С таким же небрежением относится Вийон к ограблению Наваррского коллежа, если только не считать нескольких слов с двойным смыслом о Табари, который бросил тень на людей, до сих пор слывших невинными шутниками. Послушать автора «Большого завещания» — так выходит, что он ни за что оказался в мёнской тюрьме. Вийон забывает и третий ложный шаг. Он упал; только обо что он споткнулся?

Вийон все время готов корить себя за то, что играл во многие игры, от души наслаждался, но он не хочет остаться в глазах потомков вором и убийцей. Все сделала Судьба. «Большое завещание» — не автобиография, это представление бедного Вийона о самом себе. Бродяга охотно становится любителем поучать, а укору сводятся к морализации. Хорошо еще, что автор не заблуждается на свой собственный счет:

Не совсем неразумный и не слишком мудрец.

Он не из тех поэтов, которые небрежно относятся к своим сочинениям и не сохраняют их копии. Вийон дорожит своими произведениями. Возможно, он носил с собой, бродя по дорогам, собрание поэм, которые могли бы стать вступлением к «Завещанию». Лучшего Сезама для двора Рене Анжуйского или Карла Орлеанского, чем багаж из рондо и баллад, не найти. Сохранив его во время странствия или отыскав по возвращении из него, Вийон всегда имел под рукой эти стихи и использовал их в «Завещании». И совершенно естественно ему пришла мысль вставить старые вещи в новую поэму. Не лучшее ли это из того, что можно завещать?

«Завещание» перестает быть завещательным вымыслом. Это сам Вийон в двух тысячах стихов, со своими надеждами, своими падениями и несчастьями. Раздавая свои дары, он делает сотни умозаключений из истории, рассказанной стихами, которые отмечают вехи его жизни.

Что он хочет подвести итог своей жизни, не вызывает сомнения, даже если он плутует, скрывая то, что ему не нравится, и даже если он бежит от своей собственной ответственности за конечное банкротство.

На этот раз речь идет о завещании, а не просто о серии даров. То, что невозможно синтезировать, он отбрасывает: несколько юношеских сочинений, несколько стихов по случаю, как, например, поэма, посвященная Марии Орлеанской, или прошение, обращенное к герцогу Бурбонскому, или несколько поэтических вещей, как баллада пословиц.

*Калят железо добела,  
Пока горячее — куется;  
Пока в чести — звучит хвала,  
Впадешь в немилость — брань польется;  
Пока ты нужен — все дается,  
Не нужен станешь — ничего!  
Недаром издавна ведется:  
Гусей коптят на Рождество <sup>1</sup>.*

Точно так же Вийон не вводит в «Большое завещание» пародию на излишний педантизм, которую он написал, будучи молодым, и где он иронизировал над недомыслием людей, все знающих.

*Я знаю летопись далеких лет,  
Я знаю, сколько крох в сухой краюхе,  
Я знаю, что у принца на обед,  
Я знаю — богачи в тепле и в сухе,  
Я знаю, что они бывают глухи,  
Я знаю — нет им дела до тебя,  
Я знаю все затрешины, все плюхи,  
Я знаю все, но только не себя <sup>2</sup>.*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 131. Перевод Ф. Мендельсона.

<sup>2</sup> Там же. С. 133. Перевод И. Эренбурга.

Не считая нескольких вещей, поэт берет все, что он сохранил из своих работ, и, не желая составлять свою антологию таким образом, чтобы выявить разносторонность таланта, он объединяет их в нечто целостное, что можно назвать судьбой Франсуа Вийона. Поскольку у нас есть «Малое завещание» 1456 года, мы знаем, что он делал из материала, предложенного воображению вымыслом последней воли завещателя, которому нечего завещать. Сказал бы нам что-нибудь первоначальный текст других поэм, подхваченных «Большим завещанием» и включенных наспех, на разных этапах, в ткань последнего замысла? Мы знаем их такими, какими они включены в последнее произведение, и мы не можем сказать, перерабатывал ли их Вийон, как он переработал тему завещаний.

И, читая окончательный вариант «Большого завещания», мы найдем баллады, изданные в 1533 году Клеманом Маро, которые будут по большей части известны потомкам по их рефрену. Отдавший свое перо на волю вдохновения или любовного разочарования, поэт в этих балладах более раскован, чем в риторических упражнениях, коими являются восьмистишия завещаний с двойным или тройным смыслом. Даже если он берет традиционные темы лирической литературы и несколько общих мест народной морали, даже если он вливает свой собственный задор в поэтические формы, уже использованные Аленом Шартье, Эташем Дешаном или Шарлем Орлеанским и даже Рютбёфом, Франсуа Вийон представляет в них весь блеск своего гения. Вспомните только...

«Баллада о дамах былых времен» появляется первой после тревожного описания смерти.

*Скажи, в каких краях они,  
Таис, Алкида, — утешенье  
Мужей, блиставших в оны дни?  
Где Флора, Рима украшень?..*

***Но где снега былых времен?*<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 47. Перевод Ф. Мендельсона.

За этим тотчас следует «Баллада о сеньорах былых времен».

***Скажите, Третий где Калист,  
Кто папой был провозглашен...  
Но где наш славный Шарлемань?*<sup>1</sup>  
Затем идет «Баллада на старофранцузском».  
А где апостолы святые  
С распятыми из янтарей?..  
Развеют ветры смертный прах!<sup>2</sup>**

На фоне размышлений о времени и жизни появляются «Жалобы Прекрасной Оружейницы» — вещь исключительная, не заимствующая свою форму ни у какого определенного типа стихов и не дающая возможности скандировать рефрен.

***Сгорели вмиг дрова сухие,  
И всех нас годы подвели!*<sup>3</sup>**

А вот «Баллада-завет Прекрасной Оружейницы гулящим девкам» — шедевр сдерживаемой эмоции, где прошлое продолжает освещать печальное настоящее, показывая преемственность поколений.

***Внимай, ткачиха Гийометта,  
Хороший я даю совет...  
Монете старой нет хождения!*<sup>4</sup>**

И подводит всему итог «Двойная баллада о любви».

***Люби, покуда бродит хмель,  
Гуляй, пируй зимой и летом...  
Как счастлив тот, кто не влюблен!*<sup>5</sup>**

<sup>1</sup> Там же. С. 49.

<sup>2</sup> Там же. С. 51.

<sup>3</sup> Там же. С. 57.

<sup>4</sup> Там же. С. 58.

<sup>5</sup> Там же. С. 62.

Кончается остроумное завещание, и далее следуют «дары». Своей матери Вийон оставляет «Балладу-молитву Богоматери», на самом деле являющуюся молитвой самого Вийона.

***О Дева-мать, владычица земная,  
Царица неба, первая в раю...  
И с верой сей мне жить и умереть!*<sup>1</sup>**

Другой подарок, столь же сложный в своем назначении, как и в своем происхождении, — это «Баллада подружке Вийона».

***Фальшивая душа — гнилой товар,  
Румяна лгут, обманывая взор...  
Не погуби, спаси того, кто сир!*<sup>2</sup>**

Ненавистному сопернику Вийон посвящает поэму, которую Маро назовет рондо:

***Смерть, взываю к твоей неумолимости...***

В память о Жане Котаре написана великолепная «Баллада за упокой души мэтра Жана Котара», где восхваляется дружба пьянчуг.

**Отец наш Ной, ты дал нам вина,  
Ты, Лот, умел неплохо пить...  
Я вас троих хочу молить  
За душу доброго Котара <sup>3</sup>.**

«Баллада о Робере д'Эстувиле» — это песнь любви и верности.

**Занялся день, и кречет бьет крылом  
В предчувствии утехи благородной...  
Вот почему должны мы быть вдвоем <sup>4</sup>.**

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 73. Перевод Ф. Мендельсона.

<sup>2</sup> Там же. С. 76.

<sup>3</sup> Там же. С. 89.

<sup>4</sup> Перевод Ю. Стефанова.

Вийон подводит итоги. Прежде всего следует обратить внимание на пышущую яростью «Балладу о том, как варить языки клеветников».

**В горячем соусе с приправой мышьяка,  
В помоях сольных с падалью червивой...  
Да сварят языки клеветников! <sup>1</sup>**

Следом идет ироничная «Баллада-спор с Франком Гонтье», где легкими мазками изложена философия наслаждения.

**Толстяк монах, обедом разморенный,  
Разлегся на ковре перед огнем...  
Живется сладко лишь среди достатка <sup>2</sup>.**

Следующее завещание — лишь предлог, чтоб написать о парижанках в «Балладе о парижанках».

**Идет молва на всех углах  
О языках венецианок...  
Но что вся слава итальянок!  
Язык Парижа всех острей <sup>3</sup>.**

Наконец, автора увлекает тема «бедняги Вийона». Он поет о печальном конце своей любовной эпопеи в «Балладе о Толстухе Марго».

**Толстуху люблю, ей служу от души,  
Хоть вовсе не глуп и собой не урод...  
В борделе, где стол наш и дом <sup>4</sup>.**

Засим следует поэма неопределенной формы, которую Маро назвал «Урок Вийона».

**Красавицы, не теряйте самой  
Прекрасной розы с ваших шляп! <sup>5</sup>**

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 97. Перевод Ф. Мендельсона.

<sup>2</sup> Там же. С. 100.

<sup>3</sup> Там же. С. 102.

<sup>4</sup> Там же. С. 106.

<sup>5</sup> Там же. С. 110.

И этот «урок» заставит появиться на свет «Балладу добрых советов ведущим дурную жизнь» — наставления, где четко сформулированы все пожелания баллад, написанных на жаргоне.

**В какую б дудку ты ни дул,  
Будь ты монах или игрок...**

*Где все, что накопить ты смог?*

*Все, все у девок и в тавернах!*<sup>1</sup>

Конец истории известен. Вийон смягчает его «Пастушкой», написанной в классическом стиле любовной шутки, перегруженной аллегориями куртуазной любви — Карл Орлеанский не отрекся бы от такой, — которая приобретает другой оттенок, ибо поэт вышел из мёнской тюрьмы и ему не до любовных связей.

*Вернувшись из страшной тюрьмы,*

*Где я оставил почти что жизнь...*

*Вернувшись*<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 112. Перевод Ф. Мендельсона.

<sup>2</sup> Дословный перевод.

Включение в сборник этих стихов, иногда стародавних, — это возможность оставить лишней раз завещательный вымысел. Нотариус удаляется, простому человеку возвращаются его права: право на любовь и дружбу, право на ярость и месть. В этом подведении итога судьбы вновь обретают жизнь стихи молодости и в то же время снова занимают свое место утерянная любовь и дружеские кабацкие связи. Имя любимой женщины произносится в акrostихе для того, кто умеет читать по вертикали: тут есть стихи, каждый из которых подразумевает расшифровку игры во всех направлениях и во всех смыслах. Таким образом Франсуа перепутывает свое имя с именем Марты в стихах «Баллада подружке Вийона»; точно таким же образом он подписывает «Балладу о Толстухе Марго».

В этой цепочке баллад на каждой остановке — слова дружбы. Такое слово посвящено доброму малому, завсегда таверны Жану Котару, написано оно, вероятно, на другой день после попойки. То же самое и с прево Робером д'Эстувилем, который был снисходителен к бродяге Вийону, подхваченному волной немилостей.

Точно так же, как он играет временами, Вийон играет новым и старым. Ключ к этой игре — в самом «Большом завещании», в восьмистишии, где проглядывает тоска человека, уже измотанного жизнью, которого отталкивают и грубо обрывают.

*Когда он говорит, ему велят молчать.*

## Пересмотр

В 1461 году Вийон возвращается в Париж. Находит ли он там прежнюю благожелательность? В «Большом завещании» он видит возможность превзойти то, что создал в годы молодости. Он подхватывает тему комических завещаний, которые дисгармонируют с размышлениями о жизни, с представлениями о жизни. «Бедняга Вийон» показывает, что сейчас он глубже и серьезнее рассуждает на ту же тему, чем полный сил наивный сочинитель, когда он в 1456 году писал «Малое завещание».

Однако вымысел завещания не затушевывается вовсе. Разочарование в любви и обманутая дружба находят свое выражение в тех дарах, которые сводят на нет великодушные «Малого завещания». Вийон, выступая в роли старика, предопределяет поведение своих близких, корректируя его своим завещанием.

Это происходит и с богатым писцом Пьером из Сент-Амана, которому завещаны «Белая лошадь» с «Мулом». В «Большом завещании» все более определенно выражено, чем в «Малом», — ярость поэта растет. Вийон пересматривает свои дары, говоря более определенно о Жаннетте Кошро, жене могущественного чиновника. Это она сделала из поэта «каймана», бродягу. Не говоря уж о том, что она ввергла его в отчаянье. О чем тут речь: о деньгах, о любви?

Вийон изощряется в своей игре. Он использует замену. Когда-то он завещал Итье Маршану «стальной кинжал» — шпагу, конечно, но также на жаргоне, выдуманном добрым парижским людом, мужской член, даже фекалии. Короче, непристойный дар для слишком

счастливого соперника... Теперь поэт возвращается к завещанному. «Кинжал» предназначается адвокату Шаррьо, несчастному герою недавнего происшествия — неожиданной смерти его сына, — но также товарищу по лицу, ставшему модным адвокатом. Возможно, Шаррьо отказался помочь старому товарищу, впавшему в нищету. А возможно, стал вероломным соперником влюбленного Вийона, более удачливым, чем его друг. Что касается Маршана, он удовольствуется «De profundis»<sup>1</sup> в память о его любовнице.

*Итье Маршану подарил  
Я в дни былые свой кинжал;  
Теперь стихи я сочинил,  
Чтоб он мотив к ним подобрал,  
О той, кого Итье знал,  
Сей De profundis без имен:  
Я называть ее не стал,  
Чтобы меня не проклял он<sup>2</sup>.*

---

<sup>1</sup> «Из глубины» (лат.) — начало католического псалма.

<sup>2</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 77. Перевод Ф. Мендельсона.

«De profundis» — это только для отвода глаз. Вийон оставляет новому любовнику своей старой подруги Катрин де Воссель — если только действительно речь о ней — рондо «О смерть, как на душе темно!», сочиненное им, Вийоном, ради прекрасных глаз своей подруги. Катрин живехонька, а та, кого любил Вийон, мертва. Но можно предполагать, что с его смертью — или отъездом (отходом: не будем забывать двойственный смысл этого слова) — тот, кто займет место Вийона, не будет обладать талантом, необходимым, чтобы отдать ему должное. Грозное завещание Вийона Итье Маршану — это лишить его любовного вдохновения. Пощечина, наотмашь, бьет глупого Маршана и задевает Катрин, которая его предпочла другому.

Но Вийон щадит все-таки даму, когда оскорбляет ее нового любовника. Лишив его «кинжала», который мог бы ему быть полезен, Вийон умалчивает о «чехле». Нетрудно догадаться, что такое чехол...

*Затем, получит пусть, вдвоем  
С Итье Маршаном, мой кинжал  
Наш адвокат Шаррьо Гийом,  
А сверх того один реал  
Ему за труд я завещал;  
И пусть еще получит, коль не  
Доволен тем, что мало дал,  
Звон тамплиерской колокольни<sup>1</sup>.*

Шаррьо не отделяется так просто. К «кинжалу», отданному на службу тому, кто в нем нуждается, поэт добавляет реал, золотую монету. Ее подняли с пола храма или украли на большой дороге. У читателя не остается никакого сомнения насчет дополнительных «даров»: «чтобы его кошелек раздуло». Так что Катрин или кто-нибудь еще может перейти из рук Итье Маршана в руки Гийома Шаррьо.

По мере того как шутка начинает перерастать в откровенную атаку, Вийон делает ее все более язвительной, он отказывается от простой игры слов наподобие той, что велась им в «Малом завещании», когда он обыгрывал название лавок и возникавшие в связи с этим образы. Теперь он заменяет имена партнеров в этих гротесковых дарах именами животных, что изображены на вывесках таверн. «Мул» становится «Клячей». Но «Белый конь» преобразуется в «Красного осла», супруга меняет таким образом «ленивого» мужа на распутного любовника.

Не является ли это плутовство пересмотром подношений? Нисколько. Знатоки легко разгадают, что поэт ведет речь о муже-рогоносце и распутной жене.

*Затем, подарок всех щедрей,*

*К чете Аман любовь храня,  
Им оставляю, чтоб детей  
Они плодили и, меня  
Напрасно больше не кляня,  
Утешились любовным пылом:  
Ей дам не «Зебру», а коня,  
Ему — не «Мула», а кобылу<sup>2</sup>.*

---

<sup>1</sup> Там же. С. 80.

<sup>2</sup> Там же. С. 79.

Постепенно продвигаясь вперед, поэт, который становится все более красноречивым, поистине дает образцы емкости слова. Тем хуже для читателя, если он этого не замечает. Так, наполняется значимостью завещание сутенеру сержанту Перренэ Маршану. В «Малом завещании» употребляется просто-напросто имя человека, данное ему при рождении. Рифма бедная, поэт не мудрствует.

*Затем... но что мне дать Маршану?  
Ему ла Барр слывет отцом,  
Да, видно, согрешил он спьяну:  
Маршан, увы, не стал купцом!<sup>1</sup>*

«Большое завещание» утяжеляет оскорбление и усложняет чтение. Вийон говорит: у Перрена все фальшиво.

*Пернэ Маршан, ла Барра чадо,  
Кто всех знатнее и честней,  
Получит от меня награду:  
В герб — пару шулерских костей  
И карты с крапом всех мастей.  
Но если, где-нибудь играя,  
В штаны навалит рыцарь сей,  
Чумою труса покараю!<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 26. Перевод Ф. Мендельсона.

<sup>2</sup> Там же. С. 83.

Среди тех, кому завещают, есть новые лица, но есть и друзья, которым Вийон не завещает ничего, и это часто гораздо хуже. У семьи Пердье печальное преимущество: они относятся и к тем, и к другим. В точной бухгалтерии долгов и претензий поэта в 1456 году у них еще нет открытого счета. Сыновья менялы с Большого моста, ставшего одним из именитых парижских финансистов, конечно, современники мэтра Франсуа, но совершенно ясно, что пути их не перекрещиваются. Ни Жан, который добьется благородного сана, ни Франсуа, который так и останется торговцем, и не пытались получить образование. И однако в 1461 году в «Большом завещании» промелькнули две посвященные им строфы, которые главным образом послужили для того, чтобы ввести небывалой силы балладу.

Пердье — люди богатые. Франсуа чем только не торгует, начиная от рыбы парижанам до соли для королевских амбаров. Было бы преувеличением говорить об огромном состоянии Пердье, но они, без сомнения, занимают видное положение в деловом мире. Шлепок, который они поначалу получают от поэта, не случаен: они отказались ему помочь. В чем именно — мы не знаем.

Точно так же мы не знаем, почему болтовня Франсуа Пердье чуть было не привела поэта на костер. Что он сделал? Вернее, что сказал? Костром наказывали еретиков...

Потрясшее его волнение привело к словесному потоку, ярость превалирует над разумом. Видя себя уже поджаренным, Вийон взывает к авторитету Тайевана, повару Карла VI, чья «Мясная кулинария» является одной из первых наших книг гастрономического искусства.

В конечном счете неосторожность или недоброжелательство Франсуа Пердье, которого поэт называет своим кумом, дали нам возможность увидеть любопытный рецепт, «ресипт», который явно не в компетенции Тайевана. Вийон обязан рецептом «Хвостам Макэра», злого повара из сатирической литературы XIV века.

*Затем, ни Франсуа, ни Жану  
Пердье, хоть с ними и знаком,  
Я ничего дарить не стану,  
На гроб земли не брошу ком!  
Их злобным, лживым языком  
Перед епископом из Бурже  
Я выставлен был дураком —  
Нет в мире униженья хуже!  
Я книги Тайевана взял,  
Искусство поваров постиг,  
С усердием рецепт искал,  
Как мне сварить такой язык.  
Но только маг Макэр, кто вмиг  
Хоть черта превратит в жаркое,  
Мне вычитал из черных книг  
И средство передал такое...<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Там же. С. 96.

Эти стихи толковали и так и эдак. Какое преступление чуть было не привело поэта на костер? Каково участие в этом деле Пердье? Почему в Бурже? Поистине все заслуживает того, чтобы привести «Балладу о том, как варить языки клеветников».

*В горячем соусе с приправой мышьяка,  
В помоях соевых с падалью червевой...  
Да сварят языки клеветников!<sup>1</sup>*

## Последние намерения

Как и положено, в завещании, надлежащим образом прошедшем перед свидетелями, Вийон распорядился и своими благами, и своими творениями. Теперь он занят тем, как подняться из низов общества.

Прежде всего он поручает нотариусу привести все дела в порядок. Его выбор падает на одного из тех, кого он никогда не видел, но чья компетенция достаточна: она сводится к тому представлению, которое у Вийона складывается о себе самом. Жан де Кале — толкователь светских завещаний. Прежде чем поразвлечься скучным перечнем услуг, которыми нотариус зарабатывает себе на жизнь, Вийон уточняет, что его выбор означает следующее: он больше не клирик. Бедный школяр хочет видеть себя светским человеком. Не из-за епископа ли Орлеанского принял он это решение?

*Затем, чтобы меня узнал  
Нотариус Калэ (чей дом  
Я тридцать лет не посещал*

*И с коим вовсе незнаком),  
Все завещанье целиком  
Ему оставлю на расправу:  
Коль что неясным будет в нем,  
Он объяснять получит право  
И обо всем судить, рядить,  
Все проверять, сопоставлять,  
Соединять или дробить,  
Приписывать иль сокращать,  
А если не учен писать,  
То каждую строку мою  
К добру иль к худу толковать, —  
На все согласие даю <sup>2</sup>.*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 97. Перевод Ф. Мендельсона.

<sup>2</sup> Там же. С. 118—119.

Дальше он к этому вернется: к этому нотариусу из Шатле, коему специально поручено заниматься завещаниями.

На время вновь входит в свои права набожность. Не упоминая о чистилище, Вийон думает о душах, которые еще ждут Искупления. Но сатира тоже не уступает своих прав, и поэт помещает в это чистилище, каким он его себе представляет, всех, кого он ненавидит: хамов и судей. Они жили ради блага общества; именно поэтому они и страдают в потустороннем мире. Вызывая образ святого Доминика, признанного отца Инквизиции, Вийон еще раз обращается к завещанию. Инквизиция — это то, чего пока боятся светские судьи и братья во Христе — ненавистные соперники светских властей.

*Сей скорбный дар — для мертвецов,  
Чтоб рыцарь и скупой монах,  
Владельцы замков и дворцов  
Узнали, как, живым на страх,  
Свирепый ветер сушит прах  
И моет кости дождь унылый  
Тех, кто не сгинул на кострах, —  
Прости их, Боже, и помилуй! <sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Там же. С. 115.

Очередь дошла и до похорон. Намеки трудны для понимания. Погребение в Сент-Авуа — простая шутка: у монахинь Сент-Авуа часовенка помещается на первом этаже их дома, и полом у них служит земля. Большая каланча — из стекла, а четыре кругляша у звонарей — это камни, как те, которые бросали недавно в первого мученика.

Смысл раскрывается здесь только благодаря оттенкам, ибо добрый буржуа, предчувствующий близкую смерть, не станет входить во все детали колокольного звона, свечей и черных накидок, расшитых серебром. «Пусть его сопровождает долгий колокольный звон», — говорит тот, кто знает, что колокольный звон означает процветание. «И двенадцать фунтов воска для четырех свечей, каждая по три фунта», — уточняет он.

Карикатура на эти последние распоряжения — так именитый житель радеет о том, чтобы запечатлелся в веках его образ, и о своем реноме — распространяется целиком на портрет знаменитости. Вийон желает, чтобы сделали и его портрет тоже, и во весь рост. Чернилами. А надгробная надпись пусть будет начертана обыкновенным углем.

*Прошу, чтобы меня зарыли  
В Сент-Авуа, — вот мой завет;  
И чтобы люди не забыли,  
Каким при жизни был поэт,  
Пусть нарисуют мой портрет.  
Чем? Ну, чернилами, конечно!  
А памятник не нужен, нет, —  
Раздавит он скелет мой грешный!  
Пусть над могилою моею,  
Уже разверстой предо мной,  
Напишут надпись пожирнее  
Тем, что найдется под рукой,  
Хотя бы копытю простой  
Иль чем-нибудь в таком же роде,  
Чтоб каждый, крест увидев мой,  
О добром вспомнил сумасброде...<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 119—120. Перевод Ф. Мендельсона.

Вот каков Вийон и какой должна быть память о нем. Но сравним это с последней волей председателя Парламента:

*«Пусть медная доска будет забрана в железо  
и свинец возле этого места погребения,  
и пусть туда будет вписано с целью увековечения  
некое ежедневное „De profundis“».*

Поэт насмешничает, и это не оставляет вас равнодушными, поскольку он ничего не присочинил. Посмертная судьба поэта, которую он сам организует, соизмеряется с той судьбой, которую он пережил. Как обычно, он всматривается то в один лик того двойственного человека, каким себя осознает, то в другой.

По правде говоря, выбирает, как всегда, не он. Кто он: «добрый безумец», который ратует за легкую судьбу, или «бедный Вийон», который несет тяжкое бремя этой судьбы? Прежде чем приказывать, чтобы зазвучал колокольный звон — желательно на большой колокольне, — и доверить богатому торговцу вином Гийому дю Рю заботу о свечах на похоронах, он сам составляет эпитафию. Убожество моральное, убожество физическое — все смешалось. Он все отдал, но страдает от любви. Он был обрит и выставлен на посмешище. Он взывает... К кому?

Походя скажем о печальном его портрете. Тут вся никчемность Вийона, скрытая под эвфемизмом «обрит», но, конечно, брови, и борода, и голова тут ни при чем. Износившийся, больной старый бродяга и заключенный теперь просто плешивый неудачник с мертвенно-бледной кожей.

Он унижен. Бедный, как никогда, Вийон замыкается в своей униженности. И от этого у него рождается целая серия благородных образов — они вызывают к жизни возвышенные чувства, напоминают об исключительности человеческого достоинства, — а также образов вульгарных, заставляющих разом забыть вдохновение и идеал. Здесь Вийон далек от кабацкой непристойности, от эротической чепухи, столь долго влиявших на поэта. Но вульгарность проступает иногда в обобщенных образах. От стиха к стиху мы движемся между лексикой прославления подвигов и куртуазного лиризма и жаргоном кухни или конторы. Три слова возносят нас на невиданные выси честолюбия, и три слова ввергают в бездну духовной нищеты. Это чья-то драма, это общая судьба. С одной стороны, «постоянная ясность», «разумная глава», «неумолимость»... С другой — миска, петрушка, очищенная репа.

Вийон говорил все время «голова». Здесь он говорит «глава». Это не случайно. И с сознанием производимого эффекта он рифмует «я взываю» с вульгарным «дала под зад». Все пережитое поэтом — в этом автопортрете, написанном им с жестоким диссонансом словарного запаса, диссонансом, который швыряет из стороны в сторону читателя, как Судьба швыряла свою жертву.

Последнее возвращение к аллегорической грамматике куртуазного жанра позволяет пригвоздить к позорному столбу несправедливость Судьбы. Эта неумолимость — персонаж, достойный «Романа о Розе». Неумолимость была уже в «Балладе подружке Вийона», где она противопоставлялась Праву, то есть Справедливости: «Право не соседствует с Неумолимостью». Когда Вийон пишет эпитафию, он настойчиво подчеркивает роль Неумолимости. Он умирает от Несправедливости, от Вероломства. Изгнанный, заточенный, он жертва Неумолимости. Больше всего ставит он в вину епископу Орлеанскому несправедливость.

Поэт не доходит до того, чтобы обвинять Бога. Хотя, возможно, и подумывает об этом. В конечном счете вся важность сказанного свелась к шлепку по заду и к бумагомаранию. Вийон сказал то, что он хотел сказать. Он пожимает плечами.

*Здесь крепко спит в земле сырой,  
Стрелой Амура поражен,  
Школяр, измученный судьбой,  
Чье имя — Франсуа Вийон.  
Своим друзьям оставил он  
Все, что имел на этом свете.  
Пусть те, кто был хоть раз влюблен,  
Над ним читают строки эти...<sup>1</sup>*

#### Рондо

*Вечный покой дает ресницам  
Бог и вечную ясность  
Тому, у кого не было ни миски,  
Ни луковицы, ни стебелька петрушки.  
Он был обрит, и голова и брови, борода  
Как репа, с которой срезают кожу.  
Вечный покой дарован ресницам...  
Неумолимость погнала его в ссылку  
И дала ему коленом под зад,  
А он настойчиво твердит: «Я взываю!»  
Кто находит любой выход,  
Вечный отдых дает ресницам...<sup>2</sup>*

Поэт смешивает все: Вийон утомлен жизнью, и жизнь устала от Вийона. Умрет ли он осужденным? Угаснет ли от переутомления? Осужденный Судьбой? Людьми? Он сам уже ничего не понимает. И литературный вымысел, как в рондо, с почти литургическим повторением стиха «Requiem eternam dona ei»<sup>3</sup>, сочетается с лихорадочным рождением миражей. Он оплакивает свою нужду, но у него есть при себе его книги. Болезнь вот-вот унесет Вийона, но его еще сжигает жар любви.

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 120. Перевод Ф. Мендельсона.

<sup>2</sup> Дословный перевод.

<sup>3</sup> Вечный покой даруй (лат.).

*...И вот, до нитки разорен,*

***Скончался, претерпев страданья,  
Амура стрелами пронзен... <sup>1</sup>***

Комедия рушится. Автор «Завещания» резко порывает с вымыслом.

***Когда он захотел покинуть этот мир...***

Что тут сказать? Добровольно ли уходит он? Испытывает ли он горечь? Мученик любви все осмеивает. И кончает он завещание двумя балладами, обязанными своим появлением глубокой нищете. Одна баллада — тревожный призыв к миру, который будет после него. Маро назвал ее «Балладой, в которой Вийон у всех просит прощения» и где звучит один и тот же рефрен.

***Прошу монахов и бродяг,  
Бездомных нищих, и попов...  
Я всех прошу меня простить <sup>2</sup>.***

Другая заканчивает и как бы ставит печать на завещание. Вийон объявляет законной свою последнюю волю и скрепляет ее клятвой. Но с помощью каких реликвий!

***Вот и готово завещанье,  
Что написал бедняк Вийон.  
Теперь сходитесь для прощанья,  
Для самых пышных похорон  
Под громкий колокольный звон, —  
Он умер, от любви страдая!  
В том гульфиком поклялся он,  
Юдоль земную покидая <sup>3</sup>.***

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 127. Перевод Ф. Мендельсона.

<sup>2</sup> Там же. С. 125.

<sup>3</sup> Там же. С. 127.

Остается только умереть. Клятва утверждает обратное: у Вийона нет ни малейшего желания умирать.

## **Глава XX**

### **Я отвергаю любовь...**

#### **Измены**

Вийон сам определил контуры мира, где ему не отказано в нежности и где он в своих несчастьях находит некоторое утешение.

Речь идет о поэме, во всех отношениях трудной. Клеману Маро было угодно назвать ее «Баллада, в которой Вийон просит у всех прощения». В этой балладе, если вспомнить точный смысл термина «завещание», уже обличающего общество, поэт, представив себя умирающим, в последний раз взывает к всеобщему состраданию.

Кому предназначается его крик отчаянья? Кого вновь ищет его трагический взгляд? Тех, кто сбросил его со счетов? Тех, кто не понял его при жизни? Тех, кто его презирал? Тех, кто отказывал ему в любви? Как бы то ни было, благодаря тональности, внезапно меняющейся с третьей строфы, и силе, которую он вкладывает в стихи о своих палачах, вопреки угрозам в конце баллады Вийон злорадно смешивает в гротесковом карнавале лицемеров, братьев нищих, молодых щеголей, шелкающих каблуками на новый манер, прохаживаясь по парижской мостовой, хорошеньких девушек, затянутых в узкие платья, и легкомысленных служанок, выставляющих

напоказ свои груди, чтобы получить чаевые. Крик боли, которым заканчивается «Большое завещание», — лишь проявление упадка духа. Жалость, о которой молит поэт, заключена в образе радостей, испытанных им; он претерпел и равнодушие, и вражду.

*Прошу монахов и бродяг,  
Бездомных нищих, и попов,  
И ротозеев, и гуляк,  
Служанок, слуг из кабаков,  
Разряженных девиц и вдов,  
Хлыщей, готовых голосить  
От слишком узких башмаков, —  
Я всех прошу меня простить.  
Шлюх, для прельщения зевак  
Открывших груди до сосков,  
Воров, героев ссор и драк,  
Фигляров, пьяных простаков,  
Шутейных дур и дураков, —  
Чтоб никого не позабыть! —  
И молодых, и стариков, —  
Я всех прошу меня простить.  
А вас, предателей, собак,  
За холод стен и груз оков,  
За хлеб с водой и вечный мрак,  
За ночи горькие без снов  
Дерьмом попотчевать готов,  
Да не могу штаны спустить!  
А потому, не тратя слов,  
Я всех прошу меня простить.  
Но чтоб отделать этих псов,  
Я умоляю не щадить  
Ни кулаков, ни каблуков!  
И всех прошу меня простить <sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон Лирика. М., 1981. С. 125—126. Перевод Ф. Мендельсона.

Завещание все, до последней строчки, вымышлено Вийоном, хорошо знакомым с языком судей: в свой последний миг умирающий просит прощения у всех, с кем он имел дело. Баллада эта — каталог ссор магистра Франсуа Вийона.

Есть люди, у которых он хотел бы попросить прощения — ведь в это мгновение ему нужно чуточку жалости. Но есть другие, от них ему не нужно подачек. Однако у него были не только девки с постоянных дворов, позволяющие ласкаться себя, не только жадные до денег шлюхи Толстуха Марго и Марион л'Идоль; Вийон познал истинную любовь. Он бредил ею. Он подвергал себя опасности. Выставленный вон, мэтр Франсуа никому не давал прикасаться к своей ране.

Катрин де Воссель остается тайной для историков, и слава Богу. Мы знаем только имя той, что, без сомнения, была большой любовью Франсуа Вийона и что отвечала ему лишь язвительными попреками. Кроме того, известно, что семья под именем Воссель проживала вблизи Наваррского коллежа, недалеко от Сен-Бенуа-ле-Бетурне. Само имя, впрочем, появляется только как повод для упрека.

*Меня ж трепали, как кудель,*

*Зад превратили мне в котлету!  
Ах, Катерина де Воссель  
Со мной сыграла шутку эту<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 63. Перевод Ф. Мендельсона.

Итак, Катрин велела его «трепать, как кудель», его «зад превратили в котлету». Та ли это Катрин, о которой шла речь уже в «Малом завещании» 1456 года? Возлюбленная поэта неизвестна, но упреки, адресованные ей, точно такие же, какие будут в «Завещании» 1461 года. Она его завлекла. Он знал ее нежные взгляды... Она всех вводит в заблуждение... И она совершает неблагоприятный поступок в тот миг, когда поэт пребывает в полной уверенности, что она принадлежит ему. «Вероломная и жестокая», она сама рвет любовную связь, соединявшую их.

Лицом к лицу с Селименой, Альцест — Вийон ведет себя так, как только и возможно в подобном случае: он делает вид, что ему все нипочем. Он скоморошествует. Он ищет прибежища в бессмыслице, которая ему обойдется дорого: «Из-за нее умирают здоровые члены». Он смеется над собой: в высоком тоне куртуазной, официальной поэзии, которая еще всю блещет в аристократическом обществе, он завещает возлюбленной свое сердце.

*Затем тебе, подруге милой,  
Из-за которой вдаль бегу,  
Кто радости меня лишила  
И мысли спутала в мозгу,  
Оставлю сердце. Не могу  
Столь тяжкий груз в груди нести!  
Оно погибло, я не лгу, —  
За это Бог ее прости!<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Там же. С. 22.

С отчаянной решимостью Вийон объявляет об уходе в ответ на безразличие его дамы сердца, но видно также, что иные женские образы, встречающиеся в его поэзии, несут отпечаток добродетели. Впрочем, он отправляется искать другую. Он как бы пожимает плечами, прибегая к словесному эротизму: он идет «обрабатывать другие поля».

Пятью годами позже Вийон вернется в Париж. Катрин по-прежнему будет холодна к этому любовнику, в котором она видит, быть может, лишь бродягу, продрогшего и изрядно потрепанного. Поэту остается только признать, что его место занято.

Он старается забыть свою парижскую любовь. В его жизнь вошла Марта — Марта, чье имя появляется в акrostихе так же, как и имя Франсуа в конце «Баллады подружке Вийона». Марта сослужит ему в Блуа добрую службу, представив и рекомендовав его Карлу Орлеанскому, доброму сеньору, принцу влюбленных.

Он вспомнил о Марте, потому что знал одну Марту и потому что, возможно, в это время она ему сочувствовала. Но баллада — не что иное, как стилистическое упражнение на заданную тему, весьма традиционную: об отвергнутой любви. В риторическом контексте куртуазной любви, где сталкиваются пороки и добродетели, скрываясь за условными аллегориями и клише, заимствованными у рыцарской этики, являющейся основой куртуазности, «Баллада подружке Вийона» звучит в унисон. Бегство и бесчестие в словаре куртуазной любви — то же самое, что вероломная прелесть и вводящая в заблуждение фальшивая красота. В этих поединках умирают, не нанеся ни одного удара.

Персонажами не являются ни Марта, ни Франсуа. Имена здесь — ради посвящения, а истинные персонажи — это герои «Романа о Розе», слегка переименованные: Гордость, Лицемерие, Безжалостный взгляд... Вийон не дает высказаться своему сердцу, как Гийом де Лоррис или Жан де Мён в 21 780 стихах «Романа». «Роман о Розе» был антологией чувства, как

одного, так и множества людей; «Баллада подружке Вийона» — лишь свидетельство мастерства изголодавшегося клирика, который старается отличиться, дабы ублажить мецената.

Бесплатное развлечение или возможность введения во Двор, «Баллада подружке Вийона» послужила, без сомнения, трем целям. Принцу она говорила о Вийоне и, быть может, в пользу Вийона. Марте она напомнила о Франсуа. Эти жестокие стихи — месть бывшего любовника Катрин де Воссель, и позднее они будут включены в «Большое завещание».

***Фальшивая душа — гнилой товар,  
Румяна лгут, обманывая взор,  
Амур нанес мне гибельный удар,  
Неугасим страдания костер.  
Сомнения язвят острее шпор!  
Ужель в тоске покину этот мир?  
Алмазный взгляд смягчит ли мой укор?  
Не погуби, спаси того, кто сир!  
Мне б сразу погасить в душе пожар,  
А я страдал напрасно до сих пор,  
Рыдал, любви вымаливая дар...  
Теперь же что? Изгнания позор?  
Ад ревности? Все, кто на ноги скор,  
Сюда смотри: безжалостный кумир  
Мне произносит смертный приговор!  
Не погуби, спаси того, кто сир!<sup>1</sup>***

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 76. Перевод Ф. Мендельсона.

Хотел ли он забыть Катрин? Разгонял ли он скуку? За куртуазным вымыслом проглядывает горечь, не связанная ничем с правилами поэтической игры. Вийон сокрушается о безвозвратной потере — об утрате любовных иллюзий. Прошло время, когда он ходил «обрабатывать другие поля». Возраст дает о себе знать, а тут еще и нищета. Возраст гонит миражи любви. По правде говоря, он отгоняет и образ любимой...

***Старым я буду. А вы безобразной, бесцветной.***

В Париже любовь была драматичной. В ссылке 1457— 1460 годов она становится мучительной. Отказ в помиловании делает еще более горестными годы, проведенные им вне Парижа.

Вийон забывает Марту. Он бережет свою поэму. В то время как судьба поэта ужесточается, стихи прошедших лет приобретают новое звучание: они не только стихи-воспоминание, они также и оружие.

Ибо в Париже, куда он возвращается в 1461 году по выходе из мёнской тюрьмы, Вийон вновь встречает Катрин и узнает, что она дарит богатому Итье Маршану то, в чем отказывала бедному школяру. Маршан — свой человек при дворе Карла Французского, брата нового короля Людовика XI. Он и дипломат, и финансист, интриган и посредник, деньги к нему сами идут. Поэт говорит о нем с недоброжелательностью, не вписывающейся в условности любовной битвы: Катрин любит только за деньги. Чувствуя все время возобновляющуюся обиду и унижение, Вийон во власти одной лишь мысли: его предали. Катрин предпочла ему другого. Она привела его на дорогу любви затем, чтобы бросить там.

***Но я еще любил тогда  
Так беззаветно, всей душою,  
Сгорал от страсти и стыда,  
Рыдал от ревности, не скрою.***

*О, если б, тронута мольбою,  
Она призналась с первых дней,  
Что это было лишь игрою, —  
Я б избежал ее сетей!  
Увы, на все мольбы в ответ  
Она мне ласково кивала,  
Не говоря ни «да», ни «нет».  
Моим признаниям внимала,  
Звала, манила, обещала  
Утишить боль сердечных ран,  
Всему притворно потакала, —  
Но это был сплошной обман <sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Там же. С. 64.

Вийон оплакивает не плотскую любовь, в которой ему отказывала Катрин. Он оплакивает душевную близость, подаренную ему Катрин, но, оказывается, его обманывали. Ему невыносимо вспоминать об их посиделках, о том терпении, с коим она слушала его бесконечную болтовню.

Заставляла ли она его сражаться за нее? Ягоды смородины, которые он жевал, не были ли они с тех веток, которыми в Париже обычно стегали детей? Действительно ли она выпроводила своего возлюбленного и оставила голым у дверей? Но дано ли кому-нибудь что-либо знать об этом поэте-самоистязателе — ведь он мог говорить все что угодно, чтобы обвинить неверную?

Теперь он в ярости. Он презирает возлюбленную и называет ее отныне не собственным именем, а лишь именем обобщенным. «Дорогая Роза» — так обычно обращаются к любимой женщине. «Роман о Розе» здесь просто вовремя пришел на память. Всякая женщина зовется Розой, и народные поэты, шансонье, сочинители песенок, используют и даже злоупотребляют символом, который по необходимости выступает то цветком, то каплей росы. «Нежная Роза», «Алая Роза» — это возлюбленная. Вийон насмешничает, когда гневно набрасывается на свою «Дорогую Розу».

*Тебе же, милая моя,  
Ни чувств, ни сердца не дарю я:  
Твои привычки помню я,  
Ты любишь вещь совсем другую!  
Что именно? Мошну тугую:  
Кто больше платит, тот хорош! <sup>1</sup>*

Вийон наговорил так много грубостей, что больше и быть не может. Он играет на двух словах: foie и foî <sup>2</sup>, чтобы передать стиль куртуазной поэзии: своей честью он обязан даме, так же как и распутством; разные чувства питают сердце и желудок! И зачем ей любовь, если она достаточно богата? Спустя некоторое время он пригвоздит ее к позорному столбу, сделав ее прямой наследницей «Мишо» и «добротного Футера», иначе говоря неприличной карикатурой на любовь. Пусть выпутывается...

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 74. Перевод Ф. Мендельсона.

<sup>2</sup> Печень и вера, честь (франц.).

Когда же речь идет о том, чтобы направить посланника к Катрин де Воссель, доставившего бы ей «Балладу подружке Вийона», сочиненную в честь Марты или кого-то подобного ей, то Вийону приходит на память самое ужасное действующее лицо галантных приключений парижан Перрена ла Барр, сержант с хлыстом, специалист по ночным налетам на обитательниц борделей:

*Коль встретит этот кавалер  
Мою курносую подругу,*

***Пусть спросит на такой манер:***

***«Что, девка, дело нынче туго?»<sup>1</sup>***

В своей охоте на проституток он вполне может повстречаться с Катрин. Вот поэт и дает ему наказ... С комментарием.

Вийону мало назвать ее шлюхой, он оскорбляет ее еще сильнее. Он оттачивает свои стрелы: он предлагает своему сопернику Итье Маршану рондо, написанное недавно на смерть, возможно, вымышленной возлюбленной. Стихи касаются Розы — Катрин в такой же степени, как и Итье.

Как бы поэт ни проклинал ушедшую от него любовь, сколько бы ни клялся, что «страсти голос нынче смолк», никто ему не верит. Неистовствовал бы он, если бы ему все стало безразлично?

***Тебе, по-моему, и так***

***Хватало на парчу и шелк.***

***Я раньше мучился, дурак,***

***Но страсти голос нынче смолк<sup>1</sup>.***

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 75. Перевод Ф. Мендельсона.

## **Спор о «Романе о Розе»**

Вийон прекрасно вписывается в интеллектуальный фон «Романа о Розе». «Никому никогда не встречалась праведница», — клялся Жан де Мён, основывая на этой аксиоме циническую мораль и ставя знак равенства между вечными поисками «Розы», то есть любимой женщины, и бесплодностью попыток найти объект, достойный страстной любви. Нет ничего более женоненавистнического в конечном счете, чем эта куртуазная любовь, разыгрываемая примитивными писцами. Средневековье, известное своими любовными подвигами, в сущности, отрицает роль женщины в этом обществе.

Магистр Франсуа де Монкорбье читал «Роман о Розе». Он упоминает о нем один раз, как упоминает и Жана де Мёна. Но он черпает в нем вдохновение, цитируя его по памяти и смешивая «Завещание» Жана де Мёна с самим «Романом». Читал ли он его целиком? Дань, которую он ему отдает, на первый взгляд может показаться незначительной: он выхватывает несколько часто встречающихся образов; в первом ряду фигурируют братья ордена нищих, возможно, это наследие университетской традиции, а возможно — глубокое прочтение Жана де Мёна. Отметим, впрочем, что Вийон добавляет — вписываясь таким образом в традицию фавлю, но подновляя ее, — новую черту к портрету моралиста Фо Самблана: шутовство.

Мораль «Романа», передающая суть человеческих взаимоотношений, во всех смыслах груба, даже если невинные слова прячут цинизм под удобным флером аллегорий.

***Любовь — это мир вероломный***

***И битва в неге истомной,***

***Это неверная верность***

***И верная лицемерность<sup>1</sup>.***

Известен эпикурейский совет «Старухи», который во всем предвосхищает «Прекрасную Оружейницу». Бог не создал ни Робишона только для Марот, ни Марот — только для Робишона. Мораль Жана де Мёна оправдана природой: Бог так хотел.

***Уж так назначено судьбой:***

***Любой готов возлечь с любой***

***И с каждым каждая не прочь***

***В уладах провести всю ночь.***

Из страха, что его неверно поймут, Жан де Мён называет вещи своими именами:

*Уж так ведется меж людьми,  
Что все мы выглядим б...ми <sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Перевод Ю. Стефанова.

Вийон более или менее примыкает к этой морали, но он не может быть так же интеллектуально раскован, как Жан де Мён. Он, конечно, близок мировоззрению клирика XIII века, несмотря на то, что его устои вот уже полвека назад подверглись критике Кристины Пизанской в ее «Послании Богу Любви», но он отдаляется от этого мировоззрения посредством языка, не переносящего вялой subtilité аллегорий и прибегающего к живым символам, где поэт находит силу, непосредственно питающуюся театром и фаблю. Герои Вийона имеют свое лицо, свое имя и место в Париже. У них есть свои места и в церкви, и в кабаке. В то время как почти современник Вийона Мишо Тайеван рифмует не без труда длинные риторические изыскания «Любовной отставки» и «Власти судьбы», не забывая представить условную битву Глаза и Сердца, Вийон срывает маски и выводит на сцену своих любовниц и своих соперников. Истинных или предполагаемых? Сомнение в биографической достоверности ничего не меняет: Катрин де Воссель — не аллегория. Предположим, у нее было бы другое имя, все равно это реальная женщина.

Когда при случае поэт бросается в известную нам игру, «похожие», которыми он манипулирует, несмотря на имена, коими он их награждает, не являются аллегориями из репертуара литературной традиции. В «Споре Сердца и Тела Вийона» они — сам Вийон.

— *Опомнись! Ты себя загубишь, Тело...*

— *Но ведь иного нет для нас удела...*

— *Тогда молчу. — А мне... мне наплевать <sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 147. Перевод Ф. Мендельсона.

Для страдающего человека эти бесплотные образы отходят на второй план. Карл Орлеанский, придерживаясь законов куртуазной поэзии, пишет об одиночестве влюбленного как о «Пропасти Страдания». Для Вийона мёнская тюрьма — всего-навсего «яма».

Спор, затеянный в 1399 году Кристиной Пизанской, почти забыт в Париже 1450 года. Те, кто участвовал в нем, уже сошли со сцены. На поле боя уж нет Жерсона, сражавшегося на стороне Кристины. В противоборствующей партии отсутствуют гуманисты из лагеря Орлеанского: Жаны Монтрей, Гонтье Коли, Пьеры Коли — все самобытные умы, давшие другое, весьма преждевременное, направление французскому гуманизму, предвосхитившее нынешнее. Никто не подхватил эстафеты. «Суд Любви», официально учрежденный королевскими грамотами Карла VI, чтобы взять под свою опеку поэтические состязания и защищать честь дам, сразу рухнул в пучину гражданских войн, войн с иностранными державами и всяких прочих ужасов.

Современники Людовика XI, пишущие о Любви, становятся под знамена разных лагерей. Вийон предоставляет другим заниматься куртуазной поэзией, последним крупным представителем которой после Алена Шартье, умершего в 1433 году, остается Карл Орлеанский. Естественно и почти не колеблясь он, вслед за исполненным горечи поэтом Эташем Дешаном, примыкает к «партии» мужского эгоизма и любовных наслаждений.

Нищета меняет психологию человека. Женоненавистник, вследствие своего незавидного социального положения, ставший мстительным, поскольку его предавали, Вийон в собственном жизненном опыте находит источник сострадания. Жестокий с мещанками, обманывавшими его, он в своей душе открывает сочувствие «шлюшкам», «девчоночкам», тем, кого Любовь бросает на мостовой. К несчастным, продающим свои улыбки, Вийон проявляет симпатию, подобную той, что испытываешь к уличному акробату, дарящему за деньги свой смех. Его нежность к старым друзьям по увеселениям распространяется и на женщин, и на мужчин: жизнь сделала и тех и других такими, каковы они есть. Разве эти женщины не были «честными»? Ответ не заставляет себя долго ждать: «Честными были, если являются таковыми»... Не существует, строго говоря, ни честных женщин, ни продажных...

## Старость

«Прекрасная Оружейница» — свидетельство того злосчастного пути, которым суждено пройти по жизни женщине, и морализатор-холостяк в своих размышлениях о ней колеблется между приговором ума и оправданием сердца. Уже в «Романе о Розе» длинные рассуждения о старости вынудили автора прийти к заключению: молодая женщина легкомысленна и высокомерна, в старости она сварлива и всеми презираема. Стареющая женщина без румян и белил становится просто сводницей и уже не вызывает никаких симпатий. А образ женщины-бабушки еще не был создан, по крайней мере, в городской литературе.

Любовные увлечения Вийона — это цепь разочарований, их он пытается скрыть в единственно надежном прибежище — в испытанных литературных образах. За усердным упражнением в стихотворной риторике скрывается видение любимой женщины, постепенно превращающейся в непривлекательную старуху, обделенную любовью. И тут же обрисованы превратности судьбы молодого клирика, не имеющего завтрашнего дня и не замечающего в дыму развлечений бега времени. Однако наступает день, когда галантный кавалер становится никому не нужен. Молодость ушла не попрощавшись. В тридцать лет человек стар и одинок, ему не хватает нежности и любви.

*Мне жалко молодые годы,  
Хоть жил я многих веселей  
До незаметного прихода  
Печальной старости моей;  
Не медленной походкой дней,  
Не рысью месяцев, — умчалась  
На крыльях жизнь, и радость с ней,  
И ничего мне не осталось <sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 40. Перевод Ф. Мендельсона.

Не будем слишком углубляться в исследования любовной раздвоенности Вийона. В переменах нет никакой раздвоенности. Любовь погибла, но любовь была. «Я смеюсь, плача» — это философия, но это также и литературное клише. Раздвоенность Вийона исчезает, как только становится ясным, что он боится быстротечного времени, а время бежит и походка изменяет мир. Между волокитой Вийоном и поэтом, отрицающим любовь, — расстояние в несколько лет, несколько женщин и несколько разочарований.

В ад низвергнут печальный собрат Толстухи Марго. За эту любовь сначала платят, чувства же здесь ведут к нищете. Одна из баллад Вийона, написанная на арго кокийяров, позволяет увидеть мир, где любовь — обман и где, ласкаясь, крадут кошелек, не больше и не меньше как во время игры в триктрак. Тут любить — значит раскошелиться.

*Тут, глядя вверх, сказал один босяк:  
«Башлей в помине нету, хоть ты плачь.  
Она меня обчистила, да так,  
Что позавидует любой щипач,  
И шась, подлюга, к своему коту,  
А трахнул я ее всего разок.  
Вот и терпи такую срамоту,  
Вот и кляни свой тощий кошелек!» <sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Перевод Ю. Стефанова.

Вийон страдал. Он любил и был обманут. Какой бы ни была Катрин де Воссель, она оставила молодого Франсуа ради других поклонников. Он, конечно, был несносным, вмешивался в то, что его не касалось. Его вытолкали за дверь. Его поколотили. Забавная свадьба, скажет потом поэт, который завещает двести двадцать ударов хлыстом свидетелю потасовки. Возможно, этот Ноэль Жоли был как раз в ту минуту счастливым соперником.

Несколько ночей провел под дверью Катрин злосчастный любовник, слишком болтливый, но вынужденный вещать в пустоту. Его доверием злоупотребили так же, как любовью. Бедный Вийон видел Катрин совсем другою, какою она была на самом деле, когда притворялась, что слушает его. Если б он знал...

Его глубоко ранили, и речь не только о разочаровании в любви. Наткнувшись, сам того не подозревая, на «пещеру» Платона, поэт поставит под сомнение весь мир. Целую нить противоречий сплело время, когда речь зашла о Прекрасной Оружейнице. Время обезображивает, старость — не завершение, а отрицание молодости.

*Что стало с этим чистым лбом?  
Где медь волос? Где брови-стрелы?  
Где взгляд, который жег огнем,  
Сражая насмерть самых смелых?  
Где маленький мой носик белый,  
Где нежных ушек красота  
И щеки — пара яблок спелых,  
И свежесть розового рта? <sup>1</sup>*

На эти вопросы, которые как бы задает сама себе женщина, стих за стихом отвечает старость.

*В морщинах лоб, и взгляд погас,  
Мой волос сед, бровей не стало,  
Померкло пламя синих глаз,  
Которым столько завлекала,  
Загнулся нос кривым кинжалом,  
В ушах — седых волос кусты,  
Беззубый рот глядит провалом,  
И щек обвисли лоскуты... <sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 55. Перевод Ф. Мендельсона.

<sup>2</sup> Там же. С. 56.

В представлении о красоте Вийона многое может удивить волокит XX века. Широко расставленные глаза, раздвоенный подбородок больше определяют стиль, нежели реальный образ; поэт не любит сросшиеся брови, а ямочки на щеках его умиляют...

Зеркало времени не менее сурово к телу, чем к лицу. Поэт описывает тело женщины.

*Где белизна точеных рук  
И плеч моих изгиб лебяжий?  
Где пышных бедер полукруг,  
Приподнятых в любовном раже,  
Упругий зад, который даже  
У старцев жар будил в крови,  
И скрытый между крепких ляжек  
Сад наслаждений и любви?*

И еще: старость — это увядание всего. Только стихи приемлют весь ужас, заключенный в портрете: в них чувствуется грусть, замаскированная иронией.

*Вот доля женской красоты!  
Согнулись плечи, грудь запала,  
И руки скручены в жгуты,  
И зад и бедра — все пропало!  
И ляжки, пышные бывало,  
Как пара сморщенных колбас...  
А сад любви? Там все увяло,  
Ничто не привлекает глаз <sup>1</sup>.*

## Отречение

Катрин де Воссель — женщина двуличная. Поэт оплакивает свою доверчивость, а не наслаждения: он принял пузырь за фонарь, а свинью за ветряную мельницу.

*Всегда, во всем она лгала,  
И я, обманутый дурак,  
Поверил, что мука — зола,  
Что шлем — поношенный колтак <sup>2</sup>.*

Обман питает сомнения. Здесь все наоборот, все борьба противоположностей. Не только время обман — все на свете фальшиво. Уже цитированная баллада говорит об этом без прикрас: стережет лишь заснувший, верить можно лишь отступнику, любовь проявляется в лести... За риторикой антонимов чувствуется боль доверчивого поэта, обманутого кокеткой. «Так злоупотребили моей любовью». Вийон предвосхищает Альцеста. С горькой пронизательностью логика он извлекает для себя урок:

*Любовь и клятвы — лживый бред!  
Меня любила только мать.  
Я отдал все во цвете лет,  
Мне больше нечего терять.  
Влюбленные, я в вашу рать  
Вступил когда-то добровольно;  
Забросив лютню под кровать,  
Теперь я говорю: «Довольно!» <sup>3</sup>*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 56. Перевод Ф. Мендельсона.

<sup>2</sup> Там же. С. 64.

<sup>3</sup> Там же. С. 65.

## Глава XXI

### Будете повешены!

#### Нотариус Ферребук

Он болен. Он сторонится людей. Служащие Шатле не забыли его имени, но теперь тут некому защитить его: Робера д'Эстутвиля здесь больше нет. Новый прево, Жак де Вилье, сир де л'Иль-Адам, — из тех, кому недостаточно хороших стихов, чтобы выиграть обреченное дело. Лейтенант уголовной полиции теперь Мартен Бельфэ, человек безжалостный; Вийон, насмешничая над ним, своим возможным палачом, вывел его в «Завещании». Поэту нужно

остерегаться этих людей. Но надо жить, а рассуждать да морализировать — этим не прокормишься.

Что у него на совести теперь, в октябре 1462 года, когда он, Франсуа Вийон, вновь оказывается в Шатле? Вина невелика — воровство. Грех небольшой, и Вийона быстро освободили бы, дело осталось бы без последствий, если б у судьи была короткая память. Но ведь нашли наконец одного из участников грабежа Наваррского коллежа!

Будучи в ладу с правосудием по делу, приведшему его в мёнскую темницу, Вийон и теперь был бы лишь вором в бегах, которого не слишком усердно разыскивают, но тем не менее разыскивают, как соучастника в деле ограбления Наваррского коллежа. Послали за мэтром Жаном Коле, главным попечителем теологического факультета. Извлеченный из своей камеры, поэт признается наконец в краже, про которую почти забыл.

Как и следовало ожидать, факультет препятствует освобождению вора, а судейский крючок записывает это в своей книге. Франсуа Вийон снова должен предстать перед Мартеном Бельфэ, чтобы рассказать о ночной вылазке и ограблении Наваррской ризницы.

Магистрам нет нужды держать долго в тюрьме поэта. Вийон плохо себя чувствует. Лысый, исхудавший, так что на него и смотреть-то страшно, он надсадно кашляет к тому же. Его участие в наваррской краже не доказано окончательно, так что на виселицу посылать не за что. Факультет предпочитает договориться полюбовно: пусть виновный возместит ущерб и идет куда угодно.

В первые дни ноября 1462 года судебный писец, им тогда был Лоран Путрель, отмечает в своей книге, что принято следующее решение в отношении Вийона: он должен выплатить сто двадцать экю в течение трех лет. Уличенный в краже поэт, освобожденный до времени, имеет в своем распоряжении три года, чтобы найти сто двадцать экю — больше, чем он когда-либо зарабатывал, а иначе ему предстоит вернуться в тюрьму. Три года, прежде чем вновь стать заключенным и каждый день с надеждой опускать на веревке корзиночку между прутьями своего узкого оконца. Заключенный счастлив, когда какой-нибудь парижанин сочтет возможным положить в корзинку несколько медяков или несколько ломтей хлеба, а такие корзинки постоянно свешиваются со стен Шатле или Фор-л'Евек.

«Новое» экю Людовика XI составляет 27 су 6 денье, а 120 экю составляют 165 ливров, то есть сумму, получаемую за сдачу внаем в течение двадцати лет удобно расположенного, где-нибудь в центре Парижа, на мосту Парижской Богоматери, торгового дома. В этом же ноябре месяце 1462 года на Гревской пристани за эту цену продают двадцать мюидов вина из Ванва или Мёдона или восемь-десять мюидов превосходного бургундского вина. От пятидесяти до ста гектолитров красного вина — так что можно содержать таверну.

Всей обстановки в доме бедного Вийона не хватило бы для уплаты долга. Его добротная кровать с матрасом, подушка, валик, скамеечка стоят вместе самое большее два экю. Да еще найдет ли он по выходе из тюрьмы принадлежащую ему кровать?

Полюбовная сделка, заключенная между факультетом и вором, — обман. Магистры никогда не увидят цвет новых экю, этих прекрасных, почти чистого золота монет достоинством в 23 1/8 карата — чистое золото содержит 24 карата, — а в парижской марке содержится 71 такая монета. Они не увидят этих ста двадцати монет с тремя королевскими лилиями, увенчанными короной, экю с ободком.

Что касается Вийона, то у него есть три года, чтобы исчезнуть. По правде говоря, возможно, на это рассчитывало и доброе университетское общество... Не держать неизвестно зачем в тюрьме поэта, но и не видеть его больше!

И тут-то новая неудача постучалась в дверь поэта, который на этот раз уже ничего не смог сделать. Месяц минул с тех пор, как Вийон вновь вернулся в квартал школяров. Нашел ли он какое-нибудь занятие себе? Маловероятно. Он опять водворился в парижском обществе. И прятаться не стал.

Трудно было бы предполагать, что перед ним откроются все двери. Если он хочет кормиться на даровщинку, тут уж не до того, чтобы выбирать друзей.

Однажды декабрьским вечером 1462 года он постучался к Робену Дожи, школяру без прошлого, у которого в этот вечер нашлось чем поужинать. Дожи жил на улице Паршминри, возле Сен-Северен, недалеко от улицы Ла Арп. В доме с вывеской «Повозка» у него была убогая комнатенка, но хозяин гостеприимен: Дожи добряк и у него много друзей. В тот вечер вместе с Вийоном там оказался один добрый малый по имени Ютен дю Мустье и один школяр буйного нрава по имени Роже Пишар.

Ужин был быстро проглочен. Было часов семь-восемь: ложиться еще рано. Вийон предложил пойти к нему; его дом — это дом монастыря Святого Бенедикта, где магистр Гийом де Вийон милостиво принимает своего протеже при каждом его возвращении к жизни, приличной жизни монастырей и коллежей.

И вот четыре друга на улице. С одним разделить ужин, а с другим свечу — дело обычное. Возможно, у Вийона нашлась бы и бутылка вина и они бы ее вместе распили. Во всяком случае, они не ищут удачи и не собираются затевать ссору. Они просто бредут по улице Сен-Жак. А шататься темной ночью по улицам — значит с завистью заглядывать в освещенные окна, где сидит за столом буржуа, за своим пюпитром — судья, за своей стойкой — лавочник. Все они заканчивают трудовой день. У четырех шатающихся без дела школяров живой ум; им представляются бесплатные спектакли, тут есть чем позабавиться, не входя в траты.

Вийон, Дожи, дю Мустье и Пишар проходят, веселясь, мимо дома нотариуса Франсуа Ферребука, сидящего в своей рабочей комнате; Ферребук получил должность благодаря воле Его Святейшества: он один из папских нотариусов, ежедневно попирающих права королевских нотариусов Шатле. Окно еще светится. Ферребук заставляет работать своих писарей в тот час, когда королевские нотариусы выпросили бы дополнительное вознаграждение за этот запрещенный законом ночной труд. Вещь известная: папские нотариусы пренебрегают правилами.

Ферребук — именитый гражданин. Священник, кандидат канонического права, адвокат, а затем нотариус в Париже в течение десяти лет — он не из тех людей, над кем будешь подтрунивать среди бела дня. Сын богатого бакалейщика Жана Ферребука, племянник буржуа Доминика Ферребука, у которого в свое время было значительное состояние — он жил в квартале, прилегающем к улице Сен-Дени, мэтр Франсуа Ферребук — солидный владелец многочисленных домов и обладатель ренты. У него есть даже виноградник в Росни-су-Буа. Он получает также прибыли и от церквей.

Человек со связями. Перед его домом с вывеской «Золотая шапка» городские власти вымостили даже часть улицы Сен-Жак за счет парижских налогоплательщиков.

Бесшабашным школярам ночь придает храбрости. Ферребук ничего не сделал плохого этим четырем друзьям, но он живой символ Успеха. У него есть все, а у них — ничего.

Им видно через освещенное окно, как работают писцы. Работают! Ночным гулякам смешно смотреть на них. Им хочется вдоволь посмеяться над трудягами, портящими себе глаза. Не будем придавать случившемуся того значения, которого оно не имеет: четверо бездельников подтрунивают над усердными писцами, а не над злоупотребляющим их усердием хозяином. Лентяи не испытывают ненависти к трудягам, им просто хочется немного поразмяться. В окно летят шуточки. Пишар даже плюет в комнату — до такой степени ему противен праведный труд.

Писцы нотариуса, возможно, и тихони, когда работают, но они школяры, и им хочется вздуть как следует насмешников. В мгновение ока вся ученая компания, освещенная одной свечой, оказывается на пороге дома. Кто ищет в этот час ссоры ради ссоры?

— Что за нечестивцы тут стоят?

Пишар нагло отвечает. Они хотят знать? Ну что ж, они узнают, из какого дерева сделаны флейты. Вот их сейчас взгреют хорошенько.

— Не хотите ли купить флейты?

Минутой раньше никто и не думал о драке. Никто никогда и не узнает, кто нанес первый удар. Но теперь удары сыплются направо и налево. Ютен дю Мустье выступает немного вперед, писцы хватают его и, как тюк, втаскивают в дом. Вийон, Дожи и Пишар слышат вопли:

— К отмщенью! Меня убивают! Я мертв!

Тогда все они устремляются к дверям. Как раз в ту минуту мэтр Франсуа Ферребук, которому надоел шум, показывается в дверях. Он в ярости наносит сильный удар не ожидавшему этого Дожи, который падает навзничь. Пишар и Вийон ретируются к церкви святого Бенедикта. Вийон — сосед, и он позаботился о том, чтобы не быть втянутым в дело, которое обернется не в его пользу, так как нотариус хорошо знает закон. За Дожи не числится ничего предосудительного, ему ясно, что он будет выглядеть смешным, и, поднявшись, он выхватывает из ножен саблю.

Дело Сермуаза отличается от дела Ферребука, речь идет о схватке с применением холодного оружия. Буржуа, так же как и писец, знает, что ношение оружия запрещено, но ночные дозорные не придут на помощь, если вяжешься в драку. Оружие у парижанина пристегнуто к поясу и спрятано под плащом, и он прибегает к нему как к последнему средству защиты своей жизни и своего кошелька. Королевское правосудие может сколько угодно штрафовать, нарушителю плевать на это. Писец Шатле ведет учет конфискаций..

Пишар и Вийон, спрятавшись под арку монастыря, считают, что дело закончено, но тут, дрожащий от ярости, является Дожи: чтобы отбиться и не ударить в грязь лицом перед насмешливыми клириками, он ранил одного именитого гражданина, принадлежащего к судейскому сословию...

Удар саблей, нанесенный Франсуа Ферребуку, мог бы быть смертельным. Дело принимает нежелательный оборот; Дожи понимает, что он в ловушке, он упрекает за нерасторопность глупого Пишара. Атмосфера накаляется. Чтобы избежать худшего, школяры решают разойтись.

Ферребук не умер; он будет жить еще в начале XVI века и доживет до восьмидесяти лет. Но он подал жалобу.

Так что веселые приятели несколькими днями позже встретились в Шатле. Университетский квартал настолько мал, что писцы нотариуса без труда узнали зачинщиков драки. Дю Мустье и Вийона тотчас же арестовывают. Дожи удалось на некоторое время скрыться, но и его в конце концов нашли. Пишар осторожен: он обретает случайное убежище в стенах церкви францисканского монастыря. Там-то его и арестовывает, даже не предупредив монастырь, лейтенант уголовной полиции Пьер де ла Деор, ненавидящий всех, кто принадлежит к духовенству. Один из монахов пытается вмешаться. Но сержанты полиции грубо отталкивают его, а Пишара отправляют в тюрьму.

## Суд

Вийон, Дожи и дю Мустье осуждены. После их поимки прошел один месяц, и вот уже всех троих ожидает виселица. Естественно, они апеллируют к Парламенту.

12 января 1463 года Парламент отклоняет апелляцию Ютена дю Мустье и добавляет еще к наказанию штраф в десять ливров за «наглую апелляцию». Да что там штраф. Дю Мустье уже повешен.

Больше всех виновен Дожи. Но ему удастся затянуть дело, так что он долгое время отсиживается в тюрьме Парламента, а тут в ноябре 1463 года герцог Людовик Савойский навещается с ответным визитом к своему зятю королю. Людовик XI делает благородный жест и отпускает на волю заключенных савояров. Как недавно и Вийона в Мёне, Дожи освобождают по королевской милости.

Однако если Дожи — савояр, то Вийон — француз. Поэт с горечью констатирует этот факт. И вот он принимается играть словами:

**Я — Франсуа, чему не рад.**

**Увы, ждет смерть злодея,**

**И сколько весит этот зад,**

**Узнает скоро шея <sup>1</sup>.**

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 150. Перевод И. Эренбурга.

В это время францисканцы сутяжничают с прево города Парижа. Пишар не нападал на путешественников на большой дороге, он не опустошал крестьянские поля, он не совершил никакого преступления против церкви. Случаи, которые братья во Христе хотят представить светскому правосудию, не подлежат двойственному толкованию, а дело Пишара за их рамки не выходит. Было нарушено право убежища; Парламент признал их правоту. 16 мая 1464 года Пишар с соответствующими церемониями был препровожден к францисканцам.

Стоит ли говорить, что братьям-монахам не нужен Пишар? На этот раз решили соблюсти приличия. Прево официально потребовал у францисканцев, чтобы они сообразовали вернуть ему Роже Пишара.

События развиваются: Пишара заключают в Шатле, осуждают и приговаривают к виселице. Он апеллирует к Парламенту, тот отклоняет его ходатайство, как это было с дю Мустье, и добавляет 60 ливров штрафа за то, что Пишар без толку потревожил Парламент. Пишар выиграл время у королевского палача, но его заставили это время оплатить.

Впрочем, наложение штрафа было бессмысленно: у Пишара за душой ничего и никто за него не заплатит. Тот, кого Дожи назвал в вечер потасовки «настоящим распутником», будет повешен, не выплатив ни су.

Осужденный с дю Мустье и Дожи, Вийон также послал в Парламент апелляцию. На этот раз было не до шуток. Апелляция написана прозой, без риторической цветистости и подтекста. Ответ лаконичен. 5 января 1463 года — дело велось очень быстро — Парламент провозгласил:

«Судом рассмотрено дело, которое ведет парижский прево по просьбе магистра Франсуа Вийона, протестующего против повешения и удушения.

*В конечном итоге* эта апелляция рассмотрена, и ввиду нечестивой жизни вышеозначенного Вийона следует изгнать на десять лет за пределы Парижа».

Суд не оправдывает, но и не приговаривает к повешению. Магистр Робер Тибу, председатель Парламента, — каноник Сен-Бенуа-ле-Бетурне. Может, это удача для его невыносимого соседа? *В конечном итоге* того, кто расплачивается за свою репутацию шалопая, а также за то, что принял участие в преступлении, где доля его вины была невелика, Парламент решил отпустить.

## Повешенные

Весьма вероятно, что в эти несколько дней, перед казнью, поэт набросал другую апелляцию — драматическую, названную «Балладой повешенных», которую он адресовал всему человечеству, единому перед лицом смерти. На этот раз он уже не смеется, даже «сквозь слезы». Он защищает виновного. Он не осмеливается больше ждать, как недавно в тюрьме города Мён, чтобы друзья вызволили его оттуда. Теперь уже не тот рефрен, что был прежде: «Оставьте ль здесь бедного Вийона?» То, на что он рассчитывает, — это братство людей. Осужденный видит уже, как смеются прохожие, и он в тревоге. Его доля — тревожиться, а Парламента — вершить правосудие. В этой драматической балладе поэт берет на себя ответственность лишь за судьбу своего человеческого достоинства.

Настойчиво звучат, как жестокая правда о равенстве всех перед смертью, одни и те же повторяющиеся слова: «братья», «люди», «братья людей»... Новый словарь.

Призыв молиться — «Молите Бога» — не что иное, как перевод исходного постулата догмы, которую начиная с церковного собора в Никее теологи называют «Причастием святых». Вийон боится ада. Если все люди попросят Бога, Он поможет им избавиться от адских мук. «Пусть нам всем будут отпущены наши грехи». И бывший школяр вновь обращается к словарю теолога: «Пусть милость Его будет для нас неистощима».

Призыв к людям — это призыв к улице, с которой Вийон неразрывно связан. Это мольба того, кто так насмешничал, но насмешничал лишь над богатством, достатком, заносчивостью, злобой, жадностью. Вийон никогда не смеялся ни над чьими страданиями, кроме своих собственных.

В ожидании казни он просит рассматривать смерть как уход человека из жизни, а не как уличный спектакль. «Пусть никто не смеется над нашей бедой». Виселица оскорбляет его: «Пусть она разрешена правосудием, все равно виселица достойна презрения». А страх — в словах, лишенных риторики: «Не смейтесь, на повешенных взирая».

Крик души Вийона, увидевшего перед собой веревку, рядом — бродяг, представляющих большую часть человечества, заключен в призыве, которым открывается баллада и который клеймит лишь одно прегрешение, существенное в глазах бедного клирика: прегрешение против любви.

***Не будьте строги, мертвых осуждая,  
И помолитесь Господу за нас!<sup>1</sup>***

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 151. Перевод Ф. Мендельсона.

Как отчаявшийся узник смог найти не только время, но и чернила и бумагу? Возвращался ли он в эти дни к своим давним мыслям и стихам? Не пересказывал ли он свои горькие думы, теперь уже бродившие в голове человека, брошенного в темницу? К кому обращал он тревожную мольбу, уравновешенную трезвостью рассказа и ясностью видения?

***О люди-братья, мы взываем к вам:  
Простите нас и дайте нам покой!  
За доброту, за жалость к мертвецам  
Господь воздаст вам щедрою рукой.  
Вот мы висим печальной чередой,  
Над нами воронья глумится стая,  
Плоть мертвую на части раздирая,  
Реут бороды, пьют гной из наших глаз...  
Не смейтесь, на повешенных взирая,  
А помолитесь Господу за нас!  
Мы братья ваши, хоть и палачам  
Достались мы, обмануты судьбой.  
Но ведь никто, — известно это вам? —  
Никто из нас не властен над собой!  
Мы скоро станем прахом и золой,  
Окончена для нас стезя земная,  
Нам Бог судья! И к вам, живым, взывая,  
Лишь об одном мы просим в этот час:  
Не будьте строги, мертвых осуждая,  
И помолитесь Господу за нас!  
Здесь никогда покоя нет костям:  
То хлещет дождь, то сушит солнца зной.  
То град сечет, то ветер по ночам  
И летом, и зимою, и весной  
Качает нас по прихоти шальной  
Туда, сюда и стонет, завывая,  
Последние клочки одежд срывая,***

**Скелеты выставляет напоказ...  
Страшитесь, люди, это смерть худая!  
И помолитесь Господу за нас.  
О Господи, открой нам двери рая!  
Мы жили на земле, в аду сгорая.  
О люди, не до шуток нам сейчас,  
Насмешкой мертвецов не оскорбляя,  
Молитесь, братья, Господу за нас!<sup>1</sup>**

А дальше тон Вийона меняется. Он благодарит Суд. Но на этот раз, поскольку условности ни к чему, он отказывается от прокурорского языка. Однако в благодарственном обращении Вийона к судьям звучит и мольба.

**Пять чувств моих, проснитесь: чуткость кожи,  
И уши, и глаза, и нос, и рот.  
Все члены встрепенитесь в сладкой дрожи:  
Высокий Суд хвалы высокой ждет!  
Кричите громче, хором и вразброд:  
«Хвала Суду! Нас, правда, зря терзали,  
Но все-таки в петлю мы не попали!...»  
Нет, мало слов! Я все обдумал здраво:  
Прославлю речью бедною едва ли  
Суд милостивый, и святой, и правый!<sup>2</sup>**

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 151—152. Перевод Ф. Мендельсона.

<sup>2</sup> Там же. С. 155.

Есть некая философичность в том, что Вийон продолжает развивать основную мысль «Баллады повешенных». Он призывает людей к солидарности. И все вместе с ним должны благодарить Суд. Повторяются те же слова, но умозаключение — другое. Благодарность — это общий долг, как и сострадание...

Поэт теперь не сожалеет о том, что он француз. Не боясь гиперболы, он делает из Парламента «счастливое достояние для французов, благо — для иностранцев».

А заключение прозаичное, это просьба: дать ему три дня для устройства своих дел. Ему нужно попроситься. Кроме того, ему нужно также раздобыть денег, а их нет, конечно, ни в тюрьме, ни у менялы. Пусть Суд скажет «да». На прошении к папе «да» заменится словом fiat: «да будет так».

**Принц, если б мне три дня отсрочки дали,  
Чтоб мне свои в путь дальний подобрали  
Харчей, деньжишек для дорожной sprawy,  
Я б вспоминал в изгнанье без печали,  
Суд милостивый, и святой, и правый!<sup>1</sup>**

Поэт в ударе. Возвращенный к жизни, он вдохновенно пишет стихи. Тюремный привратник, быть может, смеялся, когда осужденный взывал к судьям Шатле. Как бы то ни было, когда Вийона освободили из-под стражи, он подарил тюремному сторожу Этьену Гарнье новую балладу, где звучали одновременно и радость жизни, и раздумье о простых, всем понятных вещах, и некоторое тщеславие истца, обязанного своим освобождением собственной находчивости.

**Ты что, Гарнье, глядишь так хмуро?  
Я прав был, написав прошение?  
Ведь даже зверь, спасая шкуру,  
Из сети рвется в исступленье!<sup>2</sup>**

---

<sup>1</sup> Там же. С. 156.

<sup>2</sup> Там же. С. 153.

История, конечно, пристрастна, но не надо полемизировать — «бедному Вийону» ни к чему больше выставить себя жертвой. Он выиграл. Этого достаточно. Он сам говорит так: «Мне удалось уйти, схитрив».

Однако он не хитрит, идет ли речь о его более чем скромной способности сутяжничать или о его бесшабашности. Он говорит простыми словами: ведь ему нечего терять.

*Ты думал, раз ношу тонзуру,  
Я сдамся без сопротивленья  
И голову склоню понуро?  
Увы, утратил я смиренье!  
Когда судебное решенье  
Писец прочел, сломав печать:  
«Повесить, мол, без промедленья», —  
Скажи-ка, мог ли я молчать?»<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. С. 154. Перевод Ф. Мендельсона.

Это последние стихи Вийона, дата которых известна. Несомненно, в течение последующих месяцев он брался за перо, чтобы изобразить свое недовольство обществом, это сквозит в «Большом завещании». «Бедный» Вийон не лишает себя удовольствия посетовать на свою физическую и моральную ущемленность... Он негодует, его возмущает несправедливость. Возможно, первая треть «Завещания» написана либо как-то скомпонована именно в то время, когда поэт сводит счеты с обществом, прежде чем покинуть его. Протяжный вопль ярости, негодования, горькая жалоба на Женщину и Любовь, болезненный страх перед неумолимой старостью — а время идет своим ходом — все это плод тех ночей, когда ему снилась виселица.

Но «Завещание» отмечено также знаком надежды. Искренний всегда, когда он дает другому человеку совет быть осторожным — начиная от баллад на жаргоне до «Баллады добрых советов ведущим дурную жизнь», — поэт искренен и в приговоре самому себе. И это ведь не случайность, что Бог упомянут восемнадцать раз, Христос — два в трехстах стихах, предшествующих «Балладе о дамах былых времен». Даже если не считать общепринятых выражений, таких как «Бог его знает» или «слава Богу», то все равно, в этот новый час жизни Вийона, когда он придает окончательную форму оставляемому им посланию, он более, чем всегда, видит перед собой Бога.

Вийон арестован 5 января 1463 года. «Баллада-восхваление Парижского суда», видимо, должна быть датирована тем же числом. «Баллада-обращение к тюремному сторожу Гарнье» тоже написана не позже. Самое позднее 8 января Вийон покидает Париж.

И тут история делает остановку.

Поэт столько рассказывал о смерти, что отнял у историков возможность рассказать о своей собственной.